

Вера
Инбер

2

Вера  нбер



Вера Инбер



**собрание сочинений
в четырех
томах**



**Издательство
«Художественная литература»
Москва 1965**

Вера Инбер



собрание сочинений

том второй



рассказы и повести

**Издательство
«Художественная литература»**

Москва 1965

рассказы



КВАРТИРА № 32

I

Квартира № 32 уплотнена до чрезвычайности, и это обнаруживается уже в передней. Там перед входной дверью устроен шатер из бязевых простынь на веревочных основаниях. В нем скрывается кушетка, на которой помещается Татьяна Попова, домашняя работница. Дальше по коридору живет велосипед, очень старый и очень злой. Он толкается острым локтем в бок и педалью улавливает юбки. В квартире № 32 обитает множество различных людей. Между прочим — я.

Я поселилась позже всех, когда население уже сформировалось. Меня приняли холодно, очень холодно. Женщины меня невзлюбили за поздний обед. Они долго терпели, но наконец прислали ко мне делегацию: Эсфирь Абрамовну и татарку Дину. В хвосте шла Татьяна, девушка из бязевого шатра.

— Мы к вам.

— Пожалуйста. В чем дело?

Выступает Эсфирь Абрамовна не без язвительности:

— Хотя вы редко бываете на кухне, но вам, конечно, известно, что мы топим плиту по очереди.

— Да, конечно.

— Конечно-то конечно, но вы обедаете очень поздно.

— Чисто не как люди,— вздыхает Татьяна.

— Видите ли,— говорю я виновато,— мой муж, он, знаете, поздно освобождается. Он в таком научном одном учреждении... Так там, знаете, поздно... Но чем же это вам...

— Мешает, очень даже мешает,— говорят все трое.

Из дальнейшего хода беседы выясняется, что плита наша не просто плита, а с причудами, и топить ее умеет одна моя домашняя работница. И что все ждут именно ее. А так как мы обедаем поздно, то это не выходит.

— Не плита, а Содом и Гоморра,— замечает Татьяна,— ты в ее кладешь щепку, хорошую, сухую, а она фукнет, мигнет и потухла.

— И потом, обратите внимание,— говорит Эсфирь Абрамовна,— если вы начинаете топить в четыре — нам поздно. Если же первыми топим мы, сажа, дым, неорганизованная заслонка, то ваша Даша приходит уже на готовое.

— Да,— говорю я, подумав,— не знаю, как быть, придется нам готовить на примусе. Иначе я не вижу...

— На примусе вы не имеете права. Вы должны топить пятую часть... Тогда и мы, может быть, захотим на примусе.

— Может быть,— подтверждаю я.

— Хорошее дело, а где же ножку запекать телячью?

— Опять же, валенки должны сохнуть в духовом шкафу.

— Прошу вас,— сказала я,— решите, как хотите. Все, что вы решите, я исполню...

Поздно ночью я прихожу домой. Квартира спит. Распугивая тараканьи митинги, слышится негодующий голос Эсфирь Абрамовны:

— На примусе... а где же ножку запекать?

2

Утром... утром разносится по квартире № 32 ужасный смрад. Это горит в духовом шкафу валенок Татьяны Поповой, девушки из бязевого шатра. В этот же роковой час перегорает лампочка в ванной комнате,

лишенной жестоким архитектором света божьего. И покуда вопит в этой ванной ослепленный мылом человек, товарищ Гурвиц из Наркомфина, и тщетно ищет полотенца и крючка, и покуда все склоняются над полуобгоревшим валенком и несут его на подносе к воде, — в дверь, из которой только что вышла молочница, проникает неизвестный злоумышленник и утаскивает два примуса и свиную корейку четырех фунтов весу. Тут же, почти на глазах у всех. И тогда появляется товарищ Бережков.

С товарищем Бережковым у меня давно уже установились натянутые отношения, отношения отвратительные. И это рана моего сердца.

Товарищ Бережков молод, сероглаз, суров и печален. У него таинственно пропала жена, оставив ему ребятенка, тоже сероглазого, трех с половиной лет, по имени Спартак, которого все, кроме отца, зовут Сеней. Из-за Спартака все и случилось.

Переехав в квартиру № 32, я полюбила Спартака, хотя у него был большой недостаток: он любил открывать парадную дверь. Утром, вечером, днем, на все звонки, на один, на два, на три, на два коротких и один долгий и, наоборот, на стук кулаком — Спартак с грохотом проносился по коридору, опрокидывая велосипед, добежал до двери и кричал:

— Кто ета-а?

Потом начинал возиться с замком и, не одолев его, с таким же грохотом бежал обратно за своей теткой Пелагеей Михайловной. И так как моя комната находилась рядом с парадной, то я все это слышала.

Однажды утром я имела со Спартаком разговор:

— Ты хороший парень, садись. Кому ты сегодня утром дверь открывал?

— Почтальонщику.

— Молодец, вот тебе конфета за это.

— Я усегда буду открывать.

— А я каждый раз буду давать тебе за это конфету, но слушай хорошенько, Спартак: если ты *не будешь* открывать дверей, то за каждый раз я буду давать тебе по две конфеты. Понял? Понял, товарищ Бережков-младший?

И, погладив его бело-розовую головенку, я сказала ему самое любимое и ласкательное слово. Я сказала: — Эх ты, обезьян.

И тогда появился товарищ Бережков-старший. Он услышал слово «обезьян», обращенное к его сыну, и, не разобрав, быть может, интонации, пришел в ярость. Его серые глаза сверкнули на меня из-под ресниц.

— Я попрошу вас, товарищ,— выговорил он с клотканием в голосе,— я попрошу не трогать моего сына и не оскорблять его животными наименованиями. Поняли? Это квартира коммунальная. И если буржуазное происхождение затесалось сюда, то оно должно вести себя соответственно. Поняли?

Я хотела сказать, что нет, что он не понял, что это от ласки, но, взглянув на него, я соответственно промолчала.

С той поры легла рознь между обоими Бережковыми и мной.

И в это утро смрада, темноты и преступления появляется товарищ Бережков, не успевший еще пойти на службу. Я забыла сказать, что товарищ Бережков после сына своего Спартака больше всего на свете любит примусы. У него их два: желтый примус и белый оптимус.

Они сверкают, как металлические части нового автомобиля. Они ослепительны. Товарищ Бережков сам чистит их по вечерам, когда Спартак спит, а тетка Пелагея Михайловна уходит ночевать к себе домой. Он чистит их суконкой и иглой. Не той жалкой покупной иглой, которая есть у всех, а им самим сработанной, с длинным голубоватым острием в стальной ручке. Он наклоняется над примусом, насвистывает, и вот черная бархатистая головка обрастает голубым венчиком. Товарищ Бережков ставит на венчик металлический чайник, тоже победоносно сияющий. И, выждав, пока он закипит, медленно выливает его в водопроводную раковину, задумчиво насвистывая. Товарищ Бережков не пьет по вечерам чаю.

Мудрено ли, что в час пропажи примусов товарищ Бережков, пренебрегая отбытием на службу, появляется на кухне. Появляюсь и я.

Татьяна в ужасе:

— И как это он запобежал сюда, господи боже мой, какая жизнь стала! Только отвернулась к кранту, он и запобежал. И плита эта, то не горит, не горит, ты в ее щепку сухую — ничего, а то горит не в себя и вещь спортила.

Пять женщин и четверо детей наполняют кухню. Товарищ Гурвиц, вышедший наконец из ванны, зовет через форточку дворника. Эсфирь Абрамовна держит меня за руку и говорит:

— Я — на четвертом месяце, и вот такие переживания.

Вдруг все стихает. Входит товарищ Бережков.

Он бросается к столу, где стоят обыкновенно примуса. Двух, двух не хватает: его нового белого, начищенного оптимуса и моего старого, жалкого, багрово-черного примуса. Молчание!..

И перед этим стихийным бедствием, постигшим нас обоим, сердце товарища Бережкова смягчается.

Вечером того же дня я уныло прохожу на кухню и уныло заглядываю в мертвое жерло самовара.

Даша, утомленная переживаниями, спит, а мне хочется чаю, а примуса нет, а самовар так велик. И вдруг из-за стола протягивается рука, и голос, твердый голос товарища Бережкова, произносит:

— Возьмите, товарищ, вот вакантный чайник. Я, знаете, всегда выливаю, а теперь я даже рад. Потому что — целесообразно.

И, медленно и блаженно попивая чай с лимоном у себя в комнате, я слышу за стеной голос, твердый голос товарища Бережкова. Он говорит сыну:

— Вставай, брат, вставай, Спартак. Стань-ка вот сюда на минуточку, чтобы ночью беды не вышло.

И потом с необычайной нежностью:

— Ну вот, теперь ложись. Эх ты... обезьян!

СОЛОВЕЙ И РОЗА

I

Рецепт весны таков: совершенно свежие и острые почки, облитые солнцем, распускаются на старом тополе (рекомендуется глубоко вдыхать их запах, он один из прекраснейших на свете). Затем над мелко взбитым облаком восходит тонкая луна самой первой четверти, огромная, гораздо больше, чем во время полнолуния. Тут же, вместе с луной, идет тяжелый и теплый дождь: одна капля в минуту. Пучок маленьких синих куполов столетней церковки в Успенском переулке начинает сиять под звездами. На церковном дворе, пахнущем травой, под старым тополем, раздаются поцелуи: один долгий и два коротких. Московская весна готова.

Приправленная гармоникой из подвального помещения булочной и далеким гулом трамвайного прибора, такая весна проглатывается с жадностью, но переваривается трудно, и переполнение сердца мучительно...

В других странах есть другие весны, более великолепные. Классические весны с розой и соловьем. Но и в Москве, если глядеть внимательно, есть соловьи и

розы. И под московским неярким небом томится соловей, и у розы шипы, и роза колется. Таков рецепт весны.

В Успенском переулке, если поглядеть внимательно, можно обнаружить соловья. Насупротив маленькой синекупольной церкви есть дом. В подвальном помещении — булочная, где по вечерам вздыхает гармоника. А в первом этаже портной Эммануил Соловей «исполняет заказы как штатские, так и военные, а также принимает в починку».

Портной Соловей состоит из тонких ног, сутулых плеч, рыжеватой лысины и слегка рассеянных голубых глаз. Еврею из Минска редко удается быть голубоглазым, но если уж это случается, то такие голубые глаза поражают своим потусторонним выражением. Начинает казаться, что такой еврей все еще плывет в ковчеге и наблюдает мир с араратской высоты.

Заказчики портного Соловья, плохо знакомые с его сущностью, порой приходили в ужас от этих глаз и уверяли себя, что все пропало, что брюки-диагональ будут выкроены наподобие трапеции, что проймы пиджака будут несоразмерно велики и воротник будет топорщиться.

Но так думали те, кто не знал портного Соловья.

Портной Соловей перерождался за работой. Его глаза суживались, как у заклинателя змей. С куском мела в руке, с булавками во рту и сантиметром на шее, он творил заклинания. И вот косая материя покорялась творцу, и из распластанного шерстяного хаоса возникала прекрасная плавная линия.

Во время работы портной Соловей, невзирая на булавки во рту, пел избранные места из Песни Песней, переложенные им самим на музыку. Особенно любил он благоуханную фразу Суламифи: «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». И, слыша вступительные трели его голоса, жена портного Соловья Роза (ибо у каждого соловья есть роза) говорила пятилетнему Изе, страшному хулигану:

— Изя, перестань вбивать гвоздь! Кому я говорю? Ты же слышишь, отец поет «я изнемогаю от

любви». Это значит — он приступился к рукавам. Поэтому — чтобы было тихо.

— А я хочу нет,— отвечал Изя и вбивал еще один гвоздь в круп своей многострадальной лошади.

Жена портного Соловья Роза была пышна не в меру и окружена шипами. Она любила Соловья и, любя, ревновала его ко всем другим цветам земли. Особенно опасной в этом смысле казалась ей жена булочника Клавдия Макаровна, вся круглая, как плюшка, с такой глубокой ямочкой на подбородке, как будто там сидела изюминка и потом выпала.

— Почему эта женщина,— говорила Роза Соловью, укладываясь с ним на перинчатом ложе,— почему эта Клавдия смотрит на тебя вбок? Почему она на меня смотрит вбок? Потому что у нее нечистая совесть, Эммануил. Ньюма, я тебя уверяю, что она тебе нравится!

— Розочка,— кротко возражал Соловей из-под одеяла,— как ты можешь это думать?

— Ну, предположим. А о чем ты говорил с ней утром через окно, когда гладил серый жилет?

— Розочка, это не я говорил, а она мне сказала, что в мае еще будут холода, Розочка.

— Ну, предположим, холода. А ты что ей ответил, Эммануил?

— Я ей ответил, Розочка, совершенно тоже холодно,— как ты можешь думать что-нибудь обратно противоположное! — я ей ответил, даже Изенька слышал, что я ей ответил... подвинься, золото, а то мне просто нечем дышать. Ты же моя радость.

И Роза прятала свои шипы, и Роза, благоухая любовью, склонялась к Соловью. Так проходил час. Потом Роза засыпала, но Соловей не спал. В углу спальни (она же мастерская) на деревянном болване висел обыкновенно какой-нибудь недошитый пиджак. Он хитро подмигивал пуговицей и вел с бессонным Соловьем немые разговоры.

— Ну что, дружище,— говорил пиджак,— почему же ты не спишь? Кажется, давно пора. Тебе предстоит еще много работы. Вчера во время примерки я определенно намекнул тебе, что вытачки у меня не на месте.

— Чтó вытачки,— ответил Соловей, задумчиво светя голубыми глазами,— что такое вытачки не на месте! У меня душа не на месте.

— Но почему? — вопрошал пиджак, зевнув карманами.— Почему? Я просто теряюсь в догадках... Роза с тобой...

— Розалия Абрамовна со мной, конечно. И наш Изенька — чудный мальчик, вот он спит в своей кровати, тихий, как наперсток. Но что говорит по этому поводу Суламифь? «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его».

— Не понимаю,— продолжал пиджак, наморщив лацкан,— я просто удивляюсь тебе. Ты, значит, несчастлив в семейной жизни, Эммануил?

— Вы — провокатор,— возражал взволнованный Соловей.— Молчите! Вы — двубортный мерзавец! Вы хотите вызвать меня на какие-нибудь разоблачения. Я вижу вас насквозь. Вы шиты белыми нитками, и у вас отвратительная подкладка.

И, повернувшись спиной к пиджаку, Соловей засыпал.

2

Однажды снежным утром звонят.

— Это, наверное, пришли за френчем от этого подозрительного Нутеса,— говорит Роза. (Следует отметить, что Нутес не фамилия. Просто этот заказчик имеет обыкновение в начале каждой фразы говорить «нуте-с», что делает его почему-то крайне подозрительным в глазах Розы Соловей.) — Это, наверное, Нутес,— говорит Роза.— Готов ли френч, Эммануил?

— Френч готов, Розочка,— отвечает Соловей.— Но я боюсь, что это за брюками от Лейбовича, которые *не готовы*. Он дал их освежить к Новому году.

В это время звонят еще раз.

Роза открывает дверь, обитую клеенкой и войлоком, и молча отступает. В дверях, в меху, в снегу, спрятав руки в меховые рукава, стоит красивая женщина и спрашивает, дома ли портной Соловей.

— Он дома,— отвечает Роза,— но вопрос: что вам угодно? Вы, может быть, от Лейбовича за брюками? — продолжает Роза, сомнительно оглядывая шубку и длинные ресницы.

— Нет, я не от Лейбовича, я сама от себя. Мне нужен костюм. Галифе и френч.

— Вам? Лично вам?

— Мне. Лично мне.

— «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками»,— дрожащими губами шепчет Соловей и хватается обеими руками за сантиметр, висящий у него на шее, чтобы не упасть.

«Вот тебе и Нутес,— думает Роза, глядя на фетровые ботики.— Это таки настоящий Нутес».

Нутес садится на дырявый стул, который обычно служит Изе конюшной, Нутес, обмахнув ресницами Соловья, подтверждает, что ей необходимы галифе и френч из синего шевиота (вот шевиот) для сцены, что она актриса, что ей рекомендовали гражданина Соловья как недорогого и очень-очень приличного Соловья. И что пусть с нее снимут мерку, так как она спешит.

Она спешит. Она торопливо сбрасывает шубку. У нее длинные серьги, на шее зеленые камни. Она становится перед зеркалом и протягивает Соловью руки, плечи, колени — все, что он спрашивает. А Роза, молчаливая и гневная, вся в шипах, записывает объемы.

— Объем талии — шестьдесят восемь, Розочка,— говорит Соловей.— У вас такая перегибчатая талия,— обращается он к Нутес,— что я просто не знаю, как я ее смогу выразить.

Роза кашляет, и Соловей едва не проглатывает булавку.

— Объем груди — восемьдесят четыре, Розочка,— обморочным голосом объявляет Соловей.

Роза записывает молча. Роза молчит, но так страшно, что Изя начинает плакать, утверждая, что его укусила лошадь.

Нутес снова прячется в шубку и, условившись о дне и часе примерки и окунув ресницы в голубое сияние Соловьиных глаз, исчезает.

«Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях», — мысленно напевает Соловей, исчерчивая мелом синий шевиот. — Объем груди восемьдесят четыре. А ресницы не меньше чем полсантиметра. Просто поразительно». И над синим шевиотом, хоть и очень неважного качества, ножницы летают, нежно щебеча, как ласточки.

Костюм готов и отнесен самой Розой по указанному адресу. Костюм готов, и отнесен, и забыт. Покамест он шился и примерялся, чугунная туча висела над Соловьиным домом. Роза осунулась и от беспокойства и тоски подружилась с женой булочника, Клавдией Макаровой. Изя, предоставленный самому себе, подхватил где-то стригущий лишай. А у самого Соловья глаза поглубели так нестерпимо, что в домоуправлении, когда он вносил квартирную плату за январь месяц, с него ничего не взяли за коммунальные услуги.

Костюм отнесен и забыт.

3

Но вот прошло полгода. И в Успенском переулке весна...

Портной Соловей, ослабевший от дневной работы и весенней истомы, сидя в сумерках у окна, слышит на церковном дворе поцелуи: два долгих и один короткий. Тяжелая прекрасная туча лежит на западе. Но дождя не будет. Разве что упадут теплые капли, одна в минуту. Месяц тонок. Переполнение сердца мучительно. И Соловей говорит Розе:

— Розочка, может быть, пойдем в кино?

Кино «Электрические чары» полно влюбленных. Наступает темнота. Шепот, как ветер, проносится по рядам. Рука в руке, щека к щеке, следят влюбленные за приключениями героев. Вместе с ними они скачут на лошадях, свергаются в пенные водопады, открывают гнезда злоумышленников. Сквозь поющие вентиляторы вливается тонкий воздух весны. И пожарный в задних рядах страшно томится, ощущая вокруг себя незримые пожары.

Сегодня в кино «Электрические чары» идет картина «Наводнение в шахте № 17-бис». Наступает темнота. Световой клин упирается в экран. Действие идет, летит. Преступная рука подготавливает катастрофу. Преступной рукой уже пробито отверстие в шахте, откуда в злополучный час хлынет вода. Но злой умысел разгадан. И в шахте по каким-то воздушным мосткам и переходам, по какой-то паутине из переключателей, прямо по воздуху пробирается женщина, которой суждено предотвратить бедствие.

Влюбленные, тесно, как птицы на телеграфных проводах, сидящие в «Электрических чарах», замирая, слышат крик:

— Мои галифе!.. Держите... Держите...

Шахта № 17-бис исчезает. Вспыхивает свет, и возле голубоглазого человека вырастает милиционер.

— Граждане, — говорит он, — никто отсюда не выйдет, покуда галифе, украденные в замешательстве темноты, не будут возвращены в собственные пострадавшие руки.

— Эммануил, — шепчет Роза, — ты меня оскандалил навсегда и навеки.

— Я извиняюсь, — говорит трепещущий Соловей милиционеру, — я извиняюсь... Совсем не в том смысле... Галифе действительно мои, моя работа. На спасительнице из шахты номер семнадцать-бис. И когда я их увидел в воздухе, я как-то смутился. Большая высота и рискованные движения. Я даже испугался за боковые швы.

— Не за швы ты испугался, Эммануил, — всхлипывает Роза. — За эту женщину ты испугался!.. Жаль, что она не сломала себе шею. Стыдись, семейный человек!

Роза, вся в слезах, спит. Но Соловей, ужаленный любовью, не может спать. Впервые за всю свою семейную жизнь он покидает ночью насиженную ветку и выпархивает за дверь.

Над Москвой полночь, но люди не спят, потому что весна коротка. Над Страстной площадью — россыпь

звезд. Соловей переулками идет к площади, сам того не замечая.

Эту женщину с ресницами в полсантиметра он видел два раза. Первый раз — когда она принесла синий шевиот, второй раз — когда примеряла его. И вот сейчас он увидел ее в третий раз, в воздухе: волосы струились над шахтой, воротник расстегнут, ресницы распахнуты.

Соловей идет ночью один. Впереди — двое. Они идут рука в руке, щека к щеке, они идут согласно, как один человек, но все же их двое и они счастливы. Соловей, понемногу приходя в себя после наводнения в шахте, начинает видеть и слышать. Черная девочка — возможно, цыганка — продает цветы.

— Купите цветочек, — пристаёт она к тем двоим, которые идут впереди Соловья. — Купите розочку, — говорит она юноше, — купите для вашей красавицы, для вашей воздушной симпатии.

И Соловей, в бреду, в электрических чарах, замороженный женщиной из шахты, висящей в воздухе, хотя ему даже не предлагают, покупает для нее, для своей красавицы, для своей воздушной симпатии, красную розу без шипов, прекрасную ночную розу любви. Он несет ее по указанному адресу: Арбат, Николо-Песковский переулок. Он отдает ее дворнику и просит передать немедленно такой-то. К розе приложена записка: «Видел вас сегодня во втором сеансе. Имя не важно, но не забуду никогда».

После чего наступает такая слабость и весь он так дрожит, как будто нес не розу, а паровой утюг. Губы пересыхают, они жаждут свежести, они погибают от лихорадки. И, подойдя к ближайшему ларьку Моссельпрома, Соловей тихо говорит опаленным ртом:

— Прошу вас, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.

1924

ТОСИК, МУРА И «ОТВЕТСТВЕННЫЙ КОММУНИСТ»

Если вам восемь лет, и у вас синие глаза, и одна рука в компоте, а другая в замазке, и если у вас брат, которому пять лет, у которого насморк и который каждые пять минут теряет платок, и если ваша мама ушла на целый день,— то тогда вам жить становится очень трудно.

Муре восемь лет. У нее синие глаза, одна рука в компоте, другая в замазке, у нее брат, у него насморк, мама ушла — жить очень трудно.

Мама уходит на целый день. Она служит. Папы давно нет. В тот год, когда не топили печей и не было хлеба, он поехал за хлебом, заболел тифом и умер. И теперь мама живет одна, а Мура ей помогает. Мамино несчастье в том, что она маленькая и ее никто не боится. Ее легко обидеть, это ясно.

Однажды был такой случай: на кухне разбилось стекло, хотя грязное, но стоит оно шесть рублей. Пришел домком в сапогах и тулупе, осмотрел стекло, заодно чулан, где живут крысы, и говорит:

— Это ведро уберите. Тряпка зачем? Гражданка Сергеева (мама то есть), по выяснении дела — вам вставить стекло. Вы виновница.

— Товарищ Петрищев,— мама отвечает,— какая же я виновница? Меня целый день дома нет. Детишки в комнате сидят.

— Гражданка Сергеева, не возражайте. Ваша рыба стояла за окном. Стояла или нет ваша рыба?

— Стояла рыба,— отвечает мама,— то есть даже не рыба, а сиг.

— Ну, вот. Этот самый ваш сиг разбил стекло.

— Позвольте, как же это возможно?

— А вот так и возможно. Из-за вашего сига окно плохо закрывалось и в конце концов разбилось. Но так как сиг совершенно копченый и неимуций, то потрудитесь заплатить шесть рублей.

И мама заплатила, потому что она маленькая и не умела хорошенько ответить.

И так каждый день какая-нибудь неприятность.

Тосику пять лет. У него всегда насморк, и он чуточку заикается. Каждые пять минут он спрашивает:

— Му-ура, а где мой носиковый платок?

В четыре часа приходит мама со службы, бледная, руки трясутся, и начинает готовить на примусе чего бы поесть.

— Мамочка,— говорит Мура, обнимая ее.— Ты моя маленькая. Ты бедняжечка.

— Ма-амочка, ты *бендяжечка*,— вслед за ней говорит Тосик.

Мура обнимает маму и говорит дальше:

— Дай-ка я послушаю. Мамочка, в тебе опять все переливается, ты опять ничего не завтракала? У тебя совершенно пусто внутри, я же слышу.

Но маме некогда. Они едят быстро, потом мама опять уходит стучать на машинке, но уже не на службу, а «частным образом».

— Му-ура,— спрашивает однажды Тосик,— как это — частным образом?

— А это так: днем мама служит, а вечером уходит к одному писателю, который ей диктует рассказ по частям, потому и называется «частным образом»...

Сегодня день особенно тяжелый. Утром шел снег. Мама встала такая маленькая, меньше, чем всегда. Посмотрела на детей и сказала:

— Надо бы вас в дошкольный сад пристроить, но некогда мне. Не могу я. Устала. Сил нет.

Ушла мама. Мура начала убирать комнату и вдруг увидела, что двух котлет, которые им оставлены на целый день, нет и в помине.

— Тосик,— сказала Мура,— ты съел? Как же ты смог? Когда ты успел? Сразу съел обе?

— Му-урочка, я не сразу. Я съел «частным образом», по частям. По половинкам.

Долго тянется время без мамы. У Тосика насморк, у Муры порвались валенки: гулять невозможно.

— Идем в коридор! Му-ура,— говорит Тосик.— Потихоньку пойдем. Мы не будем мешать.

Коридор длинный, с обеих сторон — комнаты. В каждой комнате люди, совершенно разные. Но хоть они и разные, а все одинаково не любят детей, которые мешают. Однажды Мура и Тосик устроили в коридоре поезд из стульев и поехали. Кресло было паровозом. И славно так поехали, быстро, весело, с крушениями и приключениями. Но из комнаты № 6 вышла товарищ Гилькина с папиросой и чайником, налетела в полутьме на паровоз и разбила пенсне.

Вечером пришел домком, посмотрел мрачно и сказал:

— Гражданка Сергеева (мама то есть), вы своими детьми загромождаете квартиру и даже угрожаете стеклянным предметам. Ставлю на вид.

Мама разволновалась:

— Надо вас непременно в дошкольный сад, но некому похлопотать, а у меня сил нет.

И сейчас Мура и Тосик идут по коридору тихо, пешком, а не в поезде, и разговаривают шепотом. А когда доходят до комнаты № 1, то смолкают совсем. Там, в комнате № 1, живет «ответственный коммунист», самый важный в квартире. Кого он о чем ни спросит, тот должен отвечать всю правду: оттого он и ответственный.

«Ответственный коммунист» работает всю ночь. Всю ночь горит у него свет, и сквозь стекло, вставленное в верхнюю половину двери, видно, какой синий воздух у него в комнате, как много он курит. Утром

за ним приезжает автомобиль с желатиновыми окнами и полотняной крышей, и «ответственный коммунист», надев кожаное пальто, в бороде трубка, проскакивает коридор и уезжает.

Мура и Тосик подходят к самой двери и по очереди смотрят в замочную скважину.

— Ты видишь, Му-ура? — спрашивает Тосик. — Скажи, что ты видишь?

— Мне нос мешает, — отвечает Мура, — но вижу умывальника кусочек.

— И я, и я хочу умывальник, — шепчет Тосик и напирает сзади на Муру.

Мура наваливается на дверь. Дверь распахивается. Мура влетает в комнату № 1, прямо на умывальник, за ней Тосик. А в комнате № 1 за столом сидит «ответственный коммунист», который почему-то не уехал, а может быть, вернулся, курит трубку и пишет.

Оттого что Мура влетела в комнату, упал сначала с умывальника стакан и разбился. Но так как за Мурой летел Тосик, то упал кувшин и тоже разбился. Вода хлынула потоком и подтекла прямо под ночные туфли у кровати. «Ответственный коммунист» встал, Мура заслонила собой Тосика и перевела дух.

— Что это значит? — спросил «ответственный коммунист». На лбу у него образовалась глубокая складка. — Что это за дети? Что это за шалости?

— Мы мамины дети, — сказал Тосик из-за Муриной спины. — А шалости не наши. Это дверинные шалости. Это дверь сама. Му-ура, скажи ему.

«Ответственный коммунист» сделал шаг и увидел Тосика, который от волнения утирал нос Муриным передником.

— А это кто? — спросил он.

— Это Тосик, — ответила Мура, — мой брат. Он маленький. Его надо было бы отдать в дошкольный сад. Но нет у меня времени заняться этим. Устала я. Сил нет.

«Ответственный коммунист» вынул трубку изо рта.

— А вы кто? — спросил он.

— Я — Мура, его сестра. Мама у нас уходит днем на службу, а вечером «частным образом» работает.

А скажите, пожалуйста, почему у вас на макушке волосни одного нету?

— Так как-то случилось,— отвечает «ответственный коммунист» и поглаживает макушку. — Вылезли они у меня.

— Му-ура,— шепчет Тосик за ее спиной,— как же это он говорит — вылезли? Если бы они вылезли, они бы здесь где-нибудь рядом были. Они бы далеко не полезли. Они не вылезли, а внутрь влезли: оттого их и не видно. Скажи ему, Му-ура.

— Сядьте сюда,— сказал «ответственный коммунист» и указал им на стол.

И Мура и Тосик чинно сели по обеим сторонам чернильницы и начали отвечать по порядку, потому что коммунист был ответственный и ему надо было все знать.

Сначала говорила Мура:

— Мама наша с нами занимается по воскресеньям, когда она свободна. Я написала сочинение, интересно вам?

— Очень,— отвечает «ответственный коммунист». — Я очень прошу.

— Ну, так вот... «Скотный двор» называется.— И Мура читает по грязной бумажке, истершейся в кармане: — «Корова — это очень большое животное с четырьмя ногами по углам. Она дает молоко два раза в день, а индюк не умеет, как бы ни старался. Из коровы делают котлеты, а картофель растет отдельно». Дальше я еще не написала.

— Да,— говорит «ответственный коммунист»,— очень интересно... А есть вы случайно не хотите?

— Тосик съел две котлеты «частным образом»,— отвечает Мура,— а я ничего не ела, потому что нечего было.

Тогда «ответственный коммунист» вынимает из шкафа колбасу, мандарины и булку. И в это время звонит на столе телефон из-под Тосика, который положил на него ногу и не заметил этого.

«Ответственный коммунист» берет трубку.

— Я,— говорит он,— да, это я. Что, прийти? Сейчас не могу. Тут у меня очень важное совещание. Сидят два товарища. Сейчас никак не могу.

А товарищи едят и рассказывают.

— Когда я был маленьким,— говорит Тосик с полным ртом,— мне было очень весело. Мы с мамочкой и Му-урой сидели вместе и набусывали.

— Как? — переспрашивает «ответственный коммунист», и видно, что он не понимает.

— Мы набусывали. Скажи ему, Му-ура.

— Он хочет сказать — нанизывали бусы,— объясняет Мура.

«Ответственный коммунист» снимает их со стола, сажает Муру на одно колено, Тосика на другое и делает им из сегодняшних «Известий» роскошный корабль...

Время идет. Слышно, как квартира наполняется людьми. Все возвращаются со службы. За окном синеет. «Ответственный коммунист» зажигает свет и начинает новый корабль. И тогда только Мура вспоминает о маме.

Мура соскакивает с колен и распахивает дверь, чтобы побежать к маме, которая, наверное, пришла. Но за этой самой дверью стоит мама, испуганная, и, видно, прислушивается.

— Мура, что ты тут делаешь? А Тосик где? — страшным шепотом спрашивает она.— Как это вы сюда залезли?

— Ты не бойся, мамочка,— ободряюще говорит Мура.— Не бойся. Мы тут в гостях и даже колбасу уже съели. Идем, я тебя познакомлю.

— Ма-амочка,— подхватывает Тосик с правого колена «ответственного коммуниста»,— иди сюда. Я тебя познакомлю.

И мама входит...

Вечером Тосик и Мура, лежа в постели, беседуют.

— Он хороший человек,— говорит Мура,— я даже уверена.

— Хо-ороший,— сонно подтверждает Тосик.— Как ты скажешь, мамочка? Хороший он?

— Хороший,— отвечает мама.— Очень хороший.

И думает.

О чем она думает?

«БЕСПОМОЩНЫЙ УЧИТЕЛЬ»

В кооперативе от сельдей пахнет Северным морем, от корицы и ванили — далеким югом, где в бархатно-угольную ночь льется свет луны, холодный, белый и сладкий, словно кокосовое молоко, от моченых яблок — маленькими сенями в подмосковном доме в ту пору, когда уже выпал снег и молодые гуси начинают жиреть. Но лучше всего пахнут на отдельной полке в кооперативе мыло и духи. Мыло «Сибирский мускат» и «Букет моей бабушки» пахнут очаровательно: свежестью, теплотой, чисто вымытой розовой рукой младшей сестры. Но духи в тонкогорлых матовых флаконах, но духи «Мечта любви» или «Парижский левкой» пахнут тревожно, уже не сестрой, а любимой, самой любимой. Не сестрой, а той, которая приходит вечером в дождь, у кого кудри мокры и розов рот. Кто приходит один раз в жизни, а иногда не приходит вовсе. Эти духи чистокровно русские, но пахнут Парижем. И хотя Миша Мельников не только в Париже, но даже в Новом Иерусалиме, что под самой Москвой, и там не был, но Миша Мельников, служащий в кооперативе, мечтает о Париже. Миша Мельников, когда никто не видит, берет с полки «Парижский левкой» и жадно дышит им у стеклянной

пробки, там, где натянута лайковая пленка. «Парижский левкой» пахнет опасно, пахнет тревожно, и у Миши начинают гореть уши. Как-то раз он попробовал принести домой пробный пузырек в числе тех продуктов, которые можно было брать в счет жалованья. Но Мишина мать ужаснулась:

— Мишенька, до духов ли в такое время, и особенно в нашей квартире! Ведь люди-то тут какие! Ах, какие люди! Вчера поставила на плиту борщ мясной и пошла себе. Прихожу — борщ кипит, а мяса в нем нет. Вынули, Мишенька, и съели, как индейцы. А то еще случай. Поставила молоко на плиту и пошла себе. Прихожу — а в моем молоке чужая лапша кипит. А если я еще душиться начну, что тогда будет? Не нужно мне духов. Ты бы лучше принес дрожжей побольше, ну и изюму...

Миша хотел сказать матери, что это не для нее души, а для него самого. Да и не для того, чтобы душиться, а так просто, нюхать вечером, когда кристальные звезды глядят в искристое окно. Нюхать и представлять себе Париж, реку Сену под мостами, женщину на Эйфелевой башне. И он, Миша, рядом с ней. Женщина пахнет «Парижским левкоем». Она сама как левкой. Хотел сказать все это Миша, но посмотрел на мать, на ее бородавку на подбородке, которая тоже, очевидно, желала бы дрожжей или, ну там, изюму, и ничего не сказал.

Нюрочка, кассирша в кооперативе, завивает кудряшки, носит вязаную кофточку из верблюда, носит туфельки, а когда холодно, то сидит за кассой в валенках. Она пошла в кино на «Аэлиту» и пропала, — потеряла душевное спокойствие.

— Михаил Петрович, — говорит она Мише утром, когда всего одна только покупательница пришла за русским маслом, — Михаил Петрович, если бы вы видели эту красоту! «Аэлита» царствующая, почти голая, со шлейфом, на голове у нее корона из лучистой энергии. И представьте, они там на Марсе не целуются! Как это ни странно, не умеют. А на Марсе такая жизнь

необыкновенная, Михаил Петрович. Глаза у всех дикие на головах какие-то шкатулки. Странно все так, торжественно, я даже дрожать начала.— И Нюрочка повернула ручку кассы, как будто завела музыкальный ящик. И взглянула еще раз на Мишу.

А Миша поглядел тоже на серые глазки, на ямочки. Все хорошо, прекрасно, но не она, не она, не «Парижский левкой».

Сидит Нюрочка за кассой, вертит ручкой, отрывает чеки, а сама поглядывает на Мишу. Вот он сдвинул брови, вот вынимает сельди из бочки. А сельди безропотны, плоские и тихие, как та треть живой силы, которую замораживали в «Аэлите» на Марсе. Сам же Миша лучше всех марсиан, настоящий земной властитель — Лось. Но Миша не смотрит, но Миша не видит. Что за жизнь...

Лежа в постели и засыпая, Миша думал:

«Я встречу ее, это ясно. Она будет в гарусной шапочке с помпоном. Будет снег. Она приедет из Парижа и заблудится в Москве. Бывает же всякое...»

И вдруг он, не заснув еще, проснулся и сел на постели:

«Да, но как же я заговорю с ней?..»

— Мишенька,— сказал за перегородкой плачущий голос матери,— ты бы не ворочался там. Ведь кровать-то не чужая, своя. Сломаешь ножку — извольте радоваться.

Но невозможно Мише лежать спокойно, когда решается вопрос такой важности — вопрос всей жизни...

На углу Кузнецкого и Петровки всегда толчея, там в большом окне Москвошвея выставлены предметы первой необходимости со скидкой на столько-то процентов. Там продают цветы, газеты. Миша Мельников, по окончании работы в кооперативе, делает крюк, чтобы пройти там. Он идет не спеша, но все-таки быстрее всех: такое уже устройство ног. Куртка сурово запахнута, в одном кармане дрожжи, в другом изюм. Казалось бы, нет места мечте. Но она в нем. И вот однажды, прохо-

дя этим самым местом, он услышал хрипловатый голос:

— Пожалуйте, граждане. Необходимейшая вещь. Беспомощный учитель иностранных языков. Вместо двух с полтиной двадцать копеек. Пожалуйте, граждане. Беспомощный учитель. В течение трех месяцев без всякой посторонней помощи будете изъясняться. Прошу обратить внимание, граждане. Вместо двух с полтиной двадцать копеек.

Миша вздрогнул. Миша подошел. Миша унес на груди, как голубя, «беспомощного учителя» французского языка, купленного на последние двадцать копеек, чтобы «изъясняться».

Пусть вынимают мясо из борща, пусть кипятят лапшу в чужом молоке, пусть у матери флюс, пусть Нюрочка худеет и уже два раза приняла три червонца за пять и наоборот, — пусть. Не все ли равно. Миша Мельников может уже назвать по-французски все предметы в комнате и дошел до глаголов «авуар» и «этр»¹.

Труден чужой язык. Глагол «этр» похож на ерша. От него сохнет во рту. В теле испарина. И все-таки непонятно, почему из «этра» выходит «же сюи».

Но Миша, но Миша без всякой помощи одолевает его. Теперь он уже при встрече с «Парижским левкоем» в гарусной шапочке сможет спросить:

— Как ваше здоровье? Как поживает гражданин ваш отец и гражданка ваша мать?

Миша склоняется над «беспомощным учителем». Русая прядь закрывает сослагательное наклонение. Миша спит. Труден был день в кооперативе по случаю учета товаров. Но даже во сне веет на него «Парижским левкоем», и он просыпается, трет серые глаза и снова:

— Если бы я мог, если бы ты мог, если бы он мог.

О, если б он мог!

Но бывает же так, что вот даже в Новом Иерусалиме не был и в кооперативе служит, а вот сбывлась

¹ Avoir — иметь, être — быть (франц.).

мечта. В Столешниковом переулке Миша Мельников увидел гражданку в гарусной шапочке с помпоном и сразу понял, что она приехала из Парижа и заблудилась в Москве. Миша подошел и снял шапку. И снег первой метели покрыл его голову. Из-под вязаной шапочки глядели на него большие левкойные глаза, шапочка пахла «Мечтой любви». Это была она.

Миша вобрал в себя воздух, потом выдохнул его. Наступила страшная минута, одна за всю жизнь. Минута и страшная и блаженная. И Миша, чувствуя, что овладевает им оцепенение и сладкий ужас, подобный смерти, Миша преодолел все это нечеловеческим усилием. Как замерзающий лебедь, разбил он крылом лед и выплыл на простор. Он вспомнил все, он выбрал лучшие фразы из «беспомощного учителя», лучшие согласования, он вспомнил чудесные французские слова. Он составил огромное необычайное предложение с «авуаром» и «этром», вспомнил все предметы в комнате, бросил их туда же, как охапку цветов, и обрушил все это на гарусную шапочку. Она молчала. Он склонился еще ниже. Он спросил ее, как поживает гражданин ее отец и гражданка ее мать. Но она, очевидно, была сирота и молчала. Тогда он сделался красноречив, он понял, что она боится его высоких сапог и кожаной куртки, взятой из кооператива по ордеру, что она с ее французской застенчивостью испугалась его громкого русского голоса и что надо завоевать ее доверие. Он взял ее маленькую ручку, он спросил ее, правда ли, что в саду ее соседа растут персики и что кошка ее дяди боится собак? Она молчала. Тогда он, приходя уже в отчаяние, спросил ее, не хочет ли она есть. И так как она все-таки молчала, то он сделал вид, что откусывает кусок, жует и глотает его. Она кивнула головой.

Он знаком велел ей ждать, метнулся туда, сюда. Увидел вдали женщину с булками, лихорадочно купил какую-то ватрушку (а больше денег не было) и принес ее шапочке. Шапочка терпеливо ждала. Он подал ей ватрушку, она взяла ее, закусил острыми зубками и даже засмеялась от радости. Он ждал, пока исчезнет последний кусок. Он не знал, что делать теперь. Он

понимал, что надо расстаться, что встреча не вышла, что она не поняла его, ибо «беспомощный учитель» оказался негодяем и лгуном и не принес ему помощи. Он поклонился.

— Адье пур тужур ¹,— сказал он.

— Адье,— ответила она.— Иностранец, а душа добрая, русская...

Миша Мельников покачнулся.

Не она!..

1925

¹ Adieu pour toujours — прощайте навсегда (франц.).

ЭТА ПЕСНЯ

Весна, весна в Париже. Вчера светло дымился слабый, прозрачный, как бы выздоравливающий дождь. Сегодня дождя нет, все стало ярче, свежее, больной выздоровел окончательно, влажность исчезла. Фиалками, пармскими и простыми, голубыми и синими, завалены цветочные тележки. И, купив за франк пучок, вы можете вдохнуть аромат южного побережья Франции, соль моря и сахар луны. Купив за франк пучок, вы можете также полюбоваться старой Маргеритт, продающей фиалки. Она коричневая, сморщена и стара, как яблоня в провинциальном саду; ее щеки покрыты красными жилками, как яблоко. И глаза ее молоды и золотисты, как сидр, когда, в августе, он играет в стакане.

От весны ее старые кости просят покоя, от весны ее разморило, как от теплой ванны. Она дремлет, улыбается, вздрагивает и продает фиалки по франку за пучок.

Само собой разумеется, что на улице Коперника, вблизи Елисейских полей, тоже весна. Коперник был велик, его слава была велика. И вот теперь, после смерти, его память почтили недлинной улицей, которую сейчас, в данную минуту, солнце и тень поделили пополам, ибо настал полдень.

Гостиница, где живет Иван Маврикиевич, находится в тени. Тень, голубая и синяя, как фиалки, стоит под самым окном. Она стоит долго, потом начинает перемещаться медленно и неуклонно. И вот уже первые ниточки солнца ползут по ковру и доползают до головы Ивана Маврикиевича, склоненной над письменным столом. А стол смешон, просто комик. Ножки у него гнутые и тоненькие, дерево красное, как вишня, и замочную скважину оплели бронзовые веточки. Не то амуры, не то стрекозиные крылышки трещут на его спинке возле перламутровых украшений. Внутри стол выложен шелком, он стегано-шелковый, в ямочках, словно детское одеяльце.

В стеганом одеяльце, в тепле, как недоношенный ребенок, всю ночь лежал доклад. Иван Маврикиевич живет в Париже не зря. Он большой спец по автомобилям и послан сюда Москвой по автомобильному делу. Он готовит для Москвы отчет о новейшем французском изобретении: оно состоит в том, что у автомобиля втыкается в землю упор. Колеса приподымаются над землей, и вся машина может, не поворачиваясь боком, вдвинуться в ряд других машин и занять предназначенное ей там пространство. Культура подлинная, со всеми ее хитростями, выработанными веками, вся она тут.

«Хитро придумано, — размышляет Иван Маврикиевич, налегая локтями на гнутый столик, отчего тот начинает шататься, как жеребенок, на которого взвалили двигатель внутреннего сгорания. — Хитро. И вообще понимают эти французы в машинах, грех жаловаться, понимают. Они машину наизнанку вывернут, а доберутся, чем она дышит. И вообще славно, ей-богу, что я в Париже: и приоделся и культуры хлебнул. Ну, и приоделся! Приеду в Москву, а на мне башмак американский, кеши бельгийское, костюм английский, чемодан немецкий: настоящий француз».

— Ты спишь, Иван? — гудит за дверью осторожный голос. — Спишь? А я уже всюду побывал. Весна такая, что нет спасенья. Да ты спишь или нет?

— Да не сплю я. Видишь — работаю.

И Иван Маврикиевич впускает к себе в комнату товарища своего и коллегу по автомобильным делам.

Тот тоже из Москвы и тоже «хлебнул культуры». Брюки на нем узкие сверху и широкие внизу. Короткий пиджак, галстук фантази и над всем этим непобедимомосковское выражение лица со славянским носом.

— Думаешь ли ты, Иван,— начинает «коллега», жмурясь от солнца, уже окончательно завладевшего комнатой на улице Коперника,— думаешь ли ты о том, что мы в самом скором времени возвращаемся в Москву и что хорошо бы нам привезти что-нибудь интересное, культурное что-нибудь. Чтобы оно и техники касалось, и искусством пахивало бы. Хорошо бы. А?

— А разве есть такое? — спрашивает Иван Маврикийевич, снова укладывая в стеганый шелк свой доклад.— Есть такое, думаешь?

— Например, карманный граммофон — последнее слово техники. Места не занимает совершенно и играет все, что угодно. Что ты на это скажешь?

— Да что скажу: занятно. А как его, черта, везти? Запрещено ведь.

— А мы объясним. Не для спекуляции небось. Объясним. Скажем: культурное достижение. А представляешь, как он нам будет играть вечером, зимой? Запоет, мерзавец, как соловей.

У Ивана Маврикийевича глаза начинают мечтательно блестеть, и он нежно склоняется над красным столиком. Он представляет себе глубокий и снежный московский вечер, вечернюю комнату, обогретую лампой и самоваром, журчанье сытого калорифера — и европейскую штучку рядом с самоваром, которая поет, как птица, как соловей. И кроме того — машина. Родная вещь, знакомая...

Иван Маврикийевич по-французски слабоват. Что касается автомобильных терминов, то это он с трудом, но может. Но обыкновенных «вежливых» слов не знает никаких. Товарищ его почти в таком же положении. Но так велика уверенность их голосов, так отчетливы движения рук, что приказчик в граммофонном магазине понимает их.

Магазин полон поющих и играющих машин. Вращаются черные и коричневые мелкошершавые диски. Сапфирные и простые иголки впиваются в них, и от

вращения возникает мелодия. В глубине магазина — отдельные кабинки, обитые сукном. Оттуда несутся Дебюсси и Скрябин, Мистенгет и Морис Шевалье... Приказчик, поняв обоих автомобильных товарищей, немедленно выкатывает им граммофон. Но какой!.. Огромный, роскошный. Он же граммофон, он же лампа. Покуда лампа горит, он играет.

— Ишь ты, — говорят враз оба товарища. — Куда нам такой! Нет, это не про нас. Нам что-нибудь «плюпти», махонький граммофончик для домашнего употребления.

И показывают рукой желаемый размер.

— Аа-оо, — говорит приказчик. — Понимаю. — И вынимает маленькую штучку, на вид совершенно ничтожную, круглую, как банка, и плоскую.

— Вот-вот. Размер вполне подходящий. А действительно ли он играет? И какой у него звук?

Приказчик отлично понимает. Вообще приезжие из Советской России могут не беспокоиться. Это как раз то, что нужно. Микифон (его зовут микифон) играет прекрасно. Сам президент Думерг постоянно носит его при себе и в свободные минуты заводит пластинку «Валенсия». Не угодно ли послушать.

И микифончик зажужжал, как комар перед дождем, зажужжал болотно-сладко и томительно.

Товарищи переглянулись.

— Хорошо, не правда ли, месье, замечательно?.. И какой звук!

— А не может ли он... этого... чего-нибудь погромче? — нерешительно выговорил Иван Маврикиевич. — А то ззз-ззз, а в чем дело — непонятно.

— Если месье угодно, — зажужжал в свою очередь приказчик, — то можно поставить новейший чарльстон. Вы услышите, какая сила.

И из маленькой штучки посыпались свист, щелканье и металлические удары, отбивающие ритм.

— А не может ли он, — заговорил, стесняясь, Иван Маврикиевич, — не может ли он (тут он ткнул пальцем в усовершенствованный микифон) сыграть что-нибудь подходящее, наше что-нибудь. «Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян», например?

— Не знаю,— с сожалением сказал приказчик.— Названье совершенно незнакомое, хотя русские вещи у нас имеются в изобилии.

— А это,— и Иван Маврикиевич с увлечением запел на весь магазин:— «Вставай, проклятьем заклейменный». Ведь это мотив интернациональный. Он так и называется «Интернационал».

На эти звуки из скрябинской кабинки выглянула испуганная голова и скрылась.

— О-о,— только произнес приказчик и стал поспешно складывать микифон.— За такую песню, за эту песню могут быть такие неприятности!..

— Катись отсюда,— обратился Иван Маврикиевич к товарищу.— Неподходящий он для нас...

Старая сморщенная Маргеритт, продающая фиалки на углу улицы Коперника, проснулась от весенней дремоты. Ее разбудили два голоса, поющие песню. Два человека, два нефранцуза, шли мимо и пели. Маргеритт прислушалась, она узнала мотив. Ее коричнево-золотые глаза заиграли, как сидр в стакане.

— Камрад,— сказала она,— вот фиалки. Из Ниццы, франк пучок. Но за такую песню, для вас, за эту песню — бесплатно.

И она протянула два пучка.

ЕЖОВЫ РУКАВИЦЫ

Ежи бывают большие и маленькие. Они сплошь заросли иголками, и, для того чтобы ухватить их рукой, надо на каждый палец надевать наперсток. Ежи зимой спят, а летом едят змей и запивают их молоком. Маленькие ежата рождаются мягкими и твердеют постепенно, как каштаны.

Спору нет, очень хороши жирафы. Ими можно обматывать паутину в самой высокой квартире. Замечательны морские звезды, похожие на окаменевшую манную кашу. Но они не могут сравниться с ежом. Во-первых, все они заграничные и живут в джунглях, за исключением морской звезды, которая хотя по профессии звезда, но по образу жизни — губка. А еж — настоящий родной зверь, совершенно не гордый, живет где угодно под Москвой и несколько этого не стыдится. Но самое главное, что из ежа делают рукавицы.

Ежовы рукавицы практичны и удобны. Они не рвутся. Они не пачкаются. Потом, например, так: человек ест вишни. Он опускает руку в корзинку и вынимает ее, сплошь утыканную вишнями. Кушайте, пожалуйста! Или так: человеку необходимо отчистить пальто от сохлой грязи, а щетку у него украли. Тогда он надевает рукавицу (ежову) и чистится.

Ежовы рукавицы появились внезапно и внезапно же поразили одно воображение. Это было маленькое восьмилетнее воображение. До трех часов оно усиленно питалось в детском саду, а после трех — голодало дома до самого вечера, когда появлялся старший брат, Костя. В остальное время маленькое голодное воображение, сидя в мозгу своего обладателя, Шурика, бродило по квартире и часто попадало на кухню, где, как известно, очень много всякой пищи.

На кухне говорили главным образом о том, кого следует омолаживать. Почему-то этот вопрос больше всего интересовал и Марфу Степановну, кухарку, и Шурикину тезку, маникюршу Шурочку, которая чистила свеклу в перчатках, и Евграфа Петровича, бывшего полотера. Вследствие ревматизма он вышел в отставку и стряпал для семьи дочери.

Так и в этот день Шурик, приближаясь к кухне, слышит знакомый разговор.

— Омолаживают, — громко говорит Марфа Степановна, грохоча чем-то железным, — а кого омолаживают, неизвестно! Иного не то что омолодить, плюнуть на него жалко! Взять хоть, к примеру, мясника Прокофьева-младшего. Ты телятины спрашиваешь, а он тебя на котлетный фарш сворачивает. Ты у него мозговую кость, а он тебе пустопорожний хрящ. Это что ж такое? Одно спасенье, что стар, помрет скоро. А омолоди его, так он тебе запоет та-акие цены!..

«Как она права! — думает Шурик в коридоре, прислонясь щекой к половой щетке. — Мясника, конечно, не стоит, но хорошо, например, омолодить старую Костину шубу и превратить ее в молоденький полушубок».

— Омолаживать следует человека солидного, не меньше чем по двенадцатому разряду тарифной сетки, — говорит Евграф Петрович, возясь, очевидно, над чем-то скользким. — Это и государству выгодно, и родным приятно. Марфа Степановна, объясните, отчего это я жабра у него не ухватываю?

— Есть у меня один клиент, — быстрым говорком докладывает Шурочка. — Очень умный, заведует коопе-

ративом, ногти замечательные, как изумруды, один в один, кроме большого на левой руке: крысоловкой отхватило. У них в кооперативе крыс сверхъестественно много. Прекрасная личность, но немолодая — и хочет жениться. Как быть?

«Очень интересно, — продолжает думать Шурик, — но я бы лично не согласился омолодиться. Это значит опять молочные зубы. Кроме того — корь».

В коридоре тихо и темно. А рядом за дверью, на кухне, все живет полной жизнью. Оттуда доносятся звонкие голоса кастрюль и визг старой мясорубки. Оттуда плывут горячие пышные запахи, которым нет названья.

Шурику становится печально в его коридорном одиночестве, и он входит в кухню.

— Здорово, товарищ, — приветствует его Евграф Петрович, блестя от жара, как самый блестящий паркет. — Как жизнь?

— Жизнь известная, — бормочет Марфа Степановна, тыча вилкой в чье-то крыло. — Беспризорная сирота, ни отца, ни матери.

— Матери у меня вообще не было, — отвечает Шурик, присаживаясь на табурет. — А был папа, но как-то не сохранился. Остался один Костя.

Шурик собирается рассказать еще кое-какие подробности из своей жизни, но в это время у плиты разгорается ссора.

— Что вы мне вашим судаком мелькаете? — внезапно обрушивается Марфа Степановна. — Тут птица тушится, утка, можно сказать, а вы заняли лучшую дырку, а поленьев небось не подкладываете. Поленцев-то я и не вижу.

— Я, Марфа Степановна, ссориться с вами не намерен, — с достоинством, сквозь шипенье и бульканье, отвечает Евграф Петрович. — Каждый питается по своим достаткам. Одни — утку, другие — судака. А плита у нас для всех коллективная. — И, говоря это, он старается продвинуть своего судака к центру.

«Я раньше не понимал, что значит слово «судачить», — думает Шурик. — А оно происходит от судака. Суда-

чить — это когда ссорятся из-за судака. Теперь я понимаю».

— Нет, гражданин,— свирепеет Марфа Степановна,— в это место уж вы не суйтесь: не про вас оно писано. Распустились тут. Раньше вас в ежовых рукавицах держали.

В е-жо-вых ру-ка-ви...! Вот оно что!

Шурик сидит в комнате один. За окном вечер. Воздух синь, но еще синее снег. Аптека насупротив начинает сиять и светиться и отражает в своих шарах улицу вниз головой.

Шурик сидит, и одиночество обволакивает его. Он не знает этого слова, но ощущение понятно ему. Ощущение, когда комната становится чрезмерно большой для одного сердца. Тени бегут, огни чужих аптек сияют не нам, и единственное родное существо — на другом конце земли или на другом конце улицы (это все равно)— сурово зарабатывает пропитание.

Наконец, истомленный сиянием чужих аптек, Шурик встает и, вежливо стучась, входит в комнату своей тетки Шурочки, чье назначение на земле — приводить всяческие мусорные ногти в полном смысле в блестящее состояние. Шурочка тоже сидит у окна и тоже смотрит на аптеку. И тут Шурик спрашивает ее, что она думает о ежовых рукавицах.

— Да что вы! — отвечает Шурочка.— Да разве это мыслимое дело, чтобы из ежа?.. Да что вы? Кто же это станет носить? Шофер какой или водолаз? А частное лицо не выдержит. Это если кто кого тиранит, так, чтобы изобразить колючее обращение, говорят: ежовы рукавицы.

У старшего брата Кости — гостя. Замшевые лапочки, закутана в шелковый котик, сидит с ногами на диване, на шапочке усики. Наступила ночь. Шурик одним глазом спит, другим — слушает разговор. Разговор неприятен. Костя непрерывно курит, и голос у него — как «американский житель» в трубочке: то взлетает кверху, то падает на дно.

— Предположим, — говорит Костя, — предположим, что вы катались с этим типом из деловых соображений. Все бывает! Но почему вы сидели так близко друг к другу? Тоже из деловых соображений?

— Это дело мое. Не обязана отчитываться!

— Но вы катались?

— Каталась.

— Почему же с ним, а не со мной?

— Рожденный ездить в трамваях не может мечтать о такси.

— Прекрасно! Значит, конец?

— Поцелуйте меня, — говорит гостья, — вы так хорошо сердитесь...

Она уходит. И хотя за окном явственно фырчит какое-то такси, Костя, с головы до ног купленный по дешевой цене (один поцелуй), рабски надевает ей ботики.

Шурик против этого. Эта гостья ему неприятна. Он хочет, чтобы она ушла как можно скорее и как можно бесследнее. Чтобы она не возвращалась.

Костя взволнован.

— Я был счастлив видеть вас у себя, — говорит он.

Гостья спешит. Она уходит. Она почти ушла. Ее трогают за рукав. Она оборачивается. В ночной рубашке, с длинными робкими ресницами, стоит Шурик. Он шаркает босой ногой. Он взволнован.

— Я был счастлив видеть вас у себя, — говорит он. — Но вот вы забыли... — он подает ей замшевый клубочек перчаток, он тяжело переводит дух, — вы забыли ваши... ежовы рукавицы.

ЛЯЛИНЫ ИНТЕРЕСЫ

Лифт был стар и очень одинок в своей клетке. От беспрерывного шатанья по этажам он ожесточился, начал свирепо щелкать задвижкой и при спуске тихонько подвывать, как раненый волк. Иногда он окончательно выходил из повиновения и повисал между этажами, хмуρο поглядывая на людей, ползущих по лестнице.

В поводырях у лифта состоял Яков Митрохин, одиннадцати лет, неизвестно чей сын. Он пришел со двора, полюбился ночному сторожу и остался при лифте. По данной ему от домовой конторы инструкции, Яков Митрохин никого в лифт самовольно не допускал, каждого желающего подымал сам и взыскивал с него, опять-таки согласно инструкции, пять копеек.

В долгие вечерние часы, когда за дверью шипела, выла и всячески бесновалась вьюга, Яков Митрохин, бессменно дежуря у лифта и дожидаясь людей, ушедших в гости или в театр, размышлял о жизни. Он размышлял о жизни, о том, что у него валенки прохудились, что ночной сторож Митрофан Авдеич, взявший его в сыновья, дерется больно и, главное дело, зря и что хорошо бы найти карандаш и заняться наукой. Он снова и снова рассматривал лифтовое устройство, его внутренности, его диваны, его кнопки. Особенно одну, краснень-

кую: если нажать ее покрепче — лифт останавливается на полном ходу. Очень интересно.

По вечерам, когда взрослые уходили в театр или, смиренно сидя у себя дома, поили гостей чаем, к Якову Митрохину наведывались для разговору со всего двора какие-то шапчонки и тулупчики и даже забредал иногда один бархатный капор шести лет, по имени Ляля. Лялина мама, полная, похожая на круглый комод, очень огорчалась этим знакомством и говорила:

— Ляля, это же беспризорный в полном смысле слова, вытри нос! Он может убить и украсть, не соси палец! Разве мало у тебя других знакомых?

Яков Митрохин, слыша такие слова, укоризненно пофыркивал, однако молчал.

Лялина няня, почтенная старушка, еще больше убивалась:

— Лялечка, да брось ты, да не смотри ты на него! Подумаешь, что нашла! Лифтяной мальчишка он, а у твоего папы письменный стол весь кожей крытый, и ты сама какао кушаешь каждый день. Тыфу, сокровище! Разве он тебе компания?

Но беленькая кругленькая Ляля, похожая на пугицу, непременно норовила пройти мимо Якова Митрохина как можно ближе и улыбалась ему.

Однажды внизу у двери лифта, там, где обыкновенно вывешивались все объявления по дому, появилось еще одно — следующее:

«Все дети, которые из этого дома, приглашаются на засиданье к завтраму дню в шестом часу под лестницей, где лежит тулуп. Очень важные будут предложения. Вход без платный. Если из соседних домов, то за вход два мятных пряника».

Подписи не было.

Первая обратила на это внимание Лялина мама.

Она прочла объявление сквозь пенсне, потом пристальным взглядом и тут же позвонила в домовую контору на втором этаже. Вышел помощник завдомом.

— Вы что же это, товарищ Поляйтис? — сказала Лялина мама. — Как же вы допускаете подобное? — И она ткнула ридикулем в объявление. — У нас раз-

вращают наших детей, а вы молчите. Почему вы молчите? Конечно, моя Ляля не пойдет, не в это дело, но как принцип?

Товарищ Поляйтис присмотрелся, высморкался и возразил:

— Не вижу ничего такого, гражданин. Дети имеют право организоваться для защиты своих профессиональных интересов.

Лялина мама захлебнулась от негодования и проскрежетала:

— Какие там интересы, когда у них носы всегда мокрые! Я больше чем уверена, что это Юрка писал из восемнадцатой квартиры. А еще сын старшего делопроизводителя.

Старший делопроизводитель Селезнев, мрачный человек с большими почечными лоханками, искоса взглянул на объявление и подумал:

«Узнаю руку Юрия. Что такое растет из него, не пойму! Авантюрист какой-то типа Пилсудского».

Дети объявления как будто не замечали. Только по лестнице сделалось необычайно грязно от маленьких натоптанных следов, а в соседнем кооперативе спрос на мятные пряники настолько превысил предложение, что со склада был прислан свежий запас вышеупомянутого товара.

Ночь прошла спокойно, но утро уже было тревожно.

Прежде всего приехала молочница и сообщила, что на дворе завируха, зги не видать, так что она свою лошадь чуть не впрягла хвостом вперед, и что вследствие этого молоко подорожало на копейку. Ощущение стихийного неблагополучия нависло над домом. Но Селезнев все же пошел на службу, унося в портфеле диететический завтрак, а Лялина мама отправилась к частнику Лапину проверить молочное осложнение.

Детское население сидело по своим комнатам и вело себя подозрительно тихо.

В шестом часу, когда большинство родителей, утомленные службой, метелью и обедом, прилегло отдохнуть, роняя из ослабевшей руки газету, небольшие тени замелькали вниз по лестнице, совершенно очевидно направляясь туда, где лежал тулуп.

Лялина мама, выстояв в молочном час в очереди и установив, что молоко действительно подорожало, а творогу нет вовсе, тоже прилегла на тахту среди великого множества подушек, по преимуществу круглых, величиной то с автомобильное колесо, то с чайное блюдце. Няня на кухне спорила с прачкой о том, что есть бог. Центральное отопление тихонько посапывало. Как вдруг хлопнула дверь.

Лялина мама вскочила и убедилась, что ее дочь, Елена Егоровна Антонова, исчезла.

Лялина мама накинула на себя что попало и ураганным образом позвонила в противоположащую парадную дверь. Открыл ее сам старший делопроизводитель Селезнев с грелкой.

— Моя Ляля ушла, и Юра, я думаю, тоже, — сказала Лялина мама. — У них там под лестницей совещание, профессиональные интересы, одним словом, — готовая ангина.

Старший делопроизводитель Селезнев ответил брюзгливо:

— Юрия моего нет. Очевидно, тоже там. Предполагаю даже, что это его затея. Сейчас надену пальто.

Они вышли вдвоем и начали спускаться. В это время старчески заохал лифт, ковыляя с седьмого этажа вниз. Яков Митрохин, заметив идущих, остановил машину, сухо щелкнул задвижкой и сухо сказал:

— Пожалте.

Внизу, в маленькой комнате, где лежал тулуп и шланг для поливки улиц, впавший в зимнюю спячку, набилось столько детей, что передохнуть нельзя было. Мятой пахло, как в аптеке.

Юра Селезнев, стоя на старом стуле, собирался председательствовать. К нему то и дело подбегал за справками его помощник, Виктор, двенадцати лет.

— Юра, тут девочка с соседнего двора с грудным пришла. Может он ей передать свой голос или нет?

Грудной младенец в эту минуту сам подал голос, да так, что все чуть не оглохли.

— Товарищи, — старался перекричать его Юра, — товарищи, довожу до общего сведения, что только тот, кто сам ходит, может голосовать! Остальные воздержи-

ваются. Голоса не передаются. Прошу ораторов записываться. Времени немного. По вопросу о перевыборах родителей.

Ляля, бледная, с блестящими глазами, протиснулась к Виктору и тихонько сказала:

— И меня запишите! Хочу высказаться. Пишите: Ляля с пятого этажа.

— По какому вопросу, товарищ, собираетесь высказываться?

— По вопросу о шерстяных панталонах, которые кусаются, чтобы не носить их. И еще по разному поводу.

Юра постучал пряником о подоконник и начал:

— Товарищи, хочу сказать несколько слов. Всякие люди — металлисты, продавцы, даже чистильщики сапог — имеют свой союз, который их защищает от эксплуатации, а мы, дети, ничего этого сделать не можем. Каждый родитель, будь он отец или мать, особенно если он с больными почками, издевается над нами как хочет. Так дальше не может продолжаться. Предлагаю выставить ряд требований и выработать лозунги, созвучные эпохе. Кто за, кто против, кто воздержался?

— Тут Яков Митрохин записан, — сообщил Виктор, — по вопросу о том, чтобы не бить в ухо. А его нет.

Юра проникательно нахмурился и сказал:

— Занят небось. Он даром не убежит. Значит, дело есть важное. Сохранить за ним очередь.

Заседание было бурное. Вопросов было много, и все такие наболевшие, что молчать нельзя было. Говорили о том, что взрослые чересчур много о себе воображают и даже запрещают детям играть в коридоре в коммунальных квартирах, что совершенно недопустимо. Говорили о том, что мыть башмаки в лужах необходимо, и еще всякое разное...

Защита детских интересов впервые была поставлена на профессиональную почву...

Полтора часа провисел лифт между третьим и четвертым этажом. Напрасно Лялина мама стучала и металась, напрасно старший делопроизводитель Селезнев держался за почечную лоханку, Яков Митрохин на все

возражал, что у лифта нутро больное, что ничего он поделать не может: повисит — и сам отойдет.

Когда Лялина мама, полумертвая от волнения и напряженного ожидания, вернулась наконец к своим круглым подушкам, она увидела Лялю, сидящую за отцовским письменным столом. Большим синим карандашом на большом листе она выводила лозунг, очевидно выработанный на собрании:

«Дети, будьте осторожны в выборе родителей!»

Лялина мама от ужаса позеленела.

На другой день через няню она получила письмо. Ее поразило, что в грязном конверте лежало нечто круглое. Она вскрыла его. В нем находился большой замусоленный пятак. Записка гласила:

«Гражданка, возвращаю вам пятак за лифт. По справедливости. Держал я вас в нем нарочно, чтобы ваша дочь Ляля могла высказаться про все свои интeресы.

За неграмотного Якова Митрохина

Юрий Селезнев.

ВРЕМЯ АБРИКОСОВ

Так как наступило время абрикосов, то мне хотелось бы высказать несколько мыслей по поводу того, как *не надо* варить варенье. Ибо в жизни иногда очень важно знать, как не надо делать то или иное.

Итак, варенье. Все это происходило давно, у моря. Я отчетливо помню белый домик, обмазанный глиной. Террасу обвивал виноград «изабелла». «Изабелла» обещала гигантский урожай. Но все надежды разрушили воробьи, которые шутя в два дня склевали его, как только ягоды начали покрываться стыдливым румянцем юности.

В одно нежное утро, пахнувшее теплым морем, рыбак принес нам несколько больших камбал в бородавках. Мы предпочитали их всем рыбам по той причине, что у них мало внутренностей, никакой чешуи и жабры легко вынимаются. Уже прощаясь, рыбак сообщил, что созрели абрикосы и что его брат, фруктовщик, принесет нам сегодня первую партию.

Сначала все шло как следует. Абрикосы не угрожали ничьему спокойствию. Они были смуглы и задумчивы. Кто мог предположить, что под их бархатной шкуркой скрываются такие острые когти? Дни были безоблачны, а по ночам прямо от нашего дома протягивалась по

морю лунная дорожка, и даже не дорожка, а настоящее шоссе, вымощенное маленькими волнами и политое луной. В такие ночи Кика говорил:

— Вот если идти прямо по этой полосе, то можно прийти в Константинополь.

Но так как никто не знает еще, кто такой Кика (а он и есть герой абрикосовой эпопеи), то я сейчас представлю его. Кике двадцать два года, он почти врач и знает чудесные латинские слова, от которых самые противные болезни звучат, как цветы. Так, например, ячмень, тот самый, что бывает на глазу, называется «гордеолум» (*Hordeolum*). А такая прозаическая и даже смехотворная часть тела, как ягодицы, носит прекрасное название «глутеус» (*Gluteus*), что определенно напоминает глицинию. Кика был старший среди нас. Всего нас было пять человек, и всем вместе, включая и Кикку, было девяносто пять лет.

Кика был человек недюжинный и даже гениальный. Это он придумал класть в сандалии дубовые листья, что, по общему мнению, чрезвычайно охлаждало ступни. Это он на спине каждого из нас собственноручно каллиграфически вывел инициалы и покрыл их бумагой от марок. И, в то время как все тело коричнево загорало, буквы на спине ослепительно сверкали. Это он, наконец, открыл, что лучшим средством от несчастной любви является огород, в частности, тыквы, которые требуют долгого и бдительного ухода.

Но и великий человек делает ошибки. Никто не знает, на чем ему суждено сорваться. Кика сорвался на абрикосах.

В этот год абрикосовый урожай был очень обилен. Земля не поскупилась на этот очаровательный плод, который становится ужасным, когда его слишком много. Несчастье началось с того, что абрикосы все дешевели и дешевели.

Брат рыбака каждодневно приносил нам большие корзины. Каждый день цена на них падала обратно пропорционально их величине. Наконец наступил несчастный час, когда корзина абрикосов превратилась в премию к камбале, большой и тяжелой, как поднос с посудой. И вот тут-то Кикку осенило.

— Необходимо,— сказал он,— варить варенье.

После обеда, когда посуда была вымыта особым способом — морской водой и страницами старого учебника по неорганической химии — и сохла на скалах, Кика рассадил нас в строго обдуманном порядке.

— Вот абрикосы,— сказал он,— и вот булавки. Вы берете в левую руку абрикос, в правую — булавку и, равномерно поворачивая, покрываете его дырочками. В таком виде плоды будут отнесены в погреб, где и простоят до завтрашнего утра. Завтра мы снимем с них кожу и будем варить.

— Кика,— нерешительно начала Катюша, его младшая сестра,— а не наоборот ли? Мне кажется, что если мы сначала наколем, то потом мы не сможем снять кожу. Впрочем, как хочешь.

Кика не удостоил ее ответом и начал колоть.

С самого начала меня томило предчувствие несчастья, и действительно, несчастье случилось. Я колола булавкой, как и все. Но, заглядевшись на необыкновенно красивого червя, вылезшего из одного абрикоса, я уронила свою булавку, и так как другой не оказалось, то я взяла тоненькую иголку. Был закат. Море было почти белое, как шелк. Только тот, кто бывал на юге, знает, что это значит. Далеко, почти на самом горизонте прошел пароход. Быть может, он шел в Константинополь, и никакие водяные лыжи не могли уже догнать его. Глядя на все это, я продолжала колоть. Странное ощущение легкости вдруг поразило меня. Я взглянула на свою руку и увидала только половину иголки. Совершенно очевидно, что тонкая иголочка сломалась, оставив свою нижнюю конечность в сочном абрикосе. Бесплезно было искать, в каком именно. Их была целая груда, и она росла с каждой минутой.

«Да,— сказала я сама себе,— варенье будет прекрасно, но оно будет опасно, оно будет смертельно».

Наконец тяжелая работа накалывания пришла к концу. Абрикосы приобрели такой вид, как будто им всем привили оспу, и мы отнесли их в погреб, после чего вышли в море на килевой лодке и выслушали лекцию Кики о том, какие бывают разновидности ветра.

На другой день абрикосы вспухли и потемнели.

— Прекрасно,— сказал Кика, рассматривая их.— Теперь будем снимать с них кожу.

Увы, кожа не снималась. Наоборот, она теперь сидела крепко, как никогда. Решено было варить с кожей.

— Кика,— робко сказала я (у нас не в обычае было противоречить предводителю),— а не лучше ли сделать повидло?

Ход моих мыслей был ясен. В повидле легче и проще будет выловить половину иголки.

Кика взглянул на меня рассеянно и предложил разжечь керосинку: тогда не наступила еще эра при-мусов.

Сначала надо было сделать сироп. В большой медный таз мы налили воды и положили очень большое количество сахара. Точно не помню сколько, но много. Все это должно было вскипеть, и тогда наступила бы очередь абрикосов.

— Кика,— закричала вдруг Катя, взмахивая ложкой,— видишь ты этих людей у двухцветной скалы? Кто это? Как ты думаешь?

— Думаю, что тебе пора помешать сироп,— солидно ответил Кика.

— Ничего подобного, это водолазы. Они будут вытаскивать катер «Шалун». Мне хозяин говорил.

В одно мгновение у кипящего сахара не осталось ни одного человека. Самая строгая дисциплина не могла устоять перед водолазным соблазном. Даже Кика и тот дрогнул.

— Ничего,— промолвил он,— в этом сахаре большие комья. Пока все это распустится, мы вернемся.

В прозрачной и голубой воде, несравненной воде июльского моря, у двухцветной скалы, коричнево-зеленой, ходил по дну водолаз, медленно переставляя пудовые ноги. Его стеклянные, выпуклые, как у мухи, глаза обшаривали дно. Вот он задел ногой грудку камней, и из-под моха вынырнула стайка бычков, как взлетает стая птиц, если задеть ветку березы. К затонувшему катеру подошел его коллега, тоже катер, под названием «Моя радость». Загрохотала небольшая лебедка, водо-

лазы сильнее закопошились под прозрачной водой, и наконец над морем поднялась мокрая корма «Шалуна», облепленная ракушками и маленькими крабами.

Все это продолжалось очень долго и сопровождалось разными приключениями. Люди на скале что-то кричали в какие-то трубы в глубь моря, и водолазы ответно булькали. Потом маленький греческий мальчонка, засмотревшись на лебедку, полетел в воду, и водолаз выбросил его на поверхность, как мяч. И, наконец, у миловидной девушки в купальных штанишках украли на берегу украинский костюм. Все это надо было обдумать и пережить.

Наконец «Шалун» был вытасчен, и всем своим видом он как бы говорил окружающим: «Я хотя и «Шалун», но, честное слово, больше не буду».

И все ему поверили.

Усталые, но сытые душой, возвращались мы домой.

— Профессия водолаза, — пояснял Кика, — пожалуй, не менее полезна, чем профессия врача. Море безжалостно. Оно не так легко отдает свои жертвы, и нужно много усилий...

— Ай, ой, — закричал вдруг Миша, педший впереди всех, — я не могу идти!

— Почему? — хором спросили мы.

— Не знаю почему, только земля держит меня.

Кика встрепенулся и, как настоящий врач, сломя голову помчался на помощь ближнему. Но и он, пробежав до роковой черты, прилип к земле... Камни, травы, прелестная, такая юная и уже седая полынь, сама земля — все было покрыто сахарным сиропом. Радиус этого явления был очень велик. Центром же был таз на керосинке.

С большим трудом, подымаясь и снова падая, добрались мы до нашего липкого жилища. Огня не было, сахара не было, таза не было, — был сплошной сахарный поток, который медленно, как лава, увлекая за собой две ложки, сползал по тропинке к морю. Но и абрикосов тоже не было. Вместо них был гигантский, миллионный муравейник...

Прошло много лет. Мы все выросли и даже постарели. Наша дача у моря сползла в воду со всей своей «иза-

беллой». Маленький черный гречонок превратился в широкоплечего рыбака и продает новых камбал новым людям. Катер «Моя радость» уже не плавает. Он навеки пришвартован к берегу, и в нем живет артель лодочников...

Однажды случай забросил меня в небольшой северный город. Вечер был холоден и сер. Работа была сделана. Завтра надо было уезжать в новые места. А пока можно было напиться чаю и лечь спать, чтобы набраться сил.

В тихом кооперативе я спросила себе сухарей. Электричества не было, и керосиновая лампа мутно отражалась в голландских сельдях.

— Не возьмете ли варенья? — предложил мне бледный и ласковый приказчик. — Есть вишня, белая черешня, кизил, абрикосы.

Я взглянула на сельди. Неуловимо и мгновенно нахлынули на меня: море, камбалы, половина иголки, муравьи и мои шестнадцать лет.

— Дайте абрикосы, — сказала я с улыбкой и со вздохом.

— Рекомендую белые черешни. Свежего приготовления. Абрикосы же прошлогодние.

— Нет, дайте уж абрикосы. Это мое любимое.

Человек, купавший в другом углу пеклеванный хлеб и чай, обернулся и посмотрел мне в лицо. Я увидела давно знакомые близорукие глаза и слегка кривой нос. Только волосы были не те. Те были каштановые, почти рыжие, а эти выбивались из-под шапки седоватыми прядями. Человек сделал какое-то очень знакомое движение.

— Кика, — закричала я так громко, что кассирша обернулась, — Кика, это вы?..

Мы не расставались в тот вечер. Мы пили чай с вареньем, абрикосовым, самым лучшим, самым сладким, потому что в нем есть сладость прошлого и тончайшая игла воспоминаний.

ЯБЛОКО РАЗДОРА

Так называемое «яблоко раздора» не всегда бывает непременно яблоком. Подчас оно принимает самые причудливые формы, не имеющие с растительным царством ничего общего... Сделав это небольшое вступленье, можно перейти непосредственно к делу.

Квартира выходила окнами в переулок, где в несметном количестве жили воробьи и собаки, взаимно ненавидя друг друга. В самой квартире тоже были собака и воробей. Впрочем, вскоре выяснилось, что это был чиж.

Чиж сидел в клетке и пел простую песню с чижиными словами. По-человечьи она звучала так:

Я спал. Однако
Теперь уж не поспишь...
Я озяб, как собака,
Хоть я и чиж.
В передней
Что-то топнуло;
Очевидно,
Отопление лопнуло.

В передней действительно топнуло. Пес Тузик, прозванный так по причине тузообразного пятна над гладко обрезанным хвостом, всю ночь спал под вешалкой, на калошах. Под боком у него ворковало отоп-

ление, из недалекого чулана неслись вкусные запахи, и Тузику снился потрясающий сон: будто он гуляет в саду, где на деревьях с треском лопаются сосиски и зреет ливерная колбаса. В саду тепло от большого и жирного солнца. Но постепенно солнце потухает, сосиски сворачиваются, спина коченеет, и Тузик чувствует, что все гибнет. Со страшным воплем, подскочив со сна под вешалкой, он роняет на пол тяжелый зонтик с утинообразной ручкой. И тогда просыпается вся квартира и ощущает, что в комнатах стынь-стужа, и даже окна залохматились изнутри, как в трамвае. Насморки, как тигры, бродят поблизости, инфлюэнца шелестящей походкой проносится по квартире, и больная почка товарища Пищика, члена КУБУ по секции научных работников, не вынеся столь низкой температуры, выкатывается из родимой почечной лоханки и отправляется блуждать бог знает где.

Через пять минут после падения зонтика вся квартира, в шубах и одеялах, собирается в коридоре вокруг самого большого и холодного радиатора.

У товарища Пищика, кроме больной почки, есть еще вполне здоровая жена, по имени Анюточка, которая, невзирая на свое доброе сердце, насчитывает у себя сотни злейших врагов.

Анюточка, чьи кухонные домогательства и полотерные конфликты известны всему дому, говорит теперь, говорит со слезами и страстью в голосе, и, что странней всего, все ей сочувствуют. Она говорит:

— Мы платим по семь рублей в месяц за отопление, и вот мы встаем утром, и оно совершенно холодное, как мертвец, я даже не знаю, когда оно успело так остыть. Очевидно, котел лопнул. А что же в это время делал истопник? Что он делал в то время, когда лопался котел? Пьянствовал, конечно. Ясно.

Но все оказалось не так ясно, как казалось Анюточке... А между тем холодное отчаяние растет, ледяная паника ширится. Передняя наполняется людьми из соседних пострадавших квартир.

Тут же в суматохе три человека навсегда перепутывают калоши, Тузик выпивает кем-то лелеемое молоко, и, приоткрыв дверь маленькой комнаты, жадно смотрят

на сумятицу близнецы Надя и Кадя Пищик, которым вместе тринадцать лет от роду.

Постепенно картина выясняется. Истопник Адриан действительно проспал котел, но не по причине опьянения, а от несчастной любви.

Влюбившись безумно и бурно в молодую особу, только что поступившую в качестве домработницы в одну из квартир, истопник Адриан, как выяснилось из свидетельских показаний, написал ей нижеследующее письмо:

«Уважаемая гражданка Евстигнеева и дорогой товарищ!

Имею честь и удовольствие предложить вам руку и сердце, а также помещенье, хотя и полуподвальное, но райской теплоты, и рынок близко. Не могу вам выразить, до чего мне приятно бывает вас видеть. Но, видя вас, я так волнуюсь, что даже на морозе пот льет с меня градом. Не откажите в любезности ответить мне «да» или «нет» не позже, чем через час, иначе за себя не отвечаю.

Ваш *Адриан Корочкин*».

Ответ на это письмо последовал быстрый и неожиданный. Гражданка Евстигнеева и дорогой товарищ, встретив Адриана Корочкина на чердачной лестнице, где быть ему не полагалось, закричала так, что во дворе было слышно:

— Ты что это удумал мне письма писать! Не про тебя писана, кочегарка лохматая... С глаз моих долой!..

Тогда Адриан Корочкин с горя лег спать и проспал двадцать девять часов подряд, и за это время отопление частично лопнуло и впало в анабиоз.

Дым подымался над домами Москвы. И только над одной крышей мрачно торчали бездымные трубы. Но этим дело не ограничилось. К несчастью, испортилось не все отопление, а только одна его «секция». И в то время, как одна часть дома вымерзала, другая жила нормальной жизнью при четырнадцати градусах тепла.

На общее собрание по поводу отопления пришли представители от всех квартир как холодных, так и теплых. Вопрос был поставлен остро: или оставить все

до весны без перемен, или чинить секцию немедленно. Но для этого надо было разобрать отопление целиком и дней восемь мерзнуть всему дому.

От «холодной половины» выступил Иван Афанасьевич, по профессии слесарь. Он сказал следующее:

— Граждане, я вам прямо скажу, так *немысленно*, граждане, невозможно. Возьмите меня, как всякая одиночка-кустарь, я работаю в том числе и дома. Работа моя мелкая, клейкая, а тут холодина такая, что инструмент примерзает к руке и дыханья не хватает. А у жены, которая есть портниха, от мороза разошлась заказанная юбка-плиссе и осталось совершенно гладкое место. Так нельзя, граждане, повторяю, *немысленно*. Обратите внимание, что зима только начинает показывать, какой она есть климат. Месяц у нас только январь, товарищи, надо это учесть, а то подохнем.

Иван Афанасьевич сел под одобрительный рокот своей половины и хмурое молчанье врагов. Тогда встал врач по ушным болезням Фомичев, невзрачный с виду, но Цицерон в душе. Он был из партии «теплых». Он сказал:

— Дорогие друзья мои, сограждане, товарищи по несчастью. (Возгласы: «Гусь свинье не товарищ. У вас тепло, так и молчали бы».) Не могу молчать, дорогие друзья мои. На наш дом обрушилось стихийное бедствие, говорю я. Но не это огорчительно. Скорбно то, что ничтожное, по существу, обстоятельство нарушило мир того гармонического целого, каким является наше жилтоварищество. Что такое в конце концов несколько похолодевшая атмосфера? Важно горячее сердце, взаимное пониманье, уваженье и любовь, эти драгоценные кирпичи подлинной общественности, которые теперь, увы, развалились. (Возгласы: «Брехня. Никакие кирпичи не развалились».) В конце концов весна близка. Она придет, эта увенчанная цветами прима-вера, и наблевшая секция растает в ее сиянии. Но не в этом дело. Дело в том, что между нами появилось яблоко раздора, которое необходимо изжить как можно скорее. Я подразумеваю гражданку Евстигнееву, разложившую истопника Адриана. Предлагаю немедленно уволить ее. Она...

Но тут все потонуло в гневной буре голосов.

Вечером Надя и Кадя Пищик, которым вместе тринадцать лет, лежа в постели, укутанные до носа и пользуясь отсутствием взрослых, делятся впечатлениями о заседании, где они, хотя и нелегально, но присутствовали.

— Кадя,— говорит Надя,— как ты думаешь, секция, которая лопнула, это папина секция научных работников или другая?

Кадя отвечает:

— Ты же слышала, что эта секция кирпичная, а папина — бумажная. Значит, ничего похожего. И спи.

— Кадя,— снова говорит Надя.

— Ну, что тебе? Я уже спал и начал видеть сон. В чем дело?

— Кадя, а почему они все говорили про «яблоко раздора». Какое это яблоко?

— Когда люди ссорятся,— сонно отвечает Кадя,— то чаще всего из-за яблок. И спи.

— Но ведь они там поссорились из-за новой работницы, которая не ответила на письмо.

— Так что же?

— Но, Кадя, она ведь не яблоко. Она Груша. Я сама слышала. Она — Груша, Кадя, ты слышишь?

Кадя не отвечает. Он спит.

БЫВАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Подошва есть подошва. Ее участь безропотно переносить все жизненные неуютности: осенью — грязь, летом — пыль, зимой — резиновые калоши, не дающие ей возможности дышать. Иногда подошва робко просит каши, но ей затыкают рот гвоздем. Тяжелая жизнь. Иосиф Коринкер, сапожник, так и говорит:

— Тяжелая жизнь, и никаких видов на будущее. Посмотрите, прошу вас, на эти штиблеты. Я только взял их в руки, так я уже знаю автобиографию этих ног. Видите это место: здесь вылезла косточка, подагра, я знаю, ревматизм, — одним словом, что-то из этой золотой серии. А вот здесь гнезда от мозолей. Ну а это, так не о чем говорить, что это типичная дырка. И чьи это штиблеты, вы бы думали? Вы, наверное, думаете, что их носит какой-то безработный элемент? Так нет же, и даже наоборот: ответственнейший секретарь нашей газеты нашего города. Город, правда, небольшой, но секретарь — это же уже есть лицо. Так вот, он носит эти штиблеты. А сам он... Вот он придет, так вы увидите.

И на другой день он действительно приходит.

За окном весна. Лужи окончательно просохли, и починенным штиблетам предстоит короткое, но счастливое время: без пыли, без грязи и без калош. За окном

весна. Тяжелая, темно-красная, еще епархиальная сирень цветет в саду против подвальных окон сапожника Иосифа Коринкера. В конце улицы зеленеет весеннее море. Уже скоро оно потеплеет, и дочь старого Иосифа, юная Цецилия, восемнадцати лет от роду, белая, темно-рыжая и сладкая, словно кокосовый орех, пойдет купаться и загорать на бархатном песке. А пока она, будучи после смерти матери хозяйкой дома, готовит бульон, золотой, как солнце, из прекрасной молодой курицы.

Да не подумает кто-либо, что Иосиф Коринкер с дочерью Цецилией ежедневно питаются столь роскошно. Отнюдь нет. Обед этот званый. Иосиф Коринкер пригласил к обеду ответственного секретаря редакции, обладателя рваных штiblет. Этот секретарь только что приехал из центра и, конечно, полон самомнения. Он уверен, что все идет хорошо в Стране Советов. Но Иосиф Коринкер путем неопровержимой логики, языком фактов докажет ему обратное...

На столе белая скатерть и селедка в масляном окружении. Из своего окна, вровень с землей, Коринкер видит, как из здания бывшего епархиального училища, теперешней редакции, выходит ответственный секретарь, жуя, как жеребенок, ветку сирени, и направляется к нему, Коринкеру.

На столе благоухает бульон, молодая курица ждет своей очереди, и Цецилия, розовея, предлагает гостю селедку. На подоконнике, артистически подправленные, стоят секретарские штiblеты. Но никакая самая искусная починка не может скрыть их тяжелого прошлого.

Иосиф Коринкер, не дожидаясь бульона, уже за селедкой открывает военные действия.

— Вот вы говорите, молодой человек, — обращается он к секретарю редакции, — что мы идем по пути прогресса. Но если мы идем по этому пути в ваших, например, штiblетах, извините, то мы далеко не уйдем... кушайте, прошу вас.

— Товарищ Коринкер, — возражает секретарь редакции, крепко потирая бритую голову, — вы сидите в подвале, и от этого у вас нет правильной перспективы,

нет правильного взгляда на вещи. Вы видите только ноги и по ним судите. Конечно, нам трудно, но за то мы правы.

— Молодой человек, не бросайтесь ногами, это язык фактов. Это раз. Второе — кто виноват, что я сижу в подвале, как не государство... возьмите редиску. Хоть вы и надели сейчас сандалии и на вид вы здоровый молодой человек, но Иосиф Коринкер никогда не ошибается. Ваша обувь открыла мне все ваши дефекты и дефекты государства. Разве не так? Так, так, молодой человек. Цилия, дай сюда еще крылышко.

Наступает ночь. Луна встает над морем и плывет по направлению к бывшему епархиальному саду. И здесь она останавливается. Так сладко пахнет сиренью, так крупны и отчетливы тени на скамье, такая тишина в траве, что луной овладевает томленье. И, несмотря на то что ее ждут другие сады, она остается здесь.

Иосиф Коринкер, который никогда не ошибается, который слушает только язык фактов, решает, вопреки своему обыкновению, подышать воздухом. Он идет вдоль сада и слышит разговор. Так как ночь тиха и один из голосов принадлежит его родной дочери Цецилии, то он останавливается и слушает.

— Андрей Петрович,— говорит Цецилия,— вот вы говорите: поехать с вами в Москву. Но ведь там такая ужасная жизнь! Государство неустроено, квартир нет. Вы же слышали, что говорил папаша! Так это же все, наверное, правда.

Луна и Коринкер, заинтересованные разговором, подвигаются ближе к решетке и слушают дальше.

— Цецилия Иосифовна,— отвечает секретарь,— дайте вашу ручку, вот так. Вы даже не представляете себе, как сейчас хорошо, как на редкость хорошо сейчас жить.

— Но вы же необеспеченный человек,— возражает Цецилия с сомнением в голосе.— И потом, папаша прав: надо ехать в Палестину. Разве здесь это страна, если такой работник, как вы, носит такие башмаки! Я же видела...

— Цецилия Иосифовна, — с запинкой говорит секретарь, — не говорите об этом. Здесь есть маленькая неточность. Эти башмаки, сказать по правде, не мои, а неизвестно чьи. Я подобрал их в епархиальном архиве. Специально, чтобы иметь предлог прийти к вашему отцу. А вас я заметил в первый день своего приезда, дайте вторую руку.

Коринкер, который обыкновенно видит только ноги, встав на цыпочки и заглянув за решетку, на этот раз увидел две головы, которые как будто бы целовались.

После этого молодая луна и старый сапожник двинулись дальше.

«Ну, что ж, — сказал сам себе Коринкер, отходя от решетки, — как правило, я никогда не ошибаюсь. Но, конечно, бывают исключения...»

С В Е Т О С Е Н Ь Ю

Осень — вот она. Деревья стоят пурпурные, желтые и алые: всех цветов заката. Листьев мало, они не толпятся, как летом: каждый трепещет отдельно. Боярышник (сам желтый, ягоды красные) хорошеет с каждым днем.

Сентябрьское солнце нежно, как луна, серебрит осеннюю паутину.

Целый день я одна, потому что дети, оставленные на мое попечение, играют далеко от дома, у огорода, где зреют маленькие помидоры для соленья. По-моему, несмотря на запрещение, дети едят их, эти еще зеленые помидоры. Ибо все соблазны в виде пустых консервных коробок и старого бинокля не властны над детьми. Они неотвратимо уходят к помидорам.

Детей трое: мальчик, девочка и опять мальчик. Этому второму мальчику три года, и имя у него замечательное. Зовут его Свет. Такой маленький Светик: волосы у него серебристые и тонкие, как осенняя паутина. Глаза постоянно прищурены, как будто им слишком светло от собственного блеска. Остальные дети тоже хороши, но это уже обыкновенные — Коля и Таня.

Днем думаешь о многом: о путешествии к морю, о том, что скоро зима, о работе.

Воздух совершенно чист, как стекло: кажется, что его нет. Явственно слышны голоса детей. Свет плачет долго и горько, потом замолкает.

— Перестал наконец,— говорит Таня.— Ну, и очень хорошо, что перестал.

— Я не перестал,— отвечает Свет,— я отдыхаю.

Но десятилетняя Таня, как настоящая женщина, полна лукавства. Не в ее интересах, чтобы Свет ревел так долго и отрывал ее от приготовления пюре из помидорных листьев и дождевых червей.

— Ну да,— успокоительно замечает она,— но ты должен отдохнуть хорошенько. Я скажу, когда тебе опять начинать. А вот посмотри, какая гусеница.

У Света загораются глаза.

— Гусеница,— переспрашивает он,— зия́ная?

Зеленый цвет — его любимый. Будь его воля, он окунул бы всю землю в большой чан зеленой краски.

Но Таня не дает ему опомниться.

— Гусеница, во-он она. Не начинай плакать, еще не время. А вон посмотри, какая корова пошла.

— Зия́ная? — говорит он.— Покажи.

А Коля ничего этого не слышит. У него душа избретателя. Я подхожу к нему вплотную и вижу, что из щепок и начала моего рассказа, который я ищу уже несколько дней, он строит модель самолета. Таня, увидав меня, молниеносно вынимает изо рта четвертушку помидора и смотрит открыто и честно, как будто это не она. Мне на руку садится бледный, слабый, неизвестно откуда взявшийся комар.

— Скажите мне,— говорит Таня,— у комаров есть сердце?

— Не знаю, Танюша. Желудок у них, трубочка там внутри,— это я знаю, а про сердце не скажу. Думаю, что должно быть.

— А я думаю, что у них нет сердца. Я даже уверена.

— Почему же ты так уверена?

— Если бы у них было сердце,— отвечает Таня, откидывая ногой подальше надкусанный помидор,— если бы у них было сердце, они бы вас не кусали...

По вечерам в саду туман. Синяя сырость наползает от озера. Скромная береза у окна шумит, как дикое дерево, не знающее человека. Помидорный огород черен и пуст. Луна стоит над пустой дорогой. И только маленькая звезда возле нее молода и очаровательна, как всегда...

Обычно к десяти часам, как будто они знают время, тучи заполняют небо. В них тонет и луна, и береза, и огород. И только шумят под окном чьи-то ветви.

Дети просыпаются, словно их действительно разбудили тучи. Первая просыпается Таня и что-то жует — вероятно, недоеденный помидор. Затем она будит Колю. Они беседуют о своих делах, и я сквозь тонкую дачную стенку слышу их голоса и даже их дыхание. Сначала они говорят о воздухоплавании, о том, что Колин аппарат почему-то совершенно не летит.

— А ты бы полетел на настоящем? — спрашивает Таня.

— Вопрос глупый, раз я собираюсь быть пилотом.

Молчанье. Осенняя ночь все ближе, все студенее дышит в окна. Береза шумит.

— Можно построить, конечно, такую модель, чтобы она летала, — снова начинает Коля, — но для этого нужно много денег: нужен клей и вошенная бумага.

Таня молчит и, очевидно, что-то обдумывает.

— Можно было бы потом назвать самолет «Татьяна Золотарева», — безразлично говорит Коля.

— Коля... — нерешительно начинает Таня.

— Что?

— Нет, ничего... Коля!

— Что?

— Коля, а если взять «пешком-ходительные» деньги?

Тут я вхожу в комнату и спрашиваю:

— Во-первых, почему вы не спите, а во-вторых, что значит «пешком-ходительные» деньги?

Таня сконфужена:

— Это деньги, которые нам дают на трамвай, но мы ходим пешком.

В эту минуту дождь обрушивается на хилое окно. Пламя свечи начинает метаться, и тогда просыпается Свет. Он садится в своей кровати. Волосенки стоят ды-

бом, глаза прищурены. Ясно, что он сейчас заплачет. И действительно:

— Мама, — начинает он, — моя мамочка... А-а-а-а...

— Не плачь, мальчик. Завтра, завтра придет мама.

А что она тебе привезет!

— Что?

— А вот ложись, вот так, будь хорошим мальчиком. Я тебе расскажу.

Я укладываю его снова, плотнее прикрываю окна, переносу свечку в более тихое место, на умывальник, и заслоняю книгой... Ветер не безумствует уже, никаких бурь, никаких порывов. Ровно шумит дождь, и это хуже всего.

Свет ложится ничком в подушечку, и в его серебристом затылке такое отчаяние, что у меня сердце падает. Коля и Таня умолкают.

— Слушай, Светик, — говорю я, — слушай, я расскажу тебе очень интересное. Жила-была однажды курица...

— Зиёная?

— Нет, рябенькая. И вот она...

Но Свет начинает плакать. Он плачет горько. Насколько я могу разобрать, он жалуется на отсутствие мамы, на ночь, на дождь, на осень. И тогда я сама теряюсь. Я забываю, что это ребенок, я говорю ему взрослые слова:

— Ну, подожди, ведь придет весна. Придет весна.

— Зиёная?..

— Да, да, совершенно зеленая. Теплая, душистая, зеленая.

— Зиёная!..

И весь в слезах, но счастливый, он засыпает.

ДОБРЫЙ УГОЛЬ

Красавица Мери-Анна, чьи огромные глаза и крошечные уши сводили с ума всех ее друзей, поймала на кухне мышонка и съела его. В этом не было ничего удивительного, если принять во внимание, что Мери-Анна — кошка. И все же это было удивительно, потому что кошка эта славилась именно тем, что никогда не ела мышей и даже их не ловила, так что пришлось купить мышеловку...

Обнаружил все это Биль. Он спускался по лестнице особо выработанной «шахтерской» походкой, с тем чтобы, взяв у матери деньги, сбежать, как обычно, в лавочку за хлебом и маслом к ужину. Но на пятой ступеньке Биль, увидев Мери-Анну, забыл про собственный ужин и стал наблюдать, как ужинала большеглазая красавица. Глубоко взволнованный, он поднялся наверх и сказал своей сестре Сусанне:

— Сузи, Мери-Анна съела мышь. Я сам видел. А ведь мы шли в пари со всей школой, что она не приронется и к самой редкой австралийской крысе, даже если посыпать ее сахаром и изюмом. А теперь как же? Значит, мы проиграли. А Мери-Анна тоже хороша: так подвести людей. Это она нарочно.

Сузи округлила глаза и ответила тихо:

— Она не нарочно, Биль. Она голодна, как ты не понимаешь! Ведь мама три дня уже почти не кормит ее...

К ужину, хотя его никто не звал, появился дождь и за ним ветер. Оба они взялись за работу, и покуда дождь выстукивал что-то такое на стеклах, ветер занялся печной заслонкой. Все вместе выходило заунывно и очень похоже на мистера Кругса, учителя, когда он спрашивает на уроках: «Ну, Биль Хитчинс или Сусанна Хитчинс, расскажите нам все, что вы знаете о всемирном потопе!»

Стол был накрыт. Но масла не было, да и хлеба было маловато. Биль объяснил себе это тем, что в лавочку пошел не он, Биль, сын шахтера и сам будущий шахтер, а мать, слабая женщина... Биль засунул руки в карманы, скривил губы, совсем как отец, когда он курит трубку, и сказал — тоже как отец:

— Вот так погодка! В такую погоду только и сидеть у очага, где пылает наш добрый ньюкэстльский уголь.

Сказав это, Биль заглянул в очаг и увидел, что «ньюкэстля» там лежит всего-то два кусочка и вид у них далеко не добрый. А отца все не было. Биль сел перед огнем и, толкнув ногой коварную Мери-Анну, сказал:

— Сузи, а отца нет. Ты не знаешь, где он?

Но Сузи все знала: это было ее особенностью.

— Отец пошел на площадь, знаешь, там, где на вывеске большая кружка пива и из нее лезет пена, как мыло... если мыть голову. Там все собираются и обсуждают.

— Обсуждают? — переспросил Биль. — А почему?

— Обсуждают и решают «еще продержаться». Ведь сейчас забастовка, ты же знаешь. Ты, когда мама дает жареный картофель, думай об этом.

— А почему, Сузи?

— Потому что ты его столько ешь, Биль, что продержаться становится очень трудно.

— А почему... — снова начал Биль, но в эту минуту вошел отец. С его резинового плаща текла вода, кепка обвисла, а кашне превратилось в мокрый жгут.

— Ты пришел, Джек, — сказала мать. — Уже поздно, детям пора спать. Да и погода... — Говоря это, она пристально смотрела ему в лицо, как будто это было запечатанное письмо, которое она хотела и не решалась вскрыть.

— Завтра выдадут кой-какие продукты в лавке, — проговорил отец, утирая мокрое лицо. — Молоко и яйца будут выдавать только детям, которые больны.

— Молоко... Ты не больна, Сузи? — потихоньку спросил Биль. И тут же грустно добавил: — И я не болен. Синяк на ноге, я думаю, не считается. Но если прыгнуть, например, с водокачки... Как ты думаешь?

Когда подали жареный картофель, Сузи взглянула на Билия. Но Биль в пылу рассказа не помнил уже ни о чем. Он рассказывал отцу, как в школе мистер Кригс, учитель, стал спрашивать его о всемирном потопе, и что из этого вышло, и как он, Биль, неодобрительно отозвался о Ное за то, что тот спасся, когда все погибли.

Биль поглядел на свою тарелку и увидел, что она исчезла. А он прекрасно помнил, что на ней лежала большая румяная картофелина, целая, и половина второй. Зачем же все это убрали, воспользовавшись тем, что он рассказывал про мистера Кригса? Он увидел также, что мать складывает все остатки в котелок. И тут, вспомнив слова Сузи, он закрыл рот, открытый было для вопроса...

Ночью холодный мрак поглотил поселок. Где-то далеко были лунные ночи, теплые моря и горячие сердца. А здесь гористая земля была тверда, шахты молчали и черное, как уголь, небо лежало на крышах. Биль, которому снился старик Ной с горячим картофельным гарниром, проснулся оттого, что ему стало холодно.

— Сузи, — позвал он, — ты не спишь? Почему это стало так холодно?

— Говори тише, Биль. Я думаю, что вчера плохо топили.

Родители тоже не спали. Отец, обвязав горло длинным шарфом, несколько раз выходил за дверь. Вернувшись в последний раз, он не лег, а сел в углу на табурет.

— Ну что? — спросила мать.

— Все холодает. Возможно, что выпадет снег.

Наступило молчание.

— Завтра кончатся наши запасы угля, — снова начала мать. — У нас осталось ровно столько, чтобы вскипятить утром воду.

Табуретка в углу закрипела, как будто внезапно ей сделалось невмоготу от тяжести человека, сидящего на ней.

Из материнского угла снова раздался голос:

— Ты не думай, Джек, что я боюсь. Немножко я побаиваюсь, это правда. Кроме того, дети... И потом — разве это не горько: всю свою жизнь убить на уголь, а теперь он убивает нас тем, что его у нас нет! Но все же надо терпеть, Джек. Что поделаешь. Во что бы то ни стало, но надо продержаться. А то один ослабеет, за ним другой, и все погибнет. Завтра я предложу нашим женщинам топить по очереди и отогревать детей. И вообще все не так еще плохо. Можно продать мою воскресную юбку, ту, что ты подарил мне в день свадьбы.

Джек подошел к кровати:

— Продержаться необходимо. И мы с тобой продержимся, не будь я Джек Хитчинс, не правда ли, старуха?..

Через три дня у Билия заболела сначала голова, потом горло, потом грудь, потом все вместе. Укрытый двумя одеялами и двумя пальто, он лежал, закрыв глаза, изредка открывая их для того, чтобы переговорить с Сузи, без которой он не мог жить. Мери-Анна, потерявшая половину своей красоты, дремала у него в ногах.

— Сузи, — сказал Биль, — разве это справедливо, что мы всю жизнь убили на этот добрый уголь, который оказался таким злым?

Сузи молчала.

— Сузи, — снова сказал Биль, — мне кажется, что теперь я достаточно болен для молока, как ты думаешь?

Сузи молчала.

— Сузи, — в третий раз сказал Биль, — дело еще не так плохо. Можно продать перочистку, которую ты подарила мне на мое рождение. Но продержаться необходимо. А то один ослабеет, за ним другой... Но мы продержимся, не будь я Биль Хитчинс, не правда ли, старуха?

— Правда, — ответила Сузи.

КОРНИ И ПЛОДЫ

Для того чтобы коньяк был хорош, он должен быть стар. Однажды в маленьком полупольском городке меня угостили чем-то густым и желтым, как дымчатый топаз, растворенный в солнце. Я сделала три глотка и опьянела. Почувствовав, что земля неудержимо летит в мировое пространство и что вместо одного хозяина дома я вижу двух, я смиренно села за пианино, на ящик для нот, и проспала до вечера. Уходя из этого гостеприимного дома, я спросила у хозяина, имевшего уже нормальный, ординарный вид:

— Я провела очень приятный вечер. Но скажите, что это я пила за обедом?

Он ответил почтительно, без улыбки:

— Это обыкновенная сливянка, но ей девяносто три года.

Потом уже, в различные периоды жизни, мне случилось видеть старых людей, которые пьянели от двух-трех глотков воспоминаний. Они тоже видели мир несущимся, но не вперед, а назад, к истокам их юности. Они тоже видели все в двойном виде: одном — настоящем, а другом — воображаемом. И наконец — они тоже засыпали где-нибудь в уголке, убаюканные непомерно крепким питьем...

Я не могу похвастать особой крепостью воспоминаний по той причине, что они не слишком стары. Но сегодня я обнаружила, что даже пятнадцатилетние воспоминания обладают уже крепостью, достаточной для того, чтобы ощутить грусть и радость... Дело в том, что прямо передо мной находится в данную минуту вишневое дерево. Оно невелико и, видимо, очень скромно. Оно не задается мечтами произвести на свет какие-нибудь необычайные плоды, особо крупные и сочные. Совершенно ясно, что его вишни будут мелки, кислы и бледны. Да и куда ему, северному дереву, рахитично изогнутому от недостаточности солнца, мечтать о каком бы то ни было великолепии!

Ночью здесь не бывает темно. Две зари, встречаясь, терзают небо бессонницей. Звезды бледны, мелки и кислы, как северные вишни. И в немеркнувшем свете такой ночи мое вишневое дерево цветет хрупким цветом, и даже утром оно не вполне избавляется от зябкой сумеречной дрожи.

И вот тут-то начинаются воспоминания...

В семнадцать лет выпускные экзамены кажутся бедствием, вроде землетрясения, и бороться с ними невозможно, как с землетрясением. Кроме того, по изысканной жесткости педагогов, экзамены эти происходили всегда весной, захватывая даже часть лета. Впрочем, добросовестно обдумав этот вопрос, я вижу, что не следует слишком обвинять педагогов. Наши дети, которым вся весна отдана без остатка, не знают, что такое весенняя ночь, приправленная задачами на проценты и борьбой Филиппа II с Нидерландами. Особенно когда экзамены происходят на юге.

У нас на юге в мае месяце бывают настоящие, перво-сортные, темные и теплые ночи. У нас на юге есть такое дерево — акация. Северного человека оно может свести с ума. Одна гроздь акации благоухает крепче целого куста черемухи. И в то время как в черемухе опять-таки есть эта неистребимая северная горечь, акация пахнет сладко и сильно, как должно пахнуть дерево весной. Кроме того, у нас на юге есть море. Давно, на самой заре человечества, люди придумали такую вещь, как лодка. В лунную ночь, когда дома ждут учебники

и когда кататься совершенно нет времени, лодка эта влечет к себе учащееся существо, как полюс — исследователя.

У нас начались экзамены, о катании нечего и думать, но мы (я и моя подруга), бросив Екатерину II как раз в момент заключения крайне невыгодного мира с турками, бежим через сад к морю. Лампу мы предусмотрительно не тушим, чтобы мои родители думали, что мы продолжаем заниматься.

Дело происходит на даче. Мы бежим через фруктовый сад, за нами с веслами мчатся наш репетитор — студент и мой брат.

— Послушайте,— шепчет Яков Маркович, мой учитель, продираясь сквозь какую-то колючую проволоку,— честное слово, я не спокоен. Арифметику даже не думали повторять. Особенно умножение дробей.

— Ничего,— бормочу я, почти что катясь с обрыва,— я все знаю: для того чтобы помножить дробь на дробь... нужно снять туфли, а то там песок.

И вот наконец море. Лодка называется «Ни-ни». Днем на ней удили рыбу, и теперь, оживленная прохладой, какая-то забытая рыбина приходит в себя после мучительного обморока и начинает плескаться под скамьей.

— Очень много воды,— озабоченно говорит Дима, мой брат,— и вычерпать нечем.

— Кстати о вычерпывании,— обращается Яков Маркович к моей подруге Любе.— Что вы знаете о насосах?

Увы, она ничего не знает!

На горизонте показывается луна, огромная, как солнце на закате. Мне даже кажется, что потом она уже никогда не была такой огромной, как в ту ночь. Море неподвижно, и по нему, сначала медные, потом золотые, наконец, серебряные, бегут полосы. И вот — море и луна. Мы бросаем весла, нас медленно несет плавное, благородное морское течение, в лодке воды все больше, берег все дальше, дробь все меньше, луна все выше.

Обратно мы возвращаемся все тем же путем, с пересохшими губами и промокшими ногами. В нашем фруктовом саду, который, к сожалению, не наш, растут за-

мечательные вишни. Если луна похожа на солнце, то эти вишни похожи на мелкие сливы. Они блестят при луне и кажутся черными, хотя на самом деле они темно-красные.

Старо, как мир, что самые сладкие плоды — краденые. Эти же вишни, подаваемые к обеду на тарелках, кажутся безжизненными, как бабочки на булавах.

Мы с Любой при виде этого дерева останавливаемся и застываем. Я уже чувствую во рту упоительную, упругую вишневую поверхность, прохладную от луны. Мне даже начинает казаться, что умножение дробей на дробь, не говоря уже о квадратных корнях, легче влезет в мою голову, как только я отведаю этих плодов.

— Люба,— говорю я,— как ты думаешь?

Но Любе нечего думать. Стоя под деревом, она жадно рвет целые пригоршни и глотает. Тогда глотаю и я. Наши мужчины, чтобы не поощрять преступления женщин, стоят в сторонке и что-то потихоньку жуют. Боюсь, что тоже вишни.

И в тот момент, когда наслаждение от краденых вишен становится острым, как игла, появляется Осип, арендатор сада. Он свиреп и страшен. Люба тает в сумраке ночи. Но я, как чеховский дьякон над зернистой икрой, костенею от наслаждения и не могу перестать есть. Единственное, что я делаю для безопасности, я прижимаюсь как можно ближе к выкрашенному белой краской вишневому стволу, рассчитывая, что меня в моем белом платье не легко будет разглядеть.

Но Осип зорок. Кроме того, прекрасная полная луна, которая, как солнце, светила над морем, оказывает мне плохую услугу. Она безжалостно освещает вишневое дерево. И Осип, приблизившись к нему, совершенно свободно хватает за плечо меня, у которой в душе раскаянье, но во рту вишня. Гнев Осипа ужасен. Он не останавливается ни перед чем. Он позорит мое настоящее, бросает тень на мое прошлое и самыми черными красками рисует мое будущее.

— Воровкой вырастете,— шипящим шепотом жалит он меня.— Родители думают, вот, мол, вырастет у нас дочка на утешение, замуж ее выдадим за доктора или бухгалтера. А доченька в это время, как самый забул-

дыжный воришка, по садам бегает. Науки изучаете, а, между прочим, ни к чему это, если у вас уже склонность такая — воровать. Вот я завтра Петру Адриановичу скажу.

Услышав это, я глохну и слепну от ужаса. Наконец, медленно и постепенно, как из воды, выходя из этого состояния, я говорю:

— Осип, пожалуйста, я очень прошу вас — не говорите ему. Я нечаянно, честное слово, сама не знаю как. Просто как-то случилось.

Но Осип неумолим:

— Скажу и скажу.

Всю ночь я не сплю и думаю о Петре Адриановиче. Даже страх перед экзаменами стихает перед этим ужасом. Петр Адрианович — хозяин дачи. Это небольшой старичок, беленький и тихий. Главное его занятие в жизни — розы и фруктовый сад. Каждое утро мы с Любой видим, как он обходит сад с ножницами и лупой. Сквозь нее он рассматривает ветки, ища на них, очевидно, каких-то вредных тлей. С людьми он сух и малословен, но я сама слышала, как однажды, ранним утром, когда мы мучились над Ломоносовым, он беседовал с вьющимся виноградом, который вился не там, где ему полагалось.

— Я понимаю, — говорил Петр Адрианович, выравнивая ножницами зеленые локончики, — я понимаю, что здесь больше солнца, но ползти надо вот сюда, по этим колышкам. Это грустно, но необходимо. Пожалуйста. — Он взял упрямую ветку и указал ей путь. — Вот сюда. Потому что потом, когда созреют груши, вы будете мешать друг другу. Всею свое место.

После чего он ушел и сел на террасе читать, но, и читая, он посматривал на строптивную ветку, которая вздумала мешать груше.

Все в Петре Адриановиче — его куртка, его ножницы, его умение разговаривать с растениями, — все вызвало во мне панический ужас. Я полагала, что, выслушав от Осипа ужасную тайну этой ночи, он сделает нечто необычайное. Я побледнела от душевных мук и на экзамене геометрии на вопрос экзаменатора, можно ли через одну точку провести две прямые, ответила,

что нельзя, потому что, когда созреют груши, они будут мешать друг другу.

Проходили дни, прекрасные, единственные дни поздней весны. В промежутки между занятиями мы с Любой наскоро проигрывали одну или две партии в крокет и уходили, уступая место более счастливому и молодому поколению, пока еще не знающему экзаменов.

Но вот через некоторое время снова наступила ночь, когда мы снова тайком убежали к морю и на обратном пути снова попали в вишневую власть. Луны уже не было. Маленькая и худенькая, она показывалась только на рассвете и среди ночи не могла быть опасной. Ночи были темны и вполне приспособлены для преступлений. Корни учения были невообразимо горьки, а плоды вишневого дерева сладки. Даже Осип, даже Петр Адрианович не могли утратить меня. Наоборот, на меня нашло какое-то неистовство. Я перестала бояться. Я громко шуршала ветвями, выбирая самые сочные вишневые гнезда.

«Пусть он придет, Осип,— думала я.— Мне все равно. Пусть придет даже сам Петр Адрианович. Я его не боюсь. Я скажу ему, что если люди мучаются экзаменами, то им полагается за это какая-нибудь радость».

Но Петр Адрианович не шел. А Осип спал, как вишневая косточка в земле, совершенно непробудно.

Прошло две недели. Мы с Любой выдержали экзамены. Перед нами была вся жизнь. Мы с ласковой снисходительностью относились ко всем остальным людям, не столь счастливым, как мы.

Возвращаясь с аттестатами из города, мы, а особенно я, разговаривали со всеми. Кондуктору паровичка, который вез нас из города, Люба сообщила, что она будущий врач и что специальность ее внутренние болезни.

Возле самого дома мы увидели Осипа, поливающего анютины глазки.

— Ну вот, Осип,— ласково сказала я,— все кончено. Мы совершенно свободны и даже можем помогать вам искать червей в огороде. Вы ведь уже немолоды, вам пора и отдохнуть. Кстати, спите вы как крепко! Совсем недавно мы снова таскали ваши вишни, и вы

даже не проснулись. Теперь уже можно сознаться, дело прошлое. Да и мы были ловки. Главное в жизни — это ловкость. Я вообще сейчас никого не боюсь. Даже вашего Петра Адриановича не боюсь, можете ему передать это. А вишни были оч-чень вкусные.

— Что ж,— пробормотал Осип анютиным глазкам,— мое дело хозяйское. А как Петр Адрианович мне за эти вишни заплатили вперед и даже за груши,— пусть, говорят, молодые барышни думают, что они украли, если им это приятно,— то я и молчал. Мое дело такое: получил деньги сполна, на две копейки больше, чем на станции,— я и молчу.

Замолчала и я.

Так кончились иллюзии юности и началась зрелость.

ЛОВЕЦ КОМЕТ

I. Тридцать лет и три года

Старая беспочвенная луковица прозябала на кухне между оконными стеклами. Все ее родичи были истреблены на супы и подливки, и не так давно ее родной брат, золотой снаружи и синий внутри, большой сердитый лук, нарезанный поперечными ломтиками, украсил собой дунайскую сельдь. Теперь луковица, последняя в своем роде, умирала. Вместе с ней умирали воспоминания о подмосковном огороде, где капуста расстилала по земле свои сочные протуберанцы, салат завивался стриженным облачком и молодой лук, выкопанный из земли, формой своей напоминал комету с головой и хвостом.

Москва лежала в снегу, и снег не желал таять. Напрасно календари показывали середину марта, потом конец, потом стали подползать к апрелю. Старое, дырявое и хитрое небо плевало мокрым снегом на эти измышленья.

Перейдя от общих рассуждений к частному случаю, мы увидели Емельяна Ивановича за неясной и опасной мечтой. Емельян Иванович, придя однажды после работы домой, впал в задумчивость. В его одинокой ком-

нате малиновым столбом стоял закат, и, рожденный маленьким стенным зеркалом, дремал на стене солнечный блик, золотой заяц, предвестник весны.

Емельян Иванович легко опустился на стул, и у стула сейчас же подломилась передняя правая нога. Емельян Иванович не удивился. Он давно привык к тому, что неодушевленные предметы плохо переносят его прикосновение. Он взял стул и пошел в чулан возле кухни, где у него была клиника раненых вещей, начиная велосипедом и кончая чайником, у которого в первый же вечер от первого же прикосновения отпаялся нос.

Задумчиво насвистывая, Емельян Иванович выбрал из кучи вещей табуретку, хотя и слабенькую, но которую легко было подлечить железом: по одному гвоздю с каждого бока.

Взяв табуретку и молоток, с тем чтобы провести курс лечения на кухне, Емельян Иванович остановился. Очевидно, квартира была пуста в этот час. На кухне медленно и прозрачно капала вода. За стеной в соседней квартире телефон звал человека, но никто не отзывался: очевидно, там тоже никого не было.

Профессия Емельяна Ивановича отнюдь не располагала к мягкости и нежности. Он был токарь по металлу. Обтачивая твердые суставы коленчатого вала, он душой и телом уходил в работу. В свободное же время он конструировал модель чайника-монолита, неуязвимого ни со стороны ручки, ни со стороны носика. И вдруг теперь Емельян Иванович ощутил слабость. Вселенная, которая бессознательно представлялась ему гигантской, блестяще слаженной машиной, внезапно поплыла, как лодка по голубой воде весны.

Трехцветная мятая кошка прыгнула откуда-то с полки и замяукала у двери.

— Что, — спросил Емельян Иванович, — грустишь, товарищ? И тебя проняло? Ну, иди, ну, ступай, — продолжал он, открывая дверь. — Ишь, только хвост мелькнул. А интересно знать, когда она вернется.

— В две тысячи пятьсот пятидесятом году, — произнес за фанерой перегородки певучий голосок, — только

их уже будет целых четыре. Впрочем, вы можете войти: я докажу вам это.

Емельян Иванович, крепко потирая лоб, потихоньку отворил одностворчатую дверь и вошел...

Пожалуй, нигде на юге в эпоху гражданской войны так часто не менялись власти, как в городе, носящем имя веселой императрицы Елисаветы.

Зубной врач Б. Фличер, только что обставивший кабинет в Елисаветграде, в одно утро увидел, как его новое зубоврачебное кресло вылетело из окна второго этажа, окончательно смяв клумбу с анютиными глазками. Вслед за креслом полетела прекрасная коллекция искусственных зубов, затем громадный фамильный комод, которому было тридцать лет, и, наконец, сын зубного врача Б. Фличера — маленький Самсончик, которому было три года.

Тяжелый комод разбился вконец, а Самсончик, будучи чрезвычайно легким, только наполовину. Он остался жив и здоров, если не считать такого пустяка, как туберкулез позвоночника.

В результате всего этого зубной врач Б. Фличер, похоронив жену и надежды на собственный кабинет, переехал в Москву. Сначала все здесь было враждебно и чуждо ему, начиная от людей и кончая способами леченья резцов. Но описанное начало весны застаёт Б. Фличера сравнительно устроенным, хотя и без кабинета. Он принимает в амбулатории, а Самсончик, тонкий и большеглазый, по причине позвоночника не встающий с постели, ждет его прихода, запойно читает и для своих лет знает чрезвычайно много.

Диапазон его интересов до крайности велик. Не переступая порога своей комнаты, он следит за всеми злобами дня: за бытом беспризорных, за успехами нашей авиации, за поведением реки Неглинки. Но больше всего, происходящего на земле, его занимают дела небесные. Вместе с Сатурном он гордится его девятью лунами, беспокоится за планету Уран, чей год равняется восьмидесяти четырем земным годам плюс двадцать восемь дней. Самсончик справедливо полагает, что такой

большой срок обращения вокруг солнца не может быть приятен никому на свете. Климат нашей луны тоже дает обильную пищу для размышлений. Как известно, луна в продолжение четырнадцати земных дней непрерывно нагревается солнечными лучами. Затем наступает столь же длинная ночь, в течение которой наш спутник сильно охлаждается. Ясно, что такие резкие колебания температуры, безусловно, вредны всякому, хотя бы и небесному телу. Но больше, чем звезды, планеты, солнца и туманности, больше, чем весь этот грозный, неизблемый мир, Самсончика пленяют кометы, которые приходят и уходят, у которых стремительный хвост перечеркивает небо и которые движутся по параболам. Причем само слово «парабола» Самсончик воспринимает весьма странно: слыша его, ему кажется, что он летит вниз головой в бездну.

Емельян Иванович потихоньку отворил фанерную дверь и вошел в комнату.

На старом ситцевом диване, сверстнике покойного елисаветградского комода, лежал горбатый Самсончик, с тенистыми синими глазами. Его шея была так тонка в воротнике рубашки, что Емельян Иванович, невольно смутившись, закашлял, как бы давая понять, что он только на вид такой здоровый, а по-настоящему в нем притаилась хворь. Но Самсончика не так легко было провести. Он по частям оглядел гостя и задумчиво произнес:

— Вы замечательно сильный, я думаю. Какживаете?

Емельян Иванович снова кашлянул.

— Горло, — ответил он, — что-то вот. Был я вчера в пивной, ну, вышел оттуда и спел на улице пустяк, частушку одну, а между прочим произошло охлаждение мотора. Кроме того, еще разговор один был. В милицию даже меня водили.

— А какой разговор? На какую тему? — любопытствовал Самсончик и даже привстал от интереса. — Но почему же вы стоите? Сядьте, пожалуйста. Я очень рад. Я вас давно знаю по слухам. Я всех знаю в этой квар-

тире. Но я, конечно, неизвестен. Все время лежу, кому это интересно? Сядьте вот тут.

Емельян Иванович сомнительно оглядел венский стул, потрогал его и ответил:

— Не беспокойтесь, я лучше на коврике.

— Так как же было в пивной, вы сказали? — напомнил Самсончик.

— Выхожу это я из пивной, — медленно начал Емельян Иванович, сев на коврик, — и такая у меня легкость вдруг появилась, что я вам объяснить не могу. Захотелось мне идти беззаботно вперед, прямо в никуда, и вдруг на дороге стоит гражданин и мне препятствует.

— Нарочно стоит, — перебил Самсончик, — или, может быть, он просто думал?

— Уж не знаю, думал он или нет, но он стоял на дороге. Я подошел и только что взял его рукой за плечо, легонько этак, как он возьми да упади, — понимаете?

— Я, положим, не понимаю этого, — задумчиво говорил Самсончик.

Емельян Иванович пристально взглянул на него и перевел разговор на другое.

— Вот когда я на кухне стоял, — начал он, — вы сказали про год какой-то, две тысячи пятьсот с чем-то. Это вы про что, собственно?

Самсончик ответил очень вежливо:

— Иногда я бываю очень рассеянный. Вы сказали что-то про хвост. И я подумал, что вы говорите о комете тысяча восемьсот восемьдесят второго года, которая должна прийти в две тысячи пятьсот пятидесятом году, распавшись на четыре части. С кометами это часто бывает.

— Вот как, — молвил Емельян Иванович. — Почему же это бывает? Чудно как-то. Непонятно.

На что Самсончик ответил:

— Если вам без шуток интересно, то я вам дам свою тетрадь о кометах. Только, пожалуйста, пусть это будет между нами...

Емельян Иванович подержал на ладони протянутую руку, осторожно, как птенца, положил ее обратно на диван и вышел из комнаты с тетрадью под мышкой.

2. Тетрадь о кометах Самсона Фличера

«Небо состоит из звезд, планет и молний. Астрономов было очень много. Особенно прославился один из них, проницательный Гук, который сделал открытие о характере зодиакального света. Интересно знать, какой характер может быть у света?»

Я часто думаю о разных людях и представляю себе их по-звездному. Это моя игра. Папа, например, похож на утреннюю звезду, потому что во всей квартире он раньше всех встает и позже всех ложится. Анна Маврикиевна из крайней комнаты похожа на солнце в пятнах.

В сырой комнате, где дымит печка, живет Дина Агреабль, будущая звезда экрана. Она часто плачет. Есть еще разные тела в этой квартире, но я их не знаю. Но среди них нет ни одной кометы.

В средние века кометы наводили на людей ужас, и, конечно, напрасно. В их честь выбивали медали. На одной медали был выгравирован приморский город в лучах кометы и надпись: «Гуляйте благоразумно, как при солнце». Но им в то время было не до прогулок.

Как-то недавно у меня очень болела спина, потому что было сыро. Ночью я видел сон, будто в нашей квартире идет серебряный и сухой дождь. Он прошел мимо меня, и мы разговорились.

— Почему,— спросил я,— ты приходишь ночью, когда все спят и никто не может определить, что ты именно такое?

— Я прихожу всегда в это время, такой у меня характер,— ответил он.— И если ты никогда не видел кометы, то смотри на меня покрепче: я ее родственник. Я ее млечный брат.

Тут я проснулся. Хотел бы я повидать комету, но за мою жизнь ее не будет. Конечно, мне жаль...»

Емельян Иванович прочел все это, осторожно сидя на неокрепшей табуретке. Из записей Самсона Фличера, кроме всего прочего, он извлек некоторые интересные подробности из биографии Юпитера. Он узнал, что испанский шар именуется, и не без основания, «лов-

пом комет», ибо обладает свойством совращать кометы с их истинных путей силой своего притяжения. Кометные параболы, эти великолепные незамкнутые кривые, уходящие в бесконечность, он превращает в эллипсы. И комета снова и снова проходит мимо солнца, не смея свернуть с предуказанного ей Юпитером пути.

3. Редкое явление: звезда превращается в комету

Дина Агреабль, о которой Самсончик Фличер написал, что она будущая звезда и что она часто плачет, в данный момент действительно плакала. Донимала ее печка.

На дворе было тепло, а в такие дни, как известно, печи греть не желают и выплывают дым в жилые помещения. Но самое обидное было то, что дымила печка не самой Дины Агреабль, а печка нижняя, бог знает чья, но, во всяком случае, неизмеримо наглая.

На другой день после знакомства Самсона Фличера с Емельяном Ивановичем Дина Агреабль, не подозревая о том, что рядом находятся сердца, готовые любить ее, смотрела в жерло печи. Нетопленная печь дышала синеватым дымом, вдвое горьким оттого, что он был чужой.

«Не понимаю,— думала Дина Агреабль, наклонив голову набок и утирая слезы,— кто топит в такую теплынь, и, главное, когда наверху есть другие печи и другие люди. Ведь у меня глаза слезятся от этого дыма. Ведь завтра у меня съемочный день, массовка, и Биркин обещал снять меня крупно с улыбкой. Но если я буду плакать, то как же тогда?»

Она открыла было форточку, но злая сырость тающего снега начала вползать в комнату, дым же не думал уходить. Тогда Дина Агреабль, пав духом, закрыла форточку и раскрыла дверь в коридор, сознавая в то же время, что такой поступок не этичен.

Полная луна, опоясанная облачной тесьмой, заглянула в окно. Осторожно обшарив предметы в комнате, она нащупала наконец кудрявую головку и остановилась на ней. И Емельян Иванович, выйдя в коридор с

целью навестить Самсончика Фличера, неожиданно для себя вдохнул горечь дыма и девичьих слез, освещенных луной.

Наконец Дина Агреабль, убедившись в том, что дым не только не унимается, а, наоборот, свирепеет, решила на последнее средство. Надев платок, она спустилась вниз и остановилась в затруднении перед звоночной таблицей. Подумав, она позвонила один раз, затем робко второй.

Она позвонила, она вошла. Чужая квартира враждебно встретила ее сундуками в передней и запахом незнакомой стирки.

— Кого вам нужно? — хмуро осведомился человек, очевидно только что пристроившийся спать.

— Мне нужна печь, которая дымит, — робко ответила Дина Агреабль.

Однако при взгляде на хозяина печи стало понятно, что визит напрасен. Черные глаза под седыми бровями были полны яда.

— Я вправе поступать, как мне благоугодно, со своей печкой. Моя вещь. Кроме того (тут он ехидно высморкался), теперь здесь у вас коммунистический рай. А вы знаете пословицу, что каждая гурия должна лететь до своего киоску.

И, говоря это, он широко распахнул входные двери.

Дина Агреабль была так поражена этим ответом, что, подымаясь по лестнице, ступала на каждую ступеньку обеими ногами, как дети, словно никогда не занималась биомеханикой.

Чувствуя себя униженной и оскорбленной, Дина Агреабль решила отсидеться на кухне, переживая дымовую атаку. Луна победоносно отражалась в большом медном тазу, и на выпуклых бедрах кофейника сидело по маленькой луне.

Войдя в кухню, Дина Агреабль увидела, как от того места, где обыкновенно ставились самовары, отделилась густая тень, и, откашлявшись, спросила мужественным голосом:

— Товарищ, знаете вы, что такое автогенная сварка?

— Нет, — ответила Дина, — не знаю и знать не хочу.

— Это вы зря. Автогенная сварка, товарищ, это когда одна металлическая часть припаивается к другой при помощи горящего кислорода. Так вот, ежели один человек расшатался, то другой обязан наново спаять его.

— Я очень несчастна,— ответила Дина Агреабль.— Он не хочет перестать топить, и никто не может заставить его.

— Я могу,— моментально сказал Емельян Иванович.— Только прикажите. А что вы за голову все держите?

— Болит. Сегодня на съемке у нас в павильоне мне нужно было перепрыгнуть через забор. И я, для того чтобы лучше прыгнуть, отступила немного, вы понимаете?

— Конечно, я понимаю. Это правильно. Очень хороший тактический прием,— с увлечением воскликнул Емельян Иванович и присел было на край стола, но, услышав подозрительный треск, снова вскочил.

— Я отступила,— продолжала Дина Агреабль,— но при этом хлопнулась головой о запасной юпитер. И теперь вот она... шишка. К этому еще дым.

Емельян Иванович выслушал историю дыма.

— Одну минуту,— сказал он,— я сейчас вернусь. И, оставив звезду экрана, он спустился вниз.

Злосчастная печь оказалась камином. Он самодовольно урчал, облизывая березовые дрова и похрустывая угольками. Перед ним на ковре за маленьким арабским столиком сидел хозяин камина и выдерживал шахматный натиск своего племянника, запивая все это черным кофе. Момент был серьезен. Белые, возглавляемые племянником, со всех сторон напирала на черную королеву, кони, все в мыле, рвались к ней на помощь, но встречали препятствия в виде двух гнусных пешек. В этот миг Емельян Иванович возник в комнате.

— На одну минуту, гражданин,— сказал он,— пустячная просьба, займет минуту.

Хозяин с неудовольствием оторвался от доски.

— Насчет урюка и смоквы зайдете завтра,— пробурчал он.— Томату осталась одна бочка, и деньги на бочку. А теперь до свиданья. Знаете вы пословицу:

«Отдых человека подобен золоту: не посягай на него». Честь имею кланяться. Ходи, Аристарх!

После чего, не обращая внимания на посетителя, он наклонился к камину и хотел подбросить еще поленце, но был остановлен твердой рукой.

— Гражданин,— выговорил Емельян Иванович,— я попрошу вас не делать этого. Там, наверху, такой дым, что черт те что. У вас и так тепло, право слово, а там, наверху, больной человек мучается.

— Что значит тепло, молодой человек! — взвизгнул хозяин. — Что такое значит — тепло? Что вы мне за указатель? Знаете пословицу: «Ручей, обращаемый вспять, как змея, жалит обидчика?» Спокойной ночи. Ходи, Аристарх.

И он снова взялся за полено.

— Но ведь у вас же тепло,— настаивал Емельян Иванович.— Жарко у вас.

— Мне не жарко, молодой человек. Мне не жара важна, а уютная нега,— окончательно вышел из себя хозяин.— Не ходи, Аристарх, вот я его выброшу из комнаты. Он у меня запрыгает.

— А знаете вы пословицу: «Для того чтобы лучше прыгнуть, нужно отступить?» — сосредоточенно выговорил Емельян Иванович и действительно маленько отступил, но так неудачно, что опрокинул при этом арабский столик вместе с Аристархом.

— Ой,— вскрикнул тот, летя по направлению к камину,— дядя, я горю! Шах королеве!

Воспользовавшись смятением врага, Емельян Иванович залил огонь в камине полным кофейником кофе и побежал наверх.

4. Юпитер в действии

Кинодела Дины Агреабль шли неважно. Ее бесповоротно затирала Лесли Таймс, девушка с невообразимыми глазами. Глаза Лесли Таймс, длинные, огромные, со зрачками, расширенными жаждой славы и атропином, глядели из каждой картины и заставляли Дину Агреабль сжеживаться от зависти. Но все же ей уже легче жи-

лось на свете: у нее в этой холодной и быстробегущей жизни появились друзья.

Вечером, придя домой после длинной и трудной съемки во враждебном сообществе Лесли Таймс, Дина Агреабль уходила в комнату Самсона Фличера, и все зло и все печали оставались за порогом. В этой комнате, возле старого ситцевого дивана, она наслаждалась беседами о мудром поведении звезд и необъяснимых капризах автомоторов.

Фличер-старший, умученный амбулаторным приемом, обыкновенно спал на кровати, подостлав под ноги газету и стенав во сне, как будто ему дергали зуб... А Емельян Иванович, Дина Агреабль и Самсончик, сблизив головы, поверяли друг другу свои предположенья и мечты.

Однажды, когда весна сделалась настолько ощутима, что даже самые закоснелые сугробы зашевелились, а водосточные трубы затрубили водяной марш, в такой вечер Самсончик, задумчиво глядя в потолок, сказал:

— Диночка,— сказал он,— я вам не говорил, о чем я думаю очень часто?

— Нет, Самсончик. Держи лучше градусник.

— Я вам скажу, о чем я думаю. Нам троим нельзя расставаться, вот и Емельян Иванович скажет. Раньше, например, я часто скучал и даже плакал. Я был совершенно один. Я думал: «Придет вечер, папа ляжет спать, что я буду делать?» А теперь днем я жду вечера: Вы приходите, вот градусник, мы разговариваем, я, наконец, могу показать вам карту звездного неба. Диночка, я прошу вас, не уходите. Как вы находите, Емельян Иванович?

— Диночка,— зашептал Емельян Иванович, сжимая руки и косясь на спящего папу Фличера,— я вам давно хотел сказать: так это мы втроем согласовались. Я, впрочем, жить без вас не могу. Бросьте вы то кино, будь оно трижды проклято! Мы, наоборот, дачу снимем, на дачу поедем, Самсончика под сосны положим, пускай дышит. А зимой я вас к машинке пристрою или еще куда. И никто не посмеет вас чужими глазами попрекать, что вот они, мол, лучше и больше ваших. А ваши, честное слово, самые большие.

— Замечательные глаза! — ответил, тяжело дыша от волнения, Самсончик. — Самые большие глаза! Дина, Диночка моя, отчего вы молчите?

Дина закрыла свои «самые большие глаза». Впервые, вместо скольжения плоских теней, она ощутила бурное тепло трехмерного сердца и тяжесть руки, за которую можно было ухватиться и не упасть. Вместо искусственных скал и бутафорских пальм была живая, настоящая сосна на даче под Москвой.

— Я подумаю, — тихо ответила она. — Самсончик, у тебя жар, лежи спокойно. Я подумаю, Емельян Иванович. Подождите до завтра...

Большие глаза Лесли Таймс были подкрашены. Дина Агреабль тайно и жадно глядела на нее сквозь резьбу ренессанского кресла. Ход ее мыслей был таков:

«Опять она на первом плане, а мной заткнули дырку в двух эпизодах. Опять она будет ресницами подметать партер до третьего ряда, а мне снимут кончик носа».

Она протянула руку и тронула старую картонную пальму, осеняющую, по ходу сценария, тропическое побережье. Она думала дальше:

«Вот пальма, она не вянет, не растет, и ничего ей не делается. Вот этот лист разворачивается уже второй год. А живая сосна будет шелушиться под солнцем, и по ней будут ползать муравьи».

Мимо Дины Агреабль легко пробежал помощник режиссера в клетчатой кофте, держа в зубах какой-то шнур. Она проводила его своими забракованными глазами.

«Не надо всего этого, — сказала сама себе Дина Агреабль, глядя вокруг. — Кончено. Здесь я в последний раз. Емельян Иванович, — в мыслях своих обратилась она к нему, — видите, я согласна. Хорошо быть знаменитой, но очень трудно. Кроме того, Самсончик болен. Мальчик одинок, отец у него зубодер и нищий. Я согласна, Емельян Иванович!»

— Приготовились. Начали, — вяло сказал режиссер. — Этой черты не переходите: здесь море.

— А-адну минуту! — крикнул откуда-то сверху помощник. — Сейчас...

Он яростно двинул ящик.

Лесли Таймс села на опрокинутую лодку, забрала колени в руки и наострила ресницы.

«Грох!» — раздалось откуда-то с потолка. Какой-то тяжелый предмет, полный сора, слетел сверху, взметнув пыль, как пламя.

— Начали, — вяло повторил режиссер, протирая пыльные очки. — Этой черты не переходите: здесь море.

— Не начинайте, — сказала Лесли Таймс, — вы засорили мне глаз.

— Нет смысла отменять съемку, — выговорил режиссер.

Он взглянул в сторону и сквозь ренессансную резьбу увидел жгучий немигающий глаз.

— Прекрасно, — одобрил он. — Агреабль, закутайтесь в шаль и садитесь на лодку. Начали...

Угрожающе и маняще загудел юпитер...

Самсончик лежал на диване, горестно подвернув под себя ноги. Он уже знал все. В закатной тишине в комнату вошел Емельян Иванович и, как башня, встал в дверях. Он не говорил ни слова.

— Емельян Иванович, дорогой товарищ по несчастью, не молчите так, — зашептал Самсончик. — Мне так больно, но я терплю.

Он прижал к груди «Тетрадь о кометах».

— Сверкнула, и нет! — воскликнул Емельян Иванович, горько воодушевляясь. — А я уже привык к ней. Гулял «благоразумно, как при солнце», — язвительно продолжал он. Но, увидя выражение Самсончикова лица, круто повернулся и вышел в кухню.

В кухне между оконными стеклами было изменение. Старая, дряблая луковица уже окончательно умерла. Но из ее бока шла зеленая и острая стрела. Невзирая ни на что, наступила весна.

ЧЕСНОК В ЧЕМОДАНЕ

I

Диван был расположен чрезвычайно ловко. Сидя на нем при открытых дверях, можно было видеть по пунктам следующее:

- а) часть кухни, вплоть до газового выключателя,
- б) двери двух противолежащих комнат,
- в) ванную и ванну
- г) и многое другое.

Зоенька проводила на этом диване большую часть своей жизни. Утром, когда ее муж, очень милый, очень болезненный и очень ответственный, уезжал на службу, увозя с собой тяжелый, словно окорок, портфель, Зоя оставалась одна. Установив обеденные перспективы и запрятав свое шестипудовое тело в батист или шерсть (смотря по времени года), она садилась на диван. И в то время как ее пышные и красивые руки вышивали очередную подушку, сердце ее вело точную запись всему происходящему.

Зоя не всегда проводила свои дни на диване. Она помнит совсем иные времена. Она помнит прекрасные веселые круглые дни, похожие на яблоки или на снежки. В большом украинском имении дни эти катились

с легким и сладостным шумом, пока не пришла революция и не сказала:

— Довольно!

Зоя прекрасно помнит эти веселые круглые дни, когда все в мире стояло на своем месте. Крестьяне были тогда просто крестьянами, а красные уголки не были так ужасно распространены, как сейчас. В то время были уголки и голубые и розовые. Именно в голубом уголке, между роялем и кактусом, Сеня Другов, тихий студент, репетитор младших братьев, объяснился Зоеньке в любви и поцеловал ее в ключицу, тогда еще не заплывшую жиром, как сейчас. На поцелуй Зоенька ответила поцелуем. Сеня тогда был милый, болезненный и вполне безответственный. Кто мог подумать, что это последнее его свойство так резко изменится.

Было пролито много слез. Но жизнь была так хороша и так коротка, что незачем было омрачать ее. Зоеньку, белую, словно яблоня, повезли наконец в церковь. Туда же привезли и Сеню в подозрительном студенческом сюртуке и повенчали. Зоенькина мать, плача и смеясь, сказала своей кузине:

— Конечно, он не пара ей. Но она у нас одна, она любит его. И потом, несмотря на катар кишок, он так мил, тихий, как ягненок. Прелестный муж.

Все это прошло, прошло. Всё и все умерли. Мамина кузина сделалась перекупщицей и маклершей и тоже умерла. Зоенька превратилась в Зою Никитишну, и только муж ее, этот тихий, кроткий Сеня, который подписывает теперь такие грозные приказы, зовет ее Зоенькой — и то когда они одни.

Зоенька, в свою очередь, тоже изменилась. Она уже знает, что нельзя говорить полотеру: «Мой милый, какой ты, однако, хам». Знает, что нельзя будить ночью работницу Наташу только потому, что ей самой не спится. Она привыкла уже к тому, что Сеню навещают люди или сплошь бритые, вплоть до головы, или бородатые до самых глаз, но все одинаково тычущие окурки куда попало. И, главное, она знает, что нельзя, подымая плечи, восклицать: «Ах, эти евреи!»

Зоенька по мере сил переделала себя, но сердце — его ведь не изменишь. И ее сердце твердо знает, что

раньше была жизнь, а теперь нет, что лицо надо брить, а на голове иметь пробор, что для окурков есть пепельницы и что евреи погубили Россию.

Если бы психологи обращали свое научное внимание не только на голос, походку, взгляд и почерк человека, но и на вышитые подушки, они обнаружили бы много интересного. Зоины подушки были красноречивы и многозначительны, они были автобиографичны. Убедительным и, главное, ярким языком повествовали они о Зоиных сомненьях и томленьях. Из цветов преобладали голубой и розовый, красного же не было вовсе. Чем горче и непонятнее была жизнь, чем больше на кошлялось в ней красных уголков, тем голубее цвели на розовом фоне неземные кактусы, тем больше было розовых лилий на голубых лугах. Все вспышки и возмущенья были запечатлены шелками на бархате и сукне. И в тот день, когда обиженный полотер подал в народный суд, была начата новая подушка: корзинка золотых яблок на черном бархате. Идеальных яблок, каких нет и не будет в Советской стране.

Занимая на диване столь видный пост и будучи видима всеми, Зоя превратилась для всей квартиры в нечто очень грозное и непреложное, как судьба. Никто не помышлял о сопротивлении. Редактор татарской газеты Тарфутдинов бросил напевать родные мелодии под аккомпанемент линейки только потому, что Зоя Никитишна однажды постучала ему в стенку. Марья Викторовна, стенографистка, избегала принимать гостей и пользоваться душем. Анна Викторовна, ее сестра, отправила ребенка к бабушке в Тулу. Что же касается монтера Копельмана, то он уже за дверь снимал калоши и нес их в руках по коридору к себе в комнату. Ибо монтер Копельман давно уже прочел во взгляде Зои Никитишны, что именно он безвозвратно погубил Россию.

2

В один скверный мокрый день к монтеру Копельману приехал брат, и, таким образом, в квартире одним погубителем России стало больше.

Было известно, что он приехал на время, но Зоя Никитишна принципиально была против подобных эксцессов. И вночь приехавший Копельман-младший, очевидно инструктированный старшим братом, тоже снял за дверью калоши и пронес их в левой руке по коридору. В правой же был небольшой плоский чемодан с непонятными отверстиями сбоку. В нем, конечно, «эти люди привезли свою провизию, быть может даже чесночную колбасу». При мысли о подобном бедствии Зоя так сильно воткнула иголку в синий ирис, что наколола себе палец, и выступившая капля крови окрасила лепесток в ненавистный цвет. Все это немедленно было внесено в кондуктный список приехавшего Копельмана.

«Приехал, — подумала Зоя, — привез чеснок в чемодане и будет шататься по коридору. И это жизнь!..»

Вечером того же дня, когда тихий кроткий Сеня уехал на шестое заседание, Тарфутдинов, отложив подалеже линейку, засел за передовицу для своей газеты, а Марья Викторовна, приняв ванну без душа, легла спать, Зоя, как часто это делала, позвала в комнату Наташу и повела рассказ.

— Знаешь, Наташа, — начала она, — как было у нас в именье: горничных одних было четверо и две девчонки. Когда приезжали гости (ты слушай, тебе это интересно), накрывали на стол в двух столовых сразу. Не только нам, даже слугам становилось весело. Салфетки складывались...

— Зоя Никитишна, — с тоской перебила ее Наташа, — у меня белье еще не повешено, честное слово, а сама я хочу еще в кино сходить, честное слово.

Зоя Никитишна оправила плиссе на юбке и злорадно выговорила:

— У вас там в правилах написано, что после восьми часов нельзя работать, а про разговор ничего не сказано. Разговаривать с тобой можно. Поэтому — я продолжаю: в двух словах. Салфетки складывались петушками, а цветы...

В эту минуту вниманье Зои Никитишны было привлечено непонятным звуком — тонким, как нитка ее рукоделий. Звук плыл издалека, откуда-то слева.

«Ии-иии»,— звенела нитка, обматывая мозг. Не то дрема, не то печаль наполнила воздух.

— Это что? — спросила Зоя.— Неужели опять таттарин бубнит? Нет, он иначе.

Наташа, воспользовавшись замешательством, испарилась, оставив после себя легкий запах сырого белья. Хозяйка ее даже не заметила этого.

«Ии-иии»,— звенела нитка. Иногда, но очень редко, она запиналась, словно преодолевая узелок, но потом снова плыла без начала и конца.

— Безобразие,— сказала Зоя уверенно, но все же не так, как обычно.— Безобразие и наглость...

В коридоре было тихо и темно. Только в конце, сквозь замочную скважину копельмановской двери, тянулась тонкая ниточка света и звучала: звук шел оттуда. Уверенно ступая большими, но красивыми ногами, Зоя направилась туда.

— Какая нахальная нация! Недаром у нас дома их на порог не пускали. Сейчас я распоряджусь.

Проходя мимо ванной комнаты, Зоя Никитишна остановилась. Там равномерно и звонко капала вода.

— Марья Викторовна... Вот они, современные женщины. Ни встать, ни сесть не умеют. В бога не верят, кран закрыть не умеют. И это жизнь!..

Зоя Никитишна вошла в ванную, оцупью плотно закрыла кран и, уже выходя, повернула выключатель, на предмет обнаружения беспорядка: не оставлено ли на стуле мокрое полотенце, не торчит ли в мыльнице окурок. Зоя Никитишна зажгла свет и, конечно, тотчас же обнаружила непорядок: на краю ванны, одним концом почти касаясь дна, висело узкое пестрое кашне.

— Каково государство, если его население не понимает разницы между ванной комнатой и прихожей. Удивляюсь, что не вижу здесь калош.

Зоя Никитишна брезгливо, двумя пальцами взяла кашне. Оно было холодное и мокрое. Оно было не плоское, а круглое. Ухваченное за один конец, оно само отделилось от ванны и распласталось в воздухе. Второй конец его раздвоился, оттуда выдвинулся язык, и два нестерпимых глаза вонзились в Зою. Это была змея.

Худосочная копельмановская дверь охнула, когда на нее навалилось шестипудовое тело. Никогда впоследствии Зоя не могла вспомнить, как она вышла из ванной и попала к Копельманам. Но всю жизнь она со смертельной отчетливостью помнила, как выглядела их комната в миг ее прихода.

Комната была мала и чиста. Кто бы подумал, что эта неопрятная нация знает толк в уборке. На столе стоял прозрачный графин. На полу у кровати сидел Копельман-младший в ночной рубашке и брюках. «Ии-иии», — звенела у его губ не то флейточка, не то свирель. А из чесночного чемодана, сквозь отверстия, больше чем наполовину высывались четыре штуки таких же кашне, как в ванной, и, полузакрыв глаза, покачивались в такт музыке.

Младший Копельман перестал играть. Он издал губами какой-то звук, отчего кашне исчезли. Потом, напрягая слабые мускулы, он подкатил под Зою старое кресло в чехле и дал ей напиться из прозрачного графина. Наконец она открыла свои сине-голубые глаза. Ее рука, эта большая, белая и властная рука, дрожала так, что два браслета, платиновый и золотой, те самые, которые так не любил Сеня, звякали, ударяясь друг о друга.

— Я не знаю, как просить у вас прощения, — сказал наконец Копельман-младший, тщетно стараясь скрыть как-нибудь свои подтяжки, — прощения за то, что не предупредил здесь никого про свою профессию. В профсоюзной книжке я значусь, как «зоотехник», потому что там не знали, куда меня ткнуть, а на самом деле я — укротитель змей. Это мой хлеб. Я с того живу.

— Да? — спросила Зоя, чувствуя, что ее ноги не настолько еще тверды, чтобы встать на них и уйти.

— Понятное дело. Я приехал сюда на гастроли на одну неделю. Конечно, остановился у брата. Завтра первое выступление. А сегодня, так как я решил, что все спят, я немножко репетировал с ними.

Заметив, что Зоя смотрит на его подтяжки, он добавил:

— Конечно, я выступаю как индус Абдалах-Ага. На мне белая чалма и темный грим. Я буду счастлив

вручить вам контрамарку. Номер так и называется: Абдалах-Ага из Бенареса и его воспитанницы.

— А вы разве из Бенареса? — строго спросила Зоя, собираясь встать. — Кстати, одна из ваших... воспитанниц висит в ванной комнате. Это она меня напугала.

— Не беспокойтесь. Это гадюка, которая выступает под именем Альме. Она много ест и страдает изжогами, поэтому старается всегда быть поближе к воде. Не вставайте, вы еще очень бледны. Вы спросили, или я из Бенареса. Упаси бог, я там никогда не был, это просто для звучности. Я родом из Томашполя, около станции Вапнярки, может быть, вы слышали? Там было имение Свербеево.

— Неужели? — спросила Зоя, снова глубже усаживаясь в кресло. — Впрочем, припоминаю, что я слышала это... эту фамилию.

— Понятное дело, раз это были крупнейшие сахарозаводчики на юге.

— Вы всех их знали, наверное? Но откуда — змеи? Впрочем, у евреев всегда странные мысли.

Младший Копельман, догадавшись наконец надеть пиджак и скрыть таким образом свои подтяжки, сказал:

— Если вам это интересно, я могу рассказать. Это таки странная история. Вы мне разрешите только принести сюда Альме.

Зоя Никитишна не раз спрашивала себя, почему она так долго слушала этого молодого семита с его ясно выраженными национальными особенностями. Очевидно, здесь было сразу несколько причин: первая — сильный испуг, который проходил медленно, как опьянение, вторая — желанье хоть чем-нибудь заполнить пустой вечер. Третья причина была неосознана, но явно существовала.

Копельман быстро вернулся из ванной комнаты, небрежно, как старый галстук, сунул в чемодан страдающую изжогой Альме и, придвинув стул к Зое, начал рассказывать.

Квартира была тиха. Копельмана не прерывал никто и ничто. Раз только Зоя вздрогнула, увидя мелькнувший из-под графина чей-то юркий хвост. Но Копельман молвил:

— Умоляю вас, не волнуйтесь. Это простая ящерица. Она не выступает, а просто живет у меня из милости. После чего он продолжал свой рассказ. Рассказ был следующий.

3

— Начну коротко, что у моего отца было восемь человек детей! Мне было тогда десять лет, а после меня было еще четверо, и самой маленькой, Сарочке, шел второй год. Миша, вот этот, монтер, тогда уже учился в хедере. А я был совсем еще глупый и очень боялся собак: у нас в Томашполе были очень злые собаки... Отец наш был часовщик. Но, скажите сами, разве в таком Томашполе может набраться столько часов, чтобы накормить ими десять ртов, восемь маленьких и два больших?

Раз в неделю мой отец надевал сюртук — тот самый, в котором он венчался, — и уходил в имение Свербеево заводить часы. От Томашполя это было верст пять. Конечно, как все дети, мы были глупые дети, но для нас это был праздник. Когда отец приходил, он нам рассказывал, какие там комнаты, и где что стоит, и какой там замечательный воздух... Один раз отец говорит: «Ну, Зяма (Зяма это я), мне в имении дали починить кухонные часы, с маятником (настоящие дорогие часы они посылали в Киев), так вот, завтра вымой лицо и ноги и пойдешь со мной, как будто помочь мне нести, а на самом деле ты все там посмотришь, и тебе это будет приятно». — «А почему Зяма, — спрашивает мой брат Миша, вот этот, монтер, — почему не я, когда меня уже два раза учитель похвалил?» — «А почему не я? — спрашивает мой самый старший брат, Мирон. — Кто вам, папаша, вылечил палец, когда вы загнали себе секундную стрелку под ноготь?» (Надо вам сказать, что из Мирона таки вышел потом дивный врач, но его убили на войне.) Понятное дело, каждому хотелось пойти. Но отец поговорил с ними серьезно в другой комнате, и они замолчали. (Я, знаете, в детстве был странный ребенок: не то луны испугался, не то из люльки выпал. И, конечно, родители меня больше всех баловали.)

Всю ночь я не спал. Утром умылся, как на пасху, и мы пошли. Папаша нес часы, а я шел позади с маятником. Ну, не помню, как мы там шли, пришли, помню только сад.

— Сад, конечно, был прекрасен? — спросила Зоя. — В таких имениях всегда прекрасные сады.

— Это был райский сад, настоящий рай. В саду играли дети, все в белом. Потом — комнаты. Очень меня поразили ковры. Я не мог себе представить, что на пол можно положить такую богатую материю и ходить по ней с башмаками... Покуда папаша заводил часы в столовой, я стоял один в длинной пестрой комнате с диванами и смотрел по сторонам. Я старался стоять на одной ноге, чтобы меньше пачкать ковер. Мне нужно было все запомнить, чтобы все рассказать своим. В комнате никого не было. Вдруг кто-то сказал: «Ты дурак. Эй ты, дурак». Мне, знаете, стало обидно, что кто-то, кто меня совсем не знает, говорит мне, что я дурак. Я повернулся — никого. Мне стало страшно. «Ты, дурак, дай мне сахар, сахар. Где мой сахар?» Я повернулся и понял, что это говорит розовая птица, которую я принял сначала за кусок обоев. «Папаша, — крикнул я шепотом, — где вы? Идите сюда». Отец не слышал. Птица подошла ко мне по ковру, как человек, и сказала: «Здравствуйте, как поживаете?» Я ответил: «Здравствуйте», — поклонился и протянул ей руку, чтобы поздороваться. Она меня клюнула так, что пошла кровь.

Тут я услышал смех. В дверях стоял большой высокий господин с усами и смеялся так, что слезы текли. «Ох, — говорил он, — уморил жиденок, совершенно уморил. Вот уж поистине дурак. Дети, подите сюда».

Открылась другая дверь, и вбежало много детей. За ними шла собака, большая, как лошадь, и очень страшная. У меня задрожали ноги. (Я уже объяснил вам, что я очень боялся собак.) А она шла все ближе и ближе. Я так испугался, что и ей сказал: «Здравствуйте, как поживаете?» — и протянул руку. Она зарычала. Тут я упал. Когда я открыл глаза, стены дрожали от хохота: смеялись все. Сзади стоял отец, весь в поту, держа в руках будильник, и старался показать, что он улыбается. «Папаша, — сказал я, — идем домой. Мне

тут нехорошо». — «Вот так так, — выговорил сквозь смех высокий господин. — А мы только что собрались с тобой как следует познакомиться. Мы тебе всех наших собак покажем. У нас их целая свора. Приведите сюда Ральфа», — сказал он кому-то. «Ваша светлость, — сказал вдруг отец, и я не узнал его голоса, — будьте такой добрый, отпустите мальчика. Он у меня слабый». — «Ничего, — ответил господин, — ничего ему не будет. Ральф, познакомься с ним». Наверное, я крикнул, хотя хорошо не помню.

«Пустите его! — закричал отец совсем громко. — Я не позволю! — Он бросил золотой будильник, и тот зазвенел. — Пустите меня к нему!» — «Сумасшедший жид... Разбил часы... Жид... Часы...» — стали кричать все вместе. И даже за воротами мы слышали этот крик. У меня горела рука, а у отца был вырван рукав у подвечного сюртука.

— Что же было дальше? — запинаясь, спросила Зоя.

— Дальше мы уехали из Томашполя. Жить там стало для нас невозможно. Два раза приезжал урядник, у нас отобрали лавку, а Мишу, монтера, исключили из хедера за дерзкого отца. А я сделался совсем не в себе. Учиться как следует я не мог. Тут как раз подвернулся цирк. Между прочим, выяснилось, что я так испугался тогда в имении, что здесь не боялся никаких зверей, даже львов. Я занялся змеями и вот живу.

Копельман-младший замолчал и откашлялся.

— Конечно, прошло много лет, — снова начал он, — но я и теперь скажу, что у тех людей были каменные сердца. А самое главное, время было такое. Слава, слава богу, что прошли такие времена, когда из живого человека можно было сделать себе игрушку. Какие люди были... А потом этот, будь он проклят, сам Свербеев, Григорий... Георгий, как его...

— Никита Егорович, — тихо сказала Зоя. — Это был мой отец. Я все это теперь вспомнила.

...Абдалах-Ага, с успехом закончивший гастроли, уехал из Москвы, увозя с собой чемодан с дырками, в котором Зоя Никитишна заподозрила чеснок.

В квартире все пошло по-прежнему. Зоя была такая же, как всегда.

Но если бы психологи обратили свое научное внимание на вышитые подушки, они нашли бы в них пищу для размышленья. Зоя — та самая, которая так избегала всего красного и современного, которая так лелеяла розовое прошлое, — вышила новую подушку. По красному фону извивалась превосходно вышитая змея, у которой, если присмотреться внимательно, были близорукие и добрые глаза Копельмана-младшего.

1926

СУП И З КУРИЦЫ

Голова пошаливала еще днем, но вечером шалости эти приняли угрожающий характер. Голова стала тяжелой, потом подозрительно легкой, потом треугольной, потом квадратной. Подушка тоже приняла участие в этих гнусных забавах: она провалилась куда-то по ту сторону земли, оставив вместо себя мешок с булыжниками. Что касается комнаты, то она, несомненно, вращалась вокруг неподвижной кровати, вращалась вместе со всей мебелью: слышно было, как в углу возился неуклюжий комод и как егозил проворный ночной столик. Устав от всего этого, Груздев, он же Борис, он же Николаевич, он же литсотрудник многочисленных периодических изданий, с надеждой повернул выключатель. Но, увидав, что тихие, смирные, никогда не замеченные ни в чем дурном, шестнадцать свечей под абажурчиком из шелка тоже выделывают какие-то штуки, он с отвращением отвернулся и сказал слабым голосом:

— Грипп — болезнь не опасная, но противная. Процент смертности невелик. Начинается головокружением. Маруся, милая, аспирин на книжной полке, там, где «Луна с правой стороны». Она справа, а он слева. Пожалуйста.

Ему никто не ответил. Он снова оглядел комнату и увидал, что она пуста: Маруся еще не возвращалась.

После чего он окончательно рухнул в мучительную гриппозную бездну, совершенно пустую, без жены, без луны и без аспирина.

Утро было не лучше. Комната хотя и не вращалась больше, но была зелена и мутна. В ней опять никого не было, но рядом на подушке записка. Очень ровненько, деловыми буквочками было на ней написано:

«Борис, дорогой мальчик, директива правительства о снижении себестоимости на пять процентов не выполнена. Объяснение этого явления необходимо искать в некоторых затруднениях, имевших место в истекшем 1925/26 году. В связи с этим обедать сегодня дома не буду. Ушла сегодня рано из-за переучета у нас в кооперативе всей товарной наличности: готовимся к ревизии. Молоко на шкафу, чтобы кошка не съела. Целую».

С трудом уложив в строки прыгающие буквы, литсотрудник Груздев застонал, потом сказал:

— Какое мне дело, господи ты боже мой, до экономических затруднений, имевших место, когда сам я не имею места в собственном доме: ни места, ни времени. Обедать дома не буду... Ну, а я как же? Мне суп нужен из курицы или манная каша. Грипп — болезнь не противная, но опасная...

Он с трудом поднял пудовую руку, постучал в стенку и каким-то не своим, а совершенно пропащим голосом простонал:

— Товарищ Наперсток, на минуту. Очень нужно, необходимо.

И в комнату, как гора, вдвинулся товарищ Наперсток, от подножия до вершины окутанный облаком табачного дыма.

— Вы один? — спросил Груздев, с трудом обводя глазами поверхность товарища Наперстка. — А жена где ваша? Да вы присядьте, что вы стоите?

— Не могу я присаживаться, — ответил товарищ Наперсток, и показалось, что колокол загудел в лесу. — Не могу я сидеть. Жена на учебные занятия ушла. На аэродром. Летчица она у меня скоро будет, женщина-пилот, вот ведь как. А я с дочкой остался. Уложил я ее вчера спать, знаете ли, не раздевши.

— А почему, собственно, не раздевши? — слабо спросил Груздев. — Дети, они, кажется, любят, когда их раздевают. Они ведь, кажется, голые спят?

— Да что, Борис Николаевич, — снова загудел колокол, — как же ее разденешь? Да знаете ли вы, — продолжал он с горьким воодушевлением, — что на них там лифчики понадеты. А в лифчиках всюду петли. Разденешь, расстегнешь, а как потом все это восстановить? Нет, уж лучше просто укладывать. А что я вас еще хочу спросить, Борис Николаевич, вы человек литературный, много читаете, не то что я. Уши, когда моешь, может вода туда вливается или как? Всегда это меня беспокоит. Не знаете случайно?

— Нет, — закашлялся литсотрудник, — про уши ничего не знаю. Стремечко там, молоточек. Моют их, кажется. А вот вы мне что скажите: манную кашу как сварить? Знаете вы что-нибудь об этом?

— А как же, — загудел товарищ Наперсток. — Это дело простое: манная каша. Берут пшено...

— Нет, — с мукой выдавил из себя Груздев, — давайте лучше суп сварим... из курицы...

Кухня тиха и пуста. По ней неприкаянно бродит трехлетняя Катюша Наперсток, та самая, которая спит в лифчике. Папа Наперсток перочинным ножом чистит картофель, а литсотрудник Груздев, закутанный в одеяло, сидит на стуле и вносит коррективы в будущий суп.

— Я слышал, — говорит он, прикрывая горло одеялом, — что курицу сначала очищают от перьев, а потом варят. И необходимо удалить пузырь.

— Все вы путаете, Борис Николаевич, — возражает товарищ Наперсток, штопором выковыривая картофельную гниловатину. — Пузырь — это у рыбы; курица здесь ни при чем. У курицы, наоборот, печенка вкусная.

— А процеживать будете?

— Подождите, еще рано: это потом. Сначала мы ее вот в этот горшочек положим...

— Папочка, — говорит Катюша Наперсток, — я на горшочек хочу.

— Подожди, еще рано: это потом.

— Я читал у одного немецкого автора (издано в Лейпциге), — кашляя, говорит Груздев, — что, когда дети просят, их надо сажать немедленно, без промедленья, иначе последствия бывают печальны. Я читал, что...

Но в это время Катюша Наперсток начинает горько рыдать, ибо, как и предсказал немецкий автор, последствия промедленья печальны...

Проходит час. И второй. И третий. Катюша крепко спит в углу, в корзинке для угля. Осенний день превратился в окончательную неразбериху. На примусе весело пляшет кастрюльная крышка, но это веселье не находит отклика. Все остальные печальны. Груздев, Борис Николаевич, погруженный в одеяло и задумчивость, молчит. Товарищ Наперсток мрачно возвышается над примусом, как гора над пропастью.

— Откроем крышку, — предлагает наконец Груздев, не снеся молчанья. — Не может быть, чтобы она еще не сварилась.

— Да я же вам говорю, Борис Николаевич, что это не она, а он. Петух это. Надули меня на рынке. Видят — мужчина пришел, ну и сунь ему петуха.

— Все равно, пусть петух. За это время даже слон, и тот бы сварился. Подымите крышку, посмотрим.

— Да что ее зря подымать! Аромат весь выходит. Да я ведь вам говорил уже, что крылья сварились, а ноги ни-ни. Черт их знает что за ноги!

Но все же он поднимает крышку, и две пары глаз рассматривают в парú содержание кастрюли. Литсотрудник Груздев, надев очки, смотрит внимательно, как никогда.

— А вот это что такое? — карандашом показывает он на слизистый комок. — Что это может быть, как вы думаете?

— Я не думаю, а знаю, что это лук порей, — мрачно отвечает товарищ Наперсток.

— Что, что?

— Лук порей, говорю. Для вкуса кладется. Удивляюсь: литературный человек, много читали, а спрашиваете.

— Ну, хорошо, допустим. А это что?

— Которое?

— Вот это, вон в сторону плывет, в пупырышках.

— Крыло, наверное. Да кто его знает. Точно трудно определить.

— А почему,— говорит Груздев, Борис Николаевич,— почему это суп так странно пахнет? А вот это что такое? Макарона, что ли? — И он карандашом вытаскивает нечто длинное и скользкое, похожее на червя.

— Эх, Борис Николаевич, Борис Николаевич,— с отчаяньем говорит товарищ Наперсток,— вы ведь человек литературный, много читали. А насчет кишок мне забыли напомнить. Про пузырь напомнили, а про кишки, что гораздо важнее, вы и забыли. Я с кишками и сварил. Вот она кишка-то.

Наступившее молчанье, как туча, обволакивает кухню.

— Говорят и даже пишут,— начинает Груздев, Борис Николаевич,— о роли женщины в советском строительстве. Женщина-пилот, женщина-кооператор это просто. Летать — это всякий умеет. Летать — это...

— Да подождите, не торопитесь,— возражает товарищ Наперсток.

Но литсотрудник Груздев не желает ждать.

— Летать — это просто,— говорит он.— Летать — это дело маленькое...

— Папочка,— внезапно говорит проснувшаяся Катя Наперсток из угольной корзины.— Маленькое дело...

— Да подожди, не торопись,— возражает товарищ Наперсток.

— Я читал у одного немецкого автора,— говорит Борис Николаевич Груздев,— что, когда дети просят, их надо сажать немедленно. Иначе последствия бывают печальны.

Но уже поздно, ибо Катюша Наперсток, дождавшись печальных последствий, горько плачет.

ДОМАШНЯЯ РАБОТНИЦА ИВАНОВА

Телефон чрезвычайно добросовестен. Он начинает работу утром, когда все еще спят, и работает до позднего вечера без перерыва на обед. Мало того: троньте его ночью, и он ответит вам.

Целое море справок, дел, вопросов и ответов, укуров и одобрений обрушивается в телефонную трубку. Зовут товарища такого-то, товарища такую-то, напоминают, спрашивают, не забыли ли вы записаться на заем индустриализации. Но иногда телефон категорически требует к себе «домашнюю работницу Иванову». И «домашняя работница» в «прозодежде», в фартуке и косынке, твердым шагом проходит коридор, отделяющий мясорубку от телефонной мембраны.

По условиям работы, домашняя работница Иванова — кустарь-одиночка. Еще не наступило время кухонь-фабрик, где блестящая и спокойная машина штампует котлеты, поршень месит тесто для лапши, лопасти взбивают белки, а конвейерная лента выносит тарелки в столовую.

Но, будучи кустарем, домашняя работница Иванова уже не прислуга. Ее дело не прислуживать, а работать. Ее обязанность — произвести на свет некую ценность, именуемую обедом, или уборкой, или стиркой. После чего она свободна. Она может заниматься своими личными делами и делами общественными.

В данную минуту, стоя у телефона, она занята именно общественными делами. Домашняя работница Иванова — член объединенного группкома, она — делегатка от целого огромного дома.

Телефон ставит домашнюю работницу Иванову в известность, что сегодня в шесть с половиной часов вечера состоится общее собрание домашних работниц. Телефон просит известить об этом всех домашних работниц дома, делегаткой коего она является. Повестка дня: «Доклад о международном положении. Обсуждение конфликта между домашней работницей Агриппиной Содниковой и ее хозяйкой. Текущие дела. Вопросы и ответы».

Выслушав телефонное сообщение, домашняя работница Иванова прежде всего спешит урегулировать текущие дела, касающиеся обеда. Товарищ Иванова идет к товарищу хозяйке, и они совещаются.

— Нельзя ли перенести обед с половины шестого на пять? У меня от шести до восьми собрание, — говорит товарищ Иванова.

— А у меня от четырех до шести заседание, — отвечает товарищ хозяйка. — Как же быть?

Наконец, уговорившись, что одна уйдет с заседания на полчаса раньше, чем следовало бы, а другая придет на собрание на полчаса позже, чем следовало бы, и фиксировав обед на пять с половиной, они расходятся.

Домашняя работница Иванова, проверив состояние заливного судака к обеду, отправляется по квартирам оповещать о предстоящем собрании. И галерея лиц и комнат, проходящая у нее перед глазами, достойна чрезвычайно пристального рассмотрения. Перед ее глазами проходят кухни светлые и темные, просторные и тесные, чистые и грязные, теплые и холодные.

В каждой кухне заключено несколько жизней, из которых, по крайней мере, одна зарегистрирована в союзе и обязана явиться на общее собрание. Но это не так просто.

— Тесто у меня поставлено, — говорят в одной кухне. — Сдобы в него положено, ну, я тебе говорю, фунта три. Куда!.. Ему до шести не подняться. Оно к семи подымется. И то навряд.

— К семи поздно,— отвечает товарищ Иванова.— К семи ты международное положение пропустишь. Ты про эти дела слыхала?

— У нас у самих дела не лучше,— отвечает поставившая тесто.— Положение такое, что плюнула бы и ушла, да некуда. Вот горе наше: жить негде. Вчера что было,— продолжает она, горько усмехаясь.— Приходит на кухню чемберлениха моя и говорит: «Вы, говорит, Феня, очень грязная ходите и неприветливая. У меня от вашего вида, говорит, шум в ушах начинается».— «А вы бы, говорю, Анна Ефимовна, мне фартук мало-мальский выдали, как полагается. Да в баню бы меня отпускали. А то в ванну не пускаете и в баню не пускаете. На прошлой неделе как ни соберусь в баню, так у вас преферанс назначен: двери отворяй». А она мне: «Вы дерзкая, Феня, стали и неприветливая. Но я этого не допущу». И как хлопнет рукой по столу, так яблочное воздушное и село. Я ей: «Вы, Анна Ефимовна, мне блюдо испортили. Я вторократно делать его не стану». А она мне: «Ишь барыня какая!» Этого слова я не стерпела и подала на нее жалобу.

В другой кухне другая печаль.

— Не могу на собрание идти,— говорит домашняя работница той кухни.— Хозяйка меня не пускает.

— Не имеет права,— отвечает товарищ Иванова.— На собрание обязана пускать.

— Да кто ее держит! Пускают ее,— раздается негодующий хор голосов.— Пустили ее раз, пустили два, а на третий она возьми да вместо собрания под лестницей спать легла: чуть не замерзла.

Товарищ Иванова обращает укоризненные взоры на виновную:

— Правда это?

— Ну и что ж, ну и правда. Не высыпаюсь я. Спать мне негде, вот что. В комнату свою порожнюю спать меня не пускают, велят в коридоре. А в коридоре этом люди шмыг-шмыг, всю ночь.

Говоря это, она яростно толчет сухари в ступке и, по всему видно, позиций своих сдавать не намерена. Тогда хор голосов звучит уже по-иному:

— И правда, спать негде.

— Кому не лень, торкают ее.

— Спать-то ведь надо...

В следующей кухне на голос товарища Ивановой выползает толстая, старая, ехидная нянька.

— Ходишь, девушка? — спрашивает она товарища Иванова. — Ну, ходи, ходи. Сзываешь народ? Ну, сзывай, сзывай. А почему бы тебе колокол не приспособить во дворе и звонить, чтобы шли, дескать, на собрание?

— Нет у нас денег на колокол, — возражает товарищ Иванова. — Союз наш бедный. Вон повестки раньше посылали, а теперь нет. Машинистку пришлось сократить.

— Так, так, — воркует нянька. — А вот, между прочим, девушка, когда помрешь и на том свете спросят тебя: «Что, дескать, ты, раба, на земле делала?» Что ты на Страшном суде ответишь?

Товарищ Иванова затрудняется сказать, что именно ответит она на Страшном суде, и толстая нянька, еще раз подивившись долготерпению нашего господина бога по отношению к членам профсоюзных организаций, уползает в комнаты.

В последней кухне волнение. Белье дымится в баке, горят бифштексы, и молоко встало дыбом. Но всем не до того. Все обсуждают происшествие домашней работницы Авдотьи Яковкиной.

Авдотья Яковкина причитает навзрыд:

— И такая она была складная да ладная, носик востренький, блестящий. Гляжу, бывало, не нагляжусь. А главное, куды я теперь с другой денусь?

— Девчонка умерла у ней или как? — спрашивает товарищ Иванова курносую прачку.

— Калошу трамвай переехал, — отвечает прачка. — Деревенская она, неопытная. Калошу с ноги уронила, а трамвай возьми да и наскочи. Четвертый номер. Теперь убивается.

— И всего-то три денечка побыла у меня, — причитает Авдотья Яковкина.

Наконец наступает собрание. Пришли все, у кого не поставлено тесто, кто не слишком устал от недосыпания, у кого целы обе калоши. Впрочем, пришли и те, у кого калош вовсе нет.

Докладчик, в кратких чертах обрисовав международное положение и помянув лихо Чемберлена с Муссолини, спешно уходит на следующее собрание. Текущие дела: о конфликте между домашней работницей Агриппиной Содниковой и ее хозяйкой на почве скверных селедок и мерзлой картошки; конфликт этот улажен в пользу вышеупомянутой Агриппины. Текущие дела кончены. Наступает время «вопросов и ответов».

Самые большие вопросы — это вопросы питания, одежды, выходных часов. Требования человеческого отношения, которое не всегда считается обязательным по отношению к домашним работницам. Все это — первейшие нужды. Но есть и другие.

— Почему экскурсий мало устраивают? — спрашивает пожилая бойкая женщина. — Почему в музей мало водят? Один раз повели картины смотреть: до чего интересно! — говорит она, обращаясь ко всей аудитории. — Местности на картинах нарисованы. Иные земли. А на одной — овощи и птица. Продукты первый сорт. Огурцы, капуста, лук испанский и утка жирная. Поче-ще надо экскурсии устраивать.

Встает другая, и вопрос ее смущает многоопытного председателя, привыкшего ко всевозможным вопросам. Вопрос следующий:

— В какое время можно разучиться грамоте?

— Научиться, товарищ, вы хотели сказать.

— Ты меня, парень, не мути. Об науке разговор особи. А вот разучиться можно ли ожидать, и как скоро?

— Да почему это вас интересует, не пойму.

— Сейчас поймешь. Я потому спрашиваю, что сама, это самое, разучиться боюсь.

Все слушают внимательно. А женщина рассказывает:

— Как приехала в Москву, совсем грамоты не знала. Подольская я. У нас в Подольске нету этой моды, чтобы грамоте учиться. Ну, приехала, ну, поступила. Расчетную книжку завела, да что толку. Пишет в ней хозяин невесть что. А хозяин у меня человек мутный, невнятный человек. Вот я и стала в союз ходить в неделю два раза за грамотностью. Уже кое-чего понимать стала. А тут зима пришла, башмаки-то и прохудились, хоть не ходи. Я хозяйке говорю: «Вы прачку, говорю,

не берите. Я сама с бельем справлюсь, а вы мне три рубля в месяц за это надбавьте». Думаю себе: три месяца постираю, башмаки и набегут. Только мне за эти самые три рубля столько белья навалили, что о грамоте я и думать забыла. И сдается мне, что стала я ее забывать. Вот, к примеру сказать, «а» помню, что вроде сковородки эта «а». «Ха» тоже легкая: две щепки накрест положены. А про «бе» не скажу: значит, забываю. А мне на башмаки еще полтора месяца стирать. Как бы не забыть за полтора-то. Как скажешь?

И все думают, забудет или не забудет.

Собрание близится к концу. На следующий раз лекция по санитарному вопросу с волшебным фонарем, на тему: «Тараканы и борьба с ними». При выходе все толпятся у стенгазеты. На самом видном месте — стихи:

Ведь газета для того
У нас существует,
Чтоб могли вы рассказать,
Что интересно.

Женщина, боящаяся забыть грамоту, долго смотрит на крупные буквы.

— Это кто же такое будет? — соображает она про букву «у». — Не вспомню. Ой, забываю!

Придя домой, товарищ Иванова еще долго не спит. Положив локти на тетрадь расходов, она думает о множестве вещей. О том, как трудно взимать членские взносы с тех, у кого мало денег. О том, что Муссолини действительно темная личность, о толстой несознательной няньке из верхней квартиры, о перерезанной пополам калоше.

Но так как ей всего девятнадцать лет, то она думает еще о счастье. О том, что люди обязательно будут счастливы, что все международные, внешние и внутренние враги исчезнут и жизнь сделается так светла и проста, что каждая кухарка сможет управлять государством, если ей дадут для этого свободный день в неделю.

ПЕЧЕНЬ ХАИМА ЕГУДОВИЧА

Как известно из географии, Днепр становится судноходным только от города Орши. Но в самой Орше он узок и незначителен, и трудно предположить, что у этой реки такое разнообразное будущее. Глядя на гладкую водную ленту, то пеструю от звезд, то малиновую от заката, почти невозможно поверить, что под Александровском она обрывается бешеной бахромой порогов, а под Херсоном расстилается широкой скатертью, на которой лодки кажутся маленькими солонками.

При взгляде на человека тоже трудно сказать, на что он способен. Это о людях вообще, и в частности о Прицкере, приказчике универсального магазина в городе Орше, начиная от которого Днепр становится судноходным.

Магазин Хаима Егудовича универсален. Там гастрономическое отделение, где есть и шоколад «Яснополянская картошка», и семга, и язык, и пикули, причем все, без исключения, неуловимо пахнет керосином. Направо от входа — седла, уздечки и прочие лошадиные принадлежности. В другом углу — чашки, стаканы и даже ликерные рюмки на тонкой и длинной ноге, как у аиста. Но самая центральная стойка занята красным товаром. Там — упоенье и восторг не только оршанских

женщин, но и баб из соседних деревень. Иная, в сапогах и тулупе, хоть она и пришла за чайником, упрется глазами в красный товар и стоит на дороге неотступно, пока Прицкер не скажет воспитанно:

— Извините, мадам, освободите движение. Или туда, или сюда, а то выходит, ни пинт и ни минт и положительно.

Хаим Егудович Корнер, хозяин магазина, в последнее время очень раздражителен. Он пошел к врачу, и тот сказал ему просто и ясно:

— У вас печень не в порядке. Что вы едите обычно?

— Фаршированную шейку гусиную, а что?

— Воздержитесь от этого. Повторяю, у вас раздражена печень.

— Доктор, простите, хоть вы глубокообразованный человек, но какое отношение имеет шейка к печени? Где именно и где вода! Я вам скажу, в чем дело: это Учредительное собрание.

— Как? — не понял доктор.

— Я вам говорю, Учредительное собрание. Оно у меня сидит в печенках. Оно же просто необходимо, и вот нет его. Это же нервирует; в чем дело?

Врач остался при своем мнении, и они разошлись, недовольные друг другом.

Прицкер тоже интересовался политикой и с жадностью читал московские газеты.

Придя из магазина к себе домой, в самую низкую часть Орши, ежегодно заливаемую Днепром, и будучи вдов, он делился соображениями со своим сыном Исайчиком. Исайчик, рожденный туберкулезной матерью, всегда болел, вставал редко и был прозрачно-желт, что не мешало ему иметь вполне определенные взгляды на жизнь.

— Ну, Исайчик,— говорит однажды Прицкер, входя весь мокрый от дождя и снега,— как дела?

— Какие мои дела? Бок болит. Что у тебя? Сними калоши и возьми на окне селедку, я тебе оставил. А что у вас слышно?

— Что у нас, Исайчик? Хаим Егудович нездоров.

— Нездоров... Только что не лопается. Почему же ты не снимешь калош?

— Исайчик, я лучше в них останусь.

— Ну, что еще? Что еще случилось?

Сначала Прицкер отмалчивался, но потом принужден был сказать все. Оказывается, произошла трагедия. Спустившись в магазинный подвал для того, чтобы, по требованию Хаима Егудовича, пересчитать жестянки с керосином, Прицкер ступил в лужу серной кислоты. Кислота стояла в большой бутылки, неблагополучной по трещинам, на что своевременно указывалось Хаиму Егудовичу. Теперь — от холода, от другой ли какой причины — бутылка лопнула, кислота вылилась, и хилые Прицкеровы подошвы погибли вместе с носками. Хорошо, что ноги уцелели.

Слыша это, Исайчик от волнения начинает заикаться.

— Я тебя не понимаю, Прицкер, — говорит он, называя отца по фамилии, как и вся остальная Орша, — что ты за человек? Человек ты или нет? Не можешь ты сказать своему Хаиму, чтобы он, во-первых, не жалел бутылок, во-вторых, провел бы в подвал электричество и, в-третьих, возместил тебе башмаки.

— Так он же соглашается на в-третьих, — отвечает Прицкер, принимаясь за селедку. — Он мне дает вполне приличный товар из хромовой партии, только говорит, что вычтет из жалованья.

— Ой, Прицкер, что мне с тобой делать? Ты же вылитая овца. И ты согласился?

— Я сказал, что посоветуюсь с тобой, Исайчик, — отвечает Прицкер.

— Так вот, я запрещаю тебе эту комбинацию. Или пусть дает башмаки бесплатно, или наплюй на него.

— Исайчик, я не могу наплевать.

— Почему? Ну, почему? Только факты.

— Факты такие, что он хозяин, Исайчик. А если мы будем плевать на хозяина, так свет перевернется. Но не это главное, Исайчик, Керенский меня тревожит.

— А что? — вскидывается Исайчик. — А что?

— Исайчик, он мне не нравится.

— А кому он нравится, я тебя спрашиваю? А что «те»?

— Те сидят в Смольном университете.

— Институте.

— Все равно. Хорошо бы им оттуда выйти.

— О выйти не может быть и речи. Им еще рано. Они сами знают, что им делать, — убежденно говорит Исайчик.

Но настал день, когда они вышли. Это случилось 26 октября.

Прошло некоторое время, и весть об этом докатилась до Орши.

Прицкер пришел домой неузнаваемый. Волосы у него поднялись над лбом, так что Исайчик испугался.

— Опять кислота? — спросил он.

— Какая кислота, Исайчик, просто грандиозные события. Керенский...

— Ну?

— Ну-ну. Его уже больше нет.

Исайчик приподнялся с подушек.

— Ты что? — спросил он. — Прицкер, говори все.

Было тихо. Орша лежала в осеннем дожде. Впрочем, к вечеру он стих, и нежная ледяная кора стала затягивать зияющие лужи. Небо сделалось остро-зеленым. И поздно ночью над незамерзшим еще, но уже густым Днепром, над понтонным мостом взошла холодная звезда.

Исайчик, глядя сквозь стекло на эту звезду, долго убеждал Прицкера:

— Вы должны, понимаете. Ну! Если бы я был здоров, так я бы сам все сделал. Ты слышишь... Завтра, и обязательно через весь город.

— Но, Исайчик...

— Прицкер, не возражай мне ни слова. Собери всех ваших.

И вдруг маленький, затрушенный Прицкер стал серьезен и тверд и сказал:

— Исайчик, ты прав.

Хаим Егудович встал сам не свой. Ночь он провел без сна. Печень его увеличилась вдвое, но Учредительное собрание уже не сидело в ней. Оно исчезло надолго.

В городе было странное утро: не то спокойное, не то нет. Хаим Егудович, несмотря на ранний час, решил взглянуть на универсальный магазин Х. Корнера, иначе говоря, на свой собственный магазин.

Подойдя к нему, он увидел, что Прицкер не открыл его, как обычно, чтобы впустить уборщицу. Магазин был тих и, прикрыв окна железными шторами, единственными в городе, казалось, спал.

Хаим Егудович приподнял одну из них, отпер дверь своим ключом и вошел с черного хода.

Все было спокойно. Все было на своих местах. Седла, сапоги и уздечки неизбежно пахли кожей. Крепкие огурцы зеленели в уксусе. Эмалированный чайник, задрав кверху нос и блестя крутым боком, напирал на крупное сито.

Полки с красным товаром были, как дымом, повиты тишиной. Необычайный московский сатин прижимался к теплой фланели.

— Не понимаю, — подумал вслух Хаим Егудович, став перед этой полкой, — что еще нужно людям? Я им даю кредит. Если есть фабричное клеймо или дырка, например, то такой кусок я даю в виде премии. Я им даю...

Тут он услышал, что загрохотала штора, заскрежетал ключ, и дверь пропустила Прицкера, уборщицу и еще какого-то неизвестного шеромыжника.

— Вы пришли, Прицкер, — благосклонно сказал Хаим Егудович, — это хорошо. Хорошо, что вы пришли. Это доказывает, что вы понимаете свои обязанности. Магазин мы откроем после обеда, а пока можно просмотреть книги. А это кто такой?

— Хаим Егудович, — ответил Прицкер, — извиняюсь, конечно, но книги я просматривать не буду.

— А почему бы это так, Прицкер?

— Сегодня не такой день, Хаим Егудович.

— Вы, может быть, желаете что-нибудь купить, — иронически продолжал Хаим Егудович. — Что вы желаете купить, господин Прицкер? Прошу вас, не стесняйтесь.

— Мы пришли... тут нам нужно. — И, говоря это, Прицкер шагнул к полке с красным товаром. — Нам

нужен красный материал. Для знамени... Для манифестации.

Хаим Егудович, видя, что его не собираются грабить или убивать, даже улыбнулся. Красное знамя — это пустяки. Пусть пройдутся разок по городу. Кому это страшно!

— Возьмите, Прицкер,— сказал он,— вот тут есть красный коленкор, почему не дать на благую цель? Правда, он немножко бордо, а не красный, но это не так важно. Возьмите этот остаток. Тут на нем дырка, черт его знает, крысы или что такое, но вы поверните его другим боком. Вот коленкор...

— Шелк,— сказал вдруг Прицкер,— и даже как-то выше стал в своих калошах (башмаков он так и не получил).— Самый лучший атлас мы возьмем. Самый красный, без никакого изъяна. Возьмем и не спросим. Возьмем, сколько нам нужно, и вас не спросим, Хаим Егудович.

И они взяли лучший шелк, красный, как перец, и тяжелый, как сметана. Шелк, на который смело можно было посадить самого Керенского.

С этого дня печень Хаима Егудовича окончательно развинулась.

М А Й Я

I

На южном берегу, у самого Черного моря, лежит город. Он мал. В нем есть старая генуэзская крепость, состоящая из обломков, полыни и ящериц. В нем есть кофейня, где столетняя глициния, ползущая по навесу, роняет в кофе лепестки. Есть базар, заваленный летом камбалой и персиками. У молодой кукурузы на базаре седые очаровательные волосы и мелкие зубки: все остальное покрыто зеленым капором. В городе есть кино, два-три учреждения, но в конце каждой улицы есть море — и всё пустяки по сравнению с ним. На песке растянуты сети, и то на спине, то на брюхе отдыхают лодки. Порой волна взбегаёт на песок и, шипя, исчезает.

Ночью город, облитый луной, похож на спящую рыбу. Черепица его крыш блестит, как чешуя, узким хвостом уходя в даль виноградники, и ветер играет ими. А на берегу, там, где полагается быть рыбьей голове, блестит одинокий глаз — лампа смотрителя музея.

Ибо в городе есть музей.

На закате жены рыбаков судачат. Сами они черны от солнца, передники их ярко-красны, и все вместе на-

поминает издали корку черного хлеба с ломтиком помидора.

Поджидая мужей и готовя ужин, женщины толкуют между прочим и о том, что старый Ставраки, нынешний смотритель музея, а раньше просто богатый человек, что этот самый Ставраки — внук контрабандиста. Несомненно, что Николай, его дед, занимался контрабандой и промышлял беспощинным табаком. Правда, кроме того, ему повезло: привалило наследство, когда его компаньон, русский купец, утонул, не справившись с парусом... Но один бог знает, как в действительности выглядел этот парус: не было ли у него черной бороды и широких штанов и не звался ли он Николаем Ставраки?

Наверно ничего не известно, но с той поры пришло к Николаю Ставраки богатство. Он выстроил себе прекрасный, просторный дом и разложил по столам и диванам диковинки, вывезенные из чужих земель. Среди них была персидская шаль, белая с розовым, как розы в снегу.

Сын Николая, Адриан, уже не занимался ничем предосудительным. Он жил в большом городе, в Одессе. Там у него была лавка, где продавались канарейки и кораллы. На этом он страшно разбогател. Что касается его сына, тоже Адриана, то он даже не взглянул на лавку. Он продал ее, завел торговлю фруктами, но сам торговать не стал, а нанял управляющего. Он поехал за границу, долго жил там, но не женился. Потом он вернулся в родной город, перестроил дедовский дом и поселился в нем навсегда. Он не только перестроил его, но и украсил неслыханно прекрасно... Персидская шаль деда уже не страдала от одиночества: у нее была целая коллекция подруг, таких же шалей, и таких же персидских. Кроме них, были картины, статуи, старинная мебель, кружева и камни, — одним словом, все, что может себе позволить богатый человек.

Так жил молодой Ставраки, пока тоже не превратился в старика.

Но тут произошла революция.

Был издан приказ, что красивые вещи принадлежат всем, но что брать их себе домой нельзя. Они должны

находиться в отдельном доме, который называется музеем, и по воскресеньям и даже по будням, кроме понедельника, каждый имеет право смотреть на них, не трогая руками. Таким образом, дом Адриана Ставраки превратился в музей, а его бывший хозяин — в смотрителя музея. Ему отвели угловую комнату, где раньше жила большая белая статуя, изображающая голую девушку с зеркалом.

На парадной лестнице посадили дочку старой лавочницы Диамандо, и она выдавала желающим билетки, хотя вход был бесплатный. И по воскресеньям и по будням, кроме понедельников, каждый мог убедиться, что старый Ставраки хорошо охраняет народное добро, что ни одна из персидских шалей не проедена молью, что кинжалы не потемнели и что статуя голой девушки, очевидно вымытая мочалкой, так и сверкает.

2

День воскресный, и народу в музее особенно много. Дочь Диамандо разрывается на части, выдавая входные билеты и отбирая у посетителей зонтики, палки и даже трубки. Последнее правило особенно строго соблюдается, после того как рыбак Христо, остановившись перед картиной итальянского художника, воскликнул:

— Паршивая лодка! Будь я проклят, если в ней можно выгрести против ветра у мыса! Корма низкая.

И, говоря это, он так стукнул трубкой по старому холсту, что на нежной поверхности моря образовалась дырка, после чего комсомолец, молодой русский парень Павел Зуев, с укором сказал ему:

— Мы, товарищ Христо, считали вас сознательным, а вы проявили себя наоборот. Разве мыслимо к предметам искусства прикасаться даже пальцем? Ни в коем случае.— Он подумал, почесал затылок и прибавил задумчиво: — Но корма действительно никуда.

И теперь, принимая во внимание опыт прошлых дней, трубки неукоснительно отбираются у входа.

Адриан Адрианович, обеспокоенный бурным наплывом любителей прекрасного, вопреки своему обык-

новенио, выходит в большую квадратную комнату с окнами на море, бывшую столовую, а теперь лучшую сокровищницу музея, где по стенам бегут помпейские фрески, а с потолка свешивается бронзовый фонарь времен Возрождения.

Грузная фигура Адриана Адриановича, его чесучовый пиджак, его полуседе́я борода и хмурый взгляд из-под роговых очков — все это производит на посетителей смутное впечатление. Ткачиха Дорочка, приехавшая с экскурсией, загорелая, стремительная, блестящая спортсменка, побившая все рекорды на всесоюзных состязаниях плавания, стоя перед холстом, где изображена женщина с младенцем, в негнущемся платье, в косах, перевитых жемчугом, объясняет товаркам:

— Посмотрите только на ее платье... Какая адская работа! Купаться они тоже не любили. Конечно, они вели паразитический образ жизни. Но...

Она вглядывается в лицо, ловит там тень улыбки и добавляет почти шепотом:

— Но все же она очень красива.

И рыбак Христо, на этот раз без трубки, подтверждает:

— Красивая женщина и, главное, добрая. Видно по тому, как она держит ребенка.

В это время мимо проходит Адриан Адрианович, и Дорочка умолкает.

У другой стены, перед слепком микеланджеловского Давида, стоит приезжий пионер. Он стоит, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Шляпа сдвинута на затылок, красный галстук завязан на груди. Наконец он щелкает пальцами и восклицает:

— Способный старик!

— Кто? — спрашивает Адриан Адрианович, не веря своим ушам.

Но пионера не так легко смутить, как ткачиху Дорочку.

— Конечно, Микеланджело, — отвечает он. — Ведь это же какие бицепсы у его парнишки! А ноги! Да знаете ли вы, что если он пустится бежать, то он всех побьет на какой угодно дистанции, даже если даст форы.

Воскресный день окончен. Последний, самый настойчивый посетитель, приходящий в музей ежевечерне для того, чтобы не отрываясь глядеть на черноглазую билетершу, тоже ушел. Адриан Адрианович, сидя в своей угловой комнате, отдыхает. В широко раскрытое окно вливаются тишина, море и луна. Корешки книг в стеклянном шкафу отливают золотом. На письменном столе в венецианском бокале распускается роза.

Одноглазый Афанасий, сторож музея, он же кухарка Адриана Адриановича, он же прачка и он же горничная, приносит на подносике ужин: каймак в плоском глиняном сосуде, лепешку, масло и сотовый мед на виноградном листе. Прекрасный ужин, от которого не отказался бы и древний грек. Кроме того, Афанасий приносит несколько писем — проштемпелеванный улов, который нынче выплеснуло море жизни на письменный стол старого Адриана Ставраки.

Адриан Адрианович, прикрутив керосиновую лампу («они» все собираются электрифицировать город, но никак не могут), не спеша ест и просматривает корреспонденцию. Луна и лампа освещают его волосы и широкие плечи.

Письма мало интересны. Два-три от его коллег, таких же музейных людей. Один предлагает древнюю новгородскую икону (у него их несколько) в обмен на траурную античную урну, не моложе четвертого века до рождества Христова. Другой спрашивает, как предохранить пергаментные свитки от высыхания. И все в том же роде. Одно письмо из центра, и, собственно, даже не письмо, а официальное распоряжение Наркомпроса. Наконец, вот настоящее письмо. Пишет из Парижа старый друг, поэт, прозябающий в изгнании. Поэт пишет: «Ты знаешь, что, несмотря на суровую внешность, я всегда был галантен с дамами. Двух, только двух я не выношу. Первая — это Смерть, вторая — Революция. Но с первой я знаком, к счастью, только понаслышке. Зато вторая...»

Адриан Адрианович в знак согласия кивает головой. Луна спокойно плывет над морем, обливая сереб-

ром и чернью небольшую яхточку, стоящую на якоре против школы второй ступени.

И еще одно письмо. На дешевом, невыразительном конверте бледно проямлены буквы адреса. Адриан Адрианович вскрывает конверт и читает: «Дорогой, милый дядя!»

Он останавливается: дядя — чей же это он дядя? Вспомнил. У него действительно была племянница. Звали ее Аглая. С нею как будто что-то случилось. Вспомнил. Она вышла замуж за коммуниста. Так что же она хочет, эта Аглая с нежным профилем византийской царицы Феодоры? Она так долго не подавала никаких признаков жизни, и вот теперь она пишет. Оказывается, она хворает (впрочем, это понятно). Мужа ее послали в Сибирь насаждать кооперативы, а ей с детьми необходимо море. Она вспомнила о милом, дорогом дяде и думает, что он не откажет ей в гостеприимстве. Она ждет телеграфного ответа.

Адриан Адрианович долго размышляет. С одной стороны, лето, конечно, пропадет. Но с другой стороны — Аглая крошкой была мила и забавна... Она любила плоды и сказки. Однажды, увидав кокосовый орех, она сказала:

— Если это мяч, почему он не прыгает, а если обезьяна, то где хвост?

Адриан Адрианович будит Афанасия в его чуланчике под лестницей, куда лунный свет проникает, как кинжал, сквозь узкое окно, дает ему записку и деньги и говорит:

— Завтра утром отнесешь на телеграф. — И, уже уходя, добавляет: — И приведешь в порядок запасную комнату, где стоят старые рамы.

4

Извозчик Костя, чья пролетка, единственная в городе, снабжена рессорами, подъезжает к крыльцу и высаживает гостей. Сначала он извлекает из недр своего экипажа бледную незнакомую женщину (не Аглаю) с младенцем на руках, затем большой чемодан, затем маленький чемодан. И, наконец, с высокой подножки

спрыгивает Аглая, точно такая, как в день кокосового ореха. У Аглаи тот же маленький нос, на котором три разнокалиберные веснушки расположены, как дырочки на трехдырочном пере. У Аглаи та же каштановая гривка и глаза как у византийской царицы.

— Здравствуйте, дядя,— говорит незнакомая бледная женщина (не Аглая).— Дядя, вы не узнаете меня? Я — Аглая. А вот моя дочь, ей шесть лет, а это мой сын, ему одиннадцать месяцев, и у него уже три зуба.

Адриан Адрианович, при помощи Афанасия, вводит гостей в дом, водворяет их и, наконец умытых и освеженных, кормит поздним обедом в своей угловой комнате. Младенец с тремя зубами, утомленный путешествием, спит тут же в кресле. Адриан Адрианович разговаривает с настоящей Аглаей, а сам все глядит на ее дочь, похожую на малолетнюю Феодору. Феодора молчит и уплетает за обе щеки баранью котлету. Дети всегда дети.

Они всегда одинаково любят плоды и сказки. И эти плоды и сказки неизменны. Аглая, например, больше всего любила апельсины. И Адриан Адрианович, взяв из вазы большой золотистый шар, подает его Аглаиной дочери.

— Я больше люблю яблоко,— отвечает та звонким голосом.

Адриан Адрианович поражен:

— Почему же? Ведь апельсин вкуснее.

— Зато яблоко твердое, и его можно грызть. А апельсин как-то сам жуется,— говорит с полным самообладанием дочь Аглаи и, минуя апельсин, берет себе твердое румяное яблоко.

Со стола убрано. Афанасий, с трудом справляясь с метлой, подметает пол. Аглая, обрисовав Адриану Адриановичу в кратких чертах свою жизнь за эти годы, равно как и положение кооперации в Сибири, уходит к себе в комнату кормить сына манной кашей. Адриан Адрианович остается один со своей внучатной племянницей.

Как это часто бывает на юге ранней весной, закат суров. Крепкий ветер ерошит море, и оно покрывается короткими гневными волнами. Ветер хлопает дверьми, тре-

плет в саду кусты жасмина и, наконец, выждав захода солнца, бросает в стекло первый пучок дождевых капель. В комнате опускают шторы и решают затопить камин.

Дрова принесены. Камин зажжен, и пламя бушует так же грозно, как, вероятно, бушевало в контрабандистские ночи Николая Ставраки, а еще раньше — во всех очагах земли. Адриан Адрианович решает, что наступил час для более близкого знакомства с новой родственницей. Она сидит на корточках перед огнем. По ее лицу видно, что она вполне отдохнула с дороги, очень сыта, довольна жизнью и расположена к дружеским беседам.

— Ну, дитя мое, — начинает Адриан Адрианович, взяв кочергу и тоже садясь на ковер, — давай потолкуем. Ведь я даже не знаю, как тебя зовут.

— Майя. А тебя, я знаю, зовут Адриан и еще Адрианович. Но я буду звать тебя дедушкой.

— Зови, дитя. Майя — прекрасное и содержательное имя. По-индийски означает — мечта, иллюзия. Если у тебя нет носового платка, милая, возьми мой.

— Нет, не «мечта», а «Первое мая», и не по-индуски, а по-русски.

— Первое мая... Вот как. А сколько же тебе лет, Майя, девочка? Мама сказала мне, но я забыл.

— Шесть лет. Я на три года моложе революции, но расту вместе с ней. А тебе сколько, дедушка?

— Шестьдесят один, — покорно отвечает Адриан Адрианович и с раздражением спрашивает: — А кто тебе это сказал про тебя и революцию?

— Папа сказал. Он все знает. А знаешь, как зовут нашего мальчика? Его зовут Рэм.

— Прекрасно, — облегченно вздыхает Адриан Адрианович, ударив кочергой по головешке. — Теперь необходим только Ромул. Надеюсь только, что его вскормила не волчица?

— Нет, у нас была коза, потому что мы жили за городом. А, дедушка, что значит Ромул?

— Что значит?

— Да. Из каких слов? Рэм значит: революция, элект...рификация, метарул...металлургия. А Ромул — как это?

— Майя, — в полном отчаянии произносит Адриан Адрианович, — а ты любишь сказки?

— Люблю, — отвечает Майя. — Про то, как мальчик поехал в город Ташкент за хлебом.

— Нет, девочка, это рассказ.

Сильный порыв ветра пронесется над домом. За окном мрачный вечер, шумит море. В комнате горит огонь. Великолепная оправа для жемчужины, какой является сказка, рожденная в раковине народной мудрости.

— Слушай, Майя, — говорит Адриан Адрианович, — я сейчас расскажу тебе сказку, — точнее говоря, миф.

— А что такое миф? — немедленно спрашивает Майя.

— Миф — это тоже сказка, только старая-престарая и оттого еще более прекрасная. Сядь поближе и возьми все-таки мой платок.

Майя, округлив глаза, впиивается ими в Адриана Адриановича, и сказка начинается.

— Очень давно, — начинает Адриан Адрианович, — жила на свете девочка Прозерпина. Она была прелестна. Если мы с тобой когда-нибудь поедем в Париж, я покажу тебе Прозерпину такой, какой изобразил ее художник Моро: с черными кудрями, смуглую, с гранатом в руке и губами, напоминающими полуоткрытый гранат. Однажды случилась такая вещь: Прозерпина со своими подругами собирала на лугу белые цветы.

— Ромашки?

— Нет, не ромашки. Вероятно, это были нарциссы, только больше и душистее теперешних. Она пла, и цветов становилось все больше. Прозерпина, оставив подруг, уходила все дальше... И вдруг... — Адриан Адрианович встал, отодвинул кресло и кочергой провел по полу. — Ты представляешь себе: скамеечка для ног — это Прозерпина, цветы на ковре — настоящие цветы. И вдруг у книжного шкафа разверзается земля — и в колеснице, запряженной огнедышащими конями, появляется Плутон, у которого там, внизу (Адриан Адрианович постучал кочергой об пол), было свое царство. Он, как цветок, схватил Прозерпину, и земля сомкнулась над ними.

— Плутон жил в подвале? — замирающим голосом спрашивает Майя.

— Не в подвале, а под землей. У него там были свои владения. Там было все как на земле, только никогда не светило солнце и не шел дождь, как вот сейчас.

— Дальше, рассказывай дальше,— торопит Майя.
«Ага! — злорадно думает Адриан Адрианович, ставя кресло на место.— Ты хочешь дальше? Я вижу, что ташкентский мальчик значительно поблек в твоём воображении».

И он рассказывает дальше:

— У Прозерпины была мать Церера. Эта мудрая и неисчерпаемо добрая женщина заведовала всеми растениями на земле. Узнав о несчастье с Прозерпиной, она полетела искать ее.

— На самолете? — спрашивает Майя.

— Нет, пешком. Но она ничего не узнала. Тогда, сняв с себя богатый плащ, затканый колосьями, и облачившись в рубище, она пошла в чужие края. А за то, что никто из земных созданий не открыл ей тайну исчезновения Прозерпины, она наказала землю, лишив ее цветов и плодов. В тот год не было ничего.

— И яблочек?

— Разумеется.

— А что же ели люди?

— Гм... Вероятно, консервы, купленные в кооперативах. Но слушай дальше... Церера шла, шла и пришла в чужое царство. Тогда все было просто, и ее тотчас же привели ко двору. А там была радость: у царя и царицы родился долгожданный сын, и царица-мать подыскивала ему...

— Козу?

— Нет, кормилицу. Когда Церера вошла в царские покои, она поразила всех своей осанкой и лицом. Узел ее волос был тяжел, как сноп, а складки одежды напоминали борозды от сохи. Глаза были глубоки, как вода. Царица сейчас же почувствовала, что все живое должно процветать под присмотром этих глаз, и предложила Церере воспитывать сына. Церера согласилась, но с одним условием...

— Майнька,— раздаётся в это время голос Аглаи,— тебе спать пора. Я и так извелась. Рэмик капризничает

ужасно: четвертый зуб режется или простудился, уж не знаю.

— Нет, нет,— просит Майя,— я должна знать, какое условие. Я ведь так не могу.

— Еще пять минут! — кричит Адриан Адрианович в другую комнату.— Через пять минут, по часам, я сам приведу ее. Ну вот: согласилась с одним условием, чтобы ни отец, ни мать и никакой родственник не подсматривали за ней и не давали ей советов. Чтобы ей предоставили полную свободу. Так и порешили. Время шло. Мальчик уже становился на ножки и был так здоров, красив и весел, как ни один младенец в государстве. Он ничем никогда не болел и никогда не простужался. Даже когда у него шли зубы, он улыбался.

— Не может быть,— говорит Майя.

— Уверяю тебя. Тогда царица-мать решила подсмотреть, какими средствами достигается такое чудесное здоровье.

— Спортом,— замечает Майя.— Папа говорит...

— Молчи. Однажды поздно вечером, когда все легли спать, царица, сняв башмаки, подкралась к дверям детской. Что же она там увидела?

— Что? Ну что?

— В детской горел очаг. Груда углей сверкала червонным золотом, вот как здесь. Церера раздела малютку и внимательно осмотрела его тельце. Нагое дитя, белое, как пена, глядело на огонь, и пламя отражалось в темных зрачках. Церера подошла к очагу, разгрела уголья и, как в песок, посадила туда ребенка.

— Ах! — шепотом вскрикивает Майя.

— Да. А мальчик смеялся. Он был счастлив. При виде сына в огне царица испустила громкий крик. И, как бы в ответ, отчаянно заплакал ребенок, ощутивший боль.

— Как? Я не понимаю.

— Это было волшебное средство. Не нужно забывать, что Церера была богиня. Она хотела сделать из ребенка неуязвимого героя и уже добилась того, что он не ощущал, например, ожогов. Но смертный глаз не должен был ничего этого видеть. Мать все испортила.

— Неуязвимого героя...— повторяет Майя мечтательно.— Но мать все испортила. А что такое богиня?

— Пять минут прошло,— заявляет Аглая, появляясь на пороге.— Я требую, чтоб ты немедленно шла спать. Уже поздно. Рэмик тоже наконец уснул. Измутил он меня.

— Идем, идем, Майя,— говорит Адриан Адрианович, вставая.— Мы слово дали.

— А Про...зерпина? Что случилось с ней?

— Я доскажу тебе завтра, если тебе интересно.

— Мне интересно.

Майя медленно идет к двери. Движения ее неуверенны, глаза пристально раскрыты. Очевидно, перед ней далекий очаг, царский ребенок, плащ в колосьях, водоворот необычных образов, в которых она тонет. У выхода она останавливается:

— Ты мне доскажешь завтра?

— Непременно.

— Но сегодня скажи мне только одно: все это правда или нет?

И тут старый и умный человек, грудью отстаивая свое собственное детство, дает ребенку лукавый ответ:

— Это миф, Майя,— говорит он.— Миф. Все это было так давно, что никто в точности не знает, было это или нет. Спи крепко, девочка.

5

Непогода кончилась. Туча, вздрагивая зарницами, ушла за горизонт, и узкая ущербная луна встает над морем. Мокрые кусты жасмина усыпаны тяжелыми благоуханными брильянтами.

На старом диване, заменяющем ему кровать, Адриан Адрианович засыпает. В камине легчайший треск догорающих углей. Сквозь незанавешенное окно — легчайший дым луны. Сон все ближе и ближе подходит к старому дивану. Он трогает кисти, он трогает подушки, он касается седых волос, и Адриан Адрианович уже спит. Он видит поле ржи, которое в то же время и море. Над ним облако, крылатое, как плащ. И вдруг из этого облака низвергается молния. Раздается страшный удар грома и страшный крик.

Адриан Адрианович открывает глаза. Перед камином, белея длинной рубашкой, залитая слезами, дрожит Майя. За ней Аглая, еще более бледная, чем днем. Отчаянно кричит маленький Рэм на руках у матери. В дверях трясется Афанасий в нижнем белье.

— Что, что случилось? — спрашивает Адриан Адрианович, стараясь перекричать Рэма. — Зачем вы все здесь? Афанасий, дай мне валерьянку! Говорите же! Они говорят все сразу.

— Господи милостивый! — причитает Афанасий, шаря на полке. — Иду это я по коридору парадную проверить и вижу, господи милостивый, — барышня тащит младенца-брата, сама не в себе. Глазки горят — и прямо в кабинет. Толкнуло меня будто. Я за ними, а они младенчика в камин кладут, как головешку, господи милостивый.

— Сплю я, — всхлипывает Аглая, — слышу шорох. Открываю глаза — детей нет. Выбегаю, смотрю — Майкина рубашка мелькнула. Успела вбежать как раз в ту минуту, когда она... Рэма... в огонь. Счастье, что все уже прогорело, почти один пепел остался. Ручка, ручка болит у мальчика моего. Аа-аа, ребенок мой, цыпленочек мой! Ах ты скверная девчонка...

— Постой, постой, Аглая, — перебивает ее Адриан Адрианович, — так нельзя. Смотри, она вся дрожит.

— Я... я хотела сделать из него... неуязвимого героя, — рыдает Майя, — но мать помешала, как в тот раз...

Все легли. Даже Рэм, присыпанный содой, уже спит. Рассвет уже тронул море, звезды с каждым мгновением бледнеют. Но Адриан Адрианович не может спать.

Он сидит у стола и при неверном свете лампы пишет своему другу-поэту в Париж, отвечая на его письмо.

«Все меняется, — пишет он, — даже дети. Что было хорошо для нас, губительно для них. И наоборот...»

УРАВНЕНИЕ С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ

I. Море кризисов

Фредерик Шопен, так мирно спящий на кладбище Парижа, неподалеку от Мюссе, Фредерик Шопен, чьи мазурки прозвенели по всей Европе, не представлял себе, как много горя причинит он Леве Гойху из Одессы. Лева Гойх не был гениален в полном смысле слова, но, по мнению родителей, положительно приближался к этому.

Одесса пустела, глохла, разрушалась. Дома из хрупкого желтого камня каждой своей трещинкой вопияли о ремонте, но их огораживали веревкой и не ремонтировали. Море подсасывало безвольный берег. И когда с сырым шуршаньем оседала земля, обнажая корни трав и фундаменты домов, волны отбегали далеко назад и там шумели: «Не устроили дренажа, так мы вас покроем. Мы все себе заберем. Скоро на вашей Соборной площади будут рыбы плавать...»

Порт был чист и тих. Склады еще пахли чаем, сургучом, Индией и Китаем, но были пусты. Мальчишки пускали кораблики из арбузной корки, с газетным парусом. И такой кораблик долго плыл по гладкой воде, не волнуемой никаким экспортом. Была тишина. И

только из яхт-клуба выходила на закате яхточка «Наяда», узкая и серебристая, похожая на крылатую рыбу. Комсомолец в зеленых трусах стоял у руля. Закат лил горячий сургуч на сожженные солнцем отроческие плечи. Ветер трепал черную прядь. За брекватером кончался день и начиналась ночь. И зыбь морская шуршала в лунном луче, как оловянная бумага чайных цибиков.

Илья Абрамович Гойх, Левин папаша, хлебный маkler, всю жизнь любил Одессу и ненавидел город Николаев, который воображал, что он тоже соперник в хлебном деле, и даже выстроил элеватор. Но теперь хлебное дело сделалось наименее хлебным из всех. Илья Абрамович перебивался баклажанами, которые он поставлял Пищетресту для консервов.

День был труден, особенно летом, во время баклажаньего сезона. В сумерки, придя домой и сняв натруженный парусиновый пиджак, Илья Абрамович устраивал жене очередной скандал:

— Я говорил раз и навсегда, чтобы я не видел баклажанов на своем столе. Довольно они сосут мою кровь целый день. Ты слышишь меня, Адель?

Но после обеда он усаживался с Аделью на чахлом балконе и блаженствовал. Балкон выходил на улицу и был роскошно украшен почти тропическим растением, носящим название «крученный паныч». Крученный паныч полз из зеленых ящичков по веревочкам, время от времени выделяя из себя жалобный колокольчик в прожилках.

В этот час в столовой Левочка садился за пианино, втиснутое между мрачным буфетом и облупленным шкафчиком для продуктов.

При первых же звуках пианино серебристый холодок проносился по комнате. Илья Абрамович вздрагивал и расстегивал жилет. Адель Марковна Гойх, Левина мама, впадала в задумчивость. А под балконом, в подвале, где жил лудильщик, воцарялась такая тишина, как будто во всем мире не оставалось больше ни одной продырявленной кастрюли.

Лева начинал очень осторожно. Изредка один палец трогал какую-то ноту. И эта одна была незабываема.

Но вот руки разошлись, разметнулись, им стало тесно, им стало душно. Мелодия заполнила все. Шопен шумящей волной налетал на комнату. Волна захлестывала мрачный буфет, пронеслась над шкафчиком и брызгами оседала на балконе. И, омытая этой волной, расцветала мечта.

Илья Абрамович мечтал:

«Одессе дадут порто-франко, и город оживет, о чем говорить. А Николаев — превратится в ноль. Просто смешно: в конце концов житница — это мы».

Адель Марковна думала свое:

«Какой это удачный ребенок! Какой золотой сын! Но он ничего не ест? Что же делать, если все ж таки это самое дешевое блюдо. Попробую их фаршировать и говорить, что это кабачки».

Лудильщик в подвале мечтал:

«Если б можно было лудить холодным способом. Этот паяльник — летом выжигает печенку. За мороженицу я возьму у Хроменко не меньше полтинника. Раз человек кушает мороженое, значит, он имеет средства».

А Лева в это время существовал где-то на Луне. Там, как известно, есть впадина, которую земные ученые окрестили Морем кризисов. В Левином представлении оно было «Морем звуков».

Громовые бури сменялись там мельчайшей звуковой рябью. А над этим морем, заливая его призрачным светом, вставало далекое, недостижимое светило — Земля.

Это и был Шопен.

Наконец Лева переставал играть. Лоб его был влажен. Пролетев в одно мгновение пространство, отделяющее Море кризисов от столовой в родительском доме и при падении больно ударившись о буфет, Лева приходил в себя. Тотчас же очарование отлетало. Лудильщик с яростью набрасывался на мороженицу Хроменко, Илья Абрамович, вспомнив, что необходимо переговорить кое с кем насчет партии тыкв (хотя это была не его специальность), надевал парусиновый пиджак и исчезал. Одна Адель Марковна еще некоторое время была задумчива и говорила:

— Левочка, ты как будто упал с луны.

И, говоря это, не подозревала, до какой степени бы-

ла права. Но потом и она становилась такой, как всегда, и уходила в гости к соседям. И только Лева до поздней ночи не был вполне спокоен. Он сидел на балконе и глядел на луну.

Так прошел год, один и другой. За это время дважды созрели баклажаны и покорно легли в жестянки Пищетреста, обливаясь томатной подливкой. Комсомолец с яхты «Наяда», уже не в трусах, а в длинных брюках, вступивший в партию, ездил по заседаниям с портфелем, и морской загар сменил на городскую бледность. Лева Гойх окончательно и бесповоротно возмужал.

Так как Шопен не самоокупался, а порто-франко все еще не было, то Илья Абрамович пристроил сына к кожевенному делу. Кроме того, одно время Лева работал в маленьком полулюбительском театре.

В ту трудную зиму, когда было так мало хлеба, театр этот поставлял городу зрелища и, благодаря тому что обитал в подвале, под землей, именовался «Сусликом». Впрочем, занятие это было главным образом для души, потому что «Суслик» был беднее крысы.

Понемногу город начал оправляться, но зато половина его населения переехала в Москву. Знающие люди утверждали, что во всех московских учреждениях не меньше двадцати пяти процентов одесситов.

Так шло время, покамест в один вечер, в сентябре, Лева, проиграв полтора вальса и один ноктюрн, вышел на балкон очень бледный и, стиснув зубы, заявил, что он едет в Москву.

Адель Марковна схватилась за сердце, Илья Абрамович — за карман, но Левочка был тверд. Он сообщил отцу и матери, что деньги на дорогу у него есть, равно как и на неделю жизни в Москве. Что в столице должен быть спрос на все, в том числе и на Шопена, что кожевенное производство и он, Лева, не созданы друг для друга.

— На кого же ты рассчитываешь, сын? — дрожащим голосом спросила Адель Марковна. — Помни, что там нет ни одного Гойха. А квартирный вопрос?

Лева Гойх ответил, что у него в Москве блестящие

знакомства в артистическом мире, и попросил только просмотреть все его вещи: зима в столице очень сурова.

Через неделю после этого разговора Лева Гойх покинул родной город. Адель Марковна обливалась слезами, Илья Абрамович беспросветно молчал.

Москва встретила Леву Гойха серым камнем Брянского вокзала, проворными трамваями и грушами «Бера Александровна», знаменующими осень. Лева, поняв, что захоластные фамильярности кончились и начинается столичная вежливость, такая, что даже груши имеют отчество, влез в трамвай № 4 и, крепко держа чемодан, понесся от периферии к центру, в самую гущу Москвы. По дороге он перечитывал адрес человека, на которого возлагал все надежды. Это была актриса по имени Рита Грин, его коллега по «Суслику». Во всей Москве он знал только ее.

2. Материк беспокойства

Рита Грин, стриженная, с треугольным личиком, похожая на мальчика, который похож на девочку, только что проснулась в этот час. Она была мрачна. В театре, где она служила, к ней придирались все, начиная от товарищей и кончая завхудчастью. Так, например, в последнем обзрении ей не разрешили надеть малиновые перчатки с раструбами до локтей, на которых она построила всю роль. Обидно еще было то, что монокль, который почему-то ей был разрешен, не хотел держаться ни в каком глазу. Но все это были второстепенные обиды. Самой главной обидой было то, что в Москве не писали хороших злободневных частушек. Коронным номером Риты Грин были именно частушки. И когда она выходила на сцену в пестром платке, из-под которого выглядывала косулька, вздрюченная на проволоку, в широченной юбке, с неподражаемо частушечным выражением лица, театр вспыхивал улыбками и аплодисментами. Но частушки имеют одно чрезвычайно неудобное свойство: быстро запоминаться. И даже так: чем лучше частушка, тем быстрее она влезает в голову и тем дольше там остается. Поэтому необходимо пополнять их

запас. Урожай же на частушки был в тот год неважный. Они взошли было довольно густо весной, но их побило градом упреков в недостатке идеологии — и они пожухли. Все это, вместе взятое, плюс личные запутанности, действовало на Риту угнетающе.

В это синее сентябрьское утро, встав с постели и надев полосатенькую пижаму, Рита Грин решила победить монокль. Сев перед зеркалом, она вставила стекло сначала в левый глаз, который казался ей более сговорчивым. Глаз немедленно наполнился слезами и вернул ей стекло обратно. Монокль выскочил и упал в чашку какао, стоящую рядом с зеркалом.

— Ну, нет, гражданин, — сказала Рита Грин, — это вы бросьте!

И, говоря это, она выудила монокль рожком для туфель, вытерла губкой и перешла к правому глазу. Тот безропотно перенес монокль и даже смотрел в него, хотя и ничего не видел.

С моноклем в глазу Рита Грин надела перчатки с раструбами, чтобы полюбоваться ансамблем, как вдруг позвонили...

Лева Гойх, увидав улицы Москвы, ощутив пульс московской жизни такого наполнения, о котором даже не помышлял в Одессе, вдруг оробел. Еще больше оробел он на парадном ходу Риты Грин, который был не столько парадным, сколько черным. Сердцебиение усилилось в то время, когда он нажал кнопку звонка и невидимый голос спросил:

— Ну?

— То есть как это, простите, «ну»? — выговорил Лева. — Мне нужно видеть гражданина Риту Грин.

Цепочка соскочила, дверь открылась, и на фоне вешалки Лева увидел гражданина Риту Грин в полосатых штанах, в чудовищных перчатках, с моноклем в глазу.

— Батюшки! — воскликнула Рита Грин, раскрывая глаза и роняя монокль. — Кто это?

Лева, не выпуская из рук чемодана и трамвайного билета, напомнил ей подвал «Суслика», Одессу, рассказал про баклажаны и Шопена, вкратце объяснил несколько различных способов обработки кожи, еще раз напомнил о «Суслике» и заключил так:

— Рита, ведь вы понимаете, что я здесь устроюсь. Я должен устроиться. Разрешите поставить чемодан.

Рита, несмотря на театральную карьеру, ожесточающую сердце, все же была добра. Она вспомнила свой собственный приезд в Москву: жажда жизни была ей так понятна. И, великолепным жестом отшвырнув от себя перчатки, как бы бросая вызов судьбе, она попросила гостя войти и зажгла примус.

Подперев ладонью треугольный подбородок с ямкой, Рита Грин за чаем еще раз выслушала Леву Гойха. Ему нужны были две вещи: кровать, чтобы спать, и пианино, чтобы играть. Обладая таким прожиточным минимумом, он надеялся в самом непродолжительном времени найти себе службу... Рита Грин, оглядев комнату, где в идеальном беспорядке были перемешаны: гримировальные принадлежности, коробки из-под шоколада (все пустые), пепельницы с окурками (все полные), два дивана и патефон, но где не было ни кровати, ни пианино, — вздохнула.

3. Вобла и горох

Любительская вобла выглядит безголовой, но в остальном совершенно целой. Это обман зрения. На самом деле она нарезана узкими косыми полосками, вроде кожаной бахромы на ковбойских штанах. Вместе с ней подается горох. Кроме воблы и гороха, в пивной есть еще раки, вполне вывихнутые существа, у которых хвост называется шейкой. Но лучше всего само пиво. Оно прохладно. Оно утоляет почти все жажды и многие печали.

В пивной по вечерам поет хор «Русское раздолье», под управлением Зиновия Бродского. И тогда туман пива и песен плывет над любительской воблой. Зиновий Бродский, в поддевке и крагах, дирижирует нижней челюстью. «Русское раздолье», сидя кружком на эстраде, звенит гитарами. И вдруг из гула голосов и струн, как черный туз из колоды карт, взлетает низкий женский голос. Взлетает невысоко и падает, как битая карта. Все проиграно.

По вечерам пивная полна. Там весело, но не вполне благополучно. Параллель бытия, проходящая через каждую данную пивную, искривлена, правда, ненадолго, всего на шесть градусов алкоголя, которые содержатся в пиве, но все же...

Зато по утрам пивная математически спокойна. Все находится на своих местах. Жизнь встает во всей своей головокружительной трезвости.

Одна такая пивная помещалась как раз под комнатой Риты Грин, и Рита Грин порой приходила туда после спектакля. А не то днем, внезапно сообразив, что, кроме шоколадных трюфелей, есть еще другая пища, она посылала вниз, за свиной котлетой, и при виде ножа и вилки испытывала радость Робинзона. Одним словом, Рита Грин знала эту пивную, и пивная знала ее...

Там, на эстраде, под сенью финиковой пальмы из пакли и картона, стояло пианино. До часу ночи оно стонало, иллюстрируя русское раздолье. Утром оно отдыхало. Но вскоре на него, в часы его утреннего досуга, обрушился Шопен.

Через пять дней после приезда Левы Гойха выяснилось, что Москва равнодушна к приезжим талантам, что спать, хотя и не вполне вытянувшись, он может на одном из диванов Риты Грин, но что играть ему негде. Его тоска по клавишам была так велика, что Рита Грин добилась для Левы разрешения играть по утрам в пивной на отдыхающем пианино. И в одно утро клеенки, горох, вобла и раки, привыкшие к широкой волне русских плясовых, были потрясены хрустальным каскадом польских мазурок.

4. Шапошников и Вальцев

«Найти вес рыбы, зная, что хвост ее весит два килограмма, голова весит столько, сколько весит хвост и половина туловища, а туловище — сколько голова и хвост».

Так как на слово «хвост» села клякса, то Оля Сушкова приделала ей во все стороны лучи: получился сплюснутый еж. Наглядевшись на него, Оля Сушкова начала рассуждать вслух:

— Предположим, что вес рыбы — x килограммов. Тогда голова весит x минус хвост, то есть $x-2$. Теперь так: голова минус туловище — это будет $x - (x - 2)$. Раскроем скобки и перенесем все иксы в одно место; тогда получится: $x - x - 2$. Сократим — получится: $x-2$. Получилось странно. Проверим. Мы знаем, или нет, мы не знаем, что голова весит... ох, как много она весит, какая она тяжелая, как она болит. Еще раз... Мы знаем, что хвост... и хвост болит. Мы знаем, что голова и хвост болят вместе x подушек. Мы знаем, что туловище...

В этом месте Оля уснула, голова навалилась на Шапошникова и Вальцева, туловище тяжело легло на стол, а хвост (синий шерстяной) повис в воздухе. Все вместе — голова, туловище и хвост Оли Сушковой — было поглощено сном и весило много. И своим весом равнялось тяжести слова «неудовлетворительно», которое, увы, завтра должна была начертать на тетради учительская рука.

Квартира затихла. Все тише становилась улица. Все глубже по асфальтовым ступеням опускалась ночь. Но вслед за ней по этим же ступеням восходило утро. Самая скользкая из его ступеней была вторая, ибо на ней находилась школа. А задача № 390 не была решена.

Лева Гойх плохо спал за ширмой на диване. Московские ночи были беспокойны. Рита Грин приходила поздно, расшвыривала все, что было полегче, а что потяжелее — сдвигала с места. Затем, обрушив проклятья на чью-нибудь театральную голову, ложилась в постель. Но и там у нее ломались папиросы, рассыпались спички и падали подушки. Наконец, доев последний трюфель и сообщив ширме, что ее, Риты, жизнь непоправимо испорчена, она засыпала.

Утром Лева уходил как можно раньше, чтобы освободить комнату. Кроме того, он старался прийти в пивную как раз в ту минуту, когда ее отпирали, чтобы по возможности без свидетелей беседовать с Шопеном.

В знаменательное утро конца сентября он пришел настолько рано, что пивная оказалась закрытой. Дул

ветер. Близилась осень. Лева Гойх, застегнув пальто на все пуговицы, прошел на ближайший бульвар и сел так, чтобы видеть пивную. Тотчас же пошел мельчайший дождь, и водяная пыль покрыла ворсинки пальто.

От длительного недосыпания, от причудливой и скудной пищи, от московского неюта на Леву нашла такая слабость, что он закрыл глаза. В темноте отчетливее зазвонили и зажужжали трамваи, громче зашуршали опавшие листья. И внезапно на фоне этой сложной оркестровки выделилась короткая самостоятельная мелодия: кто-то всхлипывал и тянул носом. Лева Гойх открыл глаза. На сырой скамье сидела школьница.

— Вы плачете? — спросил Лева. — Почему?

Школьница молчала.

Лева Гойх, будучи сам несчастен и сочувствуя, как никогда, чужому горю, спросил вторично:

— Почему вы все-таки плачете? Должна же быть причина. Что вас тревожит, прошу вас?

— Как может вся рыба весить $x-2$, если один только хвост весит два килограмма? — был скорбный ответ.

Лева Гойх не удивился. Рита Грин приучила его ко всевозможным неожиданностям. Поэтому он продолжал спрашивать дальше:

— Зачем вам это?

— Мне это страшно важно. Я совсем не ложилась (это была правда: она всю ночь крепко проспала на стуле). И сегодня мне нужно, просто я должна...

— Покажите задачник, — сказал Лева, смутно припоминая, что и он в свое время имел дело с этой рыбой. — Так! Понимаю. Уравнение с одним неизвестным.

— Ох!

— Хорошо, будем рассуждать. Предположим, вес рыбы — x килограммов.

— Предположим, — убито согласилась Оля Сушкова.

Они предположили еще раз, и снова обнаружилось роковое несоответствие между хвостом и головой. Получился рыбий ублюдок без туловища.

— Пойдите, так нельзя. Надо еще раз!

Говоря это, Лева представил себе волны родного мо-

ря. Ясно, что Шапошников и Вальцев не были рыбаками, иначе они сами ужаснулись бы тому, что поймали в свои сети.

— Как же это! Что же это? — начал было Лева, но в эту минуту туча, висевшая над бульваром, разверзлась и потоки воды хлынули на мир.

Лева Гойх, которому тяжелая капля ловко угодила за воротник, решительно встал.

— Идем, — сказал он, — мы решим это в другом месте.

5. Гражданин Икс

На стойке дремали раки, подвернув шейки (хвосты). Пианино молчало. Пивная была пуста. Только за столиком у окна рука в черном кожаном рукаве держала газету «Экономическая жизнь». Ноги были скрыты столом, а голова и туловище — газетой.

Лева Гойх, в качестве утреннего завсегдатая, поклонился человеку за стойкой и человеку, разносящему пиво, улыбнулся в сторону пианино и вместе с Олей Сушковой скромно сел в самом неудобном месте, за самый убогий столик в проходе. Он сдвинул перечницу и солонку, развернул задачник, и на мраморной клеенке снова тяжело забила проклятая рыба без туловища...

Рита Грин вообще ничему не удивлялась. Но, войдя в это утро в пивную поесть сосисок, она все же удивилась, увидав Лева Гойха с белокурой девочкой, чей наплаканный нос выражал отчаяние, и услышав слово «рыба».

«Кто бы сказал, — подумала Рита Грин, отряхивая клетчатую пелерину от дождевых капель, — кто бы предположил, что этот Лева будет здесь угощать рыбой какую-то девицу, которая уже плачет? И на какие деньги?»

И она, не замечая их, хотела пройти мимо, но Лева ухватил ее за руку:

— Как хорошо, что вы здесь. Ведь вы же учились. Посмотрите, это не решается.

И Рита Грин, забыв про сосиски и свесив над Шапошниковым и Вальцевым прямые мальчишеские волосы,

погрузилась в задачу с одним неизвестным. В окна лопнул дождь. В углу прощуршала газета и смолкла.

— Нет, — сказала Рита, — это нельзя решить. И вообще все это вздор. Таких рыб не бывает. Помните, Лева, в Одессе? Там были бычки и эта, как ее... у которой только профиль и никакого фаса?

— Камбала, — вздохнул Лева. — В сухарях.

— Вот эти самые. Так разве они весили два килограмма хвост? Немыслимое дело! Ведь нет даже на свете такой сквороды. Этого не бывает.

— А семга? — неуверенно спросил Лева. — Она бывает громадная.

Рита Грин на мгновение стала в тупик, но оправилась быстро:

— Семга млекопитающееся, так же как и кит. Поэтому ее считать нельзя. Вы не плачьте, — обратилась она к Оле Сушковой, — не надо плакать. Вы скажите в школе, что все это ошибка. Ужасная ошибка. Беру ответственность на себя.

— Я застрелюсь, — вдруг бурно зарыдала Ольга. — Пойду и умру! Каждый день арифметика! Каждый день!

Рита Грин побледнела и сказала:

— Я понимаю ее, Лева. Честное слово, она права. Возьмите хотя бы частушки. Не пишут их.

Лева закрыл глаза.

— Все это еще туда-сюда. Но если вы в чужом городе и деньги кончаются? А из дома пишут, что у отца ишиас? Так что тогда? Я даже снова подумываю о кожевенном производстве. Вот только когда играю, так ни о чем...

— Сыграйте, — сказала Рита Грин, — все равно решить нельзя. Сыграйте ноктюрн. Вот и Оля послушает.

— Вздор! — раздался голос из угла. — А задача? Вес рыбы?

Все трое обернулись. Газета была опущена. Оказалось, она скрывала гладковолосую голову и серые насмешливые глаза.

— Вы кто? — спросила Рита Грин, свирепея. — Как вы смеете? Какой-то никому не известный...

— Вот именно. Дайте посмотреть задачу.

— Она не решается.

— Не может быть. Таких нет!

Он встал и, отчетливо ступая, подошел к столику.

— Незачем вам, — сказал он, — среди белого рабочего утра слушать Шопена. Это что же получается — вроде рюмки водки: выпил и все забыл. А задача — черт с ней! Так, что ли?

— Как вас зовут? — спросила Рита Грин.

— Ну что, в самом деле, как зовут! Разве в этом дело?

— Гражданин Икс, — с иронией выговорила Рита Грин.

— Хоть бы и так. Дайте-ка задачник. Рассуждайте, — обратился гражданин Икс к Оле Сушковой.

— Я уже рассуждала.

— Да, я слышал. Семга — млекопитающееся. Ну, начинайте!

И Оля начала:

— Предположим и т. д.

И, оттого что серые глаза глядели на нее в упор и движением зрачка указывали ей ошибки, она тянула и тянула нить рассуждения, покуда на конце не повисла готовая рыба с хвостом, головой и туловищем, весом в шестнадцать килограммов (по ответу), прекрасное пропорциональное морское создание.

— Я все поняла, — с уважением к самой себе сказала Оля Сушкова. — Честное слово.

— Вышло! Удивительно, — протянула Рита Грин. — Дайте-ка посмотреть, как это?

Но гражданин Икс захлопнул книгу.

— Некогда! Вам пора идти, — обратился он к Оле Сушковой. — Вы еще поспеете.

И та, ухватив ранец, исчезла.

Гражданин Икс уложил в карман газету и придвинулся к столу.

— У меня найдется для вас отрезок времени, — сказал он. — Расскажите, как вы живете?

— Отвратительно, — ответил Лева. — Если бы не музыка, я не знаю, что я делал бы. Вот, например, Шопен. С ним я забываю обо всем.

— Ага. Так, так, — сказал неизвестный. — Ну, а вы? — обратился он к Рите. — Что вам нужно, чтобы забыть обо всем?

— Мне, — ответила Рита, — мне нужна пронзительность. Вы не понимаете? Пронзительность — это когда сердце падает... лучше всего на рассвете, если не поспишь ночь. Тогда все голубеет и кружится. Тут же и вино. Белое. Снег выпал за ночь. И в зеркале отражается месяц опрокинутой лодочкой. Грусть такая крылатая. Жизнь такая проклятая, короткая, дорогая...

— Ага. Так, так, — сказал неизвестный. — Очень хорошо понимаю. Вы не спите ночь, а потом, опрокинутым рассветом, вы решаете, что пускай вас несет этот поток, как дохлую рыбу.

— Позвольте, — возмутилась Рита. — Как дохлую рыбу? Я этого не говорила.

— Нет, вы сказали, только другими словами. А вы, — обратился он к Лева, — что делаете вы? Вам отпущен природой двойной паек способностей. Как вы пользуетесь им? Наисквернейшим образом. Жизнь отвратительна, говорите вы. Так давайте же исправим ее. Действуйте, вносите коррективы, перестраивайте, боритесь за лучшее. Для этого вы прекрасно вооружены искусством, этой редкостной дальнобойной винтовкой, чьим стволом вы пользуетесь как кочергой, помешивая ею пепел воспоминаний. История оказала вам честь, выпустив вас на свет в отличную эпоху. Трудовое человечество освободит неисчислимые киловатты собственной энергии. Оно разведет сады, о которых мы и не мечтаем. Обособленного искусства не будет, потому что им будет пропитан весь быт. А вы представляете себе, как вечером в концерте зазвучит Шопен, не тот, которого знаете вы и который одинокие капли дождя и одинокую грусть превратил в песни для таких же одиночек, как он сам. Другой, новый Шопен обуздает не капли, а слитые ливни звуков, пахнущие влагой и солнцем, любимые всеми. Эта музыка будущего будет столь действенной и мощной, что над ней, как над водопадом, возможно, встанет радуга.

— Когда же? — в один голос спросили Рита и Лева.

— Когда же? Почему вы спрашиваете меня об этом. Ведь для такого будущего надо совсем иначе использовать свое настоящее. Не так, как это делаете вы. А вы... бессонными ночами, опрокинутыми бокалами, нет, про-

стите, это месяц был опрокинут, всем этим вы смущаете не только себя, но и других. Вы блестящие дезорганизаторы, дорогие друзья мои. Куда вам до проблемы будущего, когда в настоящем вы не можете решить наипростейшей задачи Шапошникова и Вальцева.

Неизвестный умолк и встал.

Солнечный свет, светлый и холодный, потек по полу. Дождь переставал. Большой кленовый лист прилип снаружи к окну пивной.

— Я ухожу, — сказал гражданин Икс. Он повернулся к Леве Гойху. — Вот вам записка. Подите по этому адресу. Может быть, там вам помогут устроиться.

Рита Грин взяла его за кожаную куртку.

— Ну, кто вы?

— Неизвестный. Прощайте. Не стоит огорчаться из-за таких пустяков, как монокль.

И он пошел к двери.

— Молчит, — почтительно прошептала Рита Грин. — Неизвестный.

Лева Гойх развернул записку. В ней было несколько рекомендательных слов. Вместо подписи были инициалы. По ним Лева ничего не мог определить.

От себя же мы можем сказать, что это был... Впрочем, это не важно.

УЛИЦА ВОССТАНИЯ

Перед тем как упасть, березовый лист долго трепещет в воздухе. Оторвавшись, он невесомо летит, и кажется, что никогда не коснется земли. Но пышнее всего облетает клен. Перед смертью он одевается в золото и пурпур, как знамя, и другие деревья завидуют ему... В осенний день можно умереть, погибнуть можно от жажды жизни. В это время можно окончательно захмелеть от первой же рюмки осени. Особенно если думать о прошлом.

Что касается прошлого, оно полно ошибок. Оно полно грамматических ошибок, потому что человек, захмелевший от первой же рюмки осени и сидящий вот сейчас на окраинном бульваре Москвы, человек этот в свое время занимался педагогикой. Ошибки его многочисленных учениц были крупны и обильны. Мелких же ошибок было еще больше: их не счесть.

— Ну и головы! — говорит, бывало, Сергей Львович Экземплярский, молодой, нескладный и русский. — Ну и головы! — говорит, бывало, он, сидя вечером под лампой и вылавливая ошибки в тетрадах. — Учат, учат они исключения эти, и вот пожалуйста, «цвел» через «е», и «звезды» опять-таки через «е».

И он густо подчеркивает синим карандашом несчастное слово. Ему совершенно ясно, что никакие

цветы вселенной не могут цвести через «е». И никакие звезды не могут светить через «е».

В девятьсот пятом году престиж буквы «ять» был слегка поколеблен. Сергей Львович, как «любимый и чуткий наставник», выступал на школьных собраниях, откидывал головой соломенную прядь волос, говорил о «начальствующих», как о «нищих духом».

Случилось ему выступить в университете на большом митинге. Круглая аудитория шумела и текла. Темная зелень девических платьев, как хвойная поросль, толпилась у кафедры. Такая же поросль, только винно-красная, подступала к кафедре с боков: то были формы различных гимназий. На передних скамьях сидели серебропуговичные гимназисты, желтые пуговицы реалистов густо скопились позади, окнами же завладели электротехнические фуражки. В иных местах все это было перепутано.

Выждав свою очередь, Сергей Львович в штатском, в распахнутом пиджаке, полез на кафедру. Он снова сказал о «нищих духом» и закончил так:

— Свобода — это прекрасная птица. Мы выпустили ее из клетки, но мы же должны и сберечь ее. Мы должны быть осторожны в словах и благоразумны в поступках.

При этой фразе словно ветер опохнул зеленую и красную поросль, шум пошел по чаще. И самые дальние пуговицы и фуражки поддержали их смутным гулом. После Сергея Львовича выросла на кафедре девушка, словно елочка на пригорке.

Сергей Львович хорошо знал ее: она была его ученицей и сидела в шестом классе справа у окна. Ее классные сочинения поражали неженской, мальчишеской какой-то меткостью. Она попадала в основную мысль, как мальчишка в воробья. Косы же она свертывала над ушами девически нежно.

Взойдя, она подняла маленькую руку с чернильным пятном на ладони. Сделалось очень тихо.

— Что же это, товарищи, — начала она тем же голосом, каким отвечала на уроках характеристику Татьяны. — Предыдущий оратор (здесь она взглянула на Сергея Львовича, и он внутренне смутился, увидав ее на кафедре, а себя на скамье), — предыдущий

оратор говорил нам об осторожности. Мы знаем, что это значит...

Она говорила еще довольно долго, но предыдущий оратор уже не слушал ее, он только смотрел. Он смотрел и не понимал, почему при взгляде на нее у него так необычайно билось сердце. Почему все, даже чернильное пятно на ладони, вызывало в нем дрожь. Он смотрел на нее, не понимая, что это любовь. Он так и не узнал любви, как не узнал впоследствии революции.

Девятьсот пятый год кончился. «Нищие духом» снова взяли верх. И настал час, когда, вызванный на объяснение к главнейшему из «нищих духом», Сергей Львович ощутил трепет и слабость. Амбирные стулья приемной двоились у него в глазах. Ветер событий начал гудеть над ним, и он, чтобы не упасть, ухватился за какой-то амбир. В минуту наиболее острого ужаса белая с золотом дверь распахнулась и белая с золотым перстнем рука пригласила войти.

Идя домой, Сергей Львович снова был спокоен: все было на прежнем месте, и сам он был на прежнем месте. Все было благополучно. Однако нечто... кое-что... Да, что это было?

Сергей Львович внезапно вспомнил.

— Господин Экземплярский, — сказал ему «нищий духом» и вынул часы из кармана. — Не думайте, что мне самому неведомы заблуждения юности. Я все изведаль, я все понимаю и, следовательно, все прощаю. Но, — тут он завел часы и послушал ход, — было бы желательно знать более подробно, кто же именно...

Дальше все было неясно. Сергею Львовичу трудно было припомнить, что же все-таки он ответил. Кто же все-таки произнес в амбирном кабинете фамилию белокурой девочки с чернильным пятном на ладони. И Сергей Львович, так и не вспомнив, продолжал жить дальше, не поняв теперь своей измены, как раньше не понял любви и как впоследствии не понял революции.

Годы текли удивительно быстро, удивительно равномерно. Покуда текли годы, Сергей Львович по-прежнему объяснял «его» и «аго», по-прежнему вместе с классом вникал в придаточное предложение: главное шло мимо него. Фамилия белокурой девочки исчезла

со страниц классных журналов, словно ее смело ветром событий.

Человек, захмелевший от первой же рюмки осени, сидит на скамье, на бульваре. Человек — все он, все прежний Экземплярский. Но былую юношескую угловатость сменила старческая костлявость, а мягкая пшеничная борода превратилась в седое колючее жнивье. Над Сергей Львовичем пышно облетает клен, осенняя синь плывет над кленом, а над синью, над всем, ощущение неизвестно как ушедшей жизни.

— Моя жизнь—это настоящая биография,—говорит проходящая гражданочка своему кавалеру.

«А какова же моя биография?» — думает Сергей Львович, ищет и не находит ее.

— Нефть хороша только тогда,— говорит юноша девушке,— когда в ней не больше двух-трех процентов посторонних примесей. Посторонние всегда мешают.

— Ах да,— отвечает девушка.

«В мое время,— думает Сергей Львович,— иначе говорили о любви. Впрочем, какое, собственно, время можно назвать моим?»

Наступает вечер. Осенняя синь темнеет, наполняется звездами. Кленовые листья осыпаются с тихой пышностью. Сергей Львович решает идти домой. Дома в тупике, в комнате, запах убогой старости. Но зато там покой, там нет бурного ветра событий. И есть еще радость: взять с полки хорошую старую книгу, каких теперь больше не пишут. Книгу, где описывается единственно возможная жизнь, через «ять».

Сергей Львович медленно подымается и идет, стараясь полегче ступать на левую большую ногу. Старое склеротическое сердце с трудом глотает воздух.

— Будьте добры,— произносит женский голос,— простите, не можете вы мне сказать, где здесь улица Восстания. Знаю, что где-то близко, а не нахожу.

Сергей Львович рад остановке: спешить ему некуда. Женщина стройна, на ней пальто, сшитое по-мужски, мягкая мятая шляпа бросает тень на милые глаза.

— Рад бы вам услужить,— с одышкой говорит Сергей Львович,— но улицы Восстания я не знаю. Это вот бульвар, это Новиковская, а здесь Ложкин тупик.

Здесь я живу уже давно. Такой улицы, как вы говорите, здесь нет.

— Обидно,— говорит женщина.— У кого бы узнать... Может быть, вы знаете, где здесь улица Восстания? — обращается она к мимо идущему юноше: это тот самый, который говорил о нефти.

— Улица Восстания? Да вы на ней стоите.

Сергей Львович качает головой:

— Уверяю вас, вы ошибаетесь. Я живу здесь давно. Ложкин тупик это.

— Был тупик, а теперь улица. Да и не тупик он вовсе. Вы до конца доходили, там, где он за угол поворачивает?

— Нет,— отвечает Сергей Львович,— не случилось как-то.

— То-то же, не случилось... А там стену развалили и старый дом снесли. Прочтите на табличке. Видите: «У-ли-ца Вос-ста-ни-я».

— Не заметил я как-то,— тихо говорит Сергей Львович, так, что только он один слышит себя.— Не заметил...

В библиотеке очередь. Для хорошей книги не жаль времени, можно постоять в сторонке. Да и спешить некуда: жизнь все равно ушла. Не жаль времени для хорошей книги о прошлой, единственно возможной, единственно подлинной жизни.

— Товарищ,— говорит, подходя к книжной стойке, паренек: плечи широкие, на правой руке не хватает одного пальца.— Дай ты мне, товарищ... есть тут у вас книга одна. Как ее... не припомнишь сразу, прозвище у нее длинноватое. А наши ребята говорят — хороша. Хороша, говорят ребята. Стой-ка, вспомнил: «Десять дней, которые потряхнули мир». Вот ее самую и дай.

— Десять дней,— сам себе говорит Сергей Львович, и только он один слышит себя,— потряхнули мир... А я и не заметил.

ТЕКСТИЛЬМЕЧТА

Свидание было назначено на восемь часов вечера, когда молчат машины и говорят сердца. Было уговорено встретиться у остановки автобуса, что возле сквера в конце Кузнецкого. В восемь часов вечера снежные тучи закрыли луну, подул ветер, пошел снег. И метель понеслась по городу, обдувая маленький сквер.

Дмитрий Изнуренков, чей жизненный стаж был весьма недолог, числился в списке студентов Зоотехнического института. Судя по названию, трудно было предположить там текстильное отделение. Но оно было и процветало.

Дмитрий Изнуренков, придя на свидание, стал лицом к метели, как это подобает человеку и мужчине, верящему в свою звезду. Свою звезду Дмитрий Изнуренков знал прекрасно. Ему суждено было, пройдя все жизненные и институтские испытания, приобщиться к текстильной жизни страны. В мечтах он видел себя директором фабрики. Ткацкие и ситценабивные станки, подвластные ему, блестели металлом. Сантиметры, метры, километры ткани мчались из-под станков. Здесь было достаточно, чтобы одеть весь Союз байкой и ситцем. Имя Дмитрия Изнуренкова хорошо было известно производственникам.

В мечтах о будущем он видел ее рядом с собой. Она жила при фабрике вместе с ним, и каждый станок был ей близок, как собственное дитя. В тяжелую минуту, когда фабрика гибла от наводнения или пожара (Дмитрий Изнуренков предвидел и такие возможности), любимая вела себя как воин и как жена воина. Она спасала драгоценные медные доски из граверной, доски, где расцветали узоры будущих фланелей и батистов. Она мелькала в дыму, мелькала над водой, и ее волосы, пушистые, как египетский хлопок, были розовы от пламени.

Метель налетела на Кузнецкий сквер, снежный рой сгустился и принял очертания беличьей шубки. Маленький фетровый шлем прилегал ко лбу и ушам, и ресницы были тяжелы от снега.

— Здравствуйте, — сказала любимая серебряным голосом. — Что за место вы выбрали. Дует, как из трубы. Нельзя ли пойти в кино?

Дмитрий Изнуренков ощупал в карманах пыль и прах и ответил:

— Нельзя.

После чего, приняв любимую на свое плечо и другим плечом заслонив ее от метели, он повел ее по Кузнецкому мосту. Ему нужно было сказать ей, что будущее он мыслит себе вместе с ней, что ее ресницы под снегом прекрасны и что любовь к ней растет с каждым днем.

В театрах были кресла красного бархата. В кино был жар и блеск чужих жизней. Но здесь, на Кузнецком, была метель и только огни витрины радовали сердце. У магазинного окна, в котором струилась теплая и нежная ткань оттенка персика и розы, Дмитрий Изнуренков остановился и остановил любимую.

— Посмотрите, — сказал он, — как работает Камвольный трест. Я бы хотел быть женщиной, чтоб носить такие ткани. Замечательно.

— Глупости, — возразила любимая. — Ведь это бумазея, дешевка, мура. Кто носит такие вещи? Конечно, кто не видал заграничных материй...

— Мура? — переспросил Дмитрий Изнуренков. — Почему мура?

— Потому что у нас совершенно ничего не умеют. Все расплзается.

— Позвольте! — воскликнул Дмитрий Изнуренков. Но она не позволила.

— Нет, уж позвольте мне, — закричала она сквозь ветер и снег. — Не говорите того, что не знаете. Вы шелковые сорочки носите? Вы русский крепдешин покупаете? То-то же. Посмотрите.

И тут она повернулась спиной к вьюге и распахнула шубку на груди. Дмитрий Изнуренков, склонившись над ней, ощутил благоуханное тепло согретого меха.

— Смотрите сюда, — сказала любимая, положив себе на грудь шерстяной белый пальчик. — Это что, по-вашему?

— Это? — ответил Дмитрий Изнуренков. — Я не знаю. Я люблю вас.

— А я знаю. Это русский шелк, который расплзается.

И она снова положила руку под шубу на грудь. И тогда Дмитрий Изнуренков увидел там оранжевый шелк белья, который был порван, как обычно рвется шелк: длинной продольной скважиной.

— Это русский крепдешин, — с торжеством закричала любимая сквозь ветер и снег. — Ага, что? Будете защищать. У нас ничего не умеют. А вот за границей...

— Но у нас совсем другое, — с отчаяньем ответил Дмитрий Изнуренков, покачнувшись от напора вьюги. — При чем тут «у нас ничего не умеют»? Мы все умеем. Но сырье... Можете вы понять это?

— Но мне это безразлично. Скоро я уеду в Париж и останусь там навсегда. Там близко Ницца, в кафе разрешают танцевать, а в магазинах бывают «дни остатков», когда шелк продают за гроши.

«Как Париж? — хотел сказать Дмитрий Изнуренков и не мог. — Как Париж? А фабрика с новыми корпусами? А наводнение? А пожар? А медные доски из граверной? А волосы, розовые от огня? А километры ткани? А мечта?» Но ничего этого не было.

— Уже поздно, — сказал Дмитрий Изнуренков. — Мне завтра рано вставать. Давайте я провожу вас домой.

У ворот дома был сугроб. На углу дремал озябший извозчик. Его лошадь закурчавилась от метели. Любимая опустила подбородок и нос в теплую шубку. Ресницы ее были уже не так нестерпимо красивы, как раньше.

— Когда же мы увидимся? — сказала она. — До свиданья.

— Прощайте, — ответил Дмитрий Изнуренков. — Нити, связывавшие нас, порвались. Навсегда. Ткань любви хороша, но... сырье никуда не годится.

И он ушел, подставляя грудь ветру, как подобает человеку и мужчине.

ЛЕГЕНДАРЬ

Однажды в Дегтярном переулке, увидев, что я стою перед глубоко подвальными окнами с надписью «Сапожник» и ищу дверь к этим окнам, какой-то мальчик сказал:

— Сюда входят через двор, а ворота за углом. Но вы можете подать башмаки в окно: у сапожников всегда так делают.

— А если, например, сапожник живет во втором этаже, тогда, что же, лезут на дерево?

— Сапожники никогда не живут ни в каких этажах. Они всегда в подвале.

— Почему же, собственно?

— Потому что они должны видеть ноги. А вы и не знали? — И мальчик из Дегтярного переулка, заложив руки за спину, с презрением посмотрел на мои туфли.

Он хотел было уже уйти, он уже уходил, но я оставила его. Мы разговорились. У него были брат и мать, несознательная кондукторша. Она не совсем еще перестала верить в бога, с отцом разошлась, а комната у них холодная, и топить ее не имело смысла, потому что все выдувало.

— А сам я в бога совершенно не верю, — прибавил мальчик, — и знаете с чего?

— С чего, например?

— С шестого августа прошлого года, когда мама сказала, что «Спас», а я был на реке и видел, как человек тонул, и никто его не спас, хотя он кричал: «Спасите!» Потом уже штаны его на берегу нашли, а рубахи и вовсе не было.

Через три дня, придя к сапожнику за башмаками, я снова увидела своего приятеля (между прочим, звали его Володькой) и познакомилась с его братом, Гришей. Володьке было семь лет, Грише — четырнадцать. Семь лет разницы делали их разными настолько, что подчас они почти переставали понимать друг друга.

Гриша помнил легендарные времена, когда не было хлеба, не топились печи, не горело электричество. Когда трамвай номер четвертый шел на вокзал весь обвешанный солдатами и влезть в него штатскому мальчику было почти невысказано. Среди семилетних и восьмилетних юнцов, Володькиных товарищей, Гриша был ветеран, глубокий старец. Пройдет еще немного времени, и его одряхлевшая память, перегруженная материалом для школьной стенгазеты и футбольными терминами, откажется помнить события седой старины.

Для Володьки мир был прочен и незыблем, с богом он окончательно распрощался шестого августа прошлого года и трамвай познал уже чистыми и свежеекрашенными.

Гриша был сложнее. Извилины его мозга хранили следы бывшей жизни, иной, чем сейчас. Правда, они были туманны, эти следы, но они были.

Во время наших длительных прогулок по городу мы с Гришей обычно шли позади, а Володька убежал вперед и там переживал приключения и встречи. Однажды была у него схватка с беспризорным из-за голубя. Беспризорный держал птицу в кулаке. И голубь, от природы, очевидно, голубовато-белый и шелковистый, превратился в замызанную, грязную птицу.

— Эй, пусти голубя! — крикнул Володька. — Что ты его за крылья жмешь!

— А ну-ка, подойди, я тебя тресну, — ответил беспризорный, замахиваясь голубем, как молотком.

В эту минуту подошли мы с Гришей. У Володьки был уже подбит глаз, но он сражался храбро и был близок ко второму синяку.

— Стой, Володя, мы сейчас все это разберем,— сказала я.— Тебе голубя хочется, так скажи.

— Слушайте,— обратился ко мне беспризорный,— пусть он мне только пинджак оборвет, я его враз за шкурку возьму: узнает, почему сотня гребешков.

— Зачем мне голубь этот,— ответил Володька с глубокой обидой в голосе.— Просто жалко мне, что такая птица зря пропадает. Ведь она полезная, может почти носить.

Посоветовавшись с Гришей, мы в складчину выкупили голубя и вручили Володьке. Вскоре, впрочем, выяснилось, что голубь к почте не приспособлен, а наоборот, болен какой-то птичьей накожной болезнью. Разочаровавшись, Володька сказал: «Куда ему до аэроплана; даже сравнить нельзя». И забыл о нем.

Во время прогулок мы много говорили о жизни, о том, что нужно для счастья. Для этой цели Гриша предполагал всю землю засадить лесами и в них разводить драгоценных зверей. Володька же мечтал о необычайной машине, величиной с обыкновенный свисток, которую можно носить в кармане и которая все умеет.

Произошло у нас как-то большое осложнение из-за Тимирязева. Помню, было осеннее утро, желто-синее от листьев и неба. Осень была обаятельна, и даже трамваи пронеслись с каким-то журавлиным кликом. Мы заговорили о том, как выглядел город много лет тому назад, когда не было трамваев, и как, наверное, все удивились, увидев их впервые.

Воображение у Володьки было ослепительное: ему ничего не стоило вообразить себе каток на полюсе, фабрику на луне, Москву без трамваев.

— Как, наверное, все просто удивились,— заговорил он, захлебываясь.— Все школы, я думаю, по бокам стояли, на крышах сидели люди и даже на автобусах. И на всех башнях стояли, и на памятниках, и у него на голове сидели.— И он показал на понурого Тимирязева.— Просто страх, где только не сидели!..

— Дурачок,— сказал Гриша,— да тогда и памятника этого не было, даже места этого не было. Здесь дом был желтый поперек бульвара, я помню. Его только во время переворота обстреляли и разрушили: потом он сгорел. Я хорошо помню, мы здесь за углом жили.

Володька сразу остановился, побледнел, даже глаза потемнели.

— Все ты врешь,— сказал он.— В городах не стреляют. Правда, он врет, ведь не стреляют?

Он огляделся вокруг, хотел, видимо, вообразить себе поперек бульвара желтый дом, над которым летали пули, и не сумел. Была осенняя тишина: он не мог. Тогда он озверел, как перед дракой, и опустил подбородок.

— Врешь, Гришка,— повторил он и пошел на него с кулаками.

— Стой,— вмешалась я.— Погоди: Гриша ведь прав. Здесь правда не было памятника и стреляли. Я тоже помню это. Тебе все это кажется легендой, но календарь не врет: десять лет тому назад здесь дрались.

— Врете и вы,— возразил Володька со слезами в горле,— это все не может быть. Все эти... все это... легендарь эта. Потому что...

Здесь он умолк. Он совсем сбился, хотел вдребезги изругать и календарь и легенду, которые так нагло врут. Но, сбившись, он смешал два слова в одно, и получилось новое:

— *Легендарь.*

НЕ ПЛАЧЬ, НИНЕЛЬ!

На юге лето состоит из цветов, плодов, рыб и звезд. Цветы начинаются в апреле и цветут до сентября все ярче, все пышнее. Через клубнику и фиалки дело идет к персикам и левкоям, и все кончается виноградом и георгинами. Рыбы плывут все лето вдоль берегов, а звезд так много, что им становится тесно в небе и они падают оттуда дождем. На юге смысл жизни так понятен.

Все неясности, все голубоватые туманцы, капельные сомнения, ручейковые нашептывания, болотная луна в дымке из комаров, повисшая между двух берез и пахнущая сыростью и медом,— все это север, северные тревоги, северное лето.

Южные дети выросли у моря под яркой драгоценной луной. Они знают, что летом ловится рыба, а зимой идет дождь. Они знают, что летом темные ночи и светлые дни, что летом должно быть жарко. Они знают... они ничего не знают.

Двое детей, мальчик Арлен и девочка Нинель, приезжают летом на север. Прямо с вокзала, сонных, их везут на дачу, где дома из дерева проконопачены мохом и где сосны окружают дом. Всю ночь дети спят и видят южные сны.

Арлен видит небольшую бухту, лучезарный песок и площадку, которую они с Нинель построили из камней перед отъездом и где поселили двух крабов. Каменная площадка, выстроенная перед отъездом для крабов, приобретает во сне иной вид, чем наяву. Сновидение украсило ее и превратило в подводный спортивный клуб, полный музыки, где крабы в трусиках смыкаются в треугольники и квадраты и, наконец, образуют пирамиду, на вершине которой укреплена морская звезда.

Нинель видит во сне ту же площадку у моря, но тоже преобразенную. Это сад, или, вернее, ясли, для юных крабов. Целые стада их плещутся в теплой воде под присмотром старого умного окуня в пенсне, покуда проворные скумбрии в полосатых джемперах готовят завтрак.

Южные дети видят во сне определенные, простые вещи, то, что они хорошо знают. Но уже утром начинаются непонятности.

Утром их приветствуют деревянные стены, проконопаченные мохом, и сосны в окне. Дети смущены: у них на юге нет таких домов и таких деревьев.

— Какой странный дом, — говорит Нинель. — Весь деревянный, как ящик.

Арлен исследует диковинные стены.

— Это редкий дом, — убежденно говорит он. — Второго такого нет нигде, он сделан специально для нас. Через полчаса он убеждается, что таких домов сколько угодно.

В сандалиях на босу ногу, с голыми руками и грудью, дети выходят на террасу.

— Где здесь у вас море? — деловито спрашивает Арлен.

Моря нет. Одновременно с этим еще одно открытие: холод. Большая мохнатая туча ползет, цепляясь за вершины сосен, ветер сыр и неласков. И кожа детей, привыкшая к южному солнцу, пупырится. Дети дрожат.

— Когда у вас будет лето, — вежливо говорит Нинель, — мы покажем вам разные игры.

Но южные игры не годятся для севера; кроме того, лето уже наступило. Все по-другому в этом северном крае.

Арлен и Нинель гуляют, кутаясь в осенние пальто.

Они уже изменились, эти южные дети. Они уже забыли о рыбах и думают о грибах, которых пока еще нет, но которые будут. Южный загар сошел с них. Они потеряли южную самоуверенность, они узнали, что лето может быть холодным, ночи светлыми, дни темными; они узнали, что климат и формы жизни многообразны. Арлен и Нинель прошли уже несколько стадий северного развития. Сначала они ничему не удивлялись, рассматривая все чужое как чудачество и заранее зная, что все самое лучшее у них дома. Потом они начали удивляться чужому, не уважая его. Теперь они уважают чужое и стараются понять его: так расширяются их горизонты. Они внимательно слушают разговоры взрослых и, оставшись одни, обсуждают их.

— Никто так не понял природу женщины, как Кнут Гамсун, — сказала однажды старая незамужняя тетушка.

Вечером Нинель спрашивает Арлена, который все знает:

— Ты слышал... она сказала: «кнут Гамсун». Разве у кнутов тоже бывают фамилии?

— Я не слышал об этом раньше, — честно отвечает Арлен. — У нас дома они без фамилий, но здесь...

Между тем лето идет и идет. Оно настолько холодно, что это удивительно даже для севера. Дожди идут помногу раз в день, дожди разных калибров и разных степеней холода. Ночи холодны, цветов и звезд очень мало, фрукты очень дороги. «Земная ось перемещается», — говорят взрослые. Дети слушают, и постепенно эта ось заполняет их воображение. Они часто умолкают и что-то слушают.

— Тс, тише, — шепотом говорит Арлен. — Вот сейчас, вот слышишь.

— Да, как будто, — не вполне уверенно соглашается Нинель.

Это они слушают скрип земной оси, которая перемещается.

Арлен рассказывает Нинель поразительные вещи про эту ось.

— Она перемещается ночью, когда все спят, — рассказывает он. — Вся земля наклоняется, и моря выли-

ваются. Все эти дожди — это моря, которые падают обратно на землю.

На другое утро Нинель пробует на язык дождевую каплю.

— Она вовсе не соленая! — восклицает она. — Это ты все наврал.

Но Арлен сдается не так скоро. На другой день они находят на лужайке невиданный цветок.

— Ты видишь этот цветок? — говорит Арлен. — Так вот, ему здесь совсем не место. Это южный цветок.

— Как же он попал сюда?

— Ты, значит, забыла про земную ось. Вся земля передвинулась, и семена цветов вместе с ней. Это цветок другого полушария.

Играя под лиственницей, дети слушают нерусские имена, которые взрослые повторяют с разными интонациями.

— Нобиле... — говорят они, — Амундсен... Нансен... Будущая экспедиция... Северный полюс надо побеждать организованно. Авантюристической отвагой немногого достигнешь.

Однажды ночью Арлен просыпается оттого, что Нинель не спит. Она действительно не спит. Сидя на кровати, она пишет письмо начальнику будущей полярной экспедиции, Фритьофу Нансену.

— Что ты там пишешь? — спрашивает Арлен. Он подходит и читает письмо. — Ты, ты хочешь лететь на Северный полюс? Женщин туда не берут, это раз. И потом — что ты там будешь делать?

— Если ось перемещается, — отвечает Нинель, — ее необходимо исправить, иначе этому конца не будет. А это можно сделать только на полюсе, там, где она выходит наружу. Теперь ты понимаешь, почему этот Нобиле все летал туда: он боялся, что в Италии тоже наступят холода. Но, конечно, один он ничего не сделал. Ось должны починить организованно.

— Ну, а ты тут при чем?

— Я буду помогать им строить палатку. Теперь женщина — как мужчина, она может все. Вот прочти, я прямо пишу ему: «Рассчитывайте на меня».

В один из дней, как было обещано, Нинель везут в город, в Зоопарк. Арлен остается дома: он простужен, у него начинается свинка. Вообще ему не везет, бедному Арлену, и он совершенно неприспособлен для северных экспедиций.

— Ты расскажешь мне про льва? — спрашивает он, мужественно сдерживая слезы.

— Я расскажу тебе про льва, и это даже лучше, чем самому увидеть. Потому что самому надо ходить, а когда начинают болеть ноги, то уже не хочется смотреть.

Нинель говорит, но она сама в это не верит. Просто великодушные подсказывает ей эти слова, великодушные и жалость сильной, здоровой женщины к слабому, болезненному мужчине. Она уезжает, полная благодушия, спокойствия и твердости. Арлен ждет ее весь день.

Она приезжает поздно, очень смутная, очень молчаливая. Арлен сгорает от жажды все услышать.

— Ну, расскажи, — дергает он ее за рукав. — Ну что? Ну как? Кого ты видела: жирафу, тигра? Какой величины слон? Правда ли, что кенгуру носит своих детей в кармане? Почему же ты молчишь? А лев? Видала ли ты льва? Ну что, как он?

Нинель молчит, потом отвечает неохотно и коротко:

— Видала льва. Совсем непохож.

И, сказав это, она горько плачет. Она плачет потому, что испытала тревогу, связанную с познанием истинной природы вещей.

Не плачь, Нинель! Земная ось переместится еще не однажды. Жизнь твоя только еще начинается. Не плачь, Нинель!

СЛАВКА

Среди множества воспоминаний о людях, предметах, событиях и чувствах я не сохранила памяти о первом своем стихотворении. Все же я подозреваю, что, взявшись впервые за перо, я сотворила басню. В те времена я писала длинные басни со свирепой моралью в конце. Я была строга в те времена: мне нравилось, чтобы злые были наказаны, а добрые вознаграждены.

Так я устраивала свой мир.

Но не об этом мне хочется вспомнить. По правде сказать, я даже побаиваюсь их, этих слишком ранних воспоминаний, когда все спутано, все серо и загроможено туманностями, как доисторический лес на рассвете, откуда, шурша лапами, выползает какой-нибудь письменный стол, отмеченный детской памятью, и карабкается на черную льдину роаяля.

Мне хочется вспомнить времена более поздние, десятилетие моей жизни, когда была мной написана морская поэма. В ней принимали участие: маяк, северный ветер, южный ветер, рыбак, русалка, морская звезда и стая рыб. Это была глубоко лирическая вещь с огромными, толстыми запятыми, рассыпанными неслыханно щедро.

Тот день вообще был творчески насыщен: он был плодоносен. Быть может, этому способствовали тучи,

которые неслись над морем и фруктовыми садами, роняя теплые и короткие дожди. В прорывах туч светило солнце, и радуга, одним концом упираясь в нашу купальню, другим уходила в далекий мир.

Наш дом улавливал все оттенки ветра: он стоял на обрыве. Над домом, округлая, как спина дельфина, нависала скала, покрытая виноградниками и козьими тропами. Выше была еще скала, острая, источенная ветрами, как конский череп; нам запрещалось туда ходить. Предполагалось, что мы можем скатиться оттуда вниз — я и Славка.

Невзирая на женственное или даже птичье имя, Славка был мальчик. Вячеслав. У него было смуглое и косоглазое лицо юного кочевника. В нем жил неукротимый дух, и я не помню, чтобы он когда-нибудь улыбался.

Однажды, на террасе, мы услышали разговор: моя мать и гость из города вели беседу о непонятных нам вещах.

— Я люблю ее,— говорил гость из города высоким голосом обиженной флейты.— Я готов для нее на все. Для нее я могу достать луну с неба, но я не могу переделать себя и стать бухгалтером, когда я рожден артистом.

Уходя от нас поздно вечером фруктовым садом, гость из города увидел небольшую тень, как бы отделившуюся от грушевого ствола. Тень была смугла, босонога, изодрана колючками, раскосые глаза глядели серьезно.

— Вы сказали,— молвила тень без промедления,— что вы можете достать луну с неба. Как вы думаете это сделать?

Гость из города отступил: какая луна? Он не понимал.

— Вы сказали,— настаивал Славка,— там, на террасе, что можете достать луну. Ведь вы сказали это?

Стесненно глядя на светящиеся часы, гость из города объяснил, что да, на террасе как будто им было сказано нечто подобное, но это нужно понимать иносказательно. На самом деле луну никак нельзя снять: каждый понимает это.

Гость устремился по каменистой дорожке вниз, но Славка шел за ним по пятам. Он желал знать, как все-таки гость из города предполагал бы снять луну, если бы это было возможно. Гость оказался не в состоянии ответить на этот вопрос и удалился, проклиная любопытных детей.

На другой день, во время обеда, Славка внезапно опустил ложку супа, не успев донести ее до рта.

— Ее можно поймать гарпуном, как кита! — с торжеством воскликнул он. — Или, еще лучше, с высокой горы закинуть на нее лассо, как на дикую лошадь! Потом ее можно спустить в пропасть на цепях и по вечерам подымать на вершину. Там бы она и светила. Вот как надо было бы снять луну, если бы это было возможно.

Это была подлинно творческая мысль, особенно необходимая писателю.

Над нами, на скале, жил сторож — хранитель коз и винограда. Раз в неделю он спускался вниз за хлебом и табаком. И каждый раз, за поворотом, серьезный и смуглый, сверкая раскосыми глазами, пестрый от синяков и царапин, поджидал его Славка, вооруженный луком и стрелами, грозный, неотвратимый. Он требовал дани в виде рассказа.

Сторож был стар и глух. Его прошлое было убого, и он знал одну-единственную историю о «рассеянном барине», у которого он служил кучером в дни невозвратной юности.

— Выехали мы раз в страстной четверг, — рассказывал сторож. — В пролетке. Лошадь была. Антей называлась. Но я ее больше Антоном звал: привычнее как-то. И барин за это очень недоволен был: «Антей, говорит, имя древнее, благородное, римский богатырь такой был. А Антоном всякий мясник называться может». Но я все больше — Антон да Антон. Едем мы в страстной четверг, а Антон *капризничает*. Я ему: «Не *капризничай*, Антоша». А барин за спиной как услышит: «Я тебе *покапризничая*». Да как хлопнет меня по шее, так я на одно ухо и онемел. Барин говорит: «Смотри, я сегодня сердитый, я в карты проиграл. Это я в первый раз так легко тебя ударил, а во второй раз

дух вовсе вышибу». Я ему и говорю: «Вы, барин, меня уже разок во дворе стукнули, когда выезжали». А он: «Разве ударил? Вот уж не помню». Такой рассеянный был барин.

Окончив рассказ, сторож уходил: камни гремели у него под ногой. А Славка рассказывал потом поразительные вещи о человеке, который был рассеян.

— Он был так рассеян,— говорил Славка,— что не заметил, как началась гроза и как она прошла.

И передо мной, взамен барина в пролетке, возникал необычайный персонаж, со звездными россыпями внутри себя, позволяющими ему не замечать гроз.

Иногда взрослые, поедая клубнику, толковали о литературе, о Славке и обо мне.

— Она будет писать посредственно, — говорили они,— но он, с его упорством, пробьется в классики.

— Я пробьюсь в классики,— повторял потом Славка.— Мне будет трудно, но я пробьюсь. Меня будут читать все, мне поставят памятник перед школой, где я учился, и мальчики будут стрелять в меня из рогаток.

Однажды я была свидетельницей таинственного и странного процесса рождения образа: словно пробился ручей в ландышевой тишине среди мхов.

Мы стояли над обрывом вечером и смотрели, как шла гроза. Она была еще далеко на горизонте, где загорались медленные, тяжелые молнии. Там была духота, мховой мрак, тучи лежали над самой водой. Когда вспыхивала молния, все светлело: вся наша кудрявая гора. Потом снова мрак. Внизу, у моря, рыбаки, предчувствуя бурю, привязывали баркасы.

— Эй,— крикнул один рыбак другому, как бы из самой глубины тучи.— Эй!

«Псс»,— заскрипела калитка за нами, тронутая первым порывом ветра.

Славка вслушался и улыбнулся. Улыбка была так мало свойственна ему, что я почувствовала ее даже в темноте. Он улыбнулся, как человек, открывший новый остров или новую разновидность цветка.

— Эй... псс,— повторил Славка с наслаждением и каким-то замиранием.— Эйпс, это как будто имя. Это

человек как будто. Американец он или англичанин. Зовут его Эйс. Мистер Эйс.

В это мгновение хлынул дождь, заливая теплыми потоками новорожденного Эйса.

Мистер Эйс начал жить. Сначала он был бесформен и окутан туманом: мы мало что знали о нем. Но постепенно мы узнавали его привычки и повадки. Рано утром мы находили его следы на берегу: розовую спичку, шерстинку, косточку от сливы. Пышный песок у большого камня был примят. Славка говорил:

— Здесь на рассвете был мистер Эйс.

Как-то ночью мы проснулись от стука в окно. По словам Славки, это стучал мистер Эйс, у которого была зубная боль и бессонница.

— Не оборачивайся, — говорил часто Славка. — Он стоит позади тебя. Ему будет неприятно, если ты увидишь его.

И я замирала, не смея обернуться, чтобы не увидеть того, кого не существовало.

В один июльский день на море случилось несчастье. Широкая мертвая зыбь опрокинула чью-то лодку, и человек, сидевший в ней, утонул. Рассказывали, что у него были длинные черные волосы и маленькая трубка в жилетном кармане. Самое удивительное было то, что никто не знал утопленника.

Славка слушал все это молча, только зрачки разлились у него во всю ширину глаз.

— Что с тобой? — спросила я.

— Молчи. Разве ты не понимаешь, что мистер Эйс утонул. Он был так рассеян, что не заметил, как началась буря и как она прошла.

Много длинных годов отделяют меня от того лета, когда мы со Славкой похоронили и оплакали мистера Эйса, так и не увидев его. Но еще и сейчас, в часы своих писаний, дав впервые имя своему герою, я ощущаю легкий страх и ответственность за его судьбу.

Когда я думаю о Славке, я вспоминаю его таким, каким видела в последний раз на горе, куда нам запрещено было ходить.

В жаркий полдень, как бы овеванный дыханием пустыни, Славка, босой, исцарапанный, раскосый, начал

свое восхождение на запретную вершину. Восхождение не по дороге, которая была проложена давно, а прямо по склону, по новому пути.

— Славка, вернись,— просила я, стоя внизу.— Не надо, Славка. Ты упадешь.

Но, не слушая меня, он шел. Это было в самый полдень, и солнце стояло над головой. Он шел по солнцу, камням и листьям. Иногда он скрывался и только волнистое движение зелени отмечало его ход. Иногда он падал, но, цепляясь за камень, снова подымался. Один раз он испугался змеи. Но он был неутомим.

И, наконец, он стал на вершине: маленький, смуглый, неподвижный, как собственный памятник. Не хватало только мальчишек с рогатками, чтобы почтить его выстрелами.

ЧЕЛОВЕК УМЕН

Корнелию Зелинскому

Разговор произошел на лестнице под большими часами, под институтскими часами вузовских жизней.

От тяжелых входных дверей лестница вела прямо к часам, откуда она разветвлялась вправо и влево. Идя налево, студент попадал в аудиторию номер семь, в чьи широко прорезанные окна видны квадраты неба. Идя направо, можно было прийти в помещение, где обитал Иван Иванович.

Разговор произошел на лестнице, когда часы показывали перерыв и в столовой шли бои по линии булок. Великий чемпион первого курса по гребле, синеглазый герой, победитель на лыжных состязаниях, триумфатор, врезавший остриями коньков в алмазный лед реки свои инициалы «П. К.» — «Петр Калугин», — Петр Калугин столкнулся под часами с Мотей Майданником, второкурсником. У Моти Майданника пламенели рыжие волосы, веснушки сидели густо, не меньше двадцати в поле зрения на каждый квадратный сантиметр, и на левой щеке расцветал флюс.

— Мотька, — сказал Петр Калугин, — вчера в Сокольниках мы вдрызг расколошматили второе эмгеу. Мы им показали класс и в прыжках и в беге.

— Ага,— произнес Мотя,— в прыжках. Это интересно. А как зачет?

Петр Калугин потемнел, но ответил с твердостью:

— Сегодня я сдаю переднюю конечность.

— Переднюю. А заднюю когда?

— Заднюю после Нового года: не убежит.

Мотя склонил голову набок и поверх флюса взглянул в окно. И был в этом окне падающий снег московской зимы, снег лыжного пробега, когда так радостно побеждать второе эмгеу, снег зачета, когда сдают переднюю конечность, а заднюю оставляют до Нового года.

— Так,— сказал Мотя.— Прекрасно.

Но было очевидно, что он этого не думает.

Гул наполнял каменные коридоры.

— Приглашаю тебя сегодня на новоселье. Слышишь? — прямо в Мотино ухо закричал Петр Калугин.— Мы переехали. Общежитие ремонтируется. Слышал? А нас пока в гистологический перевели. Солому у кроликов забрали и нам дали. Слышишь? Мы на ней спим. Тепло в гистологическом. Приходи, Мотька. Слышишь?

— Слышу,— ответил Мотя, почесал веснушки на носу, и толпа разъединила их...

Зачет наступил и прошел. В профессорском кабинете при раннем электричестве лысеющий, непомерно любознательный профессор выпытывал у Петра Калугина то небольшое, что тот знал о передней конечности.

— К какому типу вы отнесете человека? — спросил профессор.

— К человеческому,— ответил Петр Калугин и умолк, почуяв, что тут что-то не то.

— Человека мы относим к типу сельскохозяйственных животных,— сказал профессор, прикусил карандаш и продолжал: — Какие мышцы могли бы вы мне перечислить в грудной конечности человека?

— Бицепс,— ответил Петр Калугин.— Необходим при легкой атлетике. А также и при тяжелой.

— Так. А еще?

Петр Калугин молчал.

— Так. Прекрасно,— сказал профессор.

Но было очевидно, что он этого не думает.

Вечером в гистологическом кабинете был блеск протертого стекла, блики полированного дерева, препараты в банках. Было тихое гудение горелки Бунзена, на пламени которой в большой фаустовской колбе рубиновым эликсиром закипал чай. Мешки, набитые кроликовой соломой, были сложены в углу, и Иван Иванович присматривал за ними.

Иван Иванович был скелет. Все четыре скелета института назывались Иван Ивановичи. Кем они были при жизни — неизвестно. Но после смерти они стали братьями. Они стали собранием косточек и костей, необходимых для студентов, соединением тазовых и грудных конечностей, роковых для Петра Калугина.

Гистологический Иван Иванович молчаливо следил за приготовлениями к вечернему приему. И наконец прием наступил.

Хозяев было десять человек, гостей было трое: обычно бывает наоборот. Десять человек хозяев после спартанской свежести и воинственного гула общепития с трудом привыкали к семнадцати градусам тепла в гистологической тишине. Хозяева сидели по углам, а Петр Калугин наблюдал за горелкой Бунзена. Он был в спортивной фуфайке, резал сосиски ножницами и был взволнован. Он был взволнован будущим появлением кого-то, кто еще не появился.

Первый пришел Мотя Майданник. Снежинки таяли на его веснушках, а флюс с утра увеличился вдвое.

— Вы роскошно устроились, ребята, — сказал он всем вообще. — Как зачет? — спросил он у Петра Калугина в частности.

Тот покосился на Иван Ивановича и промолчал. Мотя с любовью склонился над каким-то препаратом в стеклянном ящике и сказал:

— Ребята, если вы тут что-нибудь разобьете — ваше дело. Но троньте это — и ужасное получится, ребята.

— А что оно такое? — спросили ребята, плохо знакомые еще со своей обстановкой.

— Это кусок ткани, человеческая эпидерма. Ее питают особым способом при температуре не ниже тридцати четырех градусов тепла.

— Ого,— произнес кто-то в углу.— Почти тропики. Губа не дура.

— Это не губа, товарищ,— возразил, не расслышав, Мотя,— не слизистая оболочка, а эпидерма. Как я уже сказал, ее питают особым способом, и я знаю, как факт, что ей уже двадцать пять лет.

«На шесть лет старше меня»,— сообразил Петр Калугин, встряхивая колбу с чаем.

В это время раскрылась дверь, и на фоне Мотиной мудрости возникли Надежда и Любовь. Петр Калугин вспыхнул ярче Бунзена и яростно резанул сосиску.

Любовь была темноволоса, свежа, молчалива, как елочка на опушке. У нее над прохладными глазами были пушистые хвойные ресницы, легкие и теплые, как пуховые рукавички. Когда она подымала эти свои ресницы, у Петра Калугина падало сердце. Надежда, наоборот, была белокура, проворна, как белка, и смешлива. Обе они были из педтехникума.

Любовь села поближе к Иван Ивановичу. Один только раз она шевельнула губами и спросила, указывая на стеклянный ящик:

— А это что?

И десять голосов (только Мотя молчал) ответили ей:

— Это человеческая эпидерма. Ее питают особым способом, и ей двадцать пять лет.

Видя, что прохладные глаза под теплыми ресницами устремлены на стеклянный ящик, Петр Калугин не стерпел. Он сказал:

— Вчера в Сокольниках мы вдрызг расколошматили второе эмгеу.

Говоря так, он хотел обратить на себя внимание Любви, но это не вышло. Теперь она упорно глядела на двухмесячный зародыш в банке и не хотела видеть никого другого. И только Надежда болтала и смеялась в другом углу.

— Если вас интересуют такие вещи,— с горечью сказал Петр Калугин,— то вам надо пойти в анатомический театр. Там есть двухголовая лошадь.

Любовь пожелала узнать подробности о двухголовой лошади. Петр Калугин не знал их, и разговор снова

прервался. Тогда Любовь взглянула на Иван Ивановича за шкафом.

— Был человек,— сказала она.— А теперь — вот. Какой странный череп!

— Череп вполне естественный,— ответил Мотя Майданник.— Череп развился из позвоночника так же, как цветок развился из листа.

— Это вы хорошо сказали,— заметила Любовь.

— Это сказал Гете,— ответил Мотя Майданник и очень покраснел.

— Я иногда думаю о смерти,— сказала Любовь.

— Напрасно,— возразил Мотя Майданник.— При жизни думать о смерти еще рано, а при смерти уже поздно.

— Мне нравится то, что вы сказали,— заметила Любовь.

— Это сказал Вольтер,— ответил Мотя и покраснел вторично.

— Вы, наверное, много читали в своей жизни? — спросила Любовь.

— Я много читал,— ответил Мотя Майданник и покраснел в третий раз и уже окончательно.

Дольше Петр Калугин не мог терпеть. Он вылетел из гистологического кабинета прямо в снег, на мороз, под сверканье жестоких январских звезд. Он был сражен: Мотя Майданник много читал. Он победил. Кто мог предвидеть, что победитель второго эмгеу будет, в свою очередь, побежден людьми, о которых было известно только то, что они писали книги, и которые, больше чем вероятно, даже не умели затянуть лыжных ремней!

Во дворе возле сарая, прямо под звездами, институтский сторож рубил дрова. Звезды осыпали небо. Млечный Путь тек, не протекая.

Петр Калугин молча взял из рук сторожа топор и установил полено. Он ударил топором по полену с такой силой, что сторож недовольно сказал:

— А ну, потише, парень. Так можно инструмент угробить, а он небось казенный.

Петр Калугин, не слушая, ударил второй раз так, что Иван Иванович, сидящий внутри его, затосковал под мышцами.

Петр Калугин ощущал свою переднюю конечность и крутой мускул на ней. «Бицепс,— подумал он.— Необходим при легкой атлетике. А также при рубке дров. А еще какие мышцы вы можете назвать?» — спросил он сам себя, как профессор, но не получил ответа.

— Слышал, Тимофей? — издеваясь, сказал он сторожу.— Слышал новость, что череп развился из позвоночника так же, как цветок из листа?

— Все возможно,— с уважением ответил Тимофей.— Учуть вас тут ежедневно, череп обязательно должен развиться. Голова растет, а то как же. Умен человек потому что.

Петр Калугин полной грудью вдохнул в себя морозный воздух. Воздух был морозный, но груди было тесно и жарко. Тесно и жарко было голове под шапкой, как будто голова внезапно выросла.

Млечный Путь пересекал полночное небо. Острая зеленая звезда стояла над институтским сараем.

Петр Калугин еще раз поднял топор и ударил полено так, что щепки брызнули прямо в небо. Рванулись к звезде, про которую на земле было известно все, даже то, что свет ее летит к нам пятьсот лет.

Умен человек потому что!

САДЫ В ЦВЕТУ

История этого места, будь она написана, была бы пространна и печальна. Она повествовала бы о том, как с незапамятных времен на окраине Москвы лежал злостный пустырь, один из тех, над которыми даже птица не летит: так противно ей смотреть на безотрадное место. Как накопились на том пустыре мусорные сугробы, как при луне рыбьим глазом блестел там осколок водочной бутылки, какая ржавая жечь там лежала, какая бугристая и рябая была там земля. Даже весной не умела она уродить ни одной настоящей травинки, и только конский щавель, выдираясь из почвы, приподымал мусорные пласты: так он был силен.

После долгих лет пустоты выстроили на пустыре Народный дом. Он сторел. Начали строить церковь. Она обвалилась. Кирпичный остов укрепили и стали обстраивать: должна была быть богадельня. Она сторела и обвалилась. С тех пор еще диче, еще глуше стал пустырь.

А город подходил все ближе, все явственнее звенели трамваи, закружил аэроплан, тяжело задышал автобус, подымаясь в гору. И, наконец, тонкая серо-голубая острая радиомачта пронзила небо.

Тогда-то и уже окончательно был взят в штыки упорный пустырь. Шли бои из-за каждого метра. Многолет-

ние корни конского щавеля трясли бородами, тыкали ветвистыми пальцами: норовили ухватить за одежду. Диким голосом скрежетала жезь, так что даже десятник Яков Овцын, опершись на лопату, сказал:

— Ну что ты скажешь, какая заядлая местность! — И вытер пот.

Наконец-то был побежден пустырь. И птицы, летя прямым путем по своим делам, видели сверху большой, светлый, многоглазый кооперативный дом, с прекрасной антенной, с плоской крышей, с мусоросжигателем и детской площадкой.

Но можно говорить что угодно. Можно не верить в сны и предсказания, можно быть безбожником-активистом, но нельзя отрицать того, что так называемые «гении места» существуют.

Древние римляне понимали это буквально. В их представлении сады, фонтаны, пастбища, дороги и ручьи охранялись мифическими существами, то доброжелательными, то враждебными человеку. Иногда случалось, что хрустально чистая доселе вода потока окрашивалась цветом желчи и пепла. Это гневался покровитель источника. И древние римляне в страхе видели тогда туманную седую бороду в прибрежной осоке и слышали сердитое старческое бормотанье.

Еще случалось, что прохожий ротозей, срывая для забавы ветку яблони, бывал наказан метким ударом незрелого яблока в лоб. И тогда в густой взволнованной листве, как рыба в воде, мелькало светлое бедро нимфы и слышался злой смех.

В наше время мы не столь наивны. «Гения места» мы не понимаем буквально. У него нет человеческого облика, у него нет головы и нет бедра. Он не смеется и не бормочет. Но, хотя и более абстрактно, он все же существует.

Иначе как можно было бы объяснить тот странный факт, что кооперативный дом, выросший на пустыре, упорно отказывался пользоваться мусоросжигателем и сбрасывал свои отбросы в угол двора, на детскую площадку.

Кооперативный дом, этот сложный многоклеточный организм, не желал слушаться голоса рассудка, пове-

левающего сжигать свои отбросы в превосходном, специально оборудованном приспособлении. Кооперативный дом повиновался темному, извилистому инстинкту времен церкви и богадельни, даже еще более раннему, когда не было ни церкви, ни богадельни. Этот инстинкт нашептывал дому смутные речи, толкал его на безумные поступки, толкал его в угол двора, на детскую площадку. Это и был «гений» бывшего пустыря, гнилой и злобный гений, о котором не хочется даже думать.

Управдом Завилейкин был поэт. Никто не знал об этом, и он сам меньше других. Но у него были неясные порывы, головокружительные планы. У него был драгоценный дар: он умел мыслить образами. Он мечтал о теннисе на крыше, и это видение сводило его с ума своей яркостью.

В мечтах он видел наверху, на плоской крыше дома, обведенной сеткой, чудесно уменьшенные расстоянием, белые на синем фигурки играющих, их мячи, их ракеты в небе, как соты, полные синевой.

Но, обладая свойством образно мыслить, Завилейкин не умел говорить. Пожалуй, наряду с поэтической душой он был награжден и высоким косноязычием поэта, когда слова жгут уста и все же остаются несказанными.

Управдом выражался чрезвычайно прозаически, я бы сказала даже — шершаво. Застенчивая улыбка была единственным украшением его скудных, непышных речей: так иногда суровую шляпу коммунара украшает полевой цветок.

На собраниях жильцов он говорил о мусоросжигании. Вокруг сидели его враги. Прямо перед ним сидел научный работник Грабец — тихий и вежливый человек, почти дух. Он был холост, бесплотен, он работал в обсерватории и не обедал дома. У него не было никакого мусора, и ему нечего было сжигать.

— Товарищ Завилейкин, — шелестел научный работник Грабец, — требует от нас того-то и того-то. Только потому, что мы живем под одной крышей, он хочет нивелировать нас. Он требует от нас единообразных действий. Во имя среднего арифметического, имеваемого коллективом, он хочет уничтожить наши ин-

дивидуальные особенности, в то время как только они одни отличают одну человеческую особь от другой. Вы не правы, товарищ Завилейкин. Дайте людям возможность сбрасывать свой мусор там, где им этого хочется. Если бы финикийцы в древности были так аккуратны, как вы нам это предлагаете, и хранили бы свою селитру в особых селитрохранилищах, вместо того чтобы небрежно бросать ее в песок, открытие стекла запоздало бы на несколько веков. Дайте людям право свободных действий. Дайте им возможность дышать.

Напрасно возражал Завилейкин:

— Как же это так? Бросают на детскую площадку, а потом хотят дышать! Чем же дышать, если мусор? Там, наоборот, должен находиться песок для нашего молодняка. Наш молодняк нуждается в песке. Косточки там у них слабые, ножки. Справьтесь в Наркомздраве. Он постановил, чтобы не было болезней. Про финикийцев я мало что знаю. Что я могу о них сказать? Ну, работающий был народ, ну, сознательный. Но древний, вот беда. Что он мог знать, этот народ? Что читал? Что видел?

Завилейкин был почти красноречив, но он не убедил никого.

Тогда управдом замкнулся в себе. Он сделался тверд и сосредоточен. Он решил не сдавать позиций. Дать бой, если это нужно. Быть дипломатом, если это нужно.

Он выбрал день, когда предвесенний воздух был тих и крупные мохнатые звезды снега летали, как пчелы. В такие дни находит на молодняк искрометное буйство, прекрасное упорство. Он не хочет уходить в глубь дома и губить там свою молодую жизнь. Он хочет остаться здесь, в этом веселом снегу, который создан для счастья.

— Братишки,— воскликнул управдом, внезапно появившись во дворе.— Сюда, товарищи! Имею до вас дело. Все ли здесь?

— Все,— ответил хор голосов.

— Братишки! Что мы видим перед собой? Мы видим перед собой место, где бесспорно должен быть сад. Мы посадим деревья у скамьи, а также и на площадке. Каждый из нас посадит дерево. В будущем вся земля будет

садофицирована. Кто же этого не знает! Мы посадим, к примеру сказать, березу, осину, дуб молодой, липу, яблоню...

— Я против липы,— сказал Миша Толкунов из двадцать восьмой.— Под липой никакой гриб не водится. Кто же этого не знает! А яблоню хорошо...

Завилейкин не был демагогом, он уступил липу. В такой час не спорят. Он продолжал:

— Каждый из вас, придя домой, должен сказать: «Я хочу сад». Тогда родители дадут монету, три рубля восемьдесят копеек с квартиры, я скалькулировал. Мы сами вскопаем землю, когда стает снег, и приступим к древонасаждению. Все будет хорошо. Все должно знать свое место. Мусор необходимо сжигать, во дворе будет сад, теннис пойдет на крышу, а селитра ляжет на складе. Понятно, братишки?

— Понятно,— ответили «братишки». Все они хотели сад.

Но товарищ Грабец сдался не так скоро. Не то чтобы он возражал против сада,— он не возражал даже против мусоросжигателя как такового. Но он был против усиления завилейкинского влиянья. Он тоже собрал молодняк и тоже произнес речь. Его задача состояла в том, чтобы отвлечь молодые головы от идеи сада во дворе, повернуть их, так сказать, в другую сторону. Распылить земную энергию в звездном пространстве.

Ребятчи головы окружили Грабца. Они дышали взволнованно: две интересные истории в один день — это бывает не часто. Грабец начал.

Он рассказал им об одном недавно открытом созвездии «Леденца», специально приспособленном для детей.

— Представьте себе десять небольших звезд, у которых есть свое собственное, тоже небольшое, солнце, полное птиц. Когда солнце встает, все слышат далекое щебетание. От звезды к звезде летает звездный трамвай с сетками на окнах, чтобы дети не падали вниз. На каждой звезде расположен один только город. В нем стеклянные дома, прозрачные, как стакан; возле каждого дома есть сад. Но какой!..

— Какой? — единым вздохом спросила ребячья толпа.

— По-моему, сад очень хорош. На низких удобных деревьях, как яблоки, зреют там резиновые мячи. Одна сторона у них, та, что повернута к солнцу, — розовая. Другая, та, что в тени, — голубая.

— Небось нельзя рвать-то? — жадно спросили из толпы.

— Каждый может нарвать себе полную сетку спелых мячей. Для этого они и растут. Но это еще не все.

— А что же еще?

— Главное то, что всеми городами управляют дети не старше десяти лет. Они заведуют всеми делами, они командуют взрослыми. И вечером, в восемь часов, они отсылают взрослых спать. Вот что такое созвездие «Леденца».

Товарищ Грабец коварно замолчал: ядовитое жало вонзилось достаточно далеко.

— Послушайте, — сказал Миша Толкунов, самый старший из всех. Ему недавно исполнилось семь лет, и, ясное дело, он метил в правители города. — Послушайте, как бы нам это туда залететь? Нам вот всем. Всем двором. Можно это? Мы все согласны.

— Собственно говоря, можно, — невинно ответил Грабец. — Но для этого кое-что нужно. Для этого нужно думать только об этом. Только об этом и ни о чем другом... И тогда особым образом это становится известно на созвездии «Леденца». И ночью, когда все спят, прилетает оттуда аэроплан, сам синий, как ночь. Вместо пропеллера жужжит и сверкает у него большая звезда. Он забирает всех, кто думал о нем. И тогда...

Товарищ Грабец умолк. И все молчали. Сада больше не существовало.

Поздно вечером, после заседания, мощный радиоприемник Грабеца уловил концерт из Варшавы. Это был Григ, северная весна, нежная, как олений глаз, гуль-гуль-гуль — бормотание сонной гагары и теплый звездопад над уснувшей бухтой.

Постепенно комната Грабеца затянулась туманом: от нее осталось только окно, висящее во вселенной, осыпанное Млечным Путем. Дрожание эфира в пространстве. Жужжание звезды. Быть может, профиль крыла за окном. Никакой земли. Да и зачем!

Внезапно во все это звездное плетение ворвался звонок. Миша Толкунов пришел с верхней площадки и позвонил очень сильно, как, вероятно, не посмел бы днем.

Он, очевидно, уже спал и проснулся. Он выскочил прямо из постели — в ночной рубашке и босой.

— Так это ты? — сказал туманным голосом Грабец. — Прекрасно. Значит, летим?

— А как же! Непременно. Я за этим и пришел. Только вот ведь что: нам ведь скоро обратно надо. Когда стает снег. Сад сажать. Пустят нас оттуда или как? Я за этим и пришел.

И в ожидании ответа Миша вздохнул полной грудью, как будто цветущая яблоня будущего сада выросла здесь же, на лестнице.

СМЕРТЬ ЛУНЫ

I

Как быть с вещами, которых мы не помним? Ведь то, что мы не помним, уже не существует для нас. Из-за несовершенства нашей памяти мало-помалу стираются нежные контуры нашей юности.

А то, что мы помним... ведь оно тоже блекнет и вянет. У меня, например, год за годом разрушается воспоминание о лебеде, ударившем меня крылом.

Этот лебедь выступил впервые из невероятно яркой и крупной зелени. Сам он был пышен и бел, как подушка на няниной кровати. Лебедь раскрыл крыло, которое закрыло солнце, и ударил меня.

Иногда в свободные минуты я извлекаю из глубины памяти это давнее свое воспоминание и разглядываю его против света, как ветхую ткань. И вот я вижу: лебедь уже не так бел, как прежде. А листья... где их яростное кипение, их блеск, их жизнь? Где вся эта зелень, похожая на зеленую кровь? А как выглядела вода?

Я не помню.

Так, раз за разом, перо за пером, облетает прекрасная птица: ее почти уже нет. А совсем недавно мне пришлось в голову: откуда бы взяться лебедю в том сми-

ренном дачном месте, у той воды, где я жила летом? Вернее всего, это был гусь или даже гусыня, ущипнувшая меня за ногу, охраняя гусят.

И, дойдя до гуся, я поняла, что все пропало.

Вот почему я так берегу все, что помню. Мне хочется закрепить, пока не поздно, все эти точки, пятна и туманности. Все эти гибнущие воспоминания.

2

Я хорошо запомнила все сады, виденные мною в жизни. Мне даже кажется, что я запомнила каждое сколько-нибудь значительное дерево. Вероятно, это произошло оттого, что я родилась в городе, бедном зеленью. Солончаки наступали на него со стороны лимана, травы на окраинах были солонны.

Бульвар над морем был самым зеленым местом в городе. Весной здесь цвели каштаны. Что-то венчально-погребальное есть в этом дереве: в сочетании почти черной листвы и белых пламевидных цветов, запрокинутых острием кверху.

В конце бульвара, на плавном и полукруглом его завороте, стоял Пушкин.

Акация осыпала в мае арабские завитки его волос. Осенью листья каштана отдыхали на его плече, прежде чем лететь дальше в синеву осени. Сам же Пушкин, вознесенный на высоту деревьев и птиц, озирали улицу его имени, впадающую в бульвар.

Бюст поэта стоял на постаменте. На ступеньках лежала лира. Все это было обнесено чугунными цепями.

Таков был Пушкин моего детства. Но мы, дети, игравшие у его подножия, плохо понимали замысел скульптора. Мы считали, что все это правда и что Пушкин так и прожил, без рук, без ног и в цепях, всю свою жизнь. По нашему мнению, он был велик главным образом тем, что был несчастен.

— Бедный Пушкин, — говорили мы.

На Пушкинской улице был расположен дом, отличный от других. Над воротами висела доска: «Здесь жил Пушкин».

— Здесь жил бедный Пушкин,— сказала я отцу, проходя мимо.— Отсюда его возили на бульвар.

— Почему же «бедный» и почему «возили»? — возразил отец.— Вернее всего, он шел пешком.

Я промолчала. Я считала лишним и даже вредным спорить со взрослыми.

Но среди воспоминаний есть такие, над которыми время почти не властно. Значительность события, быть может сразу и не осознанная, не дает ему изгладиться из памяти.

Я отчетливо помню летний день, когда запах моря смешивался с ароматом цветущих лип.

Я помню удар. Громовый, дальний, грозно потрясший воздух.

Это там, в порту, дал выстрел по городу восставший броненосец «Потемкин». Голубое июньское небо моей юности смутно озарилось далеким, неведомым пламенем.

3

От постоянного и длительного общения с космосом наш преподаватель физики, Фома Нарциссович, заимствовал туманность выражений и кругообразные движения звезды. Легкие седые протуберанцы дымились над его лбом. Оптические стекла были спущены на нос, и поверх них отвлеченным и рассеянным взором смотрели глаза.

Старый наш физик любопытен тем, что однажды, сам того не желая, дискредитировал вселенную в глазах тридцати человек. Одним неосторожным движением телескопа он опрокинул мир, в котором нам суждено было жить. И понадобилось иное, более грозное вмешательство, чтобы восстановить поколебленную систему мироздания.

Классный журнал распахивался, как туча. Оттуда налетали грозы: град замечаний и косые дожди единиц. Со всей силой своей причудливой полупольской лексики наш старый «Фома» обрушивался на класс, недостаточно знакомый с законом Бойля-Мариотта.

— Кто вы суть? — спрашивал нас «Фома», глядя

поверх очков.— Вы суть недослухи и недоучи. Я пришел здесь, чтобы учить вас, но вы вместо того под шумком переписываете друг у друга классную работу. И тогда я держу себя за карман и кричу: «Осторожно. Вор!» Ибо тот, кто крадет у другого знания, может украсть и кошель с деньгами.

Отбушевав положенное время, он неизменно вызывал ученицу Вигдорчик. Имя это было единственным, которое он запомнил и воплотил в плоть и кровь. Все остальные были журнальной абстракцией с прибавлением реальной двойки. Но сестер Вигдорчик было шесть, и они были разбросаны по всем классам. Все, как одна, они мало успевали, были испуганы, плаксивы и румяны. Не запомнить их было невозможно. В нашем классе их было целых две.

— Вигдорчик Розалия! — восклицал «Фома». — Пожалуйте к доске.

И Вигдорчик Розалия, крупная, плаксивая, покрытая пушком, как румяный плод, выходила на очередную муку.

Как бы для того, чтобы нагляднее оттенить возвышенную стихию естествознания и изъять ее из плана других, менее достойных дисциплин, физический кабинет помещался в особой пристройке, на крыше флигеля, куда вела винтовая лестница. Перед кабинетом была небольшая площадка с низкой оградой, род балкона, откуда был виден весь город и порт. Даже маяк был виден оттуда, как тонкая свеча, потушенная на рассвете. И часто в весенние часы далекий этот маяк, легкий разворот мола, сиреневая пустыня моря, отмеченная одним каким-нибудь парусом, — все это было полно такого пронзительного птичьего простора, что мы вовсе переставали слушать объясняемое нам.

— Кто вы суть? — спрашивал в таких случаях наш учитель. — Вы суть невниматели и фантазисты. Вигдорчик Ревекка, пожалуйста к доске.

Он был неплохой педагог, наш старый «Фома», но его ослепляло недоверие к «недоучам» и «недослухам». Он считал, что мир полон сестер Вигдорчик, не способных к пониманию вещей.

Но порой, особенно на уроках космографии, у него бывали счастливые минуты, когда он забывал про нас, а мы слушали его как завороченные. Старый педагог светлел и утихал. Неправильные фразы его становились почти прекрасны. Уверенными движениями управлял он солнечной системой из дерева, проволоки и картона. Крошечный шарик луны скользил по проволоке вокруг маленького земного шара. Земля была округла. Судно величиной с миндальную скорлупу, уходя по дуге, скрывалось, начиная с очертаний корпуса. Оно уплывало по выпуклым морям, и мы уплывали вместе с ним...

Прожженный кислотами стол физического кабинета был очищен от всяких ненужностей. Служитель Александр, вежливый и тихий человек, влюбленный в науку, тряпочкой протер стеклянный колпак, из которого должен был быть выкачан воздух: мы проходили воздушные насосы.

На тот же стол тем же Александром был доставлен воробей, один из тех, что щебетали на нашей физической вышке и подкармливались крохами от наших завтраков.

«Фома» объяснил нам, что по мере выкачивания воздуха птица, «будучи лишена пищи для дыхания», начнет задыхаться. Таким образом, мы собственными глазами убедимся в том, что безвоздушное пространство существует.

— Ибо, — добавил «Фома», подымая палец, — природа не терпит недоверов.

Служитель Александр завертел ручку колеса, и воробей, посаженный под колпак и «постепенно лишаемый пищи для дыхания», начал задыхаться. Он попытался взлететь под прозрачный купол, за которым так близко и так недостижимо была свобода.

Он разметал по стеклу свои крылья, прилип к нему, как бабочка, сплюснутая ураганом. Так он застыл на миг, и мы, стоящие вокруг стола, увидели бурное трепетание пуха на его груди, в том месте, где было сердце.

Оторвавшись от стекла, воробей тяжело упал на дно. Он лежал на боку, дергая правым крылом и водя

клювом перед собой, как бы в поисках воды. Он отвернул от нас голову. Быть может, его, кроме удушья, терзало еще кольцо неподвижных и ярких огней — наших глаз.

Александр, влюбленный в науку, качал все медленнее. Вопросительно глядя на «Фому», он ждал мановения руки, движения губ, чтобы бросить насос и освободить птицу. Обычно так оно и делается. Ведь мы уже знали, мы уже убедились в том, что безвоздушное пространство существует.

Но учитель наш был неподвижен. Очевидно, им овладел демон логики, требующий во что бы то ни стало продолжения раз начатого.

Внезапно в наших рядах послышался сдавленный вздох, как будто не только воробью не хватало воздуха, и затем плач. Мы расступились. И тогда обнаружилась Розалия Вигдорчик, вся в слезах. Закрыв лицо тетрадью, она рыдала, как после худшего из своих ответов.

— Вигдорчик Розалия, — возгласил наш физик, от изумления заговорив почти гексаметром. — Что означает сей плач, неприличный и странный?

— Воробей, — ответила Розалия. — Жалко мне этого воробейчика.

Поставив Вигдорчик единицу за «шумение в классе», учитель сказал:

— Гибель пернатого была неизбежна. Как я уже выразил выше, наука не терпит нежнодушия. Или ты, не трепеща, кладешь руку в огонь познания, или сидишь дома и рукодельничаешь там варенья и соленья. Весы науки не колеблются ни разу.

Не взглянув на нас и не дожидаясь звонка, «Фома» вышел из класса.

И мы остались одни в холодном мире, в безвоздушном пространстве, где весы науки пребывали в вечном и величавом равновесии. И где трепетная ткань сердца была лишь объектом для опытов...

Наше предположение казалось невероятным, но оно подтвердилось: «Фома» был влюблен. Мы открыли это по блеску его глаз, когда он говорил о ней, о любви

мой, по интонации голоса, которая не лжет даже тогда, когда лгут слова.

Его любимая была прекрасна. Она являлась к нему по вечерам, когда воздух начинал синеть. Порой она туманилась под вуалью, но, когда она была спокойна, ничего не могло быть прелестнее ее скольжений среди хрупкого стекла приборов с их радужными отливами.

Ибо женщина, любимая «Фомой», была Луна.

Он уделил ей множество учебных часов, урезав, таким образом, все остальные области неба, вплоть до метеоритов, которые он зачеркнул одним движением руки. Занявшись Луной с особым вниманием, мы узнали о ней много любопытного. Мы узнали, что она, подобно воробью в колпаке, лишена воздуха, «этой пищи для дыхания». Но что это несущественно, узнали мы: дышать там некому. «Ибо Луна мертва».

С невероятной силой было нам описано мрачное величие черного (из-за отсутствия атмосферы) небесного свода. Бредовая отчетливость созвездий. Громада Солнца, повисшая в ледяной ночи. И, наконец, пылание багрового и косматого шара, занимающего полнеба. Пылание нашей Земли.

А на самой Луне — ни воздуха, ни воды, ни звука, ни ветра, ни прохлады, ни сырости. Одно только чередование света и тени, стужи и зноя. Ощеренные меловые бугры и черные впадины планетарного скелета.

Так вот, значит, какова была та Луна, которую мы любили. Которая соединяла в себе острую хрупкость новорожденного месяца с округлостью детской щеки.

Однажды на уроке «Фома» объявил нам, что завтра вечером, если небо будет чисто, мы должны будем собраться в гимназии, где нам впервые по-настоящему будет показана Луна.

Телескоп привезли и поставили без нас. Это был небольшой и не слишком сильный старый университетский телескоп. Придя вечером, мы сразу ощутили необычное присутствие прибора, которому дано общаться со звездами.

Он стоял на нашей площадке: трехногий, худенький, чудной. В нем было нечто старинное и привлекательное. Его нельзя было двигать.

Все было необычно в тот вечер. Необычен был воздух, слишком теплый для осени. Здание гимназии, преображенное тишиной и пустотой: классные парты пахли пылью и запустением, и паркет стонал у нас под ногами.

Днем мы никогда не слышали этих паркетных стонов.

А над всем этим: над темной гимназией, над падающими листьями, над дыханием земли и моря, над нашими черными передниками и туго заплетенными косами, над юностью нашей, стоял месяц первой четверти. Он был велик, тонок и прохладен. С одной стороны он обтекал легкий шар Луны, затененный ночью.

Первым к телескопу подошел сам «Фома». Он нагнулся к трубе: мы увидели его согнутую спину. Он повертел какой-то винтик сбоку. Все было в порядке, и мы стали подходить по очереди.

Сначала глаз наш, неумело прижатый к стеклу, увидел только фактуру самого стекла: царапины и линии, действительные или воображаемые.

Но потом мы увидели Луну, и Луна поразила нас. Она состояла из тишины и светотени. Тишина Луны была такова, что мы услышали ее, стоя на Земле. Меловые кратеры, не утепленные ничьим дыханием, были залиты пустынным и печальным светом. Каждый из них отбрасывал неимоверно скошенную тень. Каждая такая тень сливалась с другой тенью другого кратера. Поверхность лунная была вычерчена бело и черно, как не бывает на живой планете. Здесь прошла вечность и усмирила борения красок.

Легкий гул, как вздох, пробежал по площадке. И «Фома», сдвинув очки, спросил нас: «Что то есть за смута?» Мы не ответили ему, мы не могли ответить. Мы сами не знали, в чем было дело. А дело было в том, что мы глубоко и болезненно были уязвлены Луной.

Учитель наш обронил неосторожную фразу о том, что когда-нибудь со временем, через неоглядный ряд тысячелетий, Земля наша будет так же мертва, как Луна. Остальное мы почувствовали сами.

Значит, и на ней, на нашей Земле, лягут черные тени, словно колонны рухнувших культур. И все мы,

еще живые и уже мертвые, все мы, начиная от Аттилы, «бича человечества», о котором мы учили совсем недавно, и кончая Розой Вигдорчик, все мы, и бичи и розы, равно осядем легким и ноздреватым пеплом на мертвой планете.

Впервые мы подумали о смерти, и это ранило нас.

«Не все ли равно тогда, как жить? — спросили мы себя.— И зачем же тогда жизненные трудности? Зачем стараться делать то или иное? Зачем нужно мучить себя ранним вставанием зимой, когда в постели так тепло и дрова стреляют в печи? И зачем ложиться так рано весной, когда море тихо и лодка ждет у купальни?»

Так думали мы, и постепенно эти мысли начали превращаться в действие. Наш класс, бывший до того времени как все классы, получавший свою долю замечаний и двоек, но в дозволенных количествах, вдруг резко изменился.

Мы стали шалить отчаянно и зло. Мы полюбили мяукать на разные голоса. И вся гимназия огласилась писком, визгом и мяуканьем целого полчища кошек. Мы отказывались отвечать уроки, нагло уверяя, что забыли книгу, потеряли тетрадь, что у нас болит голова и что нам ничего не было задано. Уличенные во лжи, мы спокойно шли на свое место и, грызя карамель, начинали играть в «крестики и нолики».

Особенностью того периода нашей жизни было насмешливое и недоброе отношение к учителям. Особенно невзлюбили мы «Фому». Мы не могли простить ему... чего? Мы сами не знали. Но, очевидно, тут была и Луна, отнявшая у нас веру в Землю, и воробей, погибший так мучительно — с какой стати? Особенно воробей. Действительно, во имя чего была задущена птица? Какой смысл имел этот безвоздушный и бездушный опыт, этот пресловутый «огонь познания», которому все равно дано было погаснуть в мертвом холоде? Мы забирались все дальше в эти мысли.

Хуже всего было то, что мы сами не понимали, отчего нам плохо. Начали вызывать в гимназию родителей для объяснений.

Испуганные наши матери и отцы вполголоса совещались в приемной. Они и сами заметили перемену в детях, но причина была им так же непонятна, как и всем. Как и нам самим.

Шуру Харитонову, белокурую девочку с голубыми глазками, сироту, жившую у крестной, потребовали к начальнице. Там же сидела и крестная, в тальме, держа в руках ридикюль и поджав чиновничьи губы. На груди начальницы были обе ее медали, золотая и серебряная: признак высокой торжественности момента.

Начальница заговорила. В присутствии крестной, этой «достойной женщины, вырастившей сиротку», начальница спросила Шуру, как это случилось, что она, Харитонова Александра, кроткая и религиозная воспитанница среднего учебного заведения, повела себя так дурно и превратилась в отпетую лентяйку и озорницу.

Шура Харитонова, откинув с груди на плечо белокурую косицу, ответила, что она не знает, но что ей за последнее время «все чего-то тошно».

Начальница и крестная переглянулись.

Гимназический врач велел Шуре высунуть язык и надавил его ложечкой. Он спросил Шуру об ее аппетите и сне. Аппетит был хорош, по мнению крестной, даже слишком хорош. Язык был розов. Подложка безболезненна.

Таким образом, тайна осталась тайной.

А между тем осень шла своим чередом, но шла тревожно. Она давала трещины, раскалывалась неожиданными событиями. Вспыхивали демонстрации: власти гасили их выстрелами и пашками. Скончалась от тяжелых ранений работница. Ее хоронили в беспросветно дождливый день. Полиция потребовала спокойствия: оно было ей обещано. Сумрачная толпа безмолвно следовала за гробом. Но это молчание было красноречивее слов.

Все это проходило мимо нас, не будоража мыслей, не ускоряя биения сердца. Атмосфера накалялась, а мы в своей прохладной лунной скорлупе никак не могли пробиться к жизни.

У нас в квартире моя комната была лучше всех. Пол ее, лежащий как раз над подворотней, был настлан особенно высоко, чтобы не дуло. Благодаря этому из коридора в комнату вели четыре ступеньки, а окно доходило до пола.

Улица, где мы жили, была невесела и официальна. На ней были расположены городские училища, богадельня, приют для подкидышей, две церкви и артиллерийский склад. Днем все это угнетало, но вечером, погасив свет, великолепно было сидеть на моем окне, как на водоразделе двух течений: улицы и комнаты.

Улица, неприятная днем, в этот час хорошела. Без пешеходов и лавок, легко тронутая огнями, она текла свежим потоком к окраинам.

Чаще всего приходили ко мне Зоя Ратацци и Оля Шумахер. Сидя втроем на широком и низком подоконнике, мы говорили о будущем.

— Как ты думаешь, что с тобой будет через десять лет? — спрашивали мы друг друга.

— Через десять лет, — мечтательно говорила синеглазая Ратацци, — я буду в Италии. Это родина моих родных, которую я не знаю. Я буду жить в Риме, в Вечном Городе. У меня будут там старинные вещи, и я буду очень счастлива.

— Через десять лет, — захлебывалась кудрявая Оля Шумахер, — я, наверное, выйду замуж. Я выйду замуж за одного... я вам не скажу. И я буду очень счастлива.

— Через десять лет, — говорила я, — я буду очень счастлива.

Постепенно эти разговоры прекратились. Какое значение имели теперь для нас «десять лет» и даже «Вечный Город», с его смехотворным эпитетом, по сравнению с той подлинной вечностью, которая обрушилась на нас с Луны!

И все же наступил такой вечер, когда мы снова втроем, как прежде, собрались у меня в комнате. Шел восьмой час, но было темно. С окраин, с лиманных солончаков надвигалась осень. В пути налетал на нее

крепкий морской ветер, мял ее, хватал, тряс, ворошил над городом, — только сыпались вороньи перья и летели косые капли. Нехорошо на юге в ноябре.

Мы зажгли лампу, занавесили окно, и течение улицы оборвалось для нас; осталась комната, согретая нашими дыханьями. Укрытые от всего внешнего, от лунных влияний и земных ветров, замкнутые в светлом кругу лампы, мы как бы снова нашли утраченное спокойствие. Мы начали улыбаться, и прежние мысли начали приходить нам в голову.

— Как вы думаете, что с нами будет через десять лет? — спросила Оля, сладко щурясь на свет.

— Через десять лет, — мечтательно сказала синеглазая Зоя, — я буду в Италии. Я буду... — Она остановилась. — Как будто кричат на улице. Крикнули вот только что.

Мы умолкли. Да, правда, под самым окном, там, в темноте и осени, начался и как-то странно кончился человеческий крик. Он начался долгим раскатом, словно звал на помощь, оповещал об опасности. И внезапно, на короткой и хриплой ноте, сорвался.

Мы отдернули занавес, открыли форточку. Кто-то не спеша пристойно удалялся вверх по улице. В мирный и мерный стук шагов вплетался еще какой-то сторонний звук, тоже чрезвычайно успокоительный. Вернее всего, это была трость, на которую опирался немолодой и отчасти даже подагрический прохожий. Все это длилось минуту, не больше. «До ближайшего переулка», — сообразили мы. Потом внезапно бешеный скачок вбок, бросок в сторону, в спасительную кривизну переулка. «Бух!» — грохнула уже ненужная, брошенная с разбегу палка. И «тах-тах-тах» — застучали, удаляясь, шаги. Потом все стихло.

Все было тихо, но у нас под окном наметилось какое-то движение. Вспыхнула спичка и потухла на ветру. Откуда-то взялся еще свет, похожий на свет фонаря: в луче его косо летел дождь. Зазвучали два-три голоса. Кто-то кинулся бежать, очевидно вслед первому бжавшему. Вдали раздался свисток. Ночь оживала тревогой.

В передней отец мой надевал пальто. Мы бросились

за ним. Он поспешил вниз, мы тоже. На улице сырость опахнула нас. Недалеко от наших ворот полукольцом стояли люди: человек пять.

Когда глаза наши одолели темноту, мы увидели сосредоточенные спины и головы, наклоненные вниз, к земле. Кто-то раскрыл зонтик, и фонарь, стоящий внизу, освещал его спицы.

Фонарь стоял на земле: очевидно, он был принесен нашим дворником. Здесь же, на земле, откинувшись на спину и разбросав руки, как для плаванья, лежал человек в резиновом плаще. Шляпа упала с него, голова была высоко задрана. Затылок сливался с плечами. В самое горло его, по рукоять, был всажен финский нож.

Он издавал странные звуки, этот лежащий. Сначала шел длинный скрип, потом сразу лопался пузырь. Это он так дышал.

— Девочки, — сказал отец тихо. — Сейчас же идти домой!

Но мы, не слушая его, подошли ближе.

Черная-черная борода была у человека, словно у мертвого, и уже восковая кожа. А ведь он еще не умер, и кровь стала течь совсем недавно. Но вытекло ее много из горла, изо рта и из раны. Она текла очень жидко и светло, очень ярко при свете фонаря. И мы отходили все дальше, чтобы не наступить на нее.

Вдруг человек собрал свое тело, словно желая переменить позу и лечь получше. Но он снова лег, как лежал. Он вдохнул воздух, проскрипел очень глухо, словно в густой траве. Но пузырь не лопнул: выдоха не было.

Человек умер на полувздохе, как засыпают на полуслове.

На следующий день в городе заговорили о том, что убитый был провокатор.

Ночное это убийство произвело на нас мгновенное и страшное действие. Закрывая глаза, мы видели, мы переживали все то же: ночь, крик, свет. И в этом свете — кровь, ползущая, как чернильное пятно по тетради. И как просто впитывала ее сырая осенняя земля между плитами тротуара. И как быстро умер человек.

Перед началом уроков мы рассказали классу все, что видели. И, сгрудившись на нескольких партах, класс слушал нас. Мы рассказывали втроем, перебивая друг друга.

— Мы сидели и разговаривали. Вот втроем. Горела лампа.

— Ты забыла сказать, что окно мы закрыли.

— Я и говорю, что горела лампа. Мы разговаривали о том...

— Что будет с нами через десять лет.

— И вдруг мы услышали...

— Скажи же, что окно мы открыли.

— Мы открыли окно. Он лежал на земле.

— Фонарь горел.

— Он был в пальто, в резиновом, знаете.

— Кровь текла прямо на землю.

— Нет, не так. Сначала он крикнул, но это было раньше.

— Вот здесь был нож, где запонка, под горлом.

— Он вдохнул и не выдохнул.

И, услыша это, весь класс, тридцать человек, глубоко и жадно выдохнули воздух из самой глубины груди.

Удивительное дело! С того дня прекратились наши лунные страхи.

Мы снова были брошены на Землю, и земные пропорции и дистанции снова получили власть над нами. Вечность снова была далека и безвредна. Луна, как прежде, висела в своей дали, а здесь, на Земле, горел фонарь, освещая земные дела.

Убивший спасался в путанице переулков, сообщая своим о смерти предателя. Его самого ждали казачья плеть и тюрьма, но он не думал об этом.

На Земле было жарко и тесно от событий. Так много их было на Земле, что для Луны не оставалось ни минуты свободной.

Мы выдохнули и вдохнули воздух. Это был воздух тревожной эпохи, когда нужно было дышать полной грудью или не дышать совсем.

Что нам было до вечности? И что такое была сама вечность по сравнению с демонстрацией, вспыхнувшей,

именно вспыхнувшей, в солнечный осенний день на приморском бульваре у памятника Пушкину.

Как ярко затрепетал в воздухе алый флаг, внезапно возникший на пьедестале памятника, превратившегося в трибуну! Как безгранично там, внизу, синело море, где накапливал уже силы «Потемкин»!

Как быстро окружила Пушкина воскресная толпа, среди которой было и несколько школьниц!

Человек с большим лбом, угловатый, сосредоточенный, напряженный, вырос на ступеньке памятника, там, где лежала лира, рванул ворот куртки у горла и схватил воздух всеми пятью пальцами.

«Товарищи! — громко начал он в настороженной тишине. — Наступило время, когда...»

Приближался девятьсот пятый год.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И ОСНОВНОЕ

Память у меня не слуховая, а зрительная, и лучше всего я помню написанное: не только смысл его, но и походку букв, и место, где они шли. Ясно, кругло и свежо, как на дне ручья, вижу я такие четыре слова: «Казенное еврейское девичье училище». Вывеска, синяя с золотом, висит над решетчатой дверью. И весной, когда экзамены, акация бросает на нее перистую рябь.

Моя мать заведует «Казенным девичьим», мы живем при училище. Когда мамыны ученицы спрашивают, сколько мне лет, я отвечаю:

— С половиной.

Мать моя замечательна вот чем: она точка пересечения двух линий: казенной и еврейской. Каждая из них уходит вдаль, туманится, ветвится и упирается: казенная — в попечителя учебного округа Сольского, еврейская — в разбитое пианино. И все это вместе — мое детство.

Линия казенная

это материнское синее платье, шерстяное по будням и шелковое в дни официальных торжеств. Ежегодные выпускные снимки, где мать моя, помещенная в центре,

окружена мелким роем голов. Это «распределение уроков», ветхое бумажное полотно с пришпиленными квадратиками: русский язык, арифметика, рукоделие. Французский и немецкий за особую плату. Булавки торчат худеньким лесом, и трогать их, боже упаси, нельзя.

Казенная линия — это вечерние разговоры с отцом у стола, когда лица искривлены медным самоваром.

— Сольский — пренеприятная личность, — говорит мать. — Естественно, юдофоб.

«Чудо-юдо-фоб», — думаю я в это время. И самовар показывает мне юдо-фоба: распыленная щека и громадный глаз.

И вот однажды, не предупредив никого, попечитель приезжает в школу в учебный час. Его пролетка с кучером, раздутым, как самовар, стоит у входа, а сам Сольский, пренеприятная личность, в синем сукне и ярких пуговицах, пройдя по коридору, выбирает русский урок.

Трепет проходит по партам, где густо натканы курчавые головы. Это все бедные дети окраин, говорящие между собой на жаргоне, что строго преследуется.

— Я желал бы, — говорит Сольский, выложив на колено тяжелую, белую, гипсовую руку, — послушать кого-нибудь из классиков в исполнении ээ...мм...вопитанниц.

Очкастая дрожащая учительница обводит трепетные ряды.

— Нудельман, — вызывает она.

— Нудельман сегодня не пришла, — объясняет соседка по парте. — У нее братик родился, так ее папаша пошел покупать пару курей: так ее мамаша сказала...

— Разрешите, я сам, — говорит Сольский и гипсовым пальцем подымает с места кучерявую, большеглазую Кацман.

— «Мечатся тучи, веются тучи», — залпом начинает та, мчится и вьется и, картавя — тр-тр-трррр, долетает до рокового места: — «Эй, пошел, ямщик, нет мочи», —

и, переставив ударенье на злосчастном последнем слове, собирает тяжкие громы на попечительском лбу.

— Как вы сказали?

— «Эй, пошел, ямщик, нет мочи!...»

— Садитесь. Достаточно.

В полном и совершенном молчании, попечитель выгружается из класса.

Вечером, у самовара, разговор. Говорит мать:

— Ваше превосходительство, — сказала я ему, — нельзя *огульно* обвинять евреев за то, что... Ваше превосходительство...

Эта фраза нравится мне, и я беру ее в игру. Я надеваю материнскую шляпу пирожком и тальму, расшитую тесьмой.

— Ваше превосходительство, — говорю я самовару, — нельзя *угольно* обвинять евреев. Ваше превосходительство...

Казна не слишком щедра к «еврейскому девичьему». Она заботится о том, чтобы картавые Кацман усвоили русских классиков, но денег на это она отпускает немного. Казна требует платы за правоучение, в ее руках *право учения*, и учение это, право, дается нелегко. Казна — мачеха. Поэтому приходится раздобывать со стороны, если не мать, то хотя бы отца. И вот, отец найден: «почетный блюститель». Имя ему Бродский. Он проживает в Киеве, у него сахарные заводы. Он оплачивает завтраки из «Дешевой кухни» и форменные платья беднейшим из нудельман. Он же платит за них казне.

Бродский невидим и велик. Изредка мать ездит к нему в Киев отчитываться. И тогда я представляю ее себе в сверкающих лабиринтах сахарных копей, где сгребают лопатами сахарный песок и кирками скалывают голубые глыбы рафинада.

Это линия казенно-еврейская. Бродский это тот же Сольский. Только не гипсовый, а сахарный.

Училище делится на классы — параллельные и основные. Параллельные богаты. Плата в них сорок рублей в год. Там учатся дочери лавочников, служащих, музыкантов, хористов. Один из них служит в Городском театре. В «Гугенотах», маленький, носатый, он выходит

в твердом, как блюдо, воротнике и шляпе с пером. Вместе с другими гугенотами он кланяется королеве. Но отдельным взмахом пера он приветствует мою мать в ложе.

Отец мой, помогая матери составлять списки учащихся, удерживает в памяти имена и фамилии в том казенном порядке, как того требуют списки: сначала фамилию, потом имя — Нудельман Розалия, Кацман Ревекка...

Материнские ученицы были рассыпаны по всему городу. Окончив «казенное девичье», они шли в приказчицы, акушерки, в жены и матери. Они быстро обрастали детьми, шумными заботами, печальями. «Черта оседлости», роковая черта, замыкала их горизонт. Дети их начинали все сначала, заселяли окраины тесными гнездами и ездили в училище на конке: трамваев еще не было.

Конку устроили бельгийцы. Это было задолго до моего рождения, но имя бельгийца Камбье я слыхала в детстве. Он был тоже из категории Сольских-Бродских: богат, знатен, казенен. Ему принадлежали все конки и все лошади нашего города. В нескольких местах были устроены запасные конюшни, где конки меняли лошадей, как теперь автобусы берут бензин.

Была одна особенно захудалая линия: по ней двигались облезлые конки и худые белые кобылы. Очевидно, Камбье не любил худых белых кобыл, считал их вырожденками и пускал на еврейские окраины.

Однажды мы сели в такую конку: отец, мать и я. Колеса дрябло стучали. Вдруг я широко раскрыла глаза на необыкновенное: женщину-кондуктора. Все глядели на нее в упор, забывая брать билеты. Первая женщина-кондуктор!

— Вот, — сказала я родителям, — женщина-мужчина.

Кондукторша подходила к моей матери, еще издали светясь улыбкой.

— Вы не узнаете меня? Я ваша бывшая ученица. Аптекман моя фамилия.

— Аптекман Фейга, — сказал отец.

Так сплетались линии казенная и еврейская.

Погром произошел в девятьсот пятом году. Наш дом был угловой: фасад его выходил на улицу, вытекающую из низко лежащего еврейского базара. Улица была мутна, узка и шелушилась лачугами. Но дальше она светлела: казенные дома сжимали ее вплоть до Сенной площади, где продавали сено.

Толпа погромщиков шла от базара. Тяжелая жирная икона, подхваченная двумя малиновыми рубахами, ползла впереди, сзади двигались головы, бороды и платки. Сквозь щелку ставен видели мы рты, раскрытые сначала на «о», потом на «а»: «Бо-оже, ца-аря хра-ани...»

Подойдя к нам, толпа остановилась. Малиновые рубахи, задрав бороды, читали вывеску: «Казенное еврейское...» Слово «еврейское» было понятно и требовало немедленного вмешательства, но «казенное» вздымалось, как предостерегающий палец. Мы следили в щелку. Казенное или еврейское? В этом было все.

Прошло какое-то время. И грузная икона, начищенная, как самовар, медленно двинулась вперед. «Казенное» победило.

Линия еврейская

обозначилась, когда погромленных начали к нам свозить на ломовиках, как покалеченную мебель. Здесь были острые плечи, ключицы и колени, волосы, сбитые в паклю во время сидения в подвалах, воспаленные глаза. Все это разместилось по классам, коридорам, столовым, даже в актовом зале. Школа превратилась в стонущее становище. В первые же сутки вспыхнул небольшой пожар, умер старик, родилось двое младенцев, один — преждевременно, мертвый, у женщины украли кофту, и мальчишки, играя в бомбы, разбили глобус.

На второй день всех рассортировали: тяжело раненных отвезли в больницу, раненных легко положили в спокойное место, ребят прибрали к рукам и назначили дежурства для поддержания порядка. Дежурными за-

ведовал мой отец, менял их каждые два часа и сам ночью смотрел, чтобы не было пожара и краж.

«Дешевая кухня» работала, как на войне. Ей на помощь пришли еврейские общественные организации и частные лица. В учительской стояли бочки с сельдями и ящики с халвой. Еще и сейчас соединение этих двух запахов вызывает во мне чувство тревоги и неуюта.

В коридорах солома быстро загрязнилась. Между двух ее рядов был оставлен узкий проход: он был липок до такой степени, что подошвы прилипали к полу.

В углу коридора сидел бледный юноша. Слабо окрашенные веснушки выступали на бледной коже. Юноша все потирал длинные узловатые пальцы, все потирал, как бы желая согреть их. Пальцы на вид были холодные, вялые, влажные.

Как и всех остальных мужчин, отец записал его в дежурные, но он дежурить не стал. Тогда отец подошел к нему, а я шла сзади.

— Сейчас вам дежурить, — сказал отец. — Или вы больны?

Юноша молчал.

— Кто-нибудь из близких пострадал?

Молчание.

— Сами вы ранены?

— Пострадал близкий, — вдруг ответил юноша на предыдущий вопрос. — Пострадал. Теперь я один. Вот.

Монотонно, не глядя на нас, раскачиваясь и потирая руки, он стал рассказывать о пострадавшем. Это было пианино.

Юноша учился на музыканта. Он жил в той бедности, какая возможна только в семье еврейского портного, который ни разу в жизни не сшил ни одной новой весты. Именно в таких семьях почему-то, у нищих портных, рождаются сыновья музыканты.

Портной обобрал семерых своих детей, чтобы купить пианино восьмому. Он сам сшил чехол инструменту, чтобы младшие не гладили блестящие бока. Старший, Моня, делал поразительные успехи. Кто знает — может быть, это был будущий Гофман!

Погромщики вломились к портному под вечер. Портняжье семейство сидело в погребе, на гладильной доске стоял утюг на прожженных брюках, брошенный в минуту опасности. Под кроватью, не дыша, лежал Моня, не сводя глаз с пианино.

Пианино всадили в окно, где оно и застряло. Тогда его выперли вместе с рамой, и оно рухнуло вниз, перекутившись в воздухе. Падая, оно крикнуло, как человек.

— Я видел его утром, — закончил Моня. — Оно лежало во дворе, разбитое, как паровоз на линии. Вот. Вот, вот. Это и была та самая линия.

Все это было давно.

ТРУБКА МИРА

Европейское зимнее утро, электрическое утро, в дожде и тумане, встает началом дня и ложится завершением ночи: как для кого. Конвейер суток не имеет ни конца, ни начала.

Плоские кирпичные дома рабочих кварталов зажигают на кухне голую лампочку над деревянным столом, в то время как белый и гладкий особняк в саду, бережно укрытый ветвями, собирается выключить последние сто свечей из апельсиновых шелков.

Огонь горит весь день, но настоящий его час наступит вечером, когда воздух обольется сияньем, когда крыши будут мигать, вздрагивать, падать в световые обмороки и снова приходить в себя. Тогда, если смотреть с высоты Функтурма, железной плетеной башни, можно увидеть с одной стороны конец города, мрак, ночь, закат Европы, редкие сырые огни в тумане. А с другой стороны город развернется светящимся циферблатом. От подножия башни и дальше пойдут скопления светов, гнезда огней, чередования световых лихорадок под грандиозным, сумрачно озаренным небом.

Каждые пятнадцать минут мощные лифты поднимаются на самый верх башни, где радиостанция. Там, на верхней площадке, в пять часов зимнего дня уже темно. Темное пространство ревет ветром, прожектор,

вращаясь на вершине, освещает тучи голубыми сияниями. Прижавшись к туловищу башни, подальше от края, человек продает открытки. Под ногами у него маленькая электрическая печка, он сидит спиной к бездне и предлагает желающим виды города с высоты. Иногда он дает объяснения.

— Вот Авус,— говорит он и указывает на длинную цепочку огней, уходящих в ночь.

Авус — это гладкое, как лента, шоссе от Берлина по направлению к Потсдаму. А сам Потсдам угадывается вдали мелко светящейся туманностью.

В пять часов зимнего дня в башенном ресторане, который хотя и ниже верхней площадки, но все же очень высоко, в ресторане, похожем на маяк, начинается пятичасовой чай с концертом. К этому времени лифты подымают туда гавайские гитары, скрипку и саксофон. И те, кто сидит за чаем у толстых стекол, с редкостным замиранием сердца ощущают грозный уют нагретого и певучего маяка. И башенный ресторан, беря так дорого за чашку чаю, имеет в виду именно этот сердечный привкус.

Гитары, скрипки и саксофон, прежде чем начать играть, выпивают по стакану пива. Протирая круглые очки, саксофон делится со скрипкой городскими новостями. Он знает все. Все происшествия города, все его злоключения, его обиды и его конвульсии еще до газет становятся известны саксофону.

Он садист, он сладострастник. Его инструмент циничен, злораден, гнусав. Он пародирует вздохи страсти, стоны боли и крики гудков. Они развращены оба, инструмент и человек. Неизвестно, кто развратился первый, но оба они радуются чужим несчастьям.

Сегодня, в мрачный день с дождем, снегом и туманом, саксофон сияет. Ему известно интереснейшее происшествие, которым он и делится со скрипкой.

— Представьте,— говорит он,— в кинолаборатории, в монтажном отделении, где работали шестнадцать девушек, вспыхнул пожар. И все шестнадцать, представьте, сгорели. Колоссально. Что?

— Но позвольте,— возражает ошеломленная скрипка, запуганная, робкая, с маловыразительным зву-

ком.— Это невозможно. Случайно я знаю, как устроены такие помещения. Обычно это узкие одноэтажные корпуса, где против каждой работницы имеется дверь прямо во двор, именно на случай пожара. Ведь пленка очень легко воспламеняется. Окон там нет, одни застекленные двери.

— Именно, именно так! — с восторгом восклицает саксофон.— Но представьте, странная вещь: как выяснилось, все двери оказались запертыми. Возможно, конечно, что все это была простая шутка. Пошутивший и не думал, что все это кончится так, я бы сказал, трагически.

— Боже мой! — бледнеет впечатлительная скрипка.— Какие, однако, странные шутники водятся в кинолабораториях!

— Именно, именно, коллега! — ликует саксофон.— Вы тысячу раз правы: адские шутники, inferнальные комики. Колоссально. Что? Буби, возьми мне сигару в буфете за мой счет.

Буби уходит за сигарой, скрипка вынимает сурдинку. Она всегда играет под сурдинку: так она и живет. Обе гитары беседуют между собой. У них оливковая кожа, гладкие волосы и желтоватые ладони: смешанная кровь. Они не то братья, не то друзья. Обоим им свойствен вялый, плачущий, малярийный смехок. Так могут смеяться люди на берегу гнилого озера, заметив, что у них кончился хинин.

Покуда Буби берет в буфете сигару, можно поговорить о нем. Буби — серьезный, молчаливый человек четырнадцати лет. Маленькая плоская шапочка, сдвинутая набок, как приклеенная, сидит на его круглой голове. Ремешок проходит от уха до уха, вдоль подбородка, на котором ямка. Курточка (оранжевая с серым) украшена пуговицами. Двумя рядами идут они от шеи к поясу, уходя вдаль, как светлые огни Авуса. Буби приносит сигары, открывает двери, подает пальто. Он приносит, уносит, открывает, закрывает. Это его профессия. Он мальчик в башенном ресторане.

Ничто высокое не дается сразу: Буби не скоро привык к высоте. Первое время у него болели уши, стучало в висках и перед глазами плыли воздушные запятые.

Заглядевшись на них, случалось Буби делать промахи. Однажды ему сделалось настолько плохо, что, встав на цыпочки, он пытался натянуть на громадного американца кукольные рукавчики беличьей шубки.

Американец был влюблен в шубку и поэтому добр.

— Хо-хо-хо! — захохотал он. — Вот мальчик, который потерял голову. Это произошло оттого, что он засмотрелся на даму. А разве это хорошо, засматриваться на даму?

— Ха-ха-ха! — заливался весь ресторан, глядя на американца с шубкой на плече.

— Хи-хи-хи! — кашлял саксофон, ошарашенный чужим несчастьем.

— Хе-хе-хе! — семенял хозяин, собственными руками подавая американцу его широкое пальто. — Вот мальчик без головы. Хе-хе!

Но когда американец и его дама сели в лифт:

— А ты знаешь, что делают с мальчиками без головы? — зашипел хозяин, тряся Буби за плечо. — Их выбрасывают на улицу. Понял, мальчик? Запомни это.

И Буби запомнил.

Буби одинок на свете, он почти сирота. Из родных у него имеется только отец, которого государство по окончании войны вернуло ему в кресле инвалида, без ног, с черными очками на выжженных глазах. Ноги и глаза отец оставил где-то на Сомме. Взамен их он привез мучительный тик, дергающий все его тело, заиканье и рваное плечо, зашитое, как ветхий рукав, толстым рубцом.

Буби старается не падать духом.

— Мы двое мужчин, — говорит он. — Мы выьемся, — говорит он, забывая, что отец его уже выбит. — Смотри-ка, я уже на службе. Я уже и зарабатываю. Вот сейчас я уйду на службу, а потом приду, и мы опять будем вместе. Смотри, я оставляю тебе хлеб и суп, вот здесь, дай руку, на тарелке.

— Ви-вижу та-тарелку, — отвечает отец, ощутив стол.

Для того чтобы из дома попасть на башню, нужно пересечь весь город. Буби пересекает его под землей, в подземном вагоне. Площади и улицы грохочут где-то

над головой, там, где падают дожди и осыпаются листья. Выйдя из подземки, Буби садится в лифт и подымается в воздух. Таким образом, днем Буби почти не бывает на самой земле: только над или под ней. Зато он проводит на ней ночь, когда отец, томимый бессонницей и ознобом, будит его вопросом:

— Буби, уже светает или еще те-темно?

Иногда по вечерам отца навещают два приятеля: гладильщик мужских костюмов и сапожник из этого же дома. Гладильщик, обладая могучим здоровьем, утюжка на болванках пиджачные воротники, рукава и плечи, накопил большой запас ловкости, точности и быстроты: целое богатство телесных навыков. Он приходит в ужас при мысли, что все это может быть у него отнято. И когда ему при чтении газет кажется, что державы волнуются, он волнуется вместе с ними.

— Что же такое, в сущности говоря, война? — спрашивает он.

— Война — это вот, — отвечает отец, указывая на свои слепые глаза.

Сапожник рассказывает иносказательные истории:

— Двое повздорили между собой и задумали драться. Один из этих двух был очень хитер. Ему не хотелось драться самому, и он приспособил своего соседа. Сам же стоял в прохладном месте и курил трубку. Вы догадываетесь, что это такое?

— Это булочник Венцель, — отвечал гладильщик. — Он сцепился с конкурентом, но не сам, а натравив на него третьего булочника. Не так ли?

— Не совсем. Это план Дауэса. Америка задумала спихнуть Англию немецкими руками. Америке нужны дешевые и разнообразные немецкие товары для мировых рынков. Сама же она производит только дорогие и стандартные вещи. И вот она стоит за океаном и курит трубку. А мы работаем.

Буби слушает, и Америка за океаном, дымящая в облаках, преследует его во сне. Америка стоит, попирая ногами материк. Вдоль ее тела, как мухи, ползают лифты, подавая огонь для трубки. Вот они у колен, вот первая остановка у бедра — и дальше, дальше. Вот плечо, нависшее над миром. Отсюда уже недалеко до

трубки мира, где полыхает пламя и громоздится пепел.

Подземный гул, удар, длительное сотрясение почвы. Это отец разбудил Буби:

— Еще ночь или уже светает?..

Башенный прожектор, вращаясь, освещает зимние тучи, идущие с севера. В круглом помещеньице на вершине башни радист слушает голоса всего мира вместе со стенами ветра. Человек с открытками, унося печку, ушел со своей площадки за отсутствием любителей столь бурной высоты. Трехпалой своей лапой с железными когтями и шишками изоляторов башня впилась в гранитное основание. И все же (или это только кажется?) глыбы воздуха, ударяясь на лету, как льдины, расшатывают его.

Но тем несравненнее в этот вечер протекает пятичасовой чай на бедре башни. Сладким малярным звоном растекаются гитары, скрипка вздыхает под сурдинку, и упоенно квакает саксофон. Чай дымится в горячем фарфоре, тучи плывут за стеклами, на маленькую эстраду (оранжевую с серым) выходит молодой черноволосый певец, заласканный всеми граммофонами, садится за рояль, балованно трогает клавиши и матовым, как бы напудренным голосом поет:

Кто смеет утверждать, что мир благополучен,
Когда глаза, такие, как твои,
Когда твой рот...

И женщины в меху, оставив чай и подпирая подбородок брильянтовыми пальцами, слушают его.

Буби неспокоен. Прошлой ночью отец будил его слишком часто, вздыхал, жаловался на холод и на боли.

— Где? — спрашивал Буби.

— Везде, мальчик. Везде.

Под самой эстрадой, на низком диванчике, сидит уже знакомый Буби американец. Но на этот раз с ним нет шубки, он не смеется: на этот раз он не влюблен и не добр. Он занят деловой беседой со стариком, в чей галстук воткнута крупная жемчужина.

Буби, как привязанный, кружит у стола, слушает гулкий голос американца, смотрит на его обширную

грудь, на скалистые плечи, нависшие над миром. В затылок американцу за стеклом дышит бурная, мохнатая европейская ночь.

— Мальчик, огня,— говорит американец, набив табаком темную трубку.

Буби со всех ног кидается на зов. Неверной рукой подает он огонь и чуть не смахивает чашку чаю на колено американца. Весь ресторан глядит на неловкого мальчика, который чуть не опрокинул чай.

— Это опять ты? — говорит американец.

— Ради бога, ради бога! — лепечет хозяин.— Это уже слишком, да, это слишком. Мальчик потерял голову.

Через минуту все успокаивается. Американец курит трубку, жемчужина сияет, и певец поет на бис: «Кто смеет утверждать...»

Буби отправляется домой. Под землей он пересекает вечерний, сверкающий в дожде и огнях город. Но постепенно огни остаются позади, и Буби выходит на простую и тихую землю, тяжело придавленную ночью.

Отец не спит. Он томится болями и ознобом. Он сидит в своем кресле, сплетая и расплетая пальцы. Он еще не знает, что Буби потерял место. Буби смотрит на отца, на пустые глазницы, на судороги его лица. Он снова слышит голос:

Кто смеет утверждать, что мир благополучен,
Когда глаза, такие, как твои,
Когда твой рот...

Кто смеет утверждать? Никто.

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

Книжный мировой рынок, казалось бы, насыщен поэзией и прозой. Но почему до сих пор не написано еще книги о закатах? Монографии, где закаты классифицировались бы по климатическим поясам и странам. Почему нет атласов и таблиц, передающих все оттенки неба, все богатство его лирических и политических окрасок?

Берлинские закаты, особенно осенью, построены в строгом соответствии с требованиями новейшей архитектуры. Они чисты, просторны, окрашены светло и нежно, как детский санаторий. Розовые кубы облаков стоят над Тиргартеном. В Москве в это время почти зима и почти ночь.

В Москве мороз горит сахарным огнем, мохнатые скифские звезды пылают над снегами и прячутся в тучи, тучи идут с севера, лунный рог трубит, сзывая метели на московские переулки. А московские переулки зимой преисполнены пушистой нежности. Гранатный переулок бел как вишня весной. О, московские зимы!

В эти часы в Москве вегетарианские столовые полны жаркого тумана. Здесь над блинами, голубцами и картофельными котлетами склоняются ответ-

ственные и безответственные головы. Между прочим: что может быть бесприютнее картофельной котлеты в зимнюю ночь! Холостой чай стынет рядом в стакане, ломтик лимона в нем становится все бледнее, оловянная ложечка все темнее.

Юлий Львович, ежедневно обедая в вегетарианской столовой, глотая картофельные котлеты и лимонный сок, беседует с Ольгой Ивановной о том, как удешевить книгу. Юлий Львович по профессии книжник.

Что касается Ольги Ивановны, то о ней вот что. Молодые авторы, осаждающие издательство, где работает Юлий Львович, хорошо знают Ольгу Ивановну, работающую там же, знают и уважают ее. Ольга Ивановна похожа лицом на индейского вождя, победившего соседнее племя. Ее гладкие волосы касаются бронзовых щек. Она неумолима, она так сильна, что одной рукой выжимает полное собрание сочинений Александра Дюма. Иногда Юлию Львовичу кажется, что именно он сам и есть то соседнее племя, которое побеждено индейским вождем. Юлий Львович очень робкое племя.

Однажды, в промежутке между картофельной котлетой и лимонным чаем, Юлий Львович сказал:

— Мой отъезд в Берлин на книжную выставку решен. Я пробуду там две недели. Что вам привезти оттуда, Ольга Ивановна?

Ольга Ивановна не мыслила себе жизни вне издательства. Она ответила:

— Хорошо бы ручной пылесос для склада. Там такая пыль, что просто, знаете ли, руки опускаются.

Юлий Львович думал в это время о Европе. Она представлялась ему вся в огнях, вся в асфальте. «Европейская культура, — думал он, и от этих слов у него замирало сердце. — Две недели в культурном окружении. Две недели — это много для Европы».

Юлий Львович дрожащей рукой отодвинул котлету. Европа, вся в огнях, вся в асфальте, летела ему навстречу...

— Друг мой, — обратился Юлий Львович в Берлине к вокзальному носильщику на своем слишком правильном, книжном немецком языке. — Не можете

ли вы указать мне недорогой, спокойный отель? Я приехал по делам.

Носильщик незадолго до того повздорил со своим коллегой, тоже носильщиком. Совместно они пытались выяснить, кто же именно проломил бок тяжелому сундуку из Пуэрто-Рико, но так и не выяснили. Вследствие этого носильщик был настроен саркастически, он был расположен к недобрым шуткам: с каждым это бывает. С высоты своих бурых усов он взглянул на небольшого Юлия Львовича:

— Я посоветовал бы вам *Familienpension*¹ «Альпенрозе», — сказал он. — Тишина, центральное отопление, текучая вода в каждой комнате и тому подобное. Прекрасный стол, рядом театр «Пикадилли» и тому подобное.

И Юлий Львович, отблагодарив его маркой, отправился в рекомендованный пансион, как отправился бы во всякий другой. Весь день он был занят делами: выставкой, городом, деловыми встречами. Вечером, когда он вернулся, тишина «Альпенрозе» очаровала его. Окно его полосатой комнаты выходило на небольшую площадь со станцией подземной дороги посередине. Вход под землю имел форму портика, серый камень колонн был обвит плющом, и громадная буква «У», «Унтерgrund»², зажженная в воздухе, светила жемчужным светом. За спокойным немецким столом, под далекий гул трамвайного прибора, при свете одинокой лампы, Юлий Львович сел писать в Москву своей сестре, своему единственному другу. Сестра Юлия Львовича, педагогичка и дошкольница, бессемейная и бездомная, за постоянные заботы о чужих детях именовалась братом «Кукушкой наоборот». «Кукушка наоборот» была некрасива, немолода, деловита и трогательна. Она не знала любви.

«Милая «Кукушка наоборот», — писал Юлий Львович при свете одинокой лампы. — Пишу тебе в прекрасной, культурной комнате. Берлин удивительно хорош. Книжное дело поставлено здесь поразительно.

¹ *Familienpension* — семейный пансион (нем.).

² *Untergrundbahn* — метрополитен (нем.).

Дешевое издание классиков стоит на недостижимой высоте. Что касается до интересующей тебя литературы для самых маленьких ребят, то наиболее удачной представляется мне так называемая «Полотняная библиотека», которую, при желании, можно мыть в тепловатой воде без всякого ущерба для содержания».

«Судя по сегодняшнему дню,— писал дальше Юлий Львович,— мне придется купить себе пальто и шляпу: очень уж дивятся здесь на мой московский облик. Завтра же вышлю тебе обещанные каталоги и шерстяные чулки. До свидания, милая. Твой Юлий».

Письмо было закончено.

На новом месте снятся человеку необычные сны. Касания чужой подушки вызывают в мозгу тревогу, которая претворяется в путанные сновидения. Из мозговых клеток, как птицы, вылетают воспоминания, порхают по комнате и шевелят дуновением ресницы спящего.

Юлий Львович потушил свет, лег, укрылся перинной. И тотчас же вечерний Берлин огнями и шумами проник к нему в окно. Жемчужная буква «У» осветила кисею занавесей. Юлий Львович закрыл глаза: буква «У» светила внутри глаз, потом коснулась ушей. «Ууу» — зашумела липовая аллея в парке, на который надвигалась гроза. Зарницы сверкали зернистым блеском: была воробьиная ночь. И из темного теплого пруда вышла юная, белая, как лебедь, прекрасная европейка. Она, как издание немецких классиков, стояла на недостижимой высоте. Она парила над водой, она управляла молниями. «Милая «Кукушка наоборот», — хотел сказать Юлий Львович, но не сказал. Женщина была не кукушечьего склада: у нее были лебединые руки и маленький рот, казавшийся черным при свете бури. Юлий Львович пошел к ней по воде, но оступился и упал на жаркое душное дно. «Квач!» — воскликнули тамошние лягушки. И Юлий Львович проснулся весь в поту под жаркой немецкой периной. «Квач», — повторяли за стеной берлинское слово, заключающее в себе презрение, насмешку, недоверие.

Был час ночи, а пансион жил, хотя и заглушенной, но полной жизнью. В коридоре горел свет, открывались двери, стучали каблуки и лилась вода.

«Квач»,— говорили за стеной.

«Странно,— подумал Юлий Львович.— Почему же носильщик сказал мне, что здесь очень тихо». Юлий Львович, как многие книжники, плохо знал человеческое сердце и ничего не знал о сундуке из Пуэрто-Рико.

Утром с Юлием Львовичем случилось недоразумение. Идя по коридору из ванной, он ошибся дверью и, не стучась, проник в чужую комнату. Он принял ее за свою и не узнал. Она была странно запрокинута, как лицо в обмороке. Плоскости пересекались странно и волшебным образом. Юлий Львович не сразу понял, что это игра зеркал. Что полуоткрытая дверь зеркального шкафа, отразившись в зеркале над умывальником, образовала этот ни на что не похожий мир.

Изображения шли из глубины, они надвигались из глубины с европейской сложностью. И главное всего в зеркальном лабиринте было изображение женщины, видимой сразу со всех сторон. Женщина примеряла вечернее платье. Начиная от груди, она, как сигара, была туго завернута в золотые слои. Ее синеватые волосы, цвета шелкового ласточкина крыла, были забраны под тюрбан. У женщины были лебединые руки и маленький рот, черный, как черешня: крашенный.

— Тысячу извинений,— вымолвил Юлий Львович, шепелявя от ужаса.— Произошло страшное недоразумение.

— Вы приехали вчера? — спросила золотая сигара серебряным контральто.

— Я приехал вчера. Тысячу извинений.— И Юлий Львович поторопился выйти из комнаты, куда проник нечаянно и где нечаянно заглянул в чужую головкружительную жизнь.

«Она смотрела на мои брюки,— размышлял Юлий Львович.— Это вполне понятно. Правда, Ольга Ивановна, например, никогда не замечала их. Но эта прекрасная европейка... Что она подумала обо мне?»

Он шел по коридору и думал о брюках, а в это время вслед за ним поочередно открывались двери, и любопытные головы следили за его задумчивой спиной. Дело в том, что Фамилиенпансион «Альпенрозе», расположенный вблизи мюзик-холла «Пикадилли», не был приспособлен для частных жизней. Он был населен кочующими пикадилльскими племенами. Они кочевали из года в год, из театра в театр, из страны в страну. Они несли с собой тревогу существ, не имеющих ни письменного стола, ни книг.

Юлий Львович, не подозревая этого, был окружен шестнадцатью девушками, так называемыми girls, вступающими в данное время в «Пикадилли».

Девушки эти происходили из всемирно известной школы Тичера в Лондоне. Уже пятьдесят лет семейство Тичер занималось хореографическим образованием молодых существ женского пола, рассылая их потом во все концы мира пачками по шестнадцать штук в оригинальной упаковке (клетчатая юбка, спортивное пальто и мягкая шляпа).

Воспитанницы Тичера танцевали под всеми широтами и под всеми звездами, всюду, где почва была настолько устойчива, чтобы выдержать удары шестнадцати пар стальных носков. У тичеровских девушек бывали приключения, неизбежные при кочевой жизни. Однажды, в Индии, молодой леопард пропорол парусиновую дверь и бросился на кассиршу. В другой раз, в Сибири, снежный обвал обрушился на электрические провода, погрузив театр во тьму. Девушки Тичера, висевшие как раз в то время на качелях в воздухе, испугались, некоторые расшиблись.

Теперешний Тичер, в отличие от прежнего, уже умершего, добродушного и дородного, был тихий, райской бледности меланхолик с грустными глазами и хрустящими пальцами. Династия Тичеров еще не знала такого корректного и сосредоточенного злодея. Имя его произносилось шепотом, чтобы не искушать судьбы.

Улучив свободную минуту, Юлий Львович оделся вполне по-европейски: так, как одеваются в Европе одни только русские. Он купил себе высокую фетровую

шляпу фасона «Принц Уэльский», полуботинки цвета копченого мяса, пиджак в талию и пальто на трех подкладках. В кармане лежал целлулоидный блокнот: при нажатии особой кнопки все написанное бесследно исчезало, как бы смытое водой. Это был так называемый «вечный» блокнот, и эта портативная вечность на полгода была доступна разуму и веселила глаз.

Надев все новое, Юлий Львович перестал узнавать себя. Это был уже не прежний он, не шершавый московский житель из вегетарианской столовой. Это был плотоядный, блестящий, как ликер, роскошный европеец, почти принц Уэльский. В день покупки новых вещей, измученный собственным великолепием, Юлий Львович рано лег и крепко уснул. Он проснулся в середине ночи от чьих-то слез. За стеной плакало много женщин зараз, что было отчетливо слышно, и это было странно. В стране, где так дешево чулки, где всюду ванны и газ, где мясники воздушны, как джентльмены, — в этой стране счастливые европейки, собравшись скопом, плакали простыми, интернациональными слезами. И некому было утешить их. Юлий Львович, надев сегодня только купленную пижаму, пошел на звук печали, прислушался, постучался, не был услышан и вошел в комнату, где всюду: на кроватях, на стульях, на полу, на умывальнике и даже как бы на обоях — сидели девушки и горько плакали. Девушки не спросили, кто был тот, кто вошел не стучась: для этого они были слишком несчастны. Они рассказали все.

— Это все мистер Тичер, — сказали они. — Он приехал из Лондона проверить нас, как делает это иногда. Но в тот вечер мы его не ждали. В тот вечер мы очень веселились, потому что Вилли, саксофон из оркестра, сделал предложение Хильде Браун, вон она плачет на умывальнике. Публика ничего не замечала, но мы дурачились как хотели. А в это время мистер Тичер сидел на галерее в темном углу и смотрел, как мы не танцуем. Потом он вышел оттуда. Мы просили прощения и клялись. Он простил нас и в тот же день уехал: мы все провожали его. Мы сошли с ума от радости, и

вечером мы снова дурачились. Но оказалось, что мистер Тичер, хоть мы и провожали его, на самом деле не уехал. Он доехал до Шпандау, сошел там, вернулся в Берлин и вечером снова сидел на галерее в темном углу. Потом он собрал нас всех и нам такое сказал...

Наступило молчанье. В наступившей тишине Юлий Львович запахнул пижаму и перевел дух: коварство мистера Тичера потрясло его.

— Мы очень несчастны, — сказала Хильда Браун, невеста саксофона Вилли. — Мы очень много работаем, и нас часто штрафуют.

— Вы еще будете счастливы, — возразил Юлий Львович.

— Счастья нет на земле, — последовал мрачный ответ с умывальника. — Может быть, оно есть на том свете. Между прочим, мне хотелось бы изловить старика Тичера в его темном углу и такое с ним сделать...

— Не надо этого, — ответил Юлий Львович, с трудом справляясь с немецким языком. — Один философ, имя его вам не важно, очень правильно заметил, что каждый человек в любую минуту должен поступать так, чтобы его поступок мог служить нравственным законом для всей вселенной.

— Бог мой, — воскликнула Хильда Браун с умывальника. — Вы, наверное, и есть тот русский из Москвы, который в первый же день забыл закрыть душ в ванной.

— Да, вероятно, это был я, — ответил Юлий Львович и хотел было спросить в свою очередь: «А не скажете ли вы мне, кто такая моя соседка по комнате, прекрасная женщина, похожая на испанку?» Но он не спросил этого. Ему сделалось совестно в присутствии шестнадцати скромно одетых, плачущих и несчастных спросить о семнадцатой, ослепительной и, конечно, счастливой.

Раньше оркестр был невидим. Он помещался в глубокой впадине перед сценой: дирижерская палочка реяла в воздухе, сами же музыканты были безлики.

Они порождали музыку, и музыка наполняла зрительный зал: этого было достаточно. Но джаз — это нечто совсем иное. Он не только музыка, но и танец, и поэтому он всегда на виду.

Саксофон Вилли, жених Хильды Браун, обладал способностью пританцовывать левой бровью и правым плечом. Саксофон Вилли, вместе с гавайскими гитарами, банджо, трубой, скрипкой и барабаном, помещался в боковой ложе, освещенной прожектором. Оттуда они обрушивали на слушателей целый обвал разнообразных звуков, начиная от куриных воплей, когда курица снесла яйцо, и кончая сладостным дрожанием струны, когда струна неотличима от человеческого голоса.

Юлий Львович получил от своих приятельниц контрамарку в «Пикадилли», прекрасное место во втором ряду партера. Усевшись там в своем новом костюме, он приготовился вкушать Европу в самой острой, в самой пряной ее форме. Он рассуждал так: «Мюзик-холл — есть нечто в высшей степени современное и глубоко европейское. Именно здесь родилась синкопа, эта дисгармония ритма, столь характерная для нашей эпохи». Рассуждая таким образом, он все же был смущен. Вид полуобнаженных билетерш, разодетых пьереттами, причинял ему душевное неудобство. Он не был уверен, чтобы, продавая программы и указывая места, необходимо было так обнажаться. Он вспомнил Ольгу Ивановну в ее неумолимой прозодежде и свою сестру «Кукушку наоборот», о которой самый большой ее доброжелатель не сказал бы, что у нее есть грудь. Образы этих двух женщин возникли в освещенном воздухе у рампы и растаяли, не выдержав сравнения с билетершами.

Юлий Львович развернул программу, проданную ему Пьереттой. В эту самую минуту Вилли, жених Хильды Браун, ударил в медную тарелку и тем самым возвестил начало спектакля. На попечении Вилли, помимо саксофона, были медные тарелки и барабан, по которому он ударял с чувственной яростью, словно имея в виду голову мистера Тичера. Обе гавайские гитары сладко улыбались во все стороны, но это было

по обязанности. На самом деле они были несчастны: у одной начиналась горловая чахотка, а у другой кончалась любовь.

Занавес разжался, и программа началась. В программе были китайские мимисты, японские жонглеры, американские эксцентрики, русские плясуны и певцы. «Волга, Волга, мать родная», — загремели баритоны и тенора в белых шелковых рубашках и красных поясах. И сердце Юлия Львовича задрожало ответной дрожью, хотя сам он был родом из Житомира и Волгу знал мало и плохо.

После русских певцов вышел крошечный шотландский пони. Он был диковинной раскраски, в крапинках и пятнах. Несомненно, среди лошадей он считался карликом и уродом, и, несомненно, это мучило его, но людям он нравился. Не спуская глаз с бича, он тяжело пошел на задних ногах по кругу. До Юлия Львовича явственно долетало его синкопическое дыхание и стук маленьких копыт, и Юлий Львович внезапно почувствовал, что ему грустно. «Картофельная котлета, — подумал он, — в сущности, питательное и вкусное блюдо».

Появились шестнадцать girls, его приятельницы, встреченные бурным восторгом. Очевидно, их знали и любили. В коротких атласных трусиках и белых жилетах, с голыми руками и ногами, они были все одинаковы, словно гайки, сработанные одним заводом. Их ноги выбивали чечетку. Им было свойственно единообразие движений, они дышали в такт и улыбались, как одна. В заключение, оттанцевав, они, как одна, склонили свои одинаково стриженные головы, и уже нельзя было отличить, кто из них Хильда, кто Дженни, кто Оливия.

— Bravo! — возгласил Юлий Львович и улыбнулся, как денди.

Пусть скептики говорят, что им угодно, но число тринадцать есть недоброе число. Несомненно, оно сохранило нечто от своего древнего пифагорийского значения. По крайней мере, таким оно обернулось в тот вечер для Юлия Львовича, когда наступил тринадцатый номер программы. Сердце внезапно остановилось,

потом сделало скачок: это была настоящая синкопа, удар в медную тарелку.

Из-за бархатной щели кулисы, как сигара, спеленатая в испанскую шаль, в плоской бархатной шляпе с розой у левого уха, с веером, с обнаженным плечом, походкой гитаны вышла женщина, которую Юлий Львович видел уже однажды среди зеркал. Зрительный зал захлопал и засмеялся.

«Почему смеются?» — успел подумать Юлий Львович: больше у него не было времени для мыслей. На него обрушилась бездна дел. Ему нужно было одновременно: дрожащей рукой регулировать бинокль, который, как проклятый, вертелся наоборот. Нужно было слушать песню о фиалках, которую пела женщина. Она пела:

О, Андалузия моя!
О, нега страсти!
Кто купит розу у меня,
Тот будет счастлив.

Одновременно нужно было комкать программу, чтобы узнать имя прекрасной. Но программа была нелепа: она сыпала именами певцов, эксцентриков, жонглеров. Но единственно нужное она скрывала. Под номером тринадцатым значился какой-то Леопольд Аудерский, мужчина и поляк, в то время как на сцене была женщина и испанка.

«Чепуха! Окаянный вздор! — воскликнул мысленно Юлий Львович. — Да, правда. Кто купит фиалки у тебя, тот будет счастлив. О, Андалузия моя! И кто смеет смеяться?»

Песня кончилась. Аплодисменты выросли, подобно шуму идущего поезда, и, наконец, рухнули. Прекрасная андалузка, победно улыбаясь, вышла кланяться. Она поклонилась, смеясь, она сняла с головы шляпу вместе с розой и... Но тут у Юлия Львовича потемнело в глазах: вместе с шляпой и розой она сняла прелестные, синие, как ласточка, испанские волосы. Это был парик. Под ним открылась круглая, стриженная голова. Подведенные глаза глянули насмешливо и нагло: отвратительно. Подбородок внезапно стал квадратным, и сквозь лунную голубизну глянула

бритая щека. Андалузская ласточка улетела, и остался Леопольд Аудерский, промысляющий своим двусмысленным сходством с женщиной и голосом андрогина.

«Ба-бах», — похоронно ударила медная тарелка...

На вокзале шестнадцать спортивных пальто окружили уезжающего. Берлинский вечер был сух, отчетлив: без снега, без нежности. Уличные огни алмазно врезаны в темноту, вместо луны и звезд — радиоволны, передающие лекцию о гриппе и о способах борьбы с ним.

— Друзья мои, — сказал Юлий Львович под равнодушным взглядом носильщика (того самого). — Милые друзья, мне грустно. Я рвался в Европу, как рвутся иные из живущих по ту сторону Негорелого, но я вижу теперь свою ошибку. За две командировочные недели нельзя узнать Европы и хотя бы отчасти понять ее. В Москве я больше знал ее, чем здесь. За две недели нельзя проникнуть в основной поток здешней жизни, который глубок и значителен. Все же побочные струи, которыми питаемся мы, приезжающие на короткий срок, мутны и несовершенны. Я рад, что узнал вас, но Европа... я потерял ее. Две недели моего пребывания здесь похитили у меня Европу. Таким образом, Европа была похищена дважды, — заключил Юлий Львович с болезненной улыбкой. — Первый раз в образе женщины, в древней Элладе, согласно мифу, который вам, вероятно, известен. А второй...

Взглянув на лица своих слугательниц, Юлий Львович понял, что предание о быке и похищенной Европе не было известно девушкам Тичера, получившим не столько классическое, сколько реальное образование. «Я просто осел», — мысленно закончил Юлий Львович. Ему было очень грустно.

Парижский поезд, идущий через Берлин на Польшу, влетел под стеклянные своды, овеянный ветром пространств. Чемоданы и носильщики хлынули в вагоны. Воскликанья наполнили воздух.

— Я забыл портфель! — судорожно воскликнул Юлий Львович, но тотчас нашел его у себя под мышкой.

Носильщик захлопнул дверь: Берлин остался по ту сторону.

— Прощайте! — закричали шестнадцать женских голосов, и платки вспорхнули, как стая писем. — Приезжайте снова!

— Приезжайте непременно! — закричал саксофон Вилли, появившийся в последнюю минуту.

Юлий Львович, стоя у медленно плывущего окна, прижал портфель к сердцу и улыбнулся. Но глаза его были полны слез.

Поезд летел по германской земле, вагон спал. Юлий Львович размышлял. Мысли его, уже оторванные от Берлина, но еще не притянутые Москвой, были печальны. Но в середине ночи, где-то у границ Польши, московское притяжение взяло верх, и мысли потекли о книжном рынке нашего Союза и о его судьбах.

«Отдел беллетристики, — думал Юлий Львович, — богат у нас. Книг о Западе достаточно. Но если бы я умел писать, я, пожалуй, написал бы небольшую вещь о похищенной у нас Европе. Написанная популярно в размере не свыше двух печатных листов и изданная на недорогой бумаге, такая брошюра была бы полезна нашей молодежи».

Юлий Львович попытался мысленно прикинуть, во что примерно может обойтись подобная брошюра, но утомленный мозг начал путаться в цифрах. Тогда был вынут из кармана «вечный» блокнот и произведена ориентировочная калькуляция. Но, доведя вычисление до конца и установив, что себестоимость задуманной книги, при тираже в двадцать пять тысяч, будет равна тридцати трем с четвертью копейки, Юлий Львович загрустил. Он знал, что лишен творческого дара, что никогда не найдет нужных слов, чтобы выразить всю сложность интересующего его вопроса.

И, нажав кнопку «вечного» блокнота, Юлий Львович, как водой, смыл неродившуюся книгу.

«ШВЕДСКИЕ ГАРДИНЫ»

Все течет, все изменяется. Сахара некогда была морским дном. Синие свежие воды смыкались там, где сейчас лежат пески. Прохладные рыбы проплывали над теперешними верблюжьими горбами, по ночам вода светилась от моллюсков. Но не только это.

Гренландия была в свое время зеленым островом, зеленой страной, «Грюн Ланд». Теплое течение Гольфштрем обтекало страну, как сокровище. И все это погбло, когда теплый поток отвернулся от нее. Но ходят слухи, что Гольфштрем возвращается к покинутым путям. Возможно, возможно. Гренландия теплеет, в Италии в этом году выпал снег: лимонные деревья дрожали всю ночь и к утру погибли.

В центре Европы, в Германии, в Берлине, ударили морозы, ртуть упала неслыханно низко. Франц Мюллер, как лимонное дерево, дрожал всю ночь и к утру погиб. Об этом надо рассказать.

Прежде всего дадим слово громкоговорителям. В больших городах, в частности в Берлине, где люди причудливы и вкусы непостоянны, громкоговорители, в зависимости от обстановки, прикидываются то белой тарелкой, то черной воронкой, то раковиной, то шкапулкой, то перепончатым веером. Но все эти многообразные хрупкие формы суть проводники единого

содержания, рупор для единого голоса, который возвещает Берлину, Штеттину и Магдебургу, сразу трем городам, все, что им, этим городам, надлежит узнать.

Однажды, в вечерний час, после доклада о системе германских налогов и перед танцами, бархатный мужской голос объявил трем слушающим его городам, что с севера движется на Европу волна холода. Мало кто обратил на это внимание. Вечерний час был тепел и сиень. Малиновые и желтые мерцанья лились на асфальт. В Берлине был бал, в Штеттине маскарад, в Магдебурге ослепительная премьера. Легкие европейские шубы были распахнуты: никто не думал о холоде. Сам Франц Мюллер, слушая громкоговоритель друга своего, Курта Геймана, ничего не понял.

Громкоговоритель Курта Геймана был мужествен и прост, без всяких ухищрений. Сам же Курт был мечтатель-материалист, самый опасный вид мечтателя, для кого действительность только брекватер, от которого можно оттолкнуться в блаженные океаны будущего. Курт часто говорил:

— Жизнь — это гармония.

Он говорил еще:

— Рост — это гармоническое сгорание сахара, белка, крахмала и прочего.

И еще он говорил:

— Искусство — это воля к порядку.

По вечерам Курт любил топить печку: в доме не было отопления. Это был старый дом на рабочей окраине.

Топя печку и глядя в огонь, Курт воображал себе гармоническое будущее.

Такие люди опасны: в дни холодов они замерзают в первую очередь.

Кроме мыслей о будущем, у Курта были еще другие занятия в жизни. Он работал в одной чрезвычайно современной, чрезвычайно левой мебельной мастерской, где каждый стул рассматривался под углом зрения мировой культуры и невропатологии. Каждый стул, выпущенный этой мастерской, был не только предметом для сиденья, но и улыбкой для глаз, радостью для спины, отдыхом для мозга. Он должен был быть низок, легок, эластичен. Обычно он состоял из легкой дере-

вянной основы и круглых резиновых лент, послушных каждому изгибу тела.

Курт Гейман стоял очень высоко. Он работал в лаборатории, так сказать. Он изобретал новые формы, он создавал макеты новой мебели. Ему поручались особо сложные задания, и совсем недавно ему поручили ответственнейшую вещь: кресло для неврастеника, страдающего боязнью пространства. Это кресло было почти уже сконструировано: оставались самые пустяки.

Франц Мюллер был очень молод. Он только недавно приехал в Берлин, и Гейман, его друг и земляк, устроил его туда же, где работал сам. Франц ничего не создавал, он только исполнял чужую волю. В данное время он был занят изготовлением гнутых табуретов, которыми гордился.

По утрам Курт устраивал себе гимнастическую зарядку на весь день, как обучил его громкоговоритель. Новейшую гимнастику, основанную не на бесцельном расширении мышц, а на принципе снабжения всего организма кислородом. Основанную не на расширении легких глубокими вздохами, а, наоборот, на выдыхании отработанной углекислоты.

Курт знал, что человеческое дыхание распадается на три момента: на вздох, паузу и выдох. Самым важным был выдох. Путем особых, тщательно продуманных движений, отчасти заимствованных у индийцев, нужно было довести себя до глубочайших выдохов, вместе с которыми уходила из тела усталость.

Волна холода быстро продвинулась в глубь Европы. В одно из утр, открыв, как всегда, форточку и надев купальные трусики, Курт приступил к кругообразным движениям шеей. Он сделал первый глубокий выдох, но десятиградусный мороз еще раньше дохнул в открытую форточку.

В середине дня у Курта начался жар. В конструкции кресла для неврастеника он допустил грубейшую ошибку. Полированные бруски накалялись в его дрожащих пальцах. Вечером Курта отвезли в больницу, и громкоговоритель отметил его как новую гриппозную единицу. Франц остался один в Берлине, Штеттине и Магдебурге.

Через два дня Курт был отвезен в ближайший крематорий, чья спокойная архитектура так нравилась ему при жизни. Франц Мюллер лишился работы. Левая мебельная мастерская внезапно закрылась: ее убила мастерская еще более левая, во главе которой стояли бактериолог и спирт.

К этому времени город приобрел необычный вид. От него час за часом, минута за минутой, отлетало тепло, накопленное человеческими дыханьями (вздохами и выдохами), ударами сердца, машинами, огнями, воздухом жилищ — весь жар хорошо обжитой планеты. Город быстро дичал: появились свирепые меха, на перекрестках зажглись первобытные костры, куда бросали мусор, обломки вещей, дрова, если они были.

Школы закрылись, остались открытыми только некоторые из них, где сохранились дрова: туда приходили греться дети. Во многих домах лопнули котлы, замерзли водопроводные трубы. Суп для бедных приходилось добывать с боя. На рынках зажгли переносные печи. Под багровым солнцем, на зеркальном снегу, берлинские рынки дымились, как варварские становища. У лошадей вырастали ледяные моржовые усы, гладкие автомобили, словно киты, выдыхали пар. Обмотанные мехами люди вставали на задние лапы: передними они ударяли себя по бедрам, чтобы согреться.

Безработный Франц Мюллер шел по улицам, стараясь как можно меньше выдыхать, хотя это противоречило теориям его мертвого друга: при выдыхании уходило слишком много тепла. Безработица, ледяная комната и тоска по умершем делали город еще более страшным. Хуже всего было то, что тело, непривычное к холоду, не выработало себе никакой системы защиты. А холод напал, а мороз шел приступом на нежную короткошерстную Европу.

Идя по улицам, Франц вспоминал шерстяную юбку матери, меховую куртку отца, пуховую бабушку, фланелевых братишек — все, что грело, что было когда-то, в детстве.

Этот страшный, ледяной вечер совпал с открытием нового кафе, о котором давно уже прокричали громко-

говорители, газеты и световая реклама. Задолго до открытия, ежевечерне, в темном небе над городом, в облаках, там, где, по уверению поэта, живут лишь туманы да орлы, светясь, возникла исполинская чашка кофе. Кофейная ложка, величиной с копы Нибелунгов, пронзала небо. Искристое кофе, настоящий напиток Валгаллы, лилось в чашку с надзвездной высоты. Снежными глыбами, голубее северного сиянья, падали в чашку куски сахара: огненные искры вылетали словно из кратера. Все это зажигалось, горело, пылало, потом потухало и зажигалось снова. И слово «Корригида», название нового кафе, сверкало в воздухе, словно автограф молнии.

«Корригида» состояла из пяти концентрических галерей: постепенно сужаясь, они уходили под купол. Наверху, на круглой площадке, танцевали. В центре, видимый и слышимый всеми галереями, на эстраде, висящей в воздухе, помещался великолепный джазбанд. Он освещался с двух сторон мощными световыми установками из матовых и блестящих шаров разной величины, стекол и зеркал. Все это, отраженное и переотраженное, стеклянное и стальное, без примеси цветного, все эти горящие шары, отделенные друг от друга металлическими паузами и ключами, напоминало партитуру семафоров, световую фугу ночных поездов.

На галереях помещалось две тысячи человек. Столы были невысокие, низкие и мягкие кресла были улыбкой для глаз, радостью для спины, отдыхом для мозга. Все кафе было как веселый и сияющий, никуда не ведущий вокзал для неврастеников, страдающих боязнью пространства.

Ответвляясь от галерей, шли маленькие «грильрумы». Особенно хорош был один из них, где пили коктейли, теплый, как оранжерея, освещенный матовой радугой фарфоровых колб. Буфет, где, под наблюдением ослепительного негра, готовились многоцветные напитки, был похож на церковное окно или на орган из радужных труб: фиолетовые и желтые тени проходили по лицу негра. Вверху, под стеклянным потолком, летали живые птицы, канарейки, щеглы и маленькие

зеленые попугаи, измученные бессонницей, ослепленные светом и оглушенные музыкой.

Все это было занимательно и весело, но в этот вечер не это было главной приманкой кафе «Корригида». Тепло. Тепло — вот что было главное.

«Тепло!», «У нас тепло!», «Приходите погреться!» — возглашали световые транспаранты в морозном небе над куполом. Все тонкости: джаз, радуги, канарейки, негры, грильрумы — все бледнело перед примитивным теплом человеческого жилья. Культура исчезла, остался жар горячей золы, куда бросали кости и жир.

Франц остановился перед «Корригидой». «Тепло!», «У нас тепло!» — пылало в воздухе. Ртуть в тот час упала до двадцати градусов по Реомюру. Франц подошел к вращающейся двери, но тотчас же швейцар, величественная башня из пурпура и золота, двинулся к нему навстречу.

— Что тебе здесь надо, человеке? — спросила башня.

Франц ничего не ответил. Сквозь толстые стекла двери он увидел пространство, где раздевались. Оно было затянуто бобриком, на вешалках висели шубы: мех и сукно. Особенно хороши были рукава, где тепло сохранялось словно в трубе. У вешалок, внизу, стояли гнутые табуреты. Франц тотчас узнал их: это были изделия левой мастерской, его детища, с которыми он был разлучен.

— Пустите, — сказал Франц. — На минуту.

Но залитая золотом башня мановением руки отодвинула его снова в глубь холода и ночи.

На окраине города, где было меньше огней, дыма, где было меньше автомобилей, где улицы были шире, где плоские крыши новых домов не мешали ветру, — там было еще холоднее. Вместо прирученного и вежливого неба умеренного пояса обозначился межпланетный холод, черный эфир, где шевелились мохнатые миры.

На пустынной площади, где скромное кино десятым и двадцатым экраном показывало зачерствевшие боевики, кучка людей, досмотрев в ледяном зале морскую картину о любви, о белокрылой яхте в тропиче-

ских водах, о пассатах и муссонах (теплые и пряные слова, напоминающие мускат), кучка людей вынесла стулья на площадь (каждый нес свой стул), и каждый поджег его зажигалкой или спичкой. Образовался костер. Сухие старые стулья, промасленные временем, как будто только и ждали этого, зажглись, запылали. Морозный ветер раздул пламя, снег засверкал.

Люди сосредоточенно и молча смотрели в огонь. Сам хозяин стульев и кино, казалось, не возражал против этого пожараща. Быть может, он слегка помешался от холода, но он принес и собственноручно бросил в огонь ножную скамеечку из кассы. Скамеечка образовала свое обособленное пламя, синее у корня, как свеча.

Полицейский отдаленного, более шумного перекрестка, привлеченный заревом, подошел к костру, но ничего не сказал. Он снял белые перчатки и простер над огнем распухшие пальцы. Франц стоял у самого огня.

Ветер завивал пламя в его сторону, его кепи пахло шерстью: это был прекрасный запах.

Сначала люди молчали, но потом вышла из тьмы сумасшедшая старуха в соломенной шляпе и тальме. Она сказала речь о Гольфштреме. Она говорила о нем, как говорят о боге.

— Он отвернулся от нас, потому что мы забыли Его,— сказала она.— Мы гневим Его своими делами. Мы воюем. Мы едим убоину. Мир спасут вегетарии и пацифисты. Вы слышите?!

— Америка странная страна,— сказал владелец соседней колониальной лавочки.— Там оставляют в наследство водопады и болота. Мой двоюродный брат получил в Канаде реку. Недурная река, но она текла не там, где хотел мой двоюродный брат. Тогда он собрал соседей, образовал акционерное общество, и все вместе они повернули течение в другую сторону, запрудили его и построили лесопильный завод. То же самое надо сделать и с Гольфштремом.

— Опоздали с вашим планом,— сказал подозрительный тип без пальто, в одном шарфе у горла. Он и его товарищ, оба синие, с острыми носами, грелись

рядом с полицейским, словно тигр и ягнята на одной льдине.

— Опоздали,— сказал первый ягненок.— Такой план уже существует. А ну-ка подвиньтесь немного, старик,— повернулся он к полицейскому.— Не для вас одного огонь, не думайте.

— Простите,— учтиво ответил полицейский.— Пожалуйста. Я ни о чем не думаю.

— Оно и видно,— проворчал второй из ягнят.

— Налоги замучили,— сказал голос из темноты. Свет не долетал туда, только искры порхали над потертой шляпой.— Германия не выдержит налогов на Гольфштрем. Особенно теперь, когда всех обобрали на новый броненосец.

— Безработица растет,— сказал Франц деревянным голосом.— У меня, например, вчера умер друг.

— Сейчас потухнет,— заметил юноша в деревянных башмаках, сиплый, как старик.

Двоюродный брат человека из Канады молча отпер свою колониальную лавку, пошарил там и принес кульки сахара, крахмала и еще чего-то.

— Это прекрасно горит,— пояснил он гостеприимным и спокойным голосом.

«Жизнь,— вспомнил Франц слова Курта,— есть гармоническое сгорание сахара, крахмала и еще чего-то».

Пламя, сожрав стулья, набросилось на колониальные продукты. Пламя сделалось пахучим и голубым. Новые люди подошли и стали сзади. Подошел ночной шофер, ночная девушка. Присев на корточках у огня, Франц стал дремать. Двое ягнят, обогревшись, бормотали друг другу какие-то фразы. Франц слушал сквозь сон.

— Ты дурак,— говорил один ягненок другому.— Именно так и надо сделать, покуда они все тут размлели. Мы пройдем боковой улицей и тихо-деликатно подпилим дверную цепь. Я знаю, что он все держит в кассе.

— А не хочешь ли тихо-деликатно за шведские гардины,— возразил второй.— Впрочем...

После чего оба исчезли.

Шведские гардины... Сочетание этих слов, подслушанное в темноте у догорающего костра, пролилось теплотой по всему телу Франца. Шведские гардины... Несомненно, это были гардины отменного качества, теплые, пушистые. Они были из чистой шерсти, возможно, подбиты замшей. Они падали просторными складками, и в них, как ребенка, можно было завернуть всю озябшую Европу, от которой отвернулся Гольфштрем.

Шведские гардины... В них была северная нежность, теплота гагачьего гнезда, где под пуховым крылом можно забыть весь мир. Шведские... но как найти их... гардины. Где они, шведские эти гардины? Они необходимы в страшную ночь, чтобы утонуть в них и спать. Сон и тепло. Тепло и сон.

Франц нагнул голову, он почти спал.

— Бог мой! — закричал внезапно колониальный торговец, тот самый, который недавно угощал огонь сахаром и крахмалом.— Мой бог, меня обокрали! Меня обокрали, говорю я вам! Пока мы тут сидели. Касса взломана. Завтра я должен был платить налог! Ловите их! Держите их! Они не могли уйти далеко.

От этого крика все зашевелились. Огонь догорел, наваждение пламени исчезло. Полицейский быстро натянул перчатки, подтянул ремень под подбородком: он был готов к бою. Старуха в тальме сгнула. Шофер сел за руль.

Девушка ушла ловить клиентов. Полицейский оглянул место действия.

— Мои стулья!.. — опомнившись, завопил хозяин кино.— Что же это!.. Грабеж среди бела дня! — крикнул он в полярную ночь.— Вот этот парень выносил, я видел.— И он указал на Франца.

«Это все одна шайка,— соображал про себя полицейский.— Те двое сидели рядом с этим, я видел, и шептались. Теперь этот будто спит, но все это фокусы. Для отвода глаз».

Небрежной походкой он двинулся к Францу, он уже почти коснулся его. Но в эту минуту тот проснулся. Дыхание опасности пронеслось над ним. Франц был не повинен ни в чем, но страх оказался сильнее разума.

Все было страшно в эту ночь. И Франц бросился бежать.

Он бежал по ледяным и каменным ущельям. За ним раздавался топот казенных сапог и постукивание деревянных мальчишеских копыт. Где-то фыркнул автомобиль. Затрубил шофер. Не тот ли? Преградила дорогу девушка. Не та ли? Два шарфа мелькнули впереди. Не те ли?

Все, все было в заговоре. Все объединилось для того, чтобы погубить обмерзшее сердце, страхом погони выжать из него последние остатки тепла.

Погоня росла: теперь никто уже не поверит в невинность бегущего. Только злодей может так мчаться, дышать со свистом в морозной ночи, в холоде, от которого стынет даже глазное яблоко.

Франц вылетел на большую улицу. Здесь были огни, здесь был мост через канал. Ага, мост... Франц видел однажды, как некий человек, городской нуль без имени, без судьбы, прыгнул с такого же моста в воду и через час комфортабельно лежал в морге.

Из последнего дыхания Франц убыстрил ход, чтобы выиграть время. И он выиграл его, выиграл эти доли секунды, нужные для того, чтобы сесть на парапет моста (как холоден был камень), чтобы перекинуть ноги на ту сторону и броситься вниз, в милосердную воду. Но воды не было, вместо нее был лед. И Франц не утонул, как хотел, а разбился.

Он жил еще около часу на льду (поднять его было невозможно). Он умирал, казалось ему, не от ран, а от холода. Умирая, он мечтал о тепле.

«Шведские гардины», — повторял, он мысленно. Над ним стоял полицейский в белых перчатках и подстергал его смерть.

И он умер, так и не узнав, что, будь он жив, для него шведские гардины распахнулись бы широко. Ибо «шведскими гардинами» на языке преступников и воров Берлина именуется тюрьма.

ВЫПИЛИВАНИЕ ПО СЕРДЦУ

Возвращаясь вечером домой, нажимает Галина кнопку звонка, и тогда по черной ткани коридора пробегает светлая звуковая нить, на конце которой тревожное ожиданье, бессонное плетение мыслей. Выдернутая звонком из глубины своего беспокойства, мать открывает дверь. Радость ее при виде живой и любимой Галины глубока, болезненна и похожа на скорбь.

— Это ты,— говорит она.— Все хорошо? Ничего не случилось? Я люблю тебя. Ты ела?

— Ну, ну, Таня,— отвечает матери Галина.— Я запрещаю тебе это. Все хорошо. Ничего не случилось. Ела.

Но иногда мать открывает дверь молча. Это означает, что у нее нет сил радоваться. Галина ведет ее за руку по темноте коридора и говорит:

— Эй, Татьяна, подай голос. Все хорошо.

Но самой бывает ей трудно в эту минуту. Только что прожитый день лежит в ней неразтворенным комом. Она устала, бедна бодростью. Последними остатками ее она делится с матерью, а сама остается ни с чем.

Сцепив на коленях пальцы, любит мать глядеть в одну точку: разглядывает прошлое, а Галина — ее.

— Глаза у тебя, Таня, удивительные. Редкие глаза. Вообще говоря, ты у меня, конечно, красавица. Уж не знаю, как с тобой и быть.

А Таня почти не слышит. Медленно, косо идущим крылом наплывает на нее теплый туман, звездная мошкара, солнечная пыльца прошлого.

— Ты опять вспоминаешь, Таня. Я тебе запрещаю это,— говорит Галина.

Днем, покуда Галина, крепко стянув пальто у пояса, ходким шагом режет улицы, штурмует трамваи и этажи, проникает в квартиры и там, в темных прихожих, под лампой, пишет квитанции с копией о доставке очередного тома Большой или Малой Советской энциклопедии, Таня, сидя дома, работает белье на продажу. Надев очки на прекрасные близорукие глаза, Таня прозуривает батист рубашек ветками, травами и цветами: скудная и однообразная флора, одна и та же под всеми широтами.

За окном громоздятся друг на друга дневные шумы. Тупые накаты резиновых шин, острые отроги сигналов, лавины грузовиков, плеск, журчанье одинокого автомобиля, роющего себе русло в переулке: горный пейзаж, по ущельям которого пробирается Галина. Таня знает умом, но сердцем не верит, что Галине, с ее поступью и хватками молодого ковбоя, не страшны уличные опасности.

Таня медлительна в своих душевных кругооборотах. Через десять лет ей будет казаться, что Галина, стянув пальто кожаным кушаком, идет по Москве лыжным шагом. Но это будет через десять лет. Теперь же она мысленно ведет за руку маленькую Галину («тише, не упади») по южному городу, где не бывает зимы. Еще жив муж, еще мыслима жизнь в лирическом разливе, с пушистой и теплой старостью там, в конце.

Но постепенно холодает. Жизнь пустеет. Выносят мужнин гроб. Дорога. Москва. От прошлого осталась одна Галка. Галина в отца: некрасива, но свежа, черноволоса.

Ночью настигает Таню бессонница. Неврастения, «обезьяна всех болезней», паборматывает ей на ухо печальные враки. И белая, большая, пышная, как

лебедь, с прохладными плечами и теплой косой, Таня плачет. Галина просыпается с размаху, как бросаются в воду. Она ощупью переходит комнату и ложится рядом с Таней.

— Не плачь, я не могу видеть женских слез. Почему ты не спишь? Это все оттого, что ты бессистемно дышишь. Тебе нужна дыхательная гимнастика, зарядка по утрам. Я показывала тебе приемы с диафрагмой. Ты делала их? Нет. Стыдись, гаремная женщина. Это все диафрагма.

— Нет, Галочка, это сердце.

— Но ведь это одно и то же. Ты не спишь, ты бледнеешь. Ты больна или несчастна? Скажи.

— Я не несчастна. Я не счастлива,— отвечает Таня.— Но это не важно. Спи.

«Ох, это поколение,— размышляет Галина, засыпая.— Подавай им счастье в неразбавленном виде. Не важно... Нет, это важно. Вернее всего, это малокровие. Нужен фитин или рыбий жир. Надо об этом подумать».

И, не успев подумать, она засыпает...

— Ну, вот что, Таня,— говорит Галина.— Причешись на проборчик, аккуратно. Ты очень разнеряшилась. Подтяни чулки, они у тебя штопором вьются. И вообще подтянись. Сегодня придет врач посмотреть тебя.

— Галя, я не хочу. Я здорова. Оставь этот разговор. Он мне неприятен.

— Татьяна, не дури. Вымой шею и причешись. Я вернусь в пять.

К пяти часам Таня вымыта, причесана прегладко: шелковым узлом на затылке. Лебяжьи плечи забраны черным платьем. И врач, простой советский парень, живущий этажом выше, даже как-то теряется перед эдаким раритетом.

Он выслушивает легкие, под вздох прощупывает селезенку, нажимает печень, ударяет молоточком по колену и, наконец, подбирается к сердцу.

— Тон чистый. Но, вы говорите, болит?

— Болит,— отвечает Таня теплым своим голубиным голосом.

— Странно. Чистый тон. Но болит, вы говорите?

— Ноет. По ночам такая тоска.

— Боль и тоска это не одно и то же. Можете одеться. Мы, медики, различаем это.

— Пройди на кухню. Там картошку привезли, — тихо говорит Галина матери.

Оставшись наедине с врачом, Галина подходит к нему вплотную.

Губы ее неспокойны. Она вертит жгутом носовой платок, и это тихое, яростное верчение помогает ей.

— Ну, доктор, как вы нашли Таню?

— Вы говорите о вашей матери?

— Да, о ней. Таня у меня одна. Эти единственные матери всегда нежны, малокровны. Как вы смотрите на фитин или рыбий жир?

— Фитин... Конечно. Но, видите ли, я не нашел ничего органического. Нервная система несколько, да, я бы сказал... (Врач не глядит на Галину.) Тонус понижен. Мать ваша одна? Отца у вас нет?

— Не водится, — отвечает Галина кратко. — Всего хорошего, доктор...

Каждый том энциклопедии весит примерно килограмм. Десять томов — десять килограммов. Ох, нелегка человеческая мысль!

Ухватив связку книг, как ведро воды, и наклоняясь в сторону, подымается Галина по лестнице. Лифт испорчен, дом высок, а профессор, подписчик словаря, живет на самом верху. В комнате его, задуманной в плане фотостудии, стеклянный потолок. Тучи, звезды и вьюги проносятся над головой профессора: климат вторгается в распорядок человека.

Располагая просторами неба, профессор по существу бездомен. Вечерами, сидя под Полярной звездой, он питается консервами, запивая их нарзаном.

— Консервация продуктов питания, — говорит он, — стоит теперь высоко.

У дверей комнаты, в передней, стоит гардероб красного дерева. Его выперло сюда логикой событий, его вытеснили книги. Сам профессор окопался на диване, но книжные полки теснят и его. И все же профессор рад каждому новому тому словаря. И та, что приносит

их, молодая девушка, с характерным рельефом лица и густым волосяным покровом, приятна ему.

Поднимаясь на шестой этаж, Галина задумчива. Некая мысль сверлит ее.

Взяв в руки четырнадцатый том, профессор нежно перелистывает добротные страницы:

— Хорошо. Очень хорошо. Но есть и дефекты. Так, например, обидно мало сказано о гейзерах.

— Да,— говорит Галина.— Обидно, конечно.

Она входит к нему в комнату за деньгами и видит стеклянные квадраты потолка и занавески на них, как у фотографа: жалкая попытка укрыться от космоса.

— Вы простите меня, но очень уж у вас дико,— решительно говорит Галина.— Эта звезда, наверное, вам мешает. Как-нибудь вечером вы непременно должны спуститься к нам. Ведь мы соседи...

Под нарядной лампой Таня разливает чай. А лампа нарядна до крайности. На ней легкий полушар, наполненный золотым воздухом. Абажуры вообще лукавы. Но этот особенно. Он — поправка к действительности, заметка на полях, комментарий, весенний эпиграф к зимнему вечеру. Галина купила его, бережно распушила, и теперь он цветет. И комната полна одуванчиковым его цветеньем.

Спустившись со стеклянных своих высот, профессор душевно взъерошен.

— Четырнадцатый том чрезвычайно интересен,— говорит он.— Но о гейзерах сказано обидно мало.

Таня роняет ложку из пышной и слабой руки.

Но постепенно тревога утихает. Из отдельных слов накапливается беседа, сначала запинаясь, но потом плавно течет, округло обтекая предметы и чувства. Таня вслух думает о прошлом, и Галина теперь не запрещает ей этого.

«Пусть вспоминают она и он,— думает Галина.— По возрасту они почти равны».

Говорит профессор:

— Да, да, представьте, и я вспоминаю нашу кафельную печь. Ее топили по утрам, и к ней полагался прибор, именуемый в быту кочергой.

Галина со стороны глядит на них. Мирный ландшафт нетеперешней эпохи: лирическая лампа, парок над чашкой чая. Кропотливое душевное рукоделие. Выпиливание по сердцу.

«Ну, пускай,— думает Галина.— Иначе они не могут».

А сама она... У нее большая программа жизни, в которой любовь — один только клинышек, лимитроф между основными странами. У детей одно деление, у родителей другое.

«Ох, эти родители,— думает Галина.— Какие это по существу дети».

1929

ЧУВСТВО ЛОКТЯ

Арбат не только часть, но еще и геологический разрез города во времени. Разрез, где отчетливо видны напластования быта и чередование поколений. Там, в арбатских переулках, луковые головки церквей вздыхают, бормочут, шепчут, никнут, теряют лист за листом золотые свои луковые оболочки.

Зимой в переулках снег сахарными подушками заваливает особнячки. А рядом, за углом, тот же снег укатан до лоска пневматическими шинами. Там нет подушек, там некому и некогда спать. Там все в движении. И новый универмаг, широко прорезанный окнами, отбрасывает тень, похожую на тень поезда.

Осенью косые дожди секут чахлые особнячки и особенно один из них. Секут за то, что туп, за то, что крив, что не ушел вовремя. Одним своим боком он навалился на липу, гигантскую кривую старуху, в шишках, морщинах и буграх: не липу, целую Олимпиаду. А некогда была эта Олимпиада тоненькой Липочкой. И чуть ли не влюблен был в нее узкоплечий московский юноша, Леля Абазов. Чуть ли не ходил к ней на свидание, подобно тургеневскому герою. И, уж во всяком случае, прижимался к ее стволу едва опушенной щекой, закрыв глаза и не дыша, покуда сыроватый весенний ветер шевелил ему волосы.

И сейчас еще старый Абазов вспоминает об этом. Воспоминанья. Убыль и ущерб. Замедленное движение крови. Жизненный перевал, горный хребет, за которым расстилается зыбучая старость.

Кабинет Абазова, с его темной мебелью, с Луи Пастером в пыльной раме, пропитан табаком, старческой бессонницей, йодом, карболкой и запахом больных животных. Отдельно и очень остро пахнут цыплята, выведенные на нижней полке книжного шкафа. Стекло опущено, об него тоненько стучат клювы. За стеклом желтые шарики неопытно карабкаются друг на друга, потому что им холодно без матери.

У окна, в мутноватом аквариуме дремлют рыбы.

В половине третьего ассистент Абазова, студент-зоотехник Беленький готовит к приему пинцеты, зонды, щипцы и ножницы. Абазов надевает прожженный йодом халат.

Беленький сегодня мрачен, туманен, дождлив. Тучи идут из Зоопарка. В Зоопарке, не снеся медвежьего климата, заболел чахоткой жираф, слабогрудый субтропический зверь. Его длинная шея увядает, и кашель идет по ней, как по трубе. А еще весной шея была гибка, упруга и так высоко вздымала в зелень маленькую пеструю голову, что один ребенок, глядя вверх, сказал: «Какая милая птичка!»

Хорошо бы, очень хорошо привести в Зоопарк старого Абазова, чья книга о легочных заболеваниях у животных переведена на все языки и известна всюду, где только копыто и лапа ступают по земле. Привести бы его в Зоопарк, поставить перед больными и сказать: «Лечи зверя».

Но Абазов не пойдет. Нет. Он стар, брюзглив, тяжел, чудаковат. Он не любит своего времени. Не любит ни телефона, ни радио, ни автомобиля, ни кино. Слыша гудение пропеллера, он разглядывает свои башмаки.

У него своя теория о климатах эпох, о ледниковом периоде, который, по его мнению, принесли с собой машины. Ему думается, что гораздо теплее было то время, когда человек в звериной шкуре рыскал по не открытым еще меридианам и дрался каменным топо-

ром. Когда курица вила еще гнездо, а лошадь в виде маленького бородатого пони росла на свободе.

Абазов предполагает, что когда-нибудь мир замрет оледенелым поршнем в облаке пара. Чьи-то мелкие сердца будут еще трепыхаться у экватора, но железо и лед сомкнутся над ними.

Нет, он не пойдет лечить жирафа, все равно обреченного на гибель.

В три часа начинается прием. Подбор пациентов знаменателен. Пойнтер, седой, чьи больные сумчатые веки тяжело наползают на глаза. Дог, от старческой жадности сглотнувший похожий на мальтийский крест нож мясорубки, обвитый говяжьими жилами. Низкорослая такса, разбившая себе грудь о ступеньку. Кошка в чесотке. Пудель, недоглядевший автомобиля.

Абазов кончает прием. Беленький окунается в трамвай и уезжает в другую жизнь.

Ночью холодает. Черный ледок стягивает лужи. Глубоко вверху прозрачное небо омывает облака. Абазов не спит, курит, вынимает из шкафа и ставит на ладонь цыпленка... Затем в пальто и стариковских калошах выходит на ночную прогулку. Сейчас ему бы нужен друг, милый человек, единомышленник, сверстник, чтобы сказать: «А помнишь?» Тяжело помнить одному.

В конце переулка, там, где он впадает в Арбат, извозчик — тоже старик и тоже не спит.

— А помнишь,— спрашивает его Абазов,— здесь был сначала пожар, потом просто пустырь, а теперь вот строят чего-то.

— Овес теперь не прежний,— отвечает извозчик.— Тут не настроишься.

Потом они оба с неприязнью глядят на автомобиль, идущий на них издалека. Навстречу фарам вспыхивают зелено-красные мерцанья: глаза встречных лошадей.

— В старину,— говорит Абазов,— лечение животных было в руках пастухов. Но уже у древних греков были так называемые «гиппиатры», лошадиные лекари, от слова *huppos*— лошадь и *iatros*— врач. Ну, прощай. Не спится мне. Бессонница. Зябну я все. Раньше теплее было...

Бывает так: половина неба сумрачна, громадные тени бегут по земле. А рядом теплота, ясность, закатное солнце в тучах. И радуга соединяет эти два мира.

Таков сегодня Беленький. Жираф погиб, и Беленькому грустно. Но ему радостно, что жираф погиб не совсем.

После жарких споров три вуза поделили между собой мертвое животное. Шкуру получил университет, кости — академия, институту достался желудок. Университет набил чучело для своего музея. Академия собрала скелет для своего музея. Институт заформалинил желудок и, сняв с него картонные копии, разослал по провинциальным городам. И провинциальные техникумы обогатились копиями редкостного препарата. Ничто не пропало. Мертвый жираф пошел по стране, как живой, на потребу живым. А дальше три вуза, каждый тайком от другого, сделали заявку на старого тигра, не желая ему смерти, но от великой научной жадности.

Двигатель внутреннего сгорания — эгоист: так полагает Абазов. Он сгорает внутри себя и для себя. Кожа, металл, стекло, слюда, части машины — все это холодно. Автомобиль холоден. Он горячится в пространстве, но туловище его, если тронуть рукой, не потно и не жарко.

Таков он всегда, и Абазов не любит его за это.

На пустыре, где раньше был пожар, на голой точке материка, выросла ремонтная мастерская. Металлические звучания пошли оттуда, шипение паяльных ламп и жужжание сверл.

После приема, вечером, как обычно, Абазов идет на прогулку, осторожно обходя хрупкие лужицы. У ворот ремонтной мастерской он становится свидетелем того, как полугрузовик приводит на буксире легковую машину с развороченной грудью. И Абазов удивлен, до какой степени поломка похожа на рану.

— Вели и довели,— раздается рядом чей-то голос.— Вел, говорю, паразит, и довел.

Обернувшись, Абазов видит, что сторонний человек, такой же прохожий, как и он, глядит на разбитую легковую и качает головой.

— Почему же непременно паразит? — спрашивает Абазов. — Он и не виноват, возможно.

— Невозможно, гражданин. Невиноватых не бывает. Мы знаем по опыту, что недоглядка есть преступная утечка внимания. Как?

— Нет, ничего, — говорит Абазов. — Я молчу. Просто удивляюсь горячности вашей по такому поводу.

— Мал, по-вашему? Плохо, я вижу, вы констатируете.

И человек идет дальше, но Абазов не остается один и идет вслед за ним, шагая по скользким местам, без страха упасть.

— Так вы утверждаете... — говорит Абазов, беря человека да локоть. — Вы утверждаете...

— Оторвались и застыли, — отвечает человек. — Утверждаю. Машину назвать поводом, гражданин, это надо уметь. Она, как вол, трудится, чтобы мы дышали. Чтобы наши дети имели стройные кости. Ее беречь надо. Как? Ну, ладно. Мне сюда.

Абазов возвращается один той же дорогой. Он разошелся, раздышался. Обычно холодные пальцы левой руки смягчились до теплоты. Идя, он снова думает о том, какой вид имела легковая на буксире. Она только что не кровоточила. Размозженный покров обнаружил какие-то дыхательные пути. Горловину, плевры, поврежденную трубку в том месте, где у человека щитовидная железа.

Легковую исследовали при свете лампы на шнуре. И движения механика над раной были по существу движениями врача.

Врач по-гречески — *iatros*.

ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ

Далеко не всем известно, что за подписью «Антон Холодный» скрывалось очень юное и теплое существо женского рода. И что столь суровый и мужественный псевдоним был выбран из тех же соображений, из каких малоомощный еж снабжается иглами. Первым серьезным заданием Антону Холодному от редакции была беседа с Ковровым.

— Я принципиально против старости,— сказал Антону секретарь редакции,— но Ковров редкий, стопроцентный старик. Честное слово, я отдал бы свои двадцать семь лет за его семьдесят два года, хотя он, чудак, и не любит обществу и на прошлой неделе чуть не убил фотографа из «Наших достижений». Поэтому мы и посылаем вас,— честно добавил секретарь.— Мы надеемся, что вас он не тронет.

Дом, где жил Ковров, встретил Антона просторным легким фасадом. Осеннее солнце, умытое ветром, касалось широкой, как палуба, крыши. Антон, припомнив, что не так давно здесь находился грибовидный одноэтажник, с удовольствием вошел в лифт.

«Если я начну чего-нибудь не понимать,— думал Антон в лифте,— то я уроню карандаш, подыму его и в это время буду думать». (Антону очень важно было написать хорошо.)

Комната выходила на юг. Здесь, на десятом этаже, был свет и простор. Книги шли вдоль стен, у окна стоял рояль, и на нем, в стеклянной банке, кленовые листья: желтые и красные. Внутренняя дверь приоткрылась, и в щель глянул колючий глаз.

«Рассматривает,— подумал Антон, вбирая под кресло ноги, чтобы не торчали на виду.— Сейчас выгонит».

Дверь раскрылась, и пронзительный, быстрый старик вошел в комнату.

— Мне поручено, профессор,— сказал Антон, держа карандаш на весу,— узнать ваше мнение, вернее, суждение... нет, все-таки мнение («Ох, ох»,— подумал Антон) о последнем времени длиною в пять лет. («Ужасно»,— подумал Антон и взял себя в руки.) Нас интересует ваша оценка истекшей пятилетки,— закончил он уже более уверенно и наострил ухо.

— Снимите шляпу,— ответил Ковров,— поставьте удобнее ноги и держите крепче карандаш: вы его сейчас уроните. Пишите: «Несколько мыслей по поводу обороноспособности нервной системы человека».

«Обороноспособность» — вот так слово: одних «о» семь штук»,— подумал Антон. Но это была его последняя посторонняя мысль.

Ковров подошел к стеклянной банке, выбрал оттуда кленовый лист и поднял его против света, как ладонь. Лист наполнился розовой кровью, просветился плетением волокон. Ветвась и утончаясь, они становились невидимы для глаз, подобно звукам, которых мы уже не слышим.

— Правда, тонко? — спросил Ковров.— И как нежно! Но это корабельные канаты по сравнению с нервной системой человека. Итак, вернемся в двадцать восьмой год, когда пятилетка только начиналась. Каково было мое отношение к ней? Я должен сказать — враждебное.

Я не политик, не экономист, короче, я никакой не социолог. Наконец, я не техник. Я врач. Мне приходится иметь дело не с тракторами и моторами, а с живыми людьми. У себя в институте я видел десятки нервных систем, которые выглядели вот так (он сжал руку, потом разжал ее, и лист упал на пол грустным комком). Пятилетку я рассматривал как новую и непосильную

нагрузку нервной системы. Повторяю, я врач. Мне важно, чтобы человечество пришло к социализму отнюдь не усталым, — иначе зачем пускаться в путь?

Вам, вероятно, кажется, что усталость — это всего только желание лечь и закрыть глаза. Но это не так просто. Молочная кислота, вырабатываемая организмом при физической усталости, и кислый фосфорнокислый калий — при усталости нервной, суть продукты распада. Это — яды. Усталый человек отравлен. Для меня пятилетка была борьбой внешних условий и молочной кислоты. Так я ее и рассматривал.

В двадцать девятом году я изобрел небольшой прибор... как бы вам объяснить... барометр нервного давления, отмечающий степень усталости, накапливаемой человеком в течение недели. Каждое движение человеческого организма отмечалось соответственным движением стрелки, неумолимой и неподкупной. Прибор имел форму плоских часов и, как часы, надевался на руку.

Объектом для опыта я взял соработника, жителя Москвы, человека со средним умом, достатком и выносливостью, — одним словом, вполне среднее существо. Надев ему на руку прибор, я попросил носить его, не снимая, и, главное, не пытаться исследовать его устройство.

Но человеку было не до приборов: он был всецело занят своими квартирными неурядицами.

— За одной стеной у меня новорожденный младенец, — говорил он, — за другой — умирающий старик, а между ними я со своими отчетами. Кооперативный же дом, в котором я записан, застыл из-за отсутствия строительных материалов.

Пока он говорил это, стрелка прибора, реагируя на гнев, дрогнула и поползла вверх.

Я исследовал человека каждую неделю. Я устанавливал степени раздражения и степени усталости, которые, по мере накопления, превращались в утомление. Все, из чего состояла жизнь, все ее трудности и заминки, все это оседало в моих графиках красноречивыми кривыми.

Каждую неделю я производил записи, никогда не забывая предостеречь больного от желания исследовать

прибор. Но больной был по-прежнему обидно равнодушен ко всему, что не касалось его дел.

— В стенгазете меня изобразили верхом на раке, — мрачно сообщил он.

Однажды я отметил необычайно благополучный уровень «стрелки раздражения» и спросил больного, чем порадовала его эта неделя. Оказалось, что кооперативный дом сдвинулся с мертвой точки. Да как!

— Представьте себе, профессор, — части свезли готовыми и соединили уже на месте. Это чрезвычайно интересно. Через два месяца я позову вас на новоселье.

Это было началом перелома, который, конечно, подготавливался уже давно, как весна, пока не воплотился в конкретный факт, как это бывает с весной в тот день, когда мы сбрасываем шубу.

Мой больной начал лучше питаться, лучше одеваться и больше спать. Это не показательно, скажете вы. Нет, вы не правы. На единице я проверяю законы масс. Дом, собранный скоростным способом, воплощал в себе тысячи таких же домов по всей стране. Белый хлеб означал рост колхозов.

Жизнь налаживалась. И мой больной... Да, впрочем, был ли он действительно болен? Он выздоравливал с каждым днем. Он научился по-новому пользоваться отдыхом. Он лучше отдыхал и больше читал.

— Что вы скажете о «Войне и мире»? — восторженно спросил он меня. — Я перечел недавно. Как написано! Особенно то место, где зеленеет дуб. Очень интересно подмечено.

Я был приглашен к нему на новоселье.

— Будет несколько товарищей, — сказал он мне. — Мы поговорим о ближайшей пятилетке. Интереснейшие перспективы. К восьми часам, профессор.

Умышленно я пришел несколько раньше. Я прошел по коридорам нового дома. Это было общежитие с прекрасной общей столовой и кухней. На пороге комнаты моего пациента я помедлил. Он не заметил меня, и я с минуту рассматривал его и его жилье, чистое, тихое и свежее.

Он сидел у стола, свет лампы падал на его руку, на ворсинки рукава, на часть щеки. Я отметил высокое

качество сукна, точность движений, спокойное дыхание, блеск глазного яблока и здоровый цвет губы, прикушенной белыми зубами. Губа была прикушена от внимания и интереса.

Прищурив глаз, он разбирал что-то под лампой. Он действовал иглой, щипчиками и ножом. Я кашлянул: он обернулся.

— Это вы, профессор? — сказал он с плутовской улыбкой. — А я и не слышал. Я вот, знаете, ваш приборчик исследую. Интересно он устроен. Только, простите, пружинку я тут одну скovyрнул, а обратно не умею. Необычайно интересно. Вы не сердитесь?

Но я не сердился. Пациент мой был здоров. Он интересовался всем. Он шел по жизни с крепкими нервами. У него появилось жадное любопытство к большим и малым явлениям. Он мне сломал прибор. И это был, пожалуй, единственный случай, когда поломка изобретения порадовала изобретателя.

Вы спрашиваете, что я сделал с прибором? Я пожертвовал его в музей «Наших достижений», как трофей победы нашей стройки над молочной кислотой и кислым фосфорнокислым калием. Это враги серьезные. Все понятно? — спросил Ковров. — Все записали?

— Нет, — ответил Антон Холодный, блестя глазами. — Я слушала.

РОМАНТИКА

I

Евгения Барт, журналистка, лежала на верхней полке старомодного вагона, принадлежавшего к той наивной эпохе, когда не знали разбивки на купе. Некогда он был блестящим молодым вагоном. Его диваны были упруги. Он несся по магистралям, освещаемый толстыми свечами. Теперь же он небыстро двигался по Казанской дороге. Старчески чистоплотный, говорливый, простодушный, обслуживаемый, как нянькой, женщиной-проводником, он развозил инженерно-технических работников по стройкам и заводам.

Евгения лежала тихо. Порой она произносила вслух: «Но в чем же дело?» Или: «Ай-яй-яй!» Или: «А теперь покурим».

Старый инженер, сидящий внизу, взглянул на нее. Он не любил, когда женщины курили, ездили без спутников и смеялись неизвестно чему. Женя смотрела то в окно, то вниз в вагон. За окном скоплялась ночь. В вагоне со своей верхней полки Женя видела начинавшиеся лысины, о которых там, внизу, даже не подозревали.

«Теперь семь часов. Скоро я увижу Широкова,— говорила себе Женя.— Но в чем же дело? Я еду на два

дня. Я журналистка и еду посмотреть молодой завод на Оке, где Широков — главный инженер. Мне интересно, и я еду. А теперь покурим».

Внизу в это время говорили о мостах и виадуках, о весенних водах, когда в городе наблюдается вспучиванье и всплыванье брусчатой мостовой, а за городом серебрится верба и ручьи отражают бурно летящее небо. Говорили о ледоходах и ледоставах, об этих важнейших моментах в жизни мостов. О профчванстве одного знаменитого водолаза, который, презирая все профессии земли, одних только летчиков считал, пожалуй, достойными водолазовой дружбы.

— Интеллигент, — сказал о нем молодой электрик.

Но старый инженер вступился за водолаза:

— Нет, молодые люди, водолаз Бричкин не интеллигент, в том смысле, как вы это понимаете. Он — романтик. Ах, вы улыбаетесь? Мне вас жаль. Окружить любимое дело пьедесталом, поднять его на ореол...

— Наоборот, — подсказали ему.

— Не важно. Не в этом дело. Суть в том, что вы не умеете гореть и волноваться, как горели и волновались мы, работая каждый за свой страх и риск. Как горел и волновался я сам, строя первый мост на реке Дымке.

Женя, лежащая наверху, тотчас же представила себе инженера юным тореадором, идущим на бой с быком (моста). У нее было быстрое, газетное воображение.

— Таковы мы были и в работе, и в личной жизни, — продолжал инженер, строго взглянув на Женю. — В любви мы были рыцари. Помню, в Персии я на смерть загнал коня, лишь для того, чтоб поднести букет.

— Коня загнали? — заговорили вокруг. — Да за это на черную доску.

Но инженер не внимал ничему. Во весь опор он несся на персидском коне в страну воспоминаний. Он вспоминал о тихих провинциях, накрытых снежной скатертью зимы с ярко начищенным солнцем на горизонте. Какие нежноглазые, теплокожие женщины ждали там строителей мостов! Раньше женская прелесть была лю-

бима, а теперь гибнет без вниманья. Раньше были инженеры, а теперь ИТР — Исчезла — Теперь — Романтика. А теперь, из здесь сидящих лиц, кто в состоянии оценить длину ресниц? Лебязью теплоту медовых кос и цвет лица, как цвет и запах роз?

В эту минуту женщина-проводник, оплетенная ремнями, пересекла вагон из конца в конец с фонарем в руках.

«Старик прав,— подумала Женя,— в том смысле, что наша эпоха не есть эпоха смеющихся ямочек. Нам нужен зоркий глаз, но какого он оттенка — кто думает об этом? А итеэры! О, я хорошо знаю это воинственное кочевое племя. Не станет итеэр обращать вниманье на длину ресниц. Не станет он распинаться и мурлыкать. Итеэр бывает груб и даже небрит. Он не скажет женщине: «Моя голубка» или: «Моя золотая». Он назовет ее как-нибудь иначе, иногда очень странно». И она вспомнила одно из немногих писем Широкова. «Здравствуйте, моя Буллард,— писал Широков.— Завод и я — мы ждем вас. Приезжайте».

Желая узнать, что означает незнакомое звучное слово, Женя справилась об этом у одного старого приятеля, тоже итеэра, и тот сообщил ей, что «Буллард» — громадный шестишпindelный карусельный полуавтомат, самый золотой в смысле валюты.

2

С опозданием на час сорок минут Женя выпрыгнула из вагона на сырую и низкую землю. Поезд тотчас же ушел дальше наверстывать километры.

Станция стояла одна. Заводской поселок был далеко. Безлюдная негородская ночь с лаем собак, падением капель и редкими огнями обступила Женю, чье сердце билось много сильнее, чем это принято у журналистов.

Она увидела Широкова. Он шел ей навстречу в собачьей куртке и сапогах. Из-под кепки блестели его глаза. Он улыбался. Он был счастлив и не мог скрыть этого.

— Вот и вы,— сказал он.— Идемте. Лошадь ждет. А я прямо с завода и не успел побриться... Так что вы уж простите, Буллард.

Они сели в пролетку. Какой-то почти персидский конь помчал их по немощеной земле с бездонными лужами. Редкие фонари освещали путь.

— Погоняй, Никифор, погоняй! — крикнул Широков.— Покажи москвичке классную езду.

«Гнать коня, да за это на черную доску»,— засмеялась Буллард.

Она была счастлива и не могла скрыть этого.

— Сегодняшний вечер наш,— говорил Широков, кутая Женю полой своей куртки.— Вам не холодно? А завтра я покажу вам кузню, которую мы строим. Сто двадцать метров длины и сорок пять ширины. Это большая кузня. Вам не жарко? Только вот рабочую столовую никак не наладим. Это мое горе. Между прочим, какие у вас глаза, Буллард? Я знал, но забыл.

— Грубо-ориентировочно карие, но это не важно. Не глаза сейчас решают...

В эту минуту правое крыло пролетки взлетело кверху, как крыло аэроплана, а левое врылось в воду.

— Ай-яй-яй! Но в чем же дело? — спросила Буллард.

— Тяж лопнул. Вот вам и «ай-яй»,— ответил Широков.

Дальше поехали совсем тихо. Широков препирался с Никифором, заводским кучером:

— Видеть я тебя больше не могу. Москвичку чуть не изувечил. Кучер должен знать дорогу, как свой сапог. А ты?

— Да я, Петр Ефимович, знаю ее днем. А ночью она...

— Молчи. Кто за тебя заступался, когда ты смертным поем пил? Я заступался. А ты?

— Я вам, Петр Ефимович, этот тяж заглажу. Я вам другим услужу. Уж я знаю.

— Тяж лопнул. Ох-хо-хо! Нелегко будет загладить такое тяж-кое дело,— сказала Буллард.

— А вот я заглажу,— сказал Никифор.

Женя с Широковым поднялись на второй этаж. Стандартный сосновый дом, где обитали итеэры, был

недавно отстроен. Согретый сном, он пахнул теплой хвоей.

Приехавших встретил застенчивый Васюнин, помощник Широкова. Весь вечер Васюнин нянчился с самоваром, пробуя, есть ли жар, не простыл ли? И благодарный самовар бубнил что-то ласковое на своем родном языке.

Суровая мужественная чистота царила в квартире главинжа и его помощника. Над диваном висел план завода, белый на голубом. Будущая кухня вставала там в готовом виде. Рабочая столовая радовала сердце. Рабочие шли туда весело, чисто обтирали ноги у входа, и ни одно бранное слово не висело в хорошо проветренном воздухе.

Все было гладко на кальке.

— Какая тишина! — сказала Буллард, осмотрев квартиру. — Никто не придет, не позвонит. А у нас, в Москве, в это время...

В это время в передней стукнула дверь, и Васюнин пошел узнать, в чем дело. Оставшись наедине с Буллард, Широков совершил явно неитеэровский поступок: он взял одну из буллардовских рук и прижал ее к своей небритой щеке.

— Ну, завтра придешь, — говорил в передней Васюнин. — Сейчас Петр Ефимович занят. Отдыхает. Гости у него. Ты ведь знаешь.

— Объясняю вам, Сергей Сергеевич, — загудел знакомый голос Никифора, — завтра поздно будет. Завтра она уезжать собирается. Не хочет она. Понимаете, не желает. Но я могу ее уговорить. Она мне обязана, я ей кум.

— Тсс, тише! — сказал Васюнин.

— Я — тихо. Сейчас она спит, дремлет, кто ее знает. Нажать на нее, сонная — она и согласится.

— Тсс! — еще раз сказал Васюнин, и по голосу слышно было, что он оглянулся на дверь.

— Первая красавица в районе, — зашипел Никифор. — А район у нас, сами знаете, какой громадный. Глаза — выразить вам не могу. До сердца доходят. Плечи — во!

Очевидно, Никифор показал — какие плечи, потому что с вешалки что-то упало. Женя взглянула на

Широкова. Он сощурил глаза, и ноздри его дрожали. Забывшись, он держал в руке Женину руку, но внезапно положил ее на стол и кинулся в переднюю.

— Грудь — во! — уже полным голосом заговорил Никифор. — Вес — сто кило кладите. Уж я ихний вкус знаю.

— Это ты, Петр? — сказал Васюнин. — А я хотел... Но Широков не слушал его.

— Веди сейчас же, Никифор. Стой! Я побриться должен. Она еще подумает, что я грубиян. Где наше мыло, Сережа? Стой! Достань сначала конфеты. Как звать ее, Никифор?

— Коврова Степанида, — сладко пропел Никифор.

— А по отчеству?

— Егоровна, — проворковал Никифор.

3

«Спокойствие, полное спокойствие, — твердила себе Буллард. — Ничего страшного не случилось. Простая неувязка. Ихний вкус — сто кило, а я вешу сорок девять. Кто мог предвидеть это? Завтра я уеду в Москву и послезавтра забуду об этом».

Но, подумав о том, как трудно ей было выкроить эти два дня, этих два коротких драгоценных вечера, Буллард поняла, что скоро это не забудется. И чтоб не слышать, как за стеной голос Широкова говорил: «Здравствуйте, голубка моя, золотая моя Степанида Егоровна!» — Буллард укрылась радионаушниками. «Враги, давно ли жажда крови нас друг от друга отвела?» — запел из Москвы смятенный Ленский.

Так прошло время.

Широков вошел в комнату как победитель.

— Какая баба! — воскликнул он, залпом выпивая остывший чай. — Я о такой бабе полгода мечтал. Год я о ней мечтал. Какие плечи! Какая...

Буллард, вся бледная, привстала ему навстречу.

— Вы разложились, гражданин итеэр, — сказала она.

— Ох, — сказал Широков.

— Вы разложились на свои составные части: на цинизм, разврат и холодное презрение к людям. Где моя шуба?

— Ох,— сказал Широков и стиснул зубы.

Буллард умолкла. Сердце у нее холодело.

Широков походил по комнате, потом остановился, глядя на план.

— Вообразите себе,— начал он,— сезонника, который пришел в рабочую столовую. Он находит там грязный пол, липкую клеенку, жирный воздух. Бывает это? Сколько угодно. Неопрятная подавальщица подает ему жидкие щи. К довершению всего, Буллард, в кухонном окошечке он, сезонник, видит кухарку. И тогда, Буллард, сезоннику становится ясно, что это она, слабосильная, мокроносовая баба, развела здесь эту тоску, заразу и нечисть. И вот сезоннику с его неустойчивой душой мерещится уже какой-то румяный закут у печки. И работа его на площадке слабеет, а площадка, заметьте, нелегкая. И тогда главинж, который все должен видеть, берет себе на заметку эту прохладную работу. И, идя с сезонником по всем его дневным путям, доходит и до кухарки. Доходит до искусной, веселой, широкоплечей, опрятной женщины. Он ищет эту женщину, эту кухарку, эту полезную красоту, и он находит ее, моя дорогая, моя золотая Буллард. Он находит ее.

Буллард смотрела на Широкова, и сердце ее стремительно теплело. Широков улыбался. Его глаза блестя. Он был страшно счастлив и не мог скрыть этого.

МОЙ ДРУГ ДАВИД

Среди немалочисленных моих друзей одно из видных мест занимает мой друг Давид. Мне думается, о нем стоит написать.

Это отличный человек.

Мы познакомились с ним два года тому назад, когда он был еще очень, очень молод. Уже тогда намечался его характер. Придя ко мне в гости, он упал, бегая вокруг стола.

— Почему в этом доме не смотрят за детьми! — возмущенно закричал он и долго не мог успокоиться. Прошло много времени, пока мы разговорились.

— Меня зовут Давид, — сказал он.

— Я это знаю, — ответила я.

— Но ты не знаешь, какой я Давид. Ты думаешь, я какой Давид?

— Думаю, что обыкновенный.

— Нет, я по имени французского художника. Его фамилия — это мое имя. Я и рисовать умею. Я рисую и потом пишу на это стихи.

И он прочел мне четверостишие, сочиненное им накануне:

Все собаки маленькие
Надевают валенки,
А большие собаки
Надевают сапоги.

Однажды провинившийся Давид был заперт матерью в темную ванную комнату. Сидя там, он громко разговаривал сам с собой.

— Это ничего, что здесь темно,— говорил он.— Ночью тоже темно, однако никто не боится.

Он был совершенно спокоен, и мне даже показалось, что наказание не дошло до него. Но будучи выпущен из ванной, он кинулся к своим кубикам и поспешно начал возводить причудливое сооружение.

— Что ты строишь, Давид? — спросили мы.

— Я строю,— ответил он, глядя нам прямо в глаза,— такой дом, где бы не было ни одного темного угла.

В другой раз Давид рассказал мне об этом жилище их дома, *сконфуженном* на войне.

— Он получил *конфузию* от одной пули,— пояснил Давид.— Жилец услышал, как она летит, и спрятался за своего товарища. Он был трус, этот жилец. Но пуля никого не тронула и полетела дальше. А жилец остался на всю жизнь ночным сторожем, потому что днем ему было стыдно.

Меня всегда восхищает в Давиде умение общаться с окружающим его миром. Мне вспоминается ответ, так часто даваемый нам в дни нашего детства. «Так это устроено»,— отвечали взрослые на важнейшие наши вопросы. И мы, дети, смирялись, вздыхая. Дальше спрашивать было нечего. Дальше был великий ледяной барьер, о который мы, маленькие кораблики, стучались носами: «Так это устроено».

Давид не таков. Подобное «устройство» не устраивает его. Ему подавай объяснение. Необъяснимых явлений для него не существует. У него самого всегда имеется под рукой «рабочая гипотеза». Он должен осмысливать виденное, иначе он не может.

Как-то раз он оказался свидетелем одного странного факта: ярости и бешенства двух собак при виде фотоштатива. Собаки — злая умная такса и добрый глупый бульдог — вели себя в таких случаях всегда одинаково. Их шерсть становилась щеткой вдоль спинного хребта, глаза наливались зеленью. Клокоча от злости, они кидались на длинные ноги штатива. Это было непонятно.

Но Давид, увидав это, улыбнулся. Он сказал:

— Они лают потому, что не понимают. Сами они на четырех ногах, люди — на двух. А он на трех. И они не знают, кто это такой.

У Давида отличное художественное чутье. Он не терпит никаких сладостей, чрезмерностей, преувеличений, никакой фальши. Однажды, засыпая, он слушал мой рассказ.

— Взошло солнце, — рассказывала я. — Оно было ярко-желтое и пахло горячим лимоном.

Давид приоткрыл сонный глаз.

— Ты всегда все вынюхиваешь, — брезгливо сказал он. — Как тебе не надоест.

В другой раз я описывала ему старинную Москву, сплошь деревянную, без трамваев, тротуаров, автомобилей и телефонов. Давид слушал затаив дыхание.

— Когда это было? — спросил он меня наконец.

— Давно. Тебя еще на свете не было. И меня тоже.

— Ну как давно? Когда бабушка была обезьяной или еще раньше? — спросил Давид.

И я не улыбнулась, зная, что он не любит беспричинных улыбок.

Но любопытнее всего оказалось наше с ним путешествие на необитаемый остров. Оно произошло в снежные сумерки в тихой комнате. Снег падал за окном. Горела настольная лампа. Тикали часы.

— Я уберу этот *гудильник*, — сказал Давид. — Он нам будет мешать.

Мы сели в кресло. Это был моторный бот под названием «Дельфин». «Дельфин» поплыл по бурному морю. Нас уносило бурей в неведомые страны. Ночная туфля у кровати превратилась в шляпку на горизонте. Она тоже попала в шторм. Внезапно перед нами вырос черный айсберг, зловеще отражающий наши сигнальные огни. Мы не столкнулись с ним чудом. Это был роуль. Понемногу море утихло. Мы вошли в небольшую бухту, темно-красную от водорослей. Это был ковер. Внезапно подлинный, неигрушечный сон сморил меня. Я стала засыпать в этой тихой комнате.

— А как же обратно? — с отчаянием воскликнул Давид. — Проснись, ведь нам же надо вернуться.

И он сильно потряс меня за плечо.

— В мое время, — сказала я, с трудом отгоняя дремоту, — в мое время мальчики были много вежливее.

Но тут Давид рассердился. Я впервые увидела его в гневе. Он покраснел, он вскочил на ноги.

— Твое время... твоё время! — закричал он. — Время мое, понимаешь. Оно мое.

И снова (в который раз) он оказался прав.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НОР-БИБИ

I

Нор-биби спит в своей колыбельке, а мать поет над ней:

Спи, моя сладость!
Когда ты будешь большая,
Будут у тебя две швейных машины.
Ручная и ножная,
Моя дочка.

Сладость, ты спишь?
Будут блестеть твои косы,
Синий кишмиш
Будешь ты есть с подноса,
Моя дочка.

Жирной шурпой¹
Будешь кормить своих крошек,—
Не то что я, у которой
Не хватает лепешек,
Моя дочка.

И сытые дети твои
Пусть, как ягнята, играют.
И не будут они умирать,
Как они у меня умирают,
Моя дочка.

¹ Ш у р п а — похлебка (узбек.).

Отец Нор-биби торгует на самаркандском базаре маленькими выдолбленными тыквами. Заткнутые кисточками из конского волоса, они служат табакеркой, — в них держат растертый в порошок жевательный табак.

Когда тыква еще совсем мала и мягка, ее оплетают шнурком, придавая ей таким образом желаемую форму.

— Так и мы, люди, — любит повторять отец Нор-биби. — Нужда крепко оплетает нас и делает с нами что ей угодно.

Постепенно Нор-биби вырастает. Она растет. Ей восемь лет, она уже почти невеста. Она не умеет читать, она ничего не видела в жизни: один только раз была с отцом на тубетеечном базаре. Она живет со своей семьей в четырех километрах от Самарканда, недалеко от мечети Ходжа-Ахрар, куда ей вход навеки запрещен.

Мечеть внутри прекрасна. Кельи медресе выходят на квадратный чистый и тихий двор. Там живут будущие имамы, прохладные святые юноши. Самый двор удивителен тем, что слово, сказанное тихим голосом в одном его конце, несется, как на крыльях, в другой конец и влетает в ухо слушателя. Это сделано умышленно: мудрые строители позаботились о том, чтобы мулла, святой человек, не утруждая драгоценного горла, проповедовал мудрость аллаха.

Нор-биби десять лет. Она обучается всем женским искусствам и ремеслам: мелко плести волосы, быть безропотной, красить брови, тереть лук для оладий, нянчить ребят и помогать матери выкармливать шелковичных червей.

Весной, едва только тутовый лист начинает шевелиться в своей почке, мать делает то, что делали ее мать и мать ее матери: надевает на голое тело мешочек с греной, чтобы теплотой вызвать к жизни эти мельчайшие яички шелковичного червя. Она носит мешочек под мышкой, она внимательно разглядывает маковые зернышки грены: если они посветлели, значит, скоро появятся червячки.

Матери так нужны эти «шелковые» деньги! Сколько надежд на урожай коконов в этом нищенском хозяйстве. Правда, коконы принесут гроши. Скупщик купит их за бесценок и переправит за границу, откуда они

снова, уже под иностранной маркой, вернуться в Россию в виде шелка-сырца. Но все это еще далеко впереди. Главная забота матери и отца — это соблюсти все старинные обычаи, обещающие удачу.

Отец берет щепотку грены и выходит в базарный день на клеверное поле. Он сыплет грену на землю, чтобы коконов было столько же, сколько народу на базаре и клеверу в поле.

Черви растут. Они четырежды засыпают, и каждый раз сон их длится сутки. В это время они сбрасывают шкурку, становясь все больше и больше. В последний период своей жизни они увеличиваются в десять тысяч раз против первоначальной величины.

Лежа на особых этажерках — сукчаках, они занимают всю комнату. Семья живет уже во дворе, в летнем помещении под навесом, вблизи дворового очага. Здесь, при свете солнца и звезд, нищета становится еще более явственной: грязная вата лезет из рваных одеял, медные кувшины закопчены и смяты, глиняные корчаги надтреснуты.

Мать с тревогой следит за будущим шелком. Но грена, ожившая во влажной духоте немытого и потливого от истощения тела, дает слабых и болезненных червей.

— Горе, горе! — вздыхает мать при каждой линьке. — Они опять засыпают и просыпаются не сразу. Какой пестрый выводок, слезы мои! Среди коконов будет много «кара-пачах» и «ак-пачах» — пятнистых и мятых — и много двойняшек, которых нельзя размотать.

Но все это мало касается Нор-биби. Ее дело — собирать тутовый лист. Она взбирается на дерево и, ухватив ветку за тонкий ее край, другой рукой обрывает с нее листья и кладет их в плетенку из гибких ветвей тала. Когда руки устают, она просто сидит на дереве, как птица, и наблюдает за другой птицей — аистом, живущим на соседнем древнем карагаче. Она следит за этой птичьей семьей и находит в ней много общего со своей собственной. Там тоже много детей, и они всегда голодны. Мать безвыходно сидит дома. Разница только в отце: почти не было такого случая, чтобы он не при-

нес в клюве лягушку из ближнего хауза¹. И Нор-биби воображает себе своего отца, с его худым, озабоченным лицом, летящим по воздуху. Руки заняты полетом, полосатый халат развеивается, под мышкой он держит кусок баранины. С громким и радостным криком опускается он на дувал², а оттуда на землю. Мать в это время перебирает уже рис для плова... Детские сказки!

Однако время сказок проходит. Нор-биби двенадцать лет. Сидя с подругами во дворе, она красит себе брови. Набрав в черепок пиалы арычной воды, девочки разводят в ней краску. Они макают туда палочку и проводят ею по переносице, соединяя обе брови в одну. Они наклоняют голову то вправо, то влево; по щекам текут у них синие ручьи, но они не стирают их, чтобы не испортить будущей красоты. Из рук в руки они передают маленькое зеркальце, оклеенное фольгой и ракушками. Они беседуют:

— Сядь сюда, на солнце, Сара-хан, не сиди в тени — не то все потечет и ничего не выйдет.

— Дай мне зеркало, Гальхар, — я, наверное, буду самая красивая. Завтра я наново переплету свои косы.

— Я слыхала, девочки, что есть безбровые женщины с голыми глазами. Разве это не стыдно, девочки? Я не понимаю таких женщин.

— Хочешь кусок лепешки, Нор-биби? Ты так на нее смотришь...

— Дай мне зеркало, Адалат.

— Передай мне зеркало, Шарифа.

Именно такой, с голубыми щеками и куском лепешки в руках, видит Нор-биби и Мир-шахид, богатый сосед. И так как она красива, самая красивая из всех, а отец ее беден, то Мир-шахид покупает ее себе в жены.

Нор-биби впервые закрывают лицо паранджой. В первую минуту ей это нравится: она чувствует себя взрослой. Но, взглянув через сетку из конского волоса на цветущий урюк (стоит весна), она не узнает его. Серые цветы унижают ветки, они как бы слеплены из пепла и пыли. Нор-биби откидывает чачван: на одно

¹ Хауз — водоем (узбек.).

² Дувал — глинобитная ограда (узбек.).

мгновение дерево снова вспыхивает розовым пламенем, синее небо сияет над ним. Самка аиста, белая, как хлопок, с ярко-красным носом, сидит на зеленом карагаче. Но чачван опускается — и все потухает.

И вот Нор-биби замужем. Как и предсказывала ей мать, у нее две машины: ручная и ножная, и, кроме того, еще третья, поющая машина — граммофон. Но что из того, когда муж у нее стар и она не любит его? Вечное, как мир, простое женское несчастье. Что касается первой жены Мир-шахида, то она забыла время, когда ей самой было двенадцать лет. Она не прощает молодости. Кроме того, у нее еще злое сердце.

Мир-шахид ревнив. Увидав однажды, что его молодая жена, встав на цыпочки, глядит на соседний двор, он велит батракам сделать дувал повыше. Как быстро ни растет Нор-биби, дувал растет еще быстрее.

У нее проворные ноги: ей хочется бегать. Она бежит по двору за ишачонком, но первая жена кричит:

— Вижу, вижу, ты хочешь убить будущего сына своего мужа, крепкого мальчика, который должен скоро родиться! Не гляди на ворота — не то мальчик будет губастый. Не выходи под дождь — не то ребенок будет рябой. Чему только тебя учили, нищая красавица!

Мир-шахид ждет сына, но рождается дочь.

— Я знала, знала это, — вздыхает первая жена. — Я же говорила! Ты посмотришь, Мир-шахид джан, что она будет рожать тебе одних дочерей. Бывает же такое бесстыдство!

Дочка Нор-биби спит в своем бешике¹, а мать, когда никого нет, поет над ней:

Спи, моя сладость!
Вырастешь, будешь здорова,
Выйдешь ты замуж пусть за бедного,
Но молодого,

Моя дочка.
Будешь первой в сердце у мужа,
Не второй и не третьей.
Что ни родишь ему,
Он, как даяние, встретит,

Моя дочка.

¹ Б е ш и к — колыбель (узбек.).

Разве айва и гранат
В том, что не персик они — виноваты?
Дочка моя, скажи:
Чем ты хуже айвы и граната?

Время идет. Иногда бывает так, что те самые девочки, которые несколько лет тому назад вместе красили себе брови, снова собираются во дворе. Все они давно замужем, некоторые начинают стареть. Дети играют поодаль. Их тени становятся с каждой минутой длиннее, потому что близок закат. Женщины грустны; преждевременная старость протягивается перед ними длинной тенью.

Они беседуют:

— Сядь сюда, на солнце, Сара-хан. Ты такая бледная! Наверное, больна?

— Хочешь помянуть моего сыночка, Нор-биби? Ты так смотришь на него...

— Говорят, сестры мои, есть женщины, которые выходят на улицу, не покрыв лица. Не понимаю таких женщин!

— А я понимаю! — неожиданно произносит Нор-биби.

— Молчи, молчи, Нор-биби, ты всегда была непокорная. Ты смотрела через дувал. Ты иногда перечишь мужу, ты ссоришься с первой женой. Разве не правда?

Нор-биби слушает молча. Нет, это неправда. Она так же послушна, как и другие. И так же беспомощна. А соседки повторяют в страхе:

— Молчи, молчи, не ругай паранджу. Она закрывает лицо, и никто не видит, что там написано. А это очень хорошо для женщины. Вспомни, что случилось с Гульджамал.

— А что случилось с Гульджамал? — спрашивает женщина из Джизака, не знающая здешних историй.

— Ты не знаешь? Сейчас мы расскажем тебе. Гульджамал была нашей подругой. Как-то раз вечером она вошла со двора в дом. Если бы она знала, что будет, она не вошла бы. Но кто знает это? На дворе было холодно, зима, а в комнате горел сандал. Там сидел брат ее мужа. Гульджамал села греться у сандала, и лицо ее покраснело от тепла. Когда вернулся муж, она

была как вишня. А рядом сидел мужнин брат. Муж посмотрел на нее и сказал: «Выйди со мной на минутку, я покажу тебе свои покупки». Она вышла во двор, и тогда он сказал ей: «Я покажу тебе, как краснеть с моим братом!» И дал ей четыре ножа в бок. Она упала и умерла.

Женщина из Джизака молчит, и все остальные женщины молчат. Да и что скажешь?..

Время идет. Наступает 1917 год. В России жаркие события, а в мечети Ходжа-Ахрар цветет расписной потолок, и по-прежнему юноши из богатых семейств изучают Коран, и удивительный двор медресе внятно разносит голос снежнобородого муллы.

Музей по борьбе с контрреволюцией, эта вещественная летопись гражданской войны на Востоке, еще только откроется в Ташкенте через много лет. Музей еще не собран, он еще распылен. Его экспонаты еще рассеяны по краю: все эти новейшие английские винтовки и старинные кремневые ружья басмачей, патронташи, шашки, кастеты, кустарные и сработанные на фабрике в Льеже, седла, походные пиалы в кожаных футлярах, опухоли-амулеты от сглаза и пули, кинжалы с бирюзой на рукояти, кашгарские ножи, в том числе тот, которым один из знаменитых басмаческих вождей медленно, в течение часа, резал женщину от живота к горлу, пока не обнаружился пульсирующий кусок сердца. Односельчане этой женщины, лежа на земле, молили вождя басмачей о великой милости, о даровании ей смерти. Но тот не давал женщине умереть. Изувер знал, как надо резать, чтобы не зарезать сразу. И, продвигая нож от живота к горлу, он говорил неспешно:

— Та, которая обнажает свое лицо, тем самым обнажает свое сердце. Я только продолжаю твое дело, дочь моя.

— Ты ошибся, мудрый! — застонали односельчане, лежа во прахе. — Ты ошибся, великий! Это не она. Она никогда не снимала паранджи, мы клянемся тебе!

— Не она, так другая, — ответил курбаши¹. — Мне безразлично.

¹ К у р б а ш и — предводитель шайки басмачей (узбек.).

Время идет. Происходят большие и малые события. Из малых событий достойно быть отмечено частичное разрушение дувала во дворе Мир-шахида. Дувал размыло ливнем, а починить его Мир-шахид боится.

— Скажут: Мир-шахид богат,— говорит он своей первой жене.— Скажут: он, наверное, очень богат, раз он так спешит укрыть свое добро. А какое богат! Я беден, я нищ. Что такое один батрак, когда их раньше было три? Что такое одна машина, когда их раньше было три: две, которые шили, и третья, которая пела? Я не богат, граждане, можете прийти и убедиться. Я нищ.

Нор-биби исполнилось уже двадцать пять лет. Она чувствует себя пожилой матерью троих детей. Трое умерло, несмотря на то что они носили на макушке своих младенческих тюбетеек пучок перьев филина от сглаза. Но даже и это мощное средство не помогло. Дети умерли от дизентерии в одно лето, а Нор-биби так и не узнала, от чего они погибли и как нужно было их спасти.

Происходят большие и малые события. Сквозь промoину дувала Нор-биби глядит на улицу и видит каждый раз новое. Она видит первую легковую машину и грузовик, идущие на смену ишакам и верблюдам. Аэроплан, воздушный конь, прилетает из-за гор и опускается у подножья, где, по слухам, для него устроена просторная конюшня под названием аэродром.

Среди женщин попадаются уже с открытыми лицами. Благородные юноши из медресе, возвращенные в тени, шурясь, выходят из резных ворот Ходжа-Ахрар и удаляются навсегда. К груди они прижимают книги, чьи пожелтевшие страницы покрыты арабской вязью. Молодые узбеки, сидя в чайхане, читают газеты. Рядом с бывшей мечетью открывается амбулатория в небольшом белом доме. Дети идут в школу. Появляются детские сады.

Нор-биби видит все это, но сама она живет по-прежнему.

«Все это хорошо для молодых,— думает она,— а я... Куда я пойду? У меня дети. Их надо кормить. У меня нет денег».

И Нор-биби продолжает жить, как раньше. Хоть и с подмоченным дувалом. Мир-шахид еще очень силен. Он пресмыкается и трепещет где-то у самого подножья новой власти, но он живет. У него нет уже ни одного батрака, ни одного ишака, только две жены по-прежнему отданы ему в собственность.

— Я — скромнейший единоличник,— говорит он, прижимая руку к сердцу.— Разве я, бывший паук и скорпион, осмелюсь вступить в колхоз, в это собрание светлых бедняков? Разве осмелюсь взглянуть в мудрые глаза председателя колхоза, бывшего моего батрака? Нет, не просите, дорогие, не умоляйте. Я недостоин этого. Мне совестно даже сдавать по контрактации коконы. Я бы не хотел допустить, чтобы презренный червь работал на нашу дорогую Советскую власть. Пусть работают на нее одни лишь соловьи и розы, столь же прекрасные, как она сама. Что до меня, то спасибо, рахмат! Как часто я видел в чайхане ученого червевода Азимджана. Он был послан к нам в район из Самарканда для нашего просвещения и вразумления, и я очень подружился с ним. Я садился рядом с ним, мы пили кок-чай и беседовали о жизни. И так горестно, что такого человека осыпал упреками товарищ Уркабаев, замсекретаря Самаркандского горкома! И лишил его должности.

Товарищ Уркабаев приехал к нам на маленькой зеленой машине. Он сошел у кооператива и тихо подошел к чайхане. Если бы я не боялся оскорбить его, я бы даже сказал, что он спрятался за карагач, как дети, когда они невинно играют в «я здесь, а ты где?». Азимджан, как обычно, пил кок-чай. Товарищ Уркабаев тихо стоял за карагачем, наблюдая за тем, как, пригибаясь на одну сторону, согбенные заботами, идут в чайхану наши дехкане за советом. А потом, выйдя из-за дерева, он громко воскликнул: «Я здесь, а ты где? Разве твое место в чайхане?»

Жаль, жаль, что пострадал достойный человек, взамен которого послана к нам, стыдно сказать, женщина!

Она шныряет по жилищам, шаря всюду своими русскими глазами. Ах, неприятность!

В этот же день товарищ Уркабаев побывал во многих местах нашего недостойного селения, и еще многие уважаемые люди пострадали. Ах, ах, какие неприятности! Вот приходит товарищ Уркабаев в детский сад. Там вьются и резвятся счастливые советские дети. Не мои, о нет! Я недостойн. Они резвятся, они поют песню о цветах, и сами они — как цветы. Что еще им нужно? И живет с ними девушка, которую я давно знаю. Но товарищ Уркабаев и ей велел уходить с этого места. А за что, дорогие? Ах, несчастье!

Все было именно так, как рассказывал Мир-шахид.

Но послушаем также и самого товарища Уркабаева.

В выходной весенний день он со своим приятелем и двумя приезжими из Москвы едут осматривать старый город Самарканд и его великолепные древности.

Уркабаев и его приятели идут на Регистан. Они читают надпись, помещенную в нише западного портала мечети Шир-Дор и заключающую в себе автохарактеристику строителя мечети. Он говорит о себе следующее:

«Он соорудил такое медресе, что земля доведена им до зенита неба. Годами не достигнет высокой вершины его портала мощью и усердием искусных крыльев орел ума. Веками не достигнет верха запретных его минаретов искусный акробат мысли по канату фантазии. Когда архитектор точной правильности воздвиг арку портала, небеса, приняв ее за новую луну, прикусили палец от удивления».

— Полнейшее отсутствие самокритики! — вздыхает Уркабаев.

Прочтя надпись, они идут внутрь башни по кирпичной винтовой лестнице с такими большими ступенями, что от них долго будут болеть потом мышцы ног. Наконец из каменной темноты все выходят на высокий простор, полный ветра. Смягченный, но очень отчетливый, долетает сюда разноголосый хор кустарных стуков и шумов. Крупные удары кузнецов, мелкие — жестяничков, мельчайшие постукивания паяльчиков, крики ослов, верблюжьих бубенцы, бречание струны,

монотонное пение — все звучания тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого веков. Внезапно где-то сбоку рождается и все растет звук, совершенно другой формации: идет грузовик. И Уркабаев, человек второй пятилетки, улыбается с нежностью.

Москвичи жадно глядят вдаль. В горизонт со стеклянкой отчетливостью врезаны отроги Тянь-Шаня. Под минаретом до самых гор стелется по земле плоский желтый город, легко рассеченный цветущими садами. Временами из этого глиняного моря вырывается высокая голубоватая волна. Таких волн несколько: это Гурр-Эмир, Биби-Ханым, Шах-и-Зинда, далеко вдали — обсерватория Улугбека, знаменитого внука Тамерлана. А вон там, на юге, небольшое возвышение — Ходжа-Ахрар.

— Какая тишина, мир! — восторгаются москвичи. Уркабаев только вздыхает.

— Хорош мир! Ничего вы не знаете. Вот вы смотрите и видите красивое зрелище — древности и все на свете. А тут все кипит и клокочет. Вон смотрите туда... Это мечеть Ходжа-Ахрар, а вокруг кишлак. Вот я вам расскажу случай, — горестно оживляется он. — Вы только не облакачивайтесь на этот кирпич, он немножко слабый... Так вот, значит, приезжаю я туда. Мне, между прочим, передавали, что там все червеводы почему-то окривели на один бок. Почему, думаю, такая странная болезнь и почему у одних червеводов?

Подхожу я к чайхане, стою тихонько и смотрю. Да, действительно тянутся туда дехкане и действительно все кривые: держат себя правой рукой за левый локоть и прихрамывают. Язва у них под мышкой, думаю, что ли? Вот еще не хватало! Так что бы вы думали? Там инкубистом, то есть инструктором по оживлению грены в инкубатории, был у них некий Азимджан, подозрительный тип. Его послали, потому что другого не было. Ну, понятно, Узбекшелкотрест выдал ему градусники, чтобы развесить по червеводням. Там, если вы знаете, все от температуры зависит: черви холода не любят. Если ниже двадцати трех по Цельсию, сейчас перестают есть от вялости. А мы все усилия делаем, чтобы поднять червеводство. И инкубист, понятное дело, дол-

жен ежедневно два раза обойти свои точки и проверить, все ли в порядке. Так он, вместо того чтобы ходить самому, велел дехканам приходить к себе в чайхану, а градусники нести под мышками, чтобы не он, значит, ходил к температуре, а температура к нему. Азимджан этот смотрит на градусники и видит — тридцать семь по Цельсию, или не знаю, сколько там, — словом, температура тела человека. «Много, говорит, очень у вас! Жарко, делайте сквозняки». Ну, вот черви и дохнут.

Все смеются, но Уркабаев задумчив.

— Нет, это не смешно. Это очень, очень грустно. Теперь слушайте дальше. Зашел я по дороге в районный детский сад. Встречает меня заведующая, сладостная такая девица. «У нас все, говорит, прекрасно, и мы счастливы. Дети, станьте в ряд!» И выходят дети... Совсем прозрачные дети. Стали и тихонечкими головами запели по-узбекски:

Мы цветущие лилии дивного сада,
Мы питаемся солнцем и воздухом...

Вспомнив песню, Уркабаев так яростно заворочался на башне, что клубочки кирпичной пыли задымились под его локтем.

— И понимаете, все это правда, они не лгали. Они действительно питались солнцем и воздухом, потому что их пайки систематически расхищались. Я проверил. Вы не представляете, сколько вреда принесла такая баба! Я уже не говорю о самих ребятах. Конечно, мы их подкормим, но взрослые забудут все это не скоро. А ведь детский сад и ясли — сильнейшие наши агитаторы за Советскую власть среди женщин! Здешние женщины обвешаны гирляндами детей.

— Удачно сказано! — заметил один из москвичей. — Да вы поэт!

Уркабаев вздохнул.

Нового инкубиста-инструктора, девушку с «русскими глазами», звали Шура Потапова. Она была дочерью агронома-волжанина, родом из грибных и ягодных

мест, где даже и не знают, что такое шелковичный червь.

В 1915 году у агронома Потапова захворала туберкулезом жена. Стала она похожа на восковое яблоко, что лежало у них в столовой на угловом столике, покрытом шерстяной скатертью. Потапов, глядя на розово-желтые щеки жены, только моргал и покашливал, хотя врач успокаивал его, что «процесс протекает нормально».

Наконец весенним сырым деньком и врач задулся.

— На юг бы! — сказал он. — В Крым или на Кавказ.

— А кушать что? — жестко спросил Потапов.

Оба помолчали. Годовалая Шурка ползала в это время по газете, где было сказано, что домик паромщика на Марне после длительного боя снова перешел в руки союзников.

— Вот если бы в Туркестан, — сказал Потапов, — это я, пожалуй, мог бы. Там, в Ташкенте, агрономы нужны, мне товарищ писал.

— Вот и прекрасно! — обрадовался врач. — Там юг, солнце — как раз то, что нужно. Обязательно поезжайте! Через три-четыре месяца вы свою жену просто не узнаете.

И действительно! Через полгода, стоя в Ташкенте у гроба жены, Потапов почти не узнавал уже своей Лизы, — так жестоко обглодали ее субтропическое солнце и лёссовая пыль.

На Лизиной могиле с невиданной быстротой вырос тополь. Сначала Потапова держал здесь только этот тополь. А потом и сам край стал ему дорог. Он даже не слишком часто вспоминал покойницу Лизу. И лишь однажды, побывав в Чимгане, в горном санатории, сказал Шуре:

— Доктор-то оказался прав. Климат там, в горах, отличный. Но до революции нас бы туда на порог не пустили, а потом уже мамы не стало.

Каждую весну Потапов отмечал рост дочери. Когда ее светлая головка достигла отцовского плеча, Шура была инструктором-шелководом. А сам Потапов зани-

мался гибридизацией коконов в институте шелководства.

В тот день, когда Шуре предложили срочно выехать в Самарканд, Потапов затуманился.

Она была у него одна. Они еще ни разу не расстались. Они вышли вдвоем в приинститутский тутовый питомник. Начиналась весна. Шелковицы всех видов — обыкновенные, карликовые, кустиковые, пирамидальные, шаровидные и змеевидные, — все они стояли с набухающими почками.

Отец и дочь стали ходить по аллее взад и вперед, не доходя до маленького белого дома. Там, изолированные от всего, лежали подопытные черви, зараженные пембриной¹, и за ними ухаживали специальные сотрудники.

— Помнишь, папа, как я болела дифтеритом и тоже лежала отдельно? — засмеялась Шура.

Потапов задумчиво кивнул головой.

— Ты как будто загрустил? — спросила Шура. — Но я ведь не могу не ехать. Какая же я буду комсомолка, если не поеду? А потом мне самой хочется. Ведь это моя первая самостоятельная работа. Там надо будет оживить двести сорок пять коробок грены.

— Я понимаю, что ты должна и что тебе хочется. Но, Шура, зачем же сразу в другой район? Разве тебе не кажется, что лучше было бы здесь?

— А тебе не кажется, что это в тебе говорит оппортунист?

Потапов посмотрел на дочь и ответил:

— Кажется.

— Ну вот и отлично! Раз ты сам констатируешь, значит, ты тем самым раскаиваешься.

Потапов посмотрел на дочь и ответил:

— Раскаиваюсь! Только знаешь что, Шура, — пиши мне как можно чаще. Очень прошу тебя. И обо всем. Будешь?

Шура посмотрела на отца и ответила:

— Буду.

¹ П е б р и н а — инфекционное заболевание червей.

Когда по Самарканду прошла весть, что в каждом районе города особая комиссия будет решать вопрос, кто достоин паспорта, а кто нет, многим это не понравилось. В том числе Мир-шахиду.

— Я боюсь, дорогие,— сказал он,— что эта книжка, на которой, как мне передавали, на шести языках написано слово «паспорт», шестикратно заставит нас вздохнуть о том времени, когда ее у нас не было. Вот, скажем, я. Зачем писать про меня на бумаге, когда в сердце моем и так давно написано, что я — честный и добрый узбек? Правда, некогда я был богат, но это прошло. А раз оно прошло, то зачем же думать о том, чего нет? Но скажу больше. А что, если жены наши тоже пожелают иметь отдельные паспорта? Что будет тогда? Разве жена захочет слушаться мужа, если наша заботливая Советская власть вручит ей книжку, куда будут вписаны ее имя, возраст и все ее особые отметки, точно она — овца, про которую известно, какое у нее вымя и на какую ногу она хромает?

Рассуждая таким образом, Мир-шахид имел в виду свою вторую жену, Нор-биби. В ее глазах все чаще стали появляться какие-то точки и блески, наводящие на размышление. Прошло несколько дней, и Мир-шахид снова говорил дружественно расположенным к нему людям:

— Дорогие, да! Случайно я узнал, что жена моя Нор-биби ходила в районную комиссию и говорила там относительно паспорта. Конечно, я был очень обижен тем, что она принимает такие решения, не посоветовавшись со мной. Когда она вернулась домой, я немножко поговорил с ней. Надеюсь, что теперь она передумала. Мне кажется, что паспорт ей ненужен. В случае же если она, да продлятся ее дни, умрет, то аллах и без паспорта узнает ее, ибо все свои особые отметки она теперь имеет при себе. Я сам, как трудолюбивый писец, написал все, что нужно, на ее собственной коже. И спутать ее с другой женщиной невозможно, дорогие.

Примерно в это же время Потапов получил от Шуры первое большое письмо.

«Милый папа! Этот Азимджан, которого сняли до меня, оказался самым настоящим вредителем. Он поморозил тут почти всех червей, так как весна, ты знаешь, холодная, а он приказывал не топить и открывать окна. Самое плохое то, что теперь даже, когда надо будет открывать, никто не захочет: не поверят. Так всегда бывает: плохой работник не только сам портит, но и другим мешает. Мне передавали, что здесь шли такие разговорчики: вот, мол, раньше, когда не было никаких инкубаториев, черви прекрасно водились. Ты же понимаешь, что это значит и какая ответственность лежит на мне! А ты еще не хстел, чтобы я ехала!

Теперь я хочу сказать тебе, где я нахожусь. Я живу в мечети, — вот уж не думала! Бывшие кельи приспособлены под инкубаторы, в одной из них живу я. Там сохранилось еще закопченное место, где был очаг, и полка для книг. Сплю я в той же маленькой нише, где спал когда-то здешний ученик. Мой пункт обслуживает и колхозников и единоличников. Некоторым я даю грену, но, конечно, предпочитаю давать готовых червей. Плохо только то, что обычно все приходят за червями в один и тот же час, после работы. Все стоят с корзинками в очереди, и я со своими помощницами — мы просто разрываемся. Помощниц у меня три: две уполномоченные от колхоза и одна — от сельсовета. По-узбекски я с ними объясняюсь довольно прилично.

Тутовые деревья близко, но, конечно, не кустиковые, а очень высокие, так что лазить трудно. Листья мне собирают местные ребятишки. Каждому, кто принесет хорошую охапку, я даю пустую коробочку из-под грены. Они и стараются.

Плохо только, что почти все деревья растут вдоль дороги и покрыты пылью. В таком виде листья не годятся. Если же давать их мокрыми, мытыми, то боюсь, как бы не вызвать у червей поноса. Ты мне напиши, как быть.

Меня беспокоит вентиляция. Ведь окон здесь нет, одни двери во внутренний двор, который, кстати сказать, так здорово устроен, что, если в одном конце сказать слово, в другом конце слышно.

Между прочим, в одной из келий я нашла целую пачку плакатов Узбекшелкотреста, — знаешь, зеленых с желтым, где в центре громадный червь, а вокруг инструкция по-узбекски. Оказывается, Азимджан никому этих плакатов не роздал и просто сложил в уголок.

Был у меня участковый инструктор. Но я лучше буду спрашивать у тебя. Ты хоть и беспартийный, все-таки старый специалист и вместе с тем отец.

Ну, до свидания, папа! Мне предстоит бессонная ночь. Наверное, на рассвете появятся черви, так как уже есть «разведчики». Да, заметил ли ты, что новорожденные черви, когда лезут сквозь тюль на тутовый лист, протискиваются целой кучей в одно и то же отверстие? Но это я так, между прочим.

Жму руку. Твоя *Шура*.

Письмо второе.

«Милый папа! Давно тебе не писала: очень была занята, но теперь легче. Основные партии червей все уже розданы. Они у меня получились здоровые, даже желтушных мало. Со вчерашнего дня начала обход тех хозяйств, куда мы дали червей. Пошла я и еще одна из моих колхозниц — Мухаббат. Замечательная женщина, партийка! Она уже немолода, уже внуки у нее есть, а такая веселая. Когда рассказывает о своей жизни, то улыбается, хотя жизнь у нее была далеко не легкая. Вот, например, ее замужество. Она из бедняцкой семьи, и была седьмая по счету. Вышла замуж уже «старой девой», в шестнадцать лет: никто не брал за бедность. Наконец нашелся один жених — и даже состоятельный. У него были ковры, одеяла, халаты и самовар. Мухаббат вышла замуж за этого человека и три дня наслаждалась богатством, особенно самоваром. А потом оказалось, что это все чужое, взятое напрокат. Сначала пришел один мужнин приятель и унес ковры, второй унес одеяла, третий — еще что-то. Остался один самовар. Но вот и за самоваром пришли.

— Тогда, — говорит Мухаббат, — я села рядом с самоваром, обняла его крепко, прижалась к нему щекой.

Он холодный, я горячая. Я плачу, он молчит. И все-таки его забрали. А теперь,— говорит Мухаббат,— самой смешно. Глупая была девочка, бедная и темная! Плакала и смеялась — все вслепую.

Так она говорит.

Пошли, значит, мы с ней. Приходим в дом к одному колхознику. Стучим — никого. Солнце. Тишина — ну такая тишина!.. Только маки на глиняной крыше кивают и пчелы жужжат. Наконец открыли нам, и мы вошли. Нас встретила столетняя старуха, коричневая, с бородой и зубом. Из соседнего двора пришла еще одна такая же старуха, потом еще. Потом такой же примерно старик. Ребятишки набежали. Вот так пленум! Мухаббат спрашивает:

— А где остальные? Работают?

— Работают,— отвечают.— На огороде и в саду (колхоз у них плодоовощной).

Вдруг одна девочка, постарше, говорит по-русски:

— А наши на винограднике. Там азот привезли. Удобрение.

И все эти древние старухи и старики закивали, заулыбались, заговорили: «Азот, азот!» Это было единственное русское слово, которое они поняли. И потом, когда мы уходили, я крикнула им:

— Хайр!¹ Азот!

А они мне:

— Азот, азот!

Но сначала мы посмотрели червей. Они лежали в наглухо закрытой комнате, в плетенке, подвешенной к потолку, покрытые ватными одеялами. Им было сыро и душно. Я сейчас же одеяла сняла и окна настежь. Потом мне Мухаббат говорит:

— Ты даже не знаешь, что такое шелк для нашей женщины. Отсюда начинается ее самостоятельность. Шелковые деньги — женские деньги. Надо только хорошенько следить, чтобы сами женщины сдавали коконы. Тогда уже наверное деньги пойдут им. А то бывает так: работают они, а деньги получают мужчины.

Ну, папа, до свиданья! Твоя Шура».

¹ Х а й р — до свидания (узбек.).

Письмо третье.

«Папа, слушай, если бы ты знал!.. Вот как было дело. Пошли мы еще раз с Мухаббат. И у одного дома она говорит:

— Надо сюда зайти, хотя здесь живет скверный человек, Мир-шахид. Вторая жена его, Нор-биби, очень несчастна до сих пор. Новая жизнь идет по улице, но к ней во двор не заходит. У нее трое детей. Третий, совсем маленький бала¹, больной. Куда она с ним денется? А оставить дома — первая жена замучает.

Входим. Большая, хорошая комната, оклеенная окладными листами фининспектора. Пиал, подносов, стеклянных банок — всего много. Одеяла горкой. Хозяин весь на меду, так и юлит. По бедрам повязан платком: значит, желает еще нравиться. Тубетейка на затылке: значит, доволен собой. Тут же дети. Самая маленькая — с кривыми ножками. Я говорю:

— К доктору надо. У нее рахит.

А он — руку к сердцу. Я ему — «рахит», а он мне — «рахмат». Явно издевается. Женщина рядом стоит. Я потихоньку Мухаббат:

— Неужели это и есть Нор-биби?

А она мне тоже потихоньку:

— Это не она. Это — первая жена. Погоди, я сейчас спрошу, где та.

Но спросить она не успела.

Вот что случилось дальше.

Я подхожу смотреть червей: они сами оживляли греху, черви только-только вылупились. И эта женщина, первая жена, подгребает их просто бумажкой. Я говорю:

— Так нельзя, апа², ты их мнешь. Это надо делать куриным перышком. Я тебе сейчас принесу.

Выбежала во двор, думаю: не может не быть у них курицы. Смотрю: в углу возле корчаги лежит на земле сорочье перо. Ну что ж, и это годится. Наклонилась, а из-под корчаги стон. Я — ближе. Оказывается, корчага приклонена к двери небольшой пристройки. И не знаю

¹ Б а л а — ребенок (узбек.).

² А п а — сестра (узбек.).

почему, пришло мне в голову, что там лежит больная Нор-биби, которую они прячут. Не успела я об этом подумать (все это было очень быстро, меньше минуты), идет за мной сам хозяин и так сладко говорит:

— Какая ты добрая, инструктор-апа, что так заботишься о нас и о наших презренных червях! Но кур у нас давно нет.

А я ему так же сладко:

— Ничего, Мир-шахид-ака¹, презренное сорочье перо тоже годится.

И даже виду не подаю, что слышала что-либо...

Папа, не могу сейчас писать: слышу, как будто осы летают. А для меня это еще страшнее мышей и пауков, хотя и те большие лакомки до червей. Но осы страшнее всех. Пойду взгляну, чего это они так разжужжались. Потом допишу остальное. Дальше, дальше что было!..»

А дальше было так.

Секретарь комсомольской колхозной ячейки Куркмас Низамов пропахивал трактором виноградное междурядье, для того чтобы посеять там клевер и горох. Это был новый способ использования места между виноградными кустами. И так как у этого способа были противники, утверждавшие, что засеянное междурядье истощит землю и оставит мало соков для самого винограда, то решено было попробовать только в одном месте.

Куркмас осторожно вел трактор. Он видел, что его «Фордзон» слишком широк и может повредить нежным виноградным кустам. Здесь был бы нужен более узкий трактор — «интер». Но «интера» не было, и Куркмас волновался. Его тубетейка стала влажной от пота, а полевой тюльпан над ухом быстро увядал от близости воспаленной щеки.

Шура, окутанная облаком пыли, побежала за трактором, крича:

— Куркмас, остановись!

Но тот все же дошел до конца и тогда только спросил:

¹ А к а — брат (узбек.).

— Что такое? Вижу — пыль кричит, а кто в пыли — не узнаю. В чем дело? Здесь важная минута, а ты кричишь.

— Нет, погоди, здесь минута поважнее.

И Шура, обжигая руки горячим от солнца трактором и держа его за колесо, как бы не ушел, рассказала Куркмасу, в чем дело.

Мир-шахид сказал правду. Спутать теперь Нор-биби с другой женщиной было трудно. Ее «особые отметки» запеклись кровью. Особенно глубок был косой рубец, идущий от глаза вверх, к спутанным волосам.

Нор-биби сидела в сарайчике на рваном одеяле, охватив колени руками и глядя в землю.

— У нее лихорадка, граждане, — уверял дрожащий Мир-шахид. — Лихорадка, во время которой человек трясется, теряет сознание и разбивается в кровь... Правда, Нор-биби, моя дорогая жена, что у тебя лихорадка?

Но Нор-биби молчала. И молча глядели на нее Куркмас, Шура, Мухаббат и районный милиционер, пока наконец врачиха из амбулатории не сказала:

— Хорошо, что мы захватили носилки. Только поосторожнее, товарищи!

Когда Нор-биби унесли, районный милиционер Урун-бай, тоже с тюльпаном за ухом, ибо это было время тюльпанов, сказал Мир-шахиду:

— Жена твоя будет жива, этот доктор вылечит ее, это хорошо. Плохо только то, что и ты из-за этого останешься жив. Поспеши, однако, не заставляй себя ждать там, где тебя ждут уже не первый год.

4

Старое медресе Ходжа-Ахрар, взрастившее столько благородных юношей, теперь было полно женщин. Этот стихийный митинг не был предусмотрен никем, и никто особо к нему не готовился. Просто в один какой-то час стало известно, что Нор-биби прямо из больницы отправилась в гости к инструктору из Ташкента и, сидя там, пьет под урюком чай. И как только

это стало известно, женщины со всего кишлака, колхозницы и единоличницы, — все, кто только был в это время свободен, не сговариваясь, пошли по направлению к мечети и вскоре заполнили двор.

Шура, застигнутая врасплох, успела только развеять те из плакатов Азимджана, которые еще не были ею розданы. Квадратный каменный двор расцвел зеленым и желтым. Многократно увеличенный шелковичный червь пополз по стенам медресе меж резных деревянных дверей. Но самый важный (и к тому же единственный) плакат, тот, где изображена молодая узбечка в оранжевом, отчасти похожая на Нор-биби, но со значком КИМа на груди, — этот плакат был повешен у входа как приветствие.

Митинг открыла Мухаббат троекратным ударом в ладоши. Двор с его превосходной акустикой отчетливо повторил три удара. Прошелестели женские одежды, всколыхнулись платки, шарфы и шали. Потом все утихло. Был час заката. Была весна. Над медресе Ходжа-Ахрар синел квадратный кусок неба, украшенный, как ему в эту минуту и подобало, ясным полумесяцем.

Под урюком, посреди двора, на скамейке сидела Нор-биби.

— Сестры! — сказала Мухаббат. — Вот перед вами женщина Нор-биби, мы все знаем ее. Поговорим о жизни этой женщины.

Снова прошелестело, и снова все смолкло.

— В прошлое время над нашей женщиной стояло пять хозяев. Это не много ли? А было так. Первый хозяин — это бог. Второй хозяин — эмир. Третий хозяин — тот, кто давал работу, в чьей воле и руках были земля и вода. Четвертый хозяин — мулла. Пятый хозяин — муж. Сестры, мы судим женщину Нор-биби за то, что четырех хозяев она уничтожила, а пятого оставила. До революции нас продавали за деньги, за рис, меняли на всякие товары. Детьми нас выдавали замуж за стариков (отчего ты плачешь, Нор-биби?), за стариков, у которых, кроме нас, были уже жены. У нас крали наше детство, а мы молчали. Нор-биби, ты виновна в том, что так долго молчала! Виновна она, сестры? — спросила Мухаббат.

И сестры с влажными глазами ответили:

— Виновна!

— Встань, Нор-биби, и посмотри нам в глаза. Ты виновна в том, что мало верила в свои силы. Ты боялась уйти от мужа, боялась, что Советская власть бросит тебя на полдороге, что она далека и велика и не видит твоей маленькой жизни. А она увидела. Она — это я, это мы все, это ты сама, Нор-биби. Ты молода, помни это. Ты здорова. Ты можешь работать.

— Я мало что умею, Мухаббат,— ответила Нор-биби очень тихо, но удивительный двор так внятно повторил ее слова, что все услышали их.

— Мало что умеешь? — Мухаббат обвела глазами весь двор, как бы ища ответа...

И вот как Шура написала потом своему отцу:

«Понимаешь, Нор-биби тихо так говорит (но все услышали):

— Я,— говорит,— мало что умею.

А Мухаббат, эта красавица, эта умница, это золотце, обвела глазами весь двор, как бы спрашивая у него ответа. И тут со всех сторон бросились ей в глаза, прямо поползли на нее плакаты. Особенно тот, где узбечка с коконами. И она, моя Мухаббат, вытянула свой шишковатый коричневый палец по направлению к этому плакату.

— Вот это,— говорит,— ты умеешь, не правда ли? Перед тобой все открыто, но ты забыла об этом.

Жаль, жаль, что ты не слышал, как они судили Нор-биби и приговорили... к свободе и счастью».

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

Замоскворечье к культуре
склонности не питает.

Старинный путеводитель по Москве

Синее снежное утро встает над Кировским районом, тем самым, где в начале XVII века паслись коровы Марфы Ивановны, матери царя Михаила Федоровича.

Здесь были заливные луга и болота, здесь пролегало овражистое место Балчуг, что по-татарски означает «грязь».

В Черниговском переулке был темный бор. С этой стороны из-за Оки надвигались на Москву татары. Недаром первая из кремлевских башен, Тайницкая, повернута в сторону Замоскворечья.

В позднейшие, купеческие, времена здесь насчитывалось тридцать церквей и только две школы.

С восьмиэтажной высоты фроловской квартиры видны крыши в синем снегу. Круто завитые дымы отвесно поднимаются к небу. Очень холодно. Очень рано. В столовой тикают часы, в гляцевитой стенке пианино медленно клубится рассвет. В комнате направо спит Василий Тимофеевич. Налево — дети: Наташа и Шурик. Первой подымается Паня — домработница, плотная северная девушка.

— Шесть-ю восемь сорок восемь,— бормочет она, натягивая чулки.— Семь-ю восемь пятьдесят шесть.

«Таблицу умножения лучше всего повторять ежедневно утром, на свежую голову»,— советует учительница в школе.

И Паня повторяет.

Вторым подымается Василий Тимофеевич.

— Дер Тиш¹, дес Тишес, дем Тише,— твердит он, стоя под душем.

— Ди Тише,— продолжает он, намыливаясь для бритья.

Ровно в восемь приходит преподавательница немецкого языка, немолодая румяная Каролина Эрнестовна.

— Nun, wie geht's?² — спрашивает она.

— Данке шен³, — отвечает Василий Тимофеевич.

Урок начинается.

— Дер Тиш, дес Тишес...

— Хорошо,— говорит Каролина Эрнестовна.— А теперь...— Она ищет глазами, что бы еще такое просклонять, и видит каменную лягушку из уральского камня на письменном столе. Камень с Урала, родины Василия Тимофеевича.

— Очень хорошо,— говорит Каролина Эрнестовна,— просклоняйте мне der kleine Frosch — маленькая лягушка.

Огромный, с сивой проседью, Василий Тимофеевич Фролов, бывший партизан, отстукивая кулаком каждый падеж, склоняет: «Дер кляйне Фрош, дес клайнен Фрошес...» Потом он пишет диктовку, касаясь орденом Ленина края стола.

— А как вы думаете, Каролина Эрнестовна,— застенчиво спрашивает он,— скоро я буду читать Гете в подлиннике?

К этому времени встает уже Наташа. Она завтракает, собирается в школу. И если кто-нибудь спросит по телефону товарища Фролова, или Василия Тимофеевича, или просто Васю, она отвечает: «Сейчас нельзя. Он учится».

¹ Der Tisch — стол (нем.).

² Как поживаете? (нем.)

³ Danke schön — большое спасибо (нем.).

Позже всех встает шестилетний Шурик. Ни отца, ни сестры нет уже дома. Полное утро за окном. Розовый морозный день.

Шурик ест булку с маслом и рассказывает Пане про трех поросят, которых он видел в кино: «Три поросенка строили три дома. Один соломенный, один я забыл из чего, а третий каменный».

— Ой, опоздаешь, — говорит Паня.

— А который час? — спрашивает Шурик.

— Десятого половина.

— Ничего, я сейчас. А третий, значит, каменный. Даже пианино каменное. И вот приходит волк проверить, кто как строит. Вот он дует на первый дом...

Но теперь уже действительно пора идти. И Шурик в сопровождении Пани уходит в музыкальную школу, надев две пары рукавиц, чтоб не застудить свои руки будущего пианиста.

Проводив Шурика, убрав квартиру и наладив обед, Паня возле тихо кипящего супа садится читать «Овод», книгу, рекомендованную ей ночным сторожем.

В выходной день все трое Фроловых или едут за город на машине, забрав с собой бутерброды и лыжи, или отправляются пешком в Зоопарк. Но часть пути, надо ли, не надо, они обязательно проедут в метро. Там они приходят в восторг от новых ярко-алых автоматов. Они огорчаются при виде перегоревшей лампочки в блистательном ряде огней, при виде трещины на стеклянной схеме пути. Им до всего есть дело.

Они выходят на поверхность, блаженно жмурясь от морозного солнца. Они обсуждают улицы, дома, систему светофоров, автомобили. Шурик называет их все поименно.

— Пятитонка. Полуторатонка. Легковушка. «АМО». «ЗИС». «ГАЗ». Форд простой. Форд обтекаемый. Линкольн. Лошадь, — недовольно говорит он.

— А я рада за воробьев, что лошадь, — отзывается Наташа. — А то им совершенно нечего есть.

В Зоопарке они долго стоят у клетки с кондорами.

— Ты обрати внимание, папа, как неправильно устроен кондор, — говорит Шурик. — Одни крылья, а элеронов нет.

— Да, это, брат, безграмотно,— отвечает Василий Тимофеевич.— Но он и так, ничего, справляется. Я их в степи видал...

Вечер. От острого запаха зверей, от снега, мелькания сосен по шоссе, от светофоров, улиц, автомобилей — от всего этого отличного выходного дня у детей пылают лица и блестят глаза. Они могли бы еще пойти в кино, но неплохо и посидеть в столовой с отцом, попить чайку, послушать радио, поговорить по душам.

Вьюга за окном. Снег. Ветер как раз в их сторону. Высокий дом выставил навстречу непогоде сигнальные огни.

— Что-то наша мама теперь делает? — говорит Наташа.— Мамочка наша.

— А ничего,— отвечает отец.— Идет себе. Что ей делается. Да там, может, и вьюги никакой нет.— Так он отвечает, а сам думает: «А может, есть. Кто его знает?»

Звонок. Всю переднюю целиком заполняет огромный, крупнее даже, чем сам Фролов, человек в меховой куртке; снег тает на ней.

— Здесь товарищ Фролов живет? — спрашивает гость.— Вася! — восклицает он, увидав хозяина.

— Петруша!

Два богатыря обнимаются.

— Тише, счетчик сломаете,— говорит Наташа.

— Наташка, тащи чайник на газ. Петруша, садись. Ты когда приехал? Чудак, что же ты не позвонил?

— Да я звонил вчера утром. Два раза звонил. А мне ответили: «Он не может, он учится». Тогда я решил без звонка.

— Да, брат,— с гордостью говорит Василий Тимофеевич.— Это я действительно учусь. Немецкому языку. Скоро Гете в подлиннике читать буду.

Гость Петруша, Петр Андреевич Орехов, давнишний фроловский приятель, вернее, даже друг, строитель с Игарки, входит в столовую. Давно не видались друзья, чуть не с гражданской.

— Твои? — спрашивает гость, указывая на ребят.

— А как же! Знакомьтесь. Вот Наташа. Девять с половиной лет. Декламирует хорошо. Сама стихи пишет. Школьная отличница.

— А как же,— говорит словоохотливая Наташа.— Школа у нас новая. В такой школе нельзя плохо учиться. Она такая новая, такая крашеная, что мы сначала даже к партам прилипали, а теперь вот уже не прилипаем. И вот я написала стихи:

С успехами все новыми
Приходит Новый год.
И школа наша новая
Растет себе, растет.

— Ладно, погоди,— говорит отец.— Не все сразу. А это, знакомься дальше: Шурик. Учится в музыкальной школе. Пианист, выступал на олимпиаде. Талантливый,— шепотом, чтоб Шурик не загордился, добавляет Василий Тимофеевич.

— А хозяйка твоя где? — спрашивает гость.

— Хозяйка? У-у... Та идет сейчас на лыжах в Архангельск. Лыжный пробег. Читал, верно? А как ты думаешь, вьюга там есть сейчас по дороге?

— Не должна быть,— уверенно говорит Петр Андреевич под свист ветра.— И кроме того, возьми во внимание, что в большинстве они идут лесом.

Друзья садятся чаевать. Паня выходная. Наташа хозяйничает с гордостью. Наливает гостю чай покрепче, кладет туда огромную горбушку лимона и ложку варенья. Фролов и Орехов пьют чай, вспоминают.

— А помнишь?..— говорит один.

— А ты не забыл?..— спрашивает другой.

Дети слушают. Постепенно выгибаются полукругом, мрачнеют светлые стены столовой. Вихрем уносится вдаль лампа под абажуром малинового шелка. Вот она на лесной поляне тлеет уже ночным пояском костра. Ночь. Зима.

Два человека, двое партизан, лежат у костра в глубоком сибирском лесу. Один из них ранен в ногу, не может ходить. Они отбились от своих. У них ни еды, ни теплой одежды.

— Уходи один, Вася,— говорит раненый.— Чего тебе тут со мной!

— А ну молчи,— спокойно отвечает Вася.

Они умолкают оба. Лес дрожит от ветра. Снежная лапа, нависшая над костром, внезапно обрушивается в огонь тяжелой глыбой.

— Фу, черт,— говорит Вася.— Еще завалит нам костер. А спичек больше нет.— И он ложится на землю ничком, закрывает своим телом огонь, дышит на него, как на птенца, греет своим теплом.

И все же костер гаснет...

— Вася,— через какое-то время говорит Петр Орехов, раненный в ногу.— Васька, ты, никак, спишь?

— Я только вот... минуту,— бормочет замерзающий Фролов.— Я вот только...

— Э, нет.— Петр тормозит его, трет снегом. И из последних сил поет ему своим знаменитым голосом, поет ему сквозь вьюгу в самое ухо, песню за песней, чтоб друг не спал.

Утром их подбирают свои.

Дети слушают, не дыша. Они не могли бы выразить словами, но они смутно чувствуют, что их отцы прошли через все эти вьюжные леса, через муки и раны, чтобы они, вот они, Наташа и Шурик, сидели здесь, в этой теплой столовой, учились в новых школах, играли на музыкальных инструментах, радовались огням метро.

— А помнишь?..— снова начинает гость.

— А ты не забыл?..

И снова она, гражданская. Только на этот раз не Урал, а Украина. Не зима, а лето. Не лес, а степь, дымная от зноя.

— Помнишь, как мы там без воды подыхали все вместе? И люди и кони. Помнишь, у тебя конь был, Мышак?

— А как же, Мышак... Еще бы. Я, знаешь, седло с него до сих пор сохранил. Хозяйка ругается, что рухлядь, а я храню. Шурик, волокн седло.

Вот и седло. Пропаленное зноем, дымом, пылью, конским потом, лежит, оно на новеньком кожаном стуле. И хозяин гладит его, как коня.

— Было, всего было,— кивают друг другу друзья. Как бы возвращаясь издалека, они обводят глазами комнату, видят чайный стол, пианино, ребят.

И ребята возвращаются вместе с ними издалека. Квадратные стены снова на месте. Завьюженная, погасшая было в снегу, загорелась и прилетела на место лампа.

— Ну, молодые люди, — обращается к детям гость. — Вы все слушали, слушали. Теперь мы хотели бы послушать вас, правда, Вася?

— А как же. Ты вот что, Шурик. Исполни ты нам, брат, Моцарта «Турецкий марш». Это здорово у тебя выходит. Он уже и Моцарта исполняет, — шепотом, чтобы Шурик не загордился, сообщает отец.

Но Шурик, то ли от пережитых впечатлений, то ли из кокетства артиста, то ли просто оттого, что ему шесть лет и он хочет спать, не желает исполнять «Турецкий марш». Он отказывается. У него и пальцы не разыграны, и настроения нет, и табуретка у пианино скрипит. Он все просит, чтоб починили, а ему не чинят. Нет, он не будет играть.

— Стыдно, очень стыдно, — говорит Наташа. — Моцарт так бы никогда не поступил.

Но не это убеждает Шурика. А то, что отец молча смотрит на него. Отец смотрит на него, и Шурик смотрит на отца. Он вспоминает все, что только что слышал. И медленно краснеет.

— Я сыграю «Турецкий марш», — говорит он. — Я хорошо сыграю.

И так как табуретка действительно скрипит, а сам он очень мал, то ему пристраивают на стул старое отцовское седло.

О МОЕМ ОТЦЕ

I

Мне трудно сейчас говорить о моем отце. В то время, когда он весь, как книга, был раскрыт передо мной, я не умела прочесть ее. Теперь же, когда, мне думается, я умею, книга закрыта навеки.

И все же медленно, с трудом, черта за чертой, я пытаюсь воссоздать образ своего отца. Я тщательно восстанавливаю его лицо, улыбку, манеру ходить, его глубокую, в минуту гнева, складку между бровями, которую я в детстве называла «громом». Его словечки. Он любил разговаривать сам с собой. «Ай, bravo!» — восклицал он, когда был весел. Или: «Такие-то дела!» А не то было у него еще одно презабавное словечко: «Лебедей». Олицетворение превосходной степени чего бы то ни было: восторга, хулы, укора, иронии. Тысяча оттенков. Автором этого слова «лебедей» был один слегка тронувшийся не то сапожник, не то продавец газет, которого отец знал, еще будучи студентом.

Медленно, ощупью, теряя и вновь находя верную тропу, я продвигаюсь в глубь своего детства. Я вступаю во все более ранние эры: «игрушечный» период, «азбучный» век; и во все времена я нахожу своего отца.

Иногда, о радость, меня подстерегает неожиданная удача: я нахожу в памяти события, не поврежденные временем. Иногда это предмет: костяной нож, записка, ручка, письмо. Вот, например, письмо к моей матери, написанное отцом задолго до моего рождения, летом 1880 года, из Елисаветградского уезда, где отец работал статистиком по переписи населения. В то же время моя мать, заложив за уши волосы, училась на курсах в Петербурге и давала уроки.

«Друг мой, Люба, — писал отец, — зная, что в Бобринце ждет меня твое письмо, я был обуреваем таким нетерпением, что не стал дожидаться обещанной подводы и отправился туда из Гурьевки пешком. Я отправился в путь после полудня, но не рассчитал времени и пришел поздно вечером, когда почтовое отделение было уже закрыто. Если бы ты знала, моя хорошая, какую незабвенную ночь я провел один-одинешенек, дожидаясь утра на крылечке почты, ступеньки которой за день накалились от солнца и теперь медленно отдавали тепло. Или это грело меня твое письмо, которое лежало совсем близко, за стеной?»

Величественная луна сияла над уснувшим городком. Мягкая пыль лежала неподвижно, колотушки ночных сторожей и те умолкли. Одни лишь сверчки да песня далеко в степи нарушали безмолвие ночи.

Друг мой, Люба, я думал в эти минуты о нас с тобой, о нашей любви, о нашей будущей совместной жизни, направленной на то, что так гениально выразил своими строками Некрасов: «Сейте разумное, доброе, вечное...»

И действительно, по-своему мои родители выполнили намеченное. Мать заведовала школой. Отец с группой профессоров издавали научно-популярные книги.

Я росла одна, без братьев и сестер. «Мама не может. Она занята» — эта фраза прошла сквозь все мое детство. Мама не могла со мной гулять, не могла быть со мной, когда я хворала, не могла читать мне вслух: она была занята. И она правда была занята. Она

заведовала школой. Пятьсот девочек в возрасте от десяти до пятнадцати лет находились под ее началом. Я была пятьсот первая.

Моя мать была строга, ее больше боялись, чем любили. Самые буйные школьницы стихали от одного ее вопроса: «Как твоя фамилия?»

В детстве мне часто снился сон: я бегу по коридору и вдруг — моя мать. Она в синем платье, держится прямо, седеющие волосы гладко зачесаны за уши. «Как твоя фамилия?» — спрашивает она меня. Я трепещу и просыпаюсь.

Мои родители жили дружно. Они во всем советовались друг с другом и никогда не пререкались. Но отец весь как-то менялся при матери, становился тише, скучнее. Словно и он боялся вопроса: «Как твоя фамилия?»

Редко, очень редко, сидя в сумерках без огня, они пели вдвоем украинские песни. «Комары гудут, спаты не дають», — начинал отец мягким своим голосом, а мать подпевала: «У-у-у», подражая комарам. С годами все это вывелось.

В детстве уже со вторника я начинала мечтать о воскресенье, которое я проведу с отцом. Месяцы представлялись мне цепью холмов, где воскресенья были вершиной. Так я и жила от вершины к вершине. Со вторника начинался еле ощутимый подъем.

Зимой мы ходили на каток, на непрочный каток южного города, где морской ветер разъедает лед. Но мы были неприхотливы и радовались даже скверному льду. Если не было катка, мы просто гуляли; если же и гулять нельзя было, мы сидели дома. И это, пожалуй, было желаннее всего.

Из отцовских рассказов лучшими были рассказы о переписи 1880 года. Сколько деревень и сел Украины перевидал он в тот год! Сколько высоких глиняных порогов переступил, наклоня голову, чтобы не ушибиться о притолоку, хоть и был невысокого роста!

Вот он входит, мой отец, предвечерним часом в бедную хату, где на столе в березовых венках стоит гроб. Солнечный луч освещает лицо мертвеца, молодое лицо и восковые руки с голубыми уже ногтями. Плохая, точно мокрая, лежит на лбу прядь волос. Томно

пахнет березовый лист. Безумная мать кричит молодому статистику: «Пишите, что одним хлопцем меньше стало на свете! Помер сын у меня. Один был — и тот помер. Пишите, что же вы не пишете... Бык забодал».

Поздний вечер, масленичный буран, пухлый снег. Мохнатые искры летят из труб: пекут блины.

Но отец входит под кровлю, где труба крепко заросла снежной коркой: давно не топили. В нетопленной хате, при свете лучины, достает отец свои листки и походную чернильницу. Сумрачный мужик отвечает на его вопросы:

— Из кого состоит семья?

— Я, жена и дите. Сегодня родилось.

— Значит, трое?

— Четверо. Бог двояшку дал, да хоть бы сейчас и взял. И одного кормить нечем.

Подув на озябшие пальцы, отец пишет: четверо...

Воскресный вечер длится. Отец рассказывает, а я слушаю и смотрю, не слышу, а вижу. Он так рассказывает, что вот хотя бы эту хату я вижу и снаружи, и внутри, и сбоку: со всех сторон. Я как бы обдуваю ее взглядом. Я увидела трубу, заросшую снегом. Что это значит? Это значит, что мы с отцом пролетели по верх крыши, увидели ее сверху и только потом проникли в горницу, где сели писать у стола. Как это он так рассказывает? Как бы добыть это отцовское уменье?..

Весной было по-другому: каждое воскресенье мы уезжали за город к морю. Мать не принимала участия в этих поездках.

Несмотря на то что леса, степь и воды русской литературы трогали ее до слез, природы она не любила. В лесу сквозило, у воды было сыро, в степи дуло. А мать всегда следила за тем, «чтобы не дуло». Ей всегда было «немного свежо», и она просила закрыть окно, кроме того, она не умела быстро ходить. На улице длинная юбка ударяла ее по ногам.

Худощавый, легкий отец шел плечом вперед, как будто плыл в попутной волне. Когда он вел меня за руку, я не знала усталости.

За городом у нас было любимое место — далекий

монастырский берег, где мало кто бывал. Монастырские сети сушились там на крупной гальке, синеватой от раковин.

Иногда море выбрасывало туда стеклышко, чисто промытую кость, круглую, как подзорная труба, кусок дерева, плотный от воды и соленый на вкус. Из такого дерева отец перочинным ножом вырезывал мне лодку. Он начинал с кормы. В это время я, разувшись, бродила по берегу. С непривычки было больно ногам, и я двигалась затрудненно, почти как моя мать на улице. Но я быстро привыкала. Я уходила далеко и оттуда, прищурившись, глядела на отца сквозь круглую косточку. Он сидел маленький, словно выточенный. Рядом с ним на воткнутой в песок трости висела его шляпа. Все это помещалось у меня в одном глазу.

2

Мой отец любил порядок, и порядок любил его. Отцовский день был весел от деятельности. Он был так славно заполнен трудом, что от этого становилось радостно жить. Отец никогда не знал тех тягостных минут или даже часов, когда время загнивает, покрывается ряской и медленно влачится к вечеру, к полуночи, к рождению следующего дня с такой же червоточиной, что и предыдущий.

Отцовский день тек, как неширокий, но чистый и обильный водой ручей, у которого на протяжении всего пути в веселом и разумном порядке расставлены дела. То он вертит мельницу, то заботливо журчит между фруктовыми саженцами, то поит огородные гряды, то выращивает рыбных мальков.

Иногда, не часто, и никогда по пустякам, по-настоящему гневный «гром» бороздит его гладь. Иногда — не часто — работяга-ручей позволяет себе отдохнуть. И ласков тогда его рокот. «Ай, браво!», «Лебедей» — слышен его голос. И, гляньте-ка, мы видим даже и лебедей в маленькой прозрачной заводи.

Вот отцовский письменный стол, простой, не новый, но удивительно милый, приятно озабоченный, необхо-

димый. Он служит отцу уже много лет. Он приобрел то тихое, будничное сияние, которое отличает полезные предметы от бесполезных. Мне и сейчас оскорбительны письменные столы-трутни с их холодными крылатыми чернильницами, с их ярким, тупым сукном. И да здравствуют честные, простые столы, наше рабочее место!

Глядя на отца, я полюбила порядок. Мне начал нравиться порядок, установленный раз навсегда или хотя бы ненадолго. Изменения меня тревожили. Все время было так — и вдруг стало иначе. Для чего это?

На главном перекрестке нашего города стоял городской: светлоглазый, крупный, розовый, с голубыми тенями от русских усов. Летом на его белом кителе горел оранжевый шнур, светлый свисток висел на груди, штаны были ярко-синего цвета.

В нескольких шагах от городского, на скрещении улиц, сидели цветочницы с полными ведрами цветов. Тротуар возле них был полит свежестью. Воздух благоухал лилиями и гвоздиками. Тонкие голоса роз были почти не слышны в густом гвоздичном хоре.

Здесь же, на углу, находился лучший в городе магазин шляп. Весенние шляпы цвета фиалок, сложив крылья, легко сидели на высоких подставках. Если бы распахнуть окно, они, возможно, вспорхнули бы и полетели над городом; для продажи их ловили бы длинными марлевыми сачками.

Это было самое нарядное место города. Конские копыта выцокивали здесь прозрачные мелодии. Шелково шуршали шины.

Благоуханье, легкость и приятные шумы.

И в центре всего этого, воплощением этого благоуханного порядка — городской в зеркальных сапогах.

Однажды, проходя здесь с отцом, я увидела своего любимца. Он был еще прекраснее, чем всегда.

— Он будет здесь стоять вечно? Да? — спросила я отца.

— Как это вечно? Будет стоять, пока не состарится и не умрет.

— А разве городские тоже умирают? — ужаснулась я.

И, узнав, что да, я представила себе похороны городского. Гроб, окруженный ведрами цветов. Траурные шляпы, обвитые крепом, летят за колесницей. Медленно ступают черные кони. Здесь было все, что окружало городского при жизни, но в ином виде, странно измененное. И, представив себе все это, я заплакала. Я оплакивала порядок, который считала бессмертным.

В девятьсот пятом году начались беспорядки в университете. И тут все сместилось. Из разговоров взрослых я поняла, что эти студенческие «беспорядки» заслуживают всяческого уважения. Что же касается моих любимцев, городских, то они, ворвавшись в здание университета с целью навести «порядок», избивали нагайками безоружных мальчиков и убили Зяму Майданника, сына друга моего отца.

В тот вечер, вернувшись от Майданников, отец не стал ни пить, ни есть. Он ходил по неосвещенному кабинету. «Лебедей, лебедей», — негромко повторял он изредка. И мне казалось, что отцу плохо не оттого, что убили Зямку, которого он любил, как сына, а оттого, что он запутался между «порядками» и «беспорядками». И что теперь в этой путанице немислимо станет жить.

3

В то время в моде была гостиная мебель из красного или зеленого мятого плюша. К этому полагался черный столик с резными завитушками и трюмо. Наша гостиная была красная. В ней обычно располагались гости: тетки и дяди, мамины сослуживицы и папины друзья.

Сейчас в кресле сидела приезжая. На красном плюше чернела ее прическа. Темные глаза глядели умно и неласково. Я внимательно разглядывала ее смуглое лицо, бледные губы и родинку над ними. Это была кузица моей матери — «Анна социал-демократка», как называли ее в нашем доме. «Анна всегда сидит», — говорила о ней моя мать. Я так привыкла к этому, что одну свою безногую куклу назвала Анютой: она тоже всегда сидела.

Сейчас кузина Анна сидела в нашей гостиной. Я была уже настолько велика, что понимала, о каком сидении говорила моя мать: речь шла о тюрьме. Но невольно все же я глядела на ноги кузины Анны, на ее грубоватые полуботинки без каблуков. Была зима 1905 года. «Анна социал-демократка» была на свободе.

На ночь ей постелили в моей комнате на диване. Я легла рано, как обычно, но не могла спать — Анна вошла уже после того, как часы в столовой пробили двенадцать. Она переложила на диване подушку, разделась и легла. Уличный фонарь освещал ее смуглые руки, сплетенные над головой. Она лежала не смыкая глаз. Я вздохнула.

— Ты что? Не спишь? — спросила она.

— Не сплю, нет.

— А почему?

Я промолчала. Так сразу я не могла признаться, что, несмотря на ее неласковость, мне хочется рассказать ей то, чего не говорила даже отцу.

— Я пишу стихи,— сказала я внезапно, как выстрелила. Это была самая большая моя тайна.

— Ничего, это пройдет,— успокоительно ответила она.— А еще что ты делаешь?

Тогда я рассказала ей все, вплоть до наших с отцом прогулок. А об этом я мало кому говорила.

Она слушала внимательно, хотя и не говорила: «Ага. Так-так. Ну-ну. Понимаю»,— все, чем обычно поощряют рассказчика. Особенно внимательно слушала она о моем отце.

— Он человек замечательный,— повторяла я фразу, не раз слышанную мною от самых разных людей.— Ему все верят во всем. Он часто бывает третейским судьей, вы знаете?

— Он честный и добрый человек, это правда.

— Рабочие его обожают.

— А забастовка у него в типографии все-таки будет.

— Как? Не может быть.

— Уж поверь. Я знаю.

— Как же так? За что? Чего рабочие хотят?

— Хотят большего жалованья.

— Но ведь он больше не может. Он сам говорил, что платить больше — это будет уже благотворительностью. А раз он так говорит, значит, это правда. Значит, он больше не может.

— Не может, потому что должен зарабатывать.

— Но ведь он хороший человек, вы сами сказали. Он не обижает рабочих.

— Он хороший человек, но он предприниматель. И поэтому он всегда будет обижать рабочих.

— Но ведь он не может заниматься благотворительностью, он сам сказал.

— Ему только так кажется, что это благотворительность.

— Но ведь он хороший человек. Он — человек замечательный.

— Он человек замечательный, но на него работают рабочие, и он им недоплачивает. Это и есть его заработок.

Так я и билась в этом кругу всю ночь.

Утром кузина Анна уехала, и вскоре она опять уже сидела.

4

К началу первой мировой войны мой отец начал богатеть. У него появились компаньоны. Сначала это были просто друзья, теперь это были акционеры. Зашуршали акции, зазвучало слово «сейф».

Мы переехали на новую квартиру. Мы переехали в собственный дом.

От всего этого отец стал мне более чужим и далеким. Он отходил все дальше, и я видела, как сквозь подзорную трубу, его самого и его обновку: лошадь с пролеткой.

Крупный вороной конь, по имени Гектор, был на редкость неприятен. Он был слишком блестящ, велик, гремел копытами, как утюгами. Внутри у него что-то щелкало. Он стоил дорого и знал это.

Мне казалось, что мой легкий, быстроногий отец, сам отличный ходок, не любит это высокое черное животное и эту пролетку, символ богатства.

В 1927 году мой отец приехал ко мне в Москву умирать.

Мать умерла за год до него, в мое отсутствие. Уезжая из Москвы на лето, я, сама не знаю почему, позвонила ей еще раз с Курского вокзала по автомату. Я не видела ее смерти и не верила в нее. Просто мать перестала существовать для меня. Только ее голос какое-то время еще носился в воздухе. Мне все казалось, что мою мать можно вызвать по телефону оттуда, где она находится, еще раз услышать: «До свиданья, дитя мое». А потом и это прошло.

С отцом было по-другому. Медленно, изо дня в день, я наблюдала его угасание. Я не узнавала его, это был другой, качественно другой человек. Не только потому, что он сбрил свою милую бородку цвета осеннего листа и стал похож на пастора. И не потому, что старые голубые глаза, особенно левый глаз с удаленным хрусталиком, придавали его лицу вопрошающе-беспомощное выражение. Не это пугало меня, а то, как помрачалась его память. Жизнь темнела вокруг него, словно его переводили с планеты на планету, все более и более удаленную от солнца.

Иногда он называл мою маленькую дочь моим именем. «Как мама себя чувствует?» — спрашивал он меня о покойной матери.

Увидев в окне худую черную клячу дровяника: «Гектор — как похудел», — тяжело ворочая слова, выговорил он. Эта судорожная путаница замирающей памяти приводила в ужас.

Всегда чистоплотный, как белка, он пятнал теперь лекарствами и едой свой халат, даже не замечая этого. Однажды поздно вечером я услышала шорох за его перегородкой и заглянула туда. Сидя на постели, отец головной щеткой слабо водил по шерстяному носку: «Вот... чищу». Но тут же выронил из бессильной руки и носок и щетку.

«Так вот что такое старость, — думала я. — Разве

этот старый человек с синеватыми губами и таким страшным давлением крови, разве это мой отец?»

Он все забыл, он почти ничего не помнил. Жизненный круг его был так мал!

— Мой отец был человек замечательный,— сказала я одному своему другу. Тот потупил глаза: он не верил.

6

Когда сделалось тепло, я поселила отца рядом с собой на соседней даче. Я приходила к нему по нескольку раз в день, следила за тем, как он ел, сидела с ним на смолистой террасе, в тени крепких и крупных сосен. Эти сосны звенели на ветру, благоухали на солнце, остро чернели в прозрачном небе. «А помнишь наши тополя?» — спрашивал меня отец, и я понимала, что здешние деревья ничего не говорят его сердцу.

На даче вместе с отцом я поселила сиделку Марью Ивановну.

Сиделка Марья Ивановна — коренная москвичка, крупная, седая, с клубничным румянцем, сама называла себя бабой-ягодой. В свое время, до революции, она выходила целое поколение купцов, купчих и купчат. Купцы любили ее за богатырскую силу и хватку. Она взбивала жаркие купеческие подушки, растирала и промывала пудовые туши, принимала профессоров и архиереев, приезжавших к больному, оправляла лампадки у киотов, обмазанных жемчужной икрой.

При ней именитые купцы испускали дух. Наследники шептались с ней в задних комнатах у красных комодов. Иногда под халатом шуршали у нее важнейшие бумаги.

Рыхлые московские купчихи разрешались при ней от бремени. И вокруг новорожденных снова плелись-заплетались удивительные события. Происходили некие чудеса: девочка оказывалась вдруг мальчиком-наследником. Или, наоборот, крепкий младенец мужского пола проваливался как сквозь землю, а на его месте

слабо попискивала девочка — сразу видать, не жилица на этом свете.

Марья Ивановна одна из последних помнила замоскворецкое купечество. Она знала его с изнанки. Она хранила в памяти чудовищные селезенки, отеки от пьянства, язвы, одышки, бреды. За один такой вовремя подслушанный бред было ей вознаграждение: поездка в Ялту на бархатный сезон.

Она помнила предсмертные бормотания Коврижковых, Хлебниковых, Прянишниковых, Булкиных, Бубликовых и Караваевых, Соболевых и Медведевых, Лебедевых и Гусевых. Хворающее купечество щедро одаривало могучую бабу-ягодку брошками, шалями, отрезами на платье и суконными тальмами с тесьмой по краю. Большинство из этих подарков Марья Ивановна растеряла. Но избранные, наиболее любимые предметы, как, например, брошь-каменя, сохранились... Брошь эта была получена Марьей Ивановной от Маврикия Рожкова за излечение его дочери Елизаветы от любовного безумия.

В одну из долгих бессонных ночей, пропитанных эфиром и камфарой, Марья Ивановна рассказала мне, как все это произошло.

Первый рассказ Марьи Ивановны

Лизонька Рожкова, пепельная головка, шерсти никакой не носила — один шелк. От шерсти у нее экзема делалась: до того была нежна.

Она говорила по-французски, играла на рояли, отец для нее ничего не жалел. Но она была грустна, ах, как грустна. Гемоглобинов не больше пятидесяти процентов.

Пришел час, и влюбилась Лизетта в знаменитого французского дирижера. «Ах, говорит, этот фрак, эта белая грудь. Он на ласточку похож: реет над оркестром, и оркестр поет».

Познакомилась с ним, призналась ему в любви, сказала, что она богата и хочет за него замуж. И что бе-

рется уговорить отца. И хотя дирижер уже привык к этим восторгам и хотя таких Елизавет у него было на завтрак и в обед, но он тоже расположился к ней: она и вправду была мила. «Уй, говорит, уй, птит ¹. Хорошо. Поженимся».

Однако старик Рожков хоть и просвещенный был отец, но дирижера не мог переварить. Он сказал: «Нет». И это «нет» было как вот эта камешка, настоящий камень.

Дирижер, узнав об этом, сказал: «Домаж» ². И уехал. А Лиза сошла с ума. Резко депрессивное состояние. Не ест, не спит, стали появляться галлюцинации, и стало это дело затягиваться. Тут-то я попала к ним сиделкой.

Лиза бродит по комнатам, глядит в окно. В саду рдеет холодная георгина, ложится на землю кленовый лист, ласточки готовятся к отлету. Лиза глядит на ласточку и мне шепотом: «Это он, он — только уменьшенный. Видите, и фрак, и белая его грудь. И голос его птичий: птит, птит. Это он меня с собой зовет. Но я не могу, и вот он один улетает в дальние края».

И однажды метнулась моя Лиза со второго этажа за улетающим дирижером, да, к счастью, задержала ее бутылка с наливкой на подоконнике.

После этого отец определил ее в психиатрическую лечебницу. А я при ней сиделкой.

Живем мы месяц, другой, а дело плохо. Лиза день и ночь на подоконнике. Дожди, осень, птиц никаких. «Улетел без меня», — шепчет Лиза и теряет в весе каждый день.

Гуляем мы с ней как-то туманным деньком в тамошнем саду. И пришло мне в голову уязвить ее гордость. Показываю я ей на больничные окна (что она в больнице — это она знала) и говорю: «Обратите внимание, Лизочка, — вот женские палаты, а вот мужские. В женских девяносто процентов больных от несчастной любви, вот как вы. А в мужских — ни одного процента. Мо-

¹ Qui, petite — да, крошка (франц.).

² Domage — жаль (франц.).

жете у врача спросить. Какие угодно причины, только не любовь».

Лиза остановилась, вспыхнула, изменилась в лице. «Правда? Правда?» — спрашивает и пошла дальше. Ночью она не спала и все повторяла: «Девяносто процентов... вот как я. А там ни одного».

Наутро встала она бледная и почти разумная.

С того дня начала Лизочка поправляться. И когда совсем пришла в себя, отец в благодарность поднес мне эту камею, где Диана-охотница опирается на оленя. Впрочем, Лиза так и не вышла замуж. И умерла старой девой от вторичного припадка меланхолии.

Из дальнейших слов Марьи Ивановны выяснилось, что сама она вошла было в большую силу в семье Рожковых, стала там любимой персоной, и даже начал приглядываться к ней на предмет брака малоудачный, правда, но все же единоутробный брат Маврикия Рожкова, Кузьма. Но один непредвиденный случай все разрушил, и баба-ягода, потеряв какое бы то ни было влияние, была навсегда изгнана из рожковского особняка.

Второй рассказ **Марьи Ивановны**

Маврикий Семенович Рожков заболел гнойным аппендицитом. Схватило его в торговый час на Ильинке. Он успел только крикнуть: «Квасу мне». И тут же умчал его дымчатый рысак в клинику на Малую Молчановку, потому что не до квасу было.

Профессор Розанов, тогда еще молодой, но очень уже знаменитый хирург, сказал: «Резать». На операционном столе Маврикий Семенович воскликнул: «Господи, смягчи душу оператора», а под наркозом так ругал каких-то лабазников с Ильинки, — конкурентов, стало быть, что молодой Розанов сказал: «Обратите внимание, сестры, какие трудные случаи бывают».

Впрочем, сама операция прошла прекрасно. На третий день больной повеселел уже настолько, что

принял посетившего его главного приказчика и просмотрел счета. А вечером пожелал увидеть свой вырезанный аппендикс, поскольку ему сказали, что все они хранятся в спирту.

«Я, говорит, хочу его видеть, какой он. Я с ним пятьдесят четыре года прожил. Сколько мы с ним выпили и съели, однажды тонули, дважды горели. Нет, обязательно должен я с ним увидаться».

Что ж! Принесли ему в банке отросток. Поднял он баночку на свет, как стопку водки, и прослезился. «Прощай, говорит, друг сердечный, закорючка ты моя милая. Прощай навек». Глядит он на банку глазами, полными слез. И в эту минуту вбегают к нему в палату тамошняя сестра, дурочка, понятно, и в руках у нее другая банка. «Простите, говорит, ради бога, простите, мы все извиняемся. То не ваш был аппендикс, это ошибка. А ваш вот». И подает ему.

Маврикий Семенович побагровел. «Как не мой? А чей же?»

— Чужой. Помощника присяжного поверенного. Просто случайно перепутали.

«Как, говорит, помощника присяжного поверенного? Иудея, может быть? Это я, выходит, над его отростком слезы лил? Кто это мне устроил, признавайтесь?»

— Это я, Маврикий Семенович, — говорю. — Только я ведь не виновата. В лаборатории спутали.

«Ах, вы? Это вы издеваетесь? В таком случае, чтоб я вас больше не видел».

Ну, я и ушла от него тотчас же. Отростка он мне никогда не простил. А Кузьма Рожков... уж я вам признаюсь, я к нему привязалась. И долго не могла забыть. Милый был человек, только слабый. Потом он спился окончательно, но против воли братовой не пошел. А я в девках так и осталась, — с неловкой улыбкой заключила Марья Ивановна и пошла кипятить шприц для камфары.

Много таких рассказов выслушала я от этой замоскворецкой Шахерезады. Глухо и причудливо, как сквозь стекло, проходили передо мной человекоглыбы, давая мелкоту.

Иногда на отца находило молчание. На полчаса, на час он как бы лишался дара речи. Он не хотел или не мог говорить, и врачи не умели с этим бороться. В такие минуты отец, подняв брови, преданно глядел на меня и Марью Ивановну своими старыми голубыми глазами, исполнял все наши требования и молчал. Потом это проходило, только некоторая неслаженность, невнятность и медлительность речи исчезали не сразу. Медленно, с большими паузами, он доставал откуда-то издалека нужные слова.

В бессолнечный, безветренный день в тихом воздушном столбе толклась мошкара и осыпалась нагретая хвоя. Дятел долбил сосновую кору.

На террасе отец, по пояс укутанный в плед, медленно и неохотно ел землянику с сахаром, которую ему ложку за ложкой подносила ко рту Марья Ивановна. Отец молчал. Марья Ивановна тоже молчала, строго глядя на ягоды сквозь очки.

«Все привередничает сегодня,— сказала она мне.— Перед грозой, что ли. Видите, как ест».

Я села рядом с отцом и взяла ложку из рук Марьи Ивановны. «Папочка, папа, почему ты не хочешь есть? Ну, еще ложечку. Не хочешь? Почему? Не надо капризничать. Разве это не вкусно? Нет, это очень вкусно. Так в чем же дело? Если ты меня любишь, ты съешь до конца».

Отец преданно поглядел на меня и проглотил еще ложку. Слеза покатила по его щеке, но я проворно вытерла ее салфеткой.

Еще и сейчас я слышу: дятел — тишина, дятел — тишина. Звучит мой голос. Вижу: последнюю ложку с горкой ягод; сахар тает на них. Одна из ягод (земляника) еще с листенной чашечкой. И эти старые голубые глаза (левый с удаленным хрусталиком), с их непередаваемым выражением любви, покорности и отчаяния.

Я пожалела его и съела сама эту последнюю ложку. Он сделал движение, чтобы помешать мне, ему для этого почти удалось поднять парализованную руку, губы его

дрогнули. Но я: «За твое здоровье, милый», — сказала я и проглотила ягоды.

И меня обдало жаром, ожгло огнем. Ягоды по ошибке были посыпаны солью. Это была соль, соль, а не сахар. Вот почему он так плохо ел. А мы не понимали его...

Вечером небо очистилось. Тяжелая луна стала подыматься все выше, становясь все легче, точно меняя материал, из которого она сделана.

Я тихо подошла к домику, где жил отец, и заглянула в окно, затянутое тюлем от комаров. Небольшое такое окошко.

Сквозь тюлевую дымку, как сквозь слезы, я увидела знакомую комнату, лекарственный столик под салфеткой, керосиновую лампу на другом столе, бабочку над лампой. стакан воды. Одеколон. Тюбик с вазелином. В углу над умывальником Марья Ивановна мыла руки.

На кровати, не прикасаясь к подушкам, нагнувшись вперед, худенький, в шерстяной фуфайке, сидел отец и обводил пальцем узор одеяла: я хорошо знала эту позу. На его руке ярко синели толстые вены, концы пальцев были сморщены. Вот он поднял голову. Очевидно, Марья Ивановна что-то сказала; а он недослышал и теперь с напряжением глядит на нее. Войти к нему? Уложу его и уйду. Нет, не стоит тревожить. Это обычное небольшое удушье, не более того. Завтра приду пораньше.

И я отошла от затуманенного окна.

8

У себя дома не успела я раздеться и лечь, как услышала быстрые далекие шаги. Они как бы катились сверху. Вот бег замедлился у нашей калитки, вот скрипнула калитка, вот зашумел гравий по дорожке, вот дернули ручку на террасе и метнулись от двери к окну. Вот стук в окно. «Тетенька, — изнывая от быстрого бега, говорит мальчишка с соседней дачи. — Ступайте скорее. Старичок ваш помирает. Марьяванна послала. Я уже спал, а она послала. Скажи, говорит, помирает, жить перестает...»

В комнате было все то же. Еще не просохло полотенце Марьи Ивановны, еще не обгорела бабочка над лампой. Еще почти не вдавились подушки на отцовской постели, а отец умирал. Переставал жить.

Он не успел даже лечь, он сидел. Он только прислонился к подушкам.

— Папочка, папа, папа, одно слово. Только одно. Открой только глаза, взгляни на меня. Марья Ивановна, что же это? Ведь только что... Папа, слушай. Слышишь меня?

И вдруг отец как бы прислушался. Светлое движение прошло по его лицу, словно быстро, сверху вниз, пронесли лампу. Он почти улыбнулся мне. Он вздохнул легко, небрежно, не придавая этому значения. Вздохнул, как здоровый, которому отпущено в жизни еще миллион таких вздохов. И это был конец...

Отец лежал мертвый в своей шерстяной фуфаячке. Марья Ивановна негромко разговаривала с врачом, за которым бегал тот же парнишка, что и за мной. Врач пришел в самую минуту смерти. Это была женщина молодая, загорелая, в белом платье, покусанная комарами, с пузырями на руках.

Я сорвала тюль с отцовского окна. Лунная ночь продолжалась. Скошенная с одного края луна, уже не алюминиевая, а чистого тяжелого серебра, стояла над террасой.

На крыльце сидел хозяин дачи, босой, в рубашке на выпуск, сонный, и курил. Рядом с ним сынишка. Он разгулялся, спать ему не хотелось, и он приставал к отцу:

— Тять, а теперь куда?

— Теперь никуда. Куда же теперь побежишь? Конец пришел.

— А давай хоронить.

— Это не скоро, сынок. Сначала надо в загс еще.

— Дай сбегаю в загс.

— Дурачок. Там спят сейчас. Утром надо.

— А что это загс, тять?

— Это, сынок, «Запись актов гражданского состояния».

— А зачем туда?

— Ну, как же. Смерть — ведь и она гражданское состояние.

Я снова подошла к отцу. Он был на той грани, которая отделяет умирающего от мертвого. Он лежал еще в постели, как лежат больные. Еще по-живому вмяты были подушки, скомкано одеяло. Еще стоял недопитый стакан воды. Но поднятый кверху профиль, начинающий уже восковеть, комар, холодно отлетевший от руки, не ужалив ее, — все свидетельствовало о том, что наступила смерть — состояние, из которого нет выхода.

1938

О МОЕЙ ДОЧЕРИ

I

Моя дочь Мариша училась в школе для «особо одаренных детей». Основными предметами там были: ритмика, биомеханика, пластика, декламация, лепка и рисование. Прочие науки были ущемлены. Чем точнее была наука, тем хуже с ней обращались. Горше всего приходилось преподавателю математики. Воровски озираясь, он втолковывал ученикам дробь. Ему верили на слово. Вникать во все это было некогда.

Родители посмелее жаловались, что дома дети их стоят на голове, свисают вниз головой со шкафов и декламируют перед зеркалом. «Мы никогда не видим наших детей за книгой»,— сетовали родители.

«Особо одуренные», как многие их называли, были невежественны, заносчивы по отношению к обычным, «неодаренным», и вообще трудно переносимы.

Разочаровавшись в этой школе, я взяла отсюда Маришу и поместила ее в другую, обычного типа. Но и там моя дочь успевала не лучше.

Придя домой, она швыряла книги на диван.

— Шамать хочу! — восклицала она.

— Мариша, вымой сначала руки.

— А на кой мне это?

«Бузовая книга», — отзывалась она о «Детстве Никиты» Алексея Толстого.

Ее жаргон был ужасен, с ней не было сладу. Я не понимала эту растрепанную девочку с обкусанными ногтями. Где было персиковое дитя недавних лет? Я утратила его.

Мариша не любила читать, писала «чюлки, чювство, луче, шышка, асабняк». «Я так слышу», — упорно твердила она.

Свой досуг она заполняла рисованием. Но ее рисунки не радовали меня. Это были изображения кинозвезд в профиль: фиолетовый глаз и волосы морковного цвета.

В один из дней, когда я была особенно занята, меня (уже не в первый раз) вызвали в Маришину школу для объяснения. Был конец учебного года, поздняя весна.

Я поднялась по прохладным ступеням бывшей гимназии и села к двум женщинам, вызванным, как и я, для объяснения. Одна из них, с кошелкой, все вздыхала: «До чего плохое поведение у моей... даже рассказать трудно».

Наконец позвали меня.

У завшколой было правильное, твердое лицо. Волосы гладко зачесаны за уши. Она мне напомнила мою мать. И я ощутила робость.

Удивительно, как живучи эти детские воспоминания!

Завшколой сообщила мне, что моя девочка «вне школьного коллектива», что она рассеянна, неаккуратна и что «надо принять меры». Я же в это время думала о том, что мне давно пора быть на Девичьем поле в Институте раковых опухолей на переливании крови. Это нововведение в медицине очень интересовало газету, где я работала, и я должна была к завтрашнему дню дать туда статью.

Я сидела и волновалась.

Часы за моей спиной пробили один раз. Я не знала, час это или половина второго. Для меня эти полчаса были очень важны, но повернуться было неудобно.

— Вы не волнуйтесь,— сказала завшколой.— Все это в конце концов поправимо.

Я покраснела еще пуще, на этот раз от смущения. Так я и вышла из этой комнаты, вся красная. Даже глазам стало жарко.

— Ну и ну,— сказала женщина с кошелкой при виде меня.— Попало, значит. Ох, дети, дети!

Но я, не слушая ее, стремглав летела на Девичье поле.

Операционная вся была из стекла и зноя. Пахло кровью, хлороформом и спиртом. Все бело: халаты, стены, инструменты. Только лица студентов за низенькой оградой были румяны от жары и внимания.

В центре всей этой белизны я увидела бурое пятно, запрокинутое назад. Мне показалось, что это кусок глины. Я подумала: «Откуда здесь глина?» Но это было лицо больной.

В эмалированном тазу необычной формы лежала только что вырезанная опухоль. Знаменитый хирург укладывал в брюшину все, что он там разворошил.

Раздавался его негромкий голос, объясняющий студентам, что именно он делает.

Белизна, жара и эта кривая игла, прокалывающая желтоватый слой жира,— от всего этого вдруг ослабели ноги. Захотелось зевнуть и сесть на пол. Только мысль о позоре, если это случится, опажнула меня, как ветром, и привела в себя.

После операции приступили к переливанию крови. Тогда еще не умели предохранять кровь от свертывания и перекачивали ее непосредственно из руки в руку.

Кровь брали у двадцатилетней жены больничного швейцара. Плечо к плечу, как два сообщающихся сосуда, легли две руки: цветущая, смуглая, в голубых жилках, и дряблая, серая, старушечья. Из обеих извлекли вены и поддели под них марлю, чтоб не ушли вглубь. Надрезали, вставили стеклянные канюльки, и заработал шприц, перекачивая жизнь в полумертвое тело.

Я приподняла полотенце, покрывающее лицо жены швейцара. Она лежала спокойно, только глаза глядели напряженно и на смуглой верхней губе блестели

капельки пота. «Скоро? — спросила она шепотом. — Не больно, а боязно. Я ведь в первый раз».

У нее взяли пятьсот кубиков крови...

В другой раз все было иное. Красный кирпичный остов на углу Тверской и Газетного превращался в здание телеграфа. Ветер свистел в пролетах, стен еще не было, под ногами была пустота, от которой тоже захотелось зевнуть. Бетоньерки работали с шумом прибоя, когда галька скрежещет о камни. (Я с детства помню этот звук. Я ведь родилась у моря.)

Во всем этом — в стеклянной тишине операционной, в скрежете бетономешалок, в лекциях и музеях — вставала новая Москва. Ее строили, лечили, работали над настоящим и готовили будущее.

Я училась писать обо всех этих вещах кратко, вразумительно и обязательно интересно. Когда в трамвае мне случалось видеть человека, читающего мою статью, я внимательно следила за ним: улыбается ли, дочитывает ли до конца, делится ли с кем-нибудь впечатлениями.

Обычно я укладывалась в двести строк. Это совсем не так мало, если хорошо распределить материал. Главное — не писать водянисто.

В моей работе над нужной густотой вещи мне помогало то, что я писала стихи. Прозаики обычно воспринимают слова массивом, а поэт чувствует каждое слово в отдельности. Правда, иногда получается слишком мелко, слишком выписанно, но от этого легко избавиться.

2

Как-то вечером, вернувшись домой, я услышала восхищенный Маришин возглас. Давно она уже ничем не восхищалась. Она хворала свинкой, целый день сидела одна, рисовала, писала что-то, клеила маленькие замурзанные конверты и вкладывала туда записки. Эти ее неотправленные письма валялись повсюду. Я все собиралась взглянуть, кому она пишет, и все забывала.

Сейчас рядом с Маришей сидел мой товарищ по газетной работе Юлий Заузе, чьей специальностью были

стихотворные фельетоны. За бесконечные романы в личной жизни мы прозвали Юлия «крупнейшим романистом нашего времени». Меньше всего этот человек был приспособлен к обязанностям сиделки и бонны. Но он оказался именно в этой роли.

Мариша и Заузе сидели рядком на диване, склонившись над листом бумаги. Юлий что-то импровизировал. Острое рыльце карандаша бегало по бумаге вслед за словами. На этот раз это были стихи о Зоопарке:

Озабочен
И очень
Бледен,
Сторож бродит и тут и там:
«Вы не знаете ли, медведи,
Куда девался гиппопотам?
Не открыл ли он вам, бизоны,
Свои замыслы и резоны?
Милый бобр,
Будь так добр:
Вы же оба росли в воде.
Я прошу, чтоб хоть ты, горилла,
Наконец-то заговорила,
Где сосед ваш,
Скажите, где?»
«Что за шум, отчего тревога,—
Из воды отвечает плут.—
Я ушел погулять немного,
И теперь я, гиппопо, тут...»

Так писал Юлий.

При виде меня Мариша перестала смеяться и закрыла рукой изображение гиппопотама: в непромокаемом плаще, с зонтиком под лапой, он высовывался из бассейна.

У меня дрогнуло сердце. Я поняла, как одинока, как несчастлива моя Мариша. Какие мы с ней недруги: ничего не можем простить друг другу. Я не прощала ей ее ошибок, она мне — моих.

А ведь это было совсем еще дитя. У нее еще бывали необъяснимые ребячьи насморки, налетавшие без всякой простуды. Ее глаза слезились, нос краснел и наука окончательно не лезла в ее круглую головенку с двумя косицами, которые она не разрешала срезать и

не причесывала как следует. Тоже одна из причин раздора между нами.

В такие насморочные дни Мариша, готовя со мной уроки, еще меньше, чем обычно, была способна к восприятию признаков делимости на семь. Ее мучили надобность в платке, который она, по обыкновению, потеряла, и страх, что я замечу эту потерю.

— Почему ты не возьмешь платка? — злорадно осведомлялась я. А она смотрела на меня яркими глазами больного зверька. «Ведь ты же знаешь, что я его потеряла, — говорил этот взгляд. — Так зачем же, зачем?»

«Я прекрасно знаю, что ты его потеряла, — говорили мои глаза. — Но это меня не касается. В жизни важнее всего порядок».

Сейчас я вспомнила, как давно мы не были вместе, как давно не говорили ни о чем, кроме уроков.

— Мариша, — сказала я, — скоро, совсем скоро, на днях, у меня будет три свободных дня. И, если ты хочешь, эти три дня будут твои. Если ты хочешь, конечно.

Мариша медленно повернулась ко мне всем телом, из-за свинки двигать шеей она не могла. В глубине ее темных зрачков ожила светлая точка.

— Я хочу, — сказала она.

А на другое утро я получила письмо от Сергея Широкова, человека, который был мне дорог. «Литераторша вы моя, рыбка, — писал Широков. — Помнится, было мне обещанье приехать денька на три ко мне в Муром, как только налажу работу на заводе. Я, конечно, вам не чета, писать не мастер, но я прошу, ну, понимаете, прошу: приезжайте. Я выкроил и сберег эти три дня. Я вас, литераторшу мою, рыбку, поселю в светелке, откуда виден весь завод. Березовые дрова лежат уже в печи, вас ждут. Белый снежок выпал, вас ждет.

Да что там расписывать! Выеду вас встречать в ночь со второго на третье. Ваш Сергей...»

— Мариша, — сказала я, входя к ней за перегородку, — милый дружок. Тут, понимаешь, одно осложнение. Эти три дня, которые я тебе вчера обещала... к сожалению, я буду занята. Меня посылают в Муром на за-

вод. Я должна буду писать о нем. Но ты не грусти, мы еще с тобой так закутим! А теперь зато ты пойдешь с Нюшей в кино. Великолепная новая картина. Тебе хочется в кино, Мариша?

— Хочется,— вежливо ответила Мариша.— Спасибо.

3

Если бы я писала роман, я была бы вольна в судьбах своих героев. Тут-то я и рассказала бы, как я совладала со всеми трудностями, распутала все узлы. Как я и дочку воспитала, и в работе преуспела, и сама была счастлива. Но ничего этого не было. Что же касается Мариши, то именно к этому времени, пав духом, я надумала отправить ее на воспитание в Париж, к отцу. Хоть и не слишком горячо, он все же предлагал мне это.

Первые годы нашей совместной жизни мы провели с мужем в Париже, в небольшой квартире, недалеко от Люксембургского сада.

Мой муж забросил свою основную профессию — юриспруденцию — и переключился на художественную критику. Его специальностью были неоимпрессионисты, но он любил и классиков. В Лувре он подолгу стоял перед «Разбитым кувшином» старика Энгра. Прищурился глазами и склонив голову к плечу, он медленно, как через соломинку, втягивал в себя картину. Он и меня приучил к Лувру.

Войдешь туда — и с тихим шелестом и звоном обступят тебя жены и девы. Юноши и мужи. Младенцы. Поблескивают удила, гвоздика сияет в бокале, развевается шарф. И все это недвижимо, навеки неизменно.

Стоишь перед «Источником» Энгра. Луврские паркеты блестят ледяным блеском. Копиисты, держа палитру большим пальцем, наносят на полотно мазочки. За окном парижская зима. Семь градусов тепла, дождевые капли падают, как в вечность. Дождь.

Какое-то обмирание находило на меня от этих луврских тишин. Кажется, колыни меня булавкой, и я не

почувствую укола. Выйдешь на улицу, как из курильни опиума: жмуришься, моргаешь, ежишься. Скорей бы домой, выпить крепкого кофе, кончить день в полудремоте. А завтра снова Лувр.

Было это накануне мировой войны.

Мы жили довольно уединенно. Несколько живописцев и скульпторов ходило к нам, это были французы. Мой муж не любил соотечественников, особенно политэмигрантов. «Это фанатики», — говорил он о них, пожимая плечами. Но все же иногда он снисходил к «фанатикам», встречался с ними и однажды даже провел вечер в русской колонии.

В низком сыроватом помещении в пользу русской эмигрантской библиотеки был устроен маскарадный бал человек на сорок. Молодые и старые эмигранты, политкаторжане, болевшие цингой, шлиссельбуржцы, люди, знакомые с петербургскими «Крестами», люди, побывавшие на Каре, травимые, изгоняемые, уничтожаемые, собравшись на чужбине, веселились от души. Их маскарадные костюмы, взятые напрокат в дешевых костюмерных или состряпанные дома, выглядели беспомощно, особенно после драпировок, бархатов и шелков Лувра.

Опасные люди, революционеры, при имени которых вздрагивали министры, заговорщики, подпольщики — все они, одетые теперь рыцарями, поварами, ковбоями и матросами, расхаживали по залу. Черные полумаски забавно сидели на иных бородатых лицах. Иногда изпод маски выглядывало пенсне на черном шнурочке. Женщины в бумажных цветах, мотыльках и звездах изображали времена года. Одна из них, помню, была одета Зимой. Вата, осыпанная борной кислотой, лежала у нее на плечах. Лицо было покрыто тюлем. «Я тебя знаю, маска», — галантно обратился к ней пожилой капуцин. Да и как ему было не знать ее, когда они вместе были в ссылке, а до того перестукивались в киевской тюрьме. Зима кокетливо засмеялась и потрепала капуцина по плечу, осыпая его борной. Потом они пошли танцевать.

Муж мой, как и следовало ожидать, оделся в высшей степени изысканно: звездочетом. Синий шелк его хламиды был расшит знаками зодиака, остроконечная тиара усажена звездами. В руках он держал магический хрустальный шарик, в котором отражалось будущее.

К звездочету приблизился фавн в шерстяном коричневом трико и меховом коврике у бедер. На коврике, по рассеянности, был оставлен ярлычок с ценой. Очевидно, вещь была куплена на распродаже.

— Я прошу тебя, мудрый звездочет,— заговорил фавн,— составить мой гороскоп. Мне важно знать будущее.

Толпа окружила их. Каждому хотелось знать будущее фавна, чудом спасшегося от царской виселицы.

Звездочет откашлялся и оправил свои висячие рукава.

— Ты родился под неблагоприятным влиянием Сатурна. Желчь и пепел. Но Марс нейтрализует злобные флюиды, и ты одержишь верх над теми, кто раньше властвовал над тобой,— предсказывал астролог, явно издеваясь над тщедушным фавном, с его природной козлиной бородкой, вылезавшей из-под маски.

Кругом засмеялись.

— И скоро это будет, позволь спросить тебя, о мудрец? — осведомился фавн.

— Скоро. Готовься. Сроки близятся. Ты на пороге.— И астролог прошествовал в глубь залы к мандаринам и бутербродам.

Фавн остался один. Он снял утомившую его маску и протер глаза под очками.

— «Сроки близятся. Ты на пороге». И он действительно прав,— сказал он, ни к кому не обращаясь.

Первые годы революции я не имела сведений о своем бывшем муже. И только постепенно наладилась переписка, если только можно назвать перепиской нечастый обмен вежливыми письмами. Муж сообщал мне о своей жизни в Париже, об успехах в области журналистики. Он сотрудничал в двух французских газетах, но основным его делом было рекламное бюро с новыми «высококультурными» методами рекламы.

Знание классической живописи и литературы оказало моему бывшему мужу огромную помощь. Один из первых он привлек к делу рекламы классиков. Жен и дев. Юношей и мужей. Младенцев. Все они работали на рекламу. Мадонны Луини и Боттичелли, кормящие грудью, удостоверяли, что лучшим средством для подкармливания младенцев является «Фосфатола». Старцы, подглядывающие за обнаженной Сусанной, гораздо лучше видели сквозь бинокли фирмы «Крок». Свидетели чуда в Кане клялись, что на брачном пиру вода, по слову Христа, превратилась не в простое, а во «всемирно известное тонизирующее вино Сен-Рафаэль, незаменимое при вялом кишечнике». И, наконец, знаменитая Маха, изображенная художником Гойей в двух видах, одетой и раздетой, безупречностью своих форм была обязана мастерской Вильм: «Бюстгальтеры и корсеты».

Вслед за живописцами участие в деле рекламы приняли и гении слова: Шекспир, Гете, Байрон и многие другие. Лучшим названием для снотворного препарата муж считал слова Кальдерона: «Жизнь есть сон», что и было выгравировано на каждой таблетке.

4

К этому-то человеку предстояло отправиться Марише. Французское письмо уведомило меня, что «Мариэт будет воспитываться в лицее имени Расина и жить в лицейском интернате», что мне не о чем больше заботиться.

И вот, как это часто бывает с недобрыми решениями, Маришин отъезд начал осуществляться с поразительной быстротой. Вот уже закончены все предотъездные дела. Выправлен заграничный паспорт, найдена спутница, профессорша, сшито дорожное платье, синее с красным. Мариша, радостная, примеряет его перед зеркалом. Она, видимо, очень рада, что едет в Париж. Очевидно, ей легко дается разлука со мной.

Мы расстаемся с Маришей... на сколько? Может быть, на всю жизнь.

Мариша, та самая, которая в детстве вместо «перчатки» говорила «чепак». Вместо «макарон» — «вакаморы». Которая лягушек называла «квакерами», эта самая Мариша уезжает теперь от меня так далеко. Как это больно и мне и ей.

Но нет, напрасно я тревожусь. Она совершенно спокойна. Ей не горько, не одиноко. Она легко расстается со мной, со школой, с русской орфографией. Пусть едет, холодный ребенок! Пусть!

Наступает последняя ночь. Вещи уложены в маленький чемодан. «Зачем мне все это, — говорит Мариша надменно, — в Париже у меня будет все новое». — «Покройной ночи, Мариша», — говорю я и медлю на пороге: не позовет ли она меня. Не скажет ли, что хочет остаться. Тогда мы сейчас же, сию минуту распакуем маленький чемодан, отзвоним профессорше, возвратим паспорт.

Но нет. Совершенно спокойно Мариша засыпает. Холодное, холодное сердце!..

— Ну, Мариша, девочка моя, теперь пора. Дай еще раз поцелуемся с тобой. Кланяйся папе. Пиши мне. В вагоне сразу сними пальто, там жарко. Кланяйся папе.

— Ты уже второй раз говоришь это, — тихо отвечает Мариша. — Дай я поцелую тебя.

Поезд тронулся с места. И в эту минуту я увидела Юлия Заузе. В желтых крагах и белой малице стоял он на перроне, иступленно махая платком. Увидав меня, он опустил руку.

— Что вы здесь делаете? — спросил он меня.

— А вы?

— Я провожал одну женщину. И, сказать правду, счастлив.

— А я провожала Маришу. Я отправила ее в Париж. К отцу.

— Как? Как вы сказали?

— Она уехала в Париж. У нее там отец.

— Но это невозможно! — закричал Юлий так громко, что многие оглянулись. — Да как вы смели? Кто вам позволил?

И он сделал такое движение, словно желал удер-

жать поезд. Но он уже был далеко. Низко над землей убегал красный фонарь последнего вагона. Да и тот скоро скрылся в косо падающем снегу. Начинаясь зима.

* * *

Каким холодом встретила меня наша комната. Маришин уголок за перегородкой пуст, туда страшно взглянуть. Но я все же иду и сажусь на низенький детский стул. Вот книги, оставленные Маришей. «Робинзон Крузо», подарок Юлия Заузе.

Я открываю книгу в том месте, где лежит закладка. Но это не закладка, а маленький измазанный чернилами и клеєм конверт Маришиного изделия. Я так и не удосужилась до сих пор узнать, кому она писала.

«Дорогой Робинзон,— писала Мариша,— я пишу тебе в последний раз. Я уезжаю далеко. *Луче* я не скажу тебе, как мне *грусно*. Я *чювствую*, что не могу этого описать.

Обнимаю тебя и дорогую Пятницу...»

Кто мне позволил? Как я смела? Но поздно... поздно.

О ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЯХ

Воскресенье

Неяркое осеннее солнце слабо и нежно касалось наших щек. Сидя на скамье маленького углового сквера, у стены полуразрушенного дома, Миша Поляков рассказывал мне:

— Мама, папа, мой младший брат и я — мы приехали в Ленинград из такого города, где не было Зоосада. Там были свиньи, кролики, лошади и утки. Но я, конечно, больше всего хотел видеть мамонта с бивнями. И когда я узнал, что мамонтов больше нет и что на свете остались только слоны, я стал думать, как бы их повидать.

И вдруг мы приезжаем в Ленинград и начинаем жить на Зверинской улице. Она называлась так потому, что рядом, в Зоосаде, жили самые разные звери: свиньи, кролики, лошади и утки, индокитайская свинья, бегемот Красотка, двугорбый верблюд. И самое главное — слониха Бетти.

Я стал просить маму: «Мама, пойдем к Бетти». Но мама отвечала: «Ты этого не заслужил».

— А ты действительно этого не заслужил? — спросила я Мишу.

Миша замялся, но ответил:

— Действительно. Но это было из-за моего младшего брата. Мой младший брат как раз тогда недавно родился. Он днем спал, а ночью плакал. Мама сердилась и говорила: «Хоть бы вы наладились спать и плакать в одно время, а так просто невозможно!» Но я не мог плакать ночью.

— А не плакать днем ты не мог? — спросила я. Миша покачал головой:

— Нет, я был еще очень маленький. Но все-таки я старался, и мама стала замечать это. И даже папа, хотя он был у нас очень занят: он был доктор.

Один раз мама говорит: «В это воскресенье мы все пойдем в Зоосад».

В это воскресенье я встал очень рано и приготовился идти. Мы ждали только папу. И вдруг мама говорит: «Мы не пойдем в Зоосад. Сегодня началась война, и наш папа уже на войне».

Скоро немцы стали бросать в нас бомбы. И, самое главное, в Зоосад. Звери многие страшно испугались и стали разбегаться. Одного соболя потом нашли в оркестре оперного театра. Бизон, бедный, упал в бомбовую воронку, такую глубокую, что она укрыла его всего, вместе с высокой гривой. А слонику Бетти осколком ранило так сильно, и она так мучилась, что пришлось ее пристрелить. Уж не знаю, когда у нас теперь будет новый слон.

— А твой младший брат тоже любит животных?

— Он их одно время совсем не знал. Прошлой весной увидал в магазине кошку и спрашивает: «Что это такое?» Он ни кошки, ни собаки ни одной не знал.

— Но теперь-то он их знает?

— Теперь у нас кошка и трое котят. Когда начинается обстрел, мы кладем их в папин портфель и уходим к соседям: у них квартира на необстрелянную сторону. А кошка идет сама.

— А днем ты еще плачешь когда-нибудь?

— У меня времени нет: я маме помогаю. Она мне говорит: «Расти скорей, ты мой помощник». Но когда она увидела, что мое зимнее пальто на меня не лезет, она расстроилась и сказала: «Ты так растешь, что за

тобой не утонишься». Вот видите, как получается, — то расти, то не расти.

— Конечно, расти, — посоветовала я. — Твоя мама просто пошутила.

— Вот и я так думаю, — ответил Миша.

— Вырастай скорей. Ты счастливее: тебе предстоит жить на земле, избавленной от ужасов фашизма.

Сказавши это, я спохватилась, что передо мной ребенок, что он не поймет меня. Но он прекрасно понял. Его серые с искорками глаза просияли.

— Вот и я так думаю! — воскликнул он. — Я расту, и мой младший брат тоже растет. Он уже окончил ясли и поступил в очаг. Я говорю ему: «Скоро вернется папа. Опять будет воскресенье. Мы все пойдем в Зоосад. И никто не будет бояться».

И, увидав эту картину будущего, нарисованную ребенком, я закрыла глаза. Мне почудилось, что зимнее солнце, в одно мгновение обежав земной шар, снова показывало весну человечества.

Бессонница

Внезапно комната осветилась недобрый светом. Окно, которое Миша на ночь растемнял, для того чтобы не проспать утром в школу, выступило из мрака. В нем обозначились тревожно струящееся дерево, кусок крыши и облако, словно вылепленное из пламени.

Озаренная алыми отблесками, Туся проснулась и заплакала. Тотчас же Миша босиком перебежал комнату и наклонился над Тусиной кроватью.

— Ну что ты, глупенькая, — сказал он, — ведь это вражеская ракета, висячая. Сейчас ее наши зенитки собьют. А ты уже думала, что молния... Она грозы очень боится, — зашептал он Ивану Петровичу, лежащему на диване. — Вот она какая нервная стала. Чуть что — и сна нет. Бессонница у нее получается. Очень плохой сон.

Иван Петрович только вздохнул в ответ. У него у самого сон был настолько плох, что он, спасаясь от бессонницы, приходил к двум этим детям в соседнюю

комнату. Лежа у них на диване, Иван Петрович впадал в краткое забытие. Но и тогда его не покидала мысль о семье, оставшейся в оккупированном немцами районе.

— Мишенька,— повторяла между тем Туся безнадежным голоском,— Мишенька, пойдём к нашей маме.

— Наша мама дежурная, и ты это знаешь. Она придет утром. И ночного пропуску у нас тоже нет. Хочешь морковку?

— Не хочу я морковки.

— Вот так и будет теперь ныть до утра. А у меня завтра первый урок — география. Балканский полуостров. Тут силы нужны, а она спать не дает.

— Может быть, почитать ей что-нибудь,— предложил Иван Петрович, грузно садясь на диван.— Из «Жизни животных» Брема что-нибудь?

— Да ведь у меня весь Брем погиб. Остался один только том: змеи.

— Не хочу змей,— выговорила Туся с глубокой тоской.— Я их не хочу.

Она сидела на кровати, лицом к окну. Подбитая ракета, распадаясь в воздухе, освещала блестящие от слез глаза и светлые волосики, до того легкие, что их колебало дыхание. Наконец небо погасло, и тотчас же в силу вошли осенние звезды. Поздний месяц, как светлый ковшик, закачался в окне.

— Я не хочу его,— со слезами сказала Туся, указывая рукой на месяц,— пусть уходит.

— Он уйдет, когда ему полагается. Не распоряжайся, пожалуйста,— рассердился Миша, у которого забли босые ноги.

— Погоди, Миша, не злись,— вмешался Иван Петрович.— Туся, дитя мое, хочешь, я расскажу тебе сказку?

— Вот-вот,— фыркнул Миша, укладываясь в постель.— Сказка...— Он презрительно засмеялся и уснул.

Иван Петрович закрыл глаза рукой. И ему почудилось, что время, легко пробежав обратно по годам, как по клавишам, вновь зазвучало далекой, милой нотой:

Иван Петрович, молодой отец, вновь рассказывал своей дочке, той, что сейчас у немцев, ее любимую андерсеновскую сказку «Русалочка».

Русалочка, дочь морского царя, полюбила прекрасного принца, спасенного ею во время кораблекрушения. Для того чтобы избавиться от своего рыбьего хвоста, превратиться в женщину и не разлучаться с любимым, русалочка отправилась за советом к колдунье, в ее подводное логово.

Электрические скаты, спруты и полипы сторожили жилище колдуньи. Своими длинными подвижными присосками они хватили и убивали каждого, кто пытался приблизиться. Но русалочка, любя принца, все превозмогла. Она получила от колдуньи желанный совет, но взамен она отдала ей лучшее, что имела: чудесный голос, которым чаровала все море. Русалочка стала немой, но зато теперь у нее были красивые маленькие ножки. Она так легко ступала ими, что никто не мог себе представить, чего стоил ей каждый шаг. А он стоил русалочке таких страданий, как будто она шла по острым ножам.

— Это ей, наверное, было как босиком по осколкам идти,— вслух подумал Миша.

— Разве ты не спишь? — удивился Иван Петрович.— А Балканский полуостров?

— Я сплю,— угрюмо ответил Миша и повернулся лицом к стене.

— А я — нет,— сонно пролепетала Туся.

Иван Петрович негромким голосом досказал сказку: русалочка не была счастлива. Принц женился на другой девушке, не русалке. Русалочкины сестры не пожалели ничего, чтобы спасти свою любимицу. Они тоже отправились к колдунье, с трудом миновав смертельную зону спрутов и полипов. Они отдали колдунье свои длинные волосы, а та научила их, что надо делать. Для обратного пути колдунья дала им пузырек с жидкостью, нескольких капель которой было достаточно, чтобы разорвать на части полипов, если бы те задумали угрожать старшим русалкам. Что касается русалочки, то она получила возможность снова стать счастливой, вольной дочерью моря... Но достичь этого можно было

только ценой жизни принца. Русалочка отвергла это и предпочла погибнуть сама. Умирая, она превратилась в воздушное, вечно реющее над землей сияющее существо, прообраз неумирающей любви.

Иван Петрович умолк и задумался. Он думал о датском сказочнике Андерсене, и внезапно вся Европа, от Скандинавского до Балканского полуострова, показалась ему безгласной, потерявшей голос, мученически идущей по окровавленным обломкам городов, полуразрушенных щупальцами свастик. Но, купленное ценой безмерных страданий и жертв, впереди уже брезжило избавление.

Миша тоже не спал и мысленно переиначивал для себя сказку.

В Мишином представлении русалки тоже принимали участие в теперешней войне. Миша ясно представил себе нашу подводную лодку, всплывшую ночью где-нибудь в Баренцевом море. Она блестит от воды, лодка. На носу у нее, зорко вглядываясь в даль, сидит русалка. Ветер развеивает ее длинные волосы. А в руках русалки, при свете звезд, поблескивает пузырек со «взрывчаткой», приготовленной для вражеского каравана, если он покажется.

В это мгновение тяжкий гул потряс воздух... но не в сказке, а в действительности. За ним второй. И третий.

Туся вздрогнула. Иван Петрович схватился за голову.

— Ничего. Это ничего,— сказал счастливым голосом Миша, который никогда не ошибался в этих вопросах.— Это наши бьют. Спи, Тусенька, разве ты не узнаешь... Вы не бойтесь,— успокоил он Ивана Петровича,— она сейчас уснет. Она это очень любит. Видите — засыпает.

И действительно, освещенная месяцем, подложив руку под щеку и колебля собственным дыханьем легкие волосики, Туся мирно спала под громовый голос наших пушек.

Через несколько минут заснул и Иван Петрович. Один только Миша не спал. Он продолжал думать о «подводницах». Так он окрестил русалок.

Подводная лодка выходит на поверхность

Вблизи сквера, на дне воронки от бомбы, играют дети. У края воронки воткнута палка с дощечкой, на которой крупными детскими буквами, с крупными орфографическими ошибками написано: «*Мусар суда не бросать. Эта варонка наша*».

Дети подобны птицам. Если не выдавать своего присутствия, можно многое узнать об их повадках и обычаях.

Я сижу в маленьком тихом сквере. Солнце. Синева неба. Зелень.

Детей пятеро: четыре мальчика и девочка. Сняв чулки, девочка лежит на травянистом склоне воронки, грея на солнце худые ножки. Мальчики играют в Балтийский флот.

Вице-адмирал — небольшой, сухощавый и властный мальчик в кепке козырьком назад — распределяет роли.

— Ты будешь тральщик, а ты — торпедный катер. А ты, — обращается он к третьему, — ты вражеский военный транспорт водоизмещением в пять тысяч тонн. И мы тебя потопим.

— Но я вчера был уже транспортом. И мама сказала, чтобы я больше не смел. У меня лопнул правый рукав.

— Ничего, мы потопим тебя сегодня с левого борта.

— Ну, хорошо. Но тогда я хочу быть водоизмещением в пятнадцать тысяч тонн.

Вице-адмирал что-то взвешивает про себя, соображает и отвечает решительно:

— Десять тысяч — и ни одной тонны больше. Иначе ты не сможешь войти в Финский залив.

— А чем я буду? — тоненьким голоском спрашивает вдруг большая девочка.

— Ты будешь подводная лодка «Мария». И будешь лежать.

— Но я хочу на поверхность, — жалобно говорит Мария.

— Нет, ты будешь лежать на дне. А когда вражеский транспорт пройдет над тобой; ты атакуешь его торпедой. Вот торпеда. — Мальчик подает девочке

обломок доски и прибавляет с суровой нежностью: — Только бери за тот край, где нет гвоздей.

Морским действиям не суждено развернуться. Над головой с хорошо знакомым свистом пролетает артиллерийский снаряд.

— Это не наш район, — говорит Мария, — наш уже утром обстреливали.

В эту минуту громкоговоритель в сквере объявляет, что начался обстрел данного района, что транспортное движение прекращается, а населению предлагается укрыться в бомбоубежище. Сидеть тут становится неудобно, и я встаю. Но дети смелее меня.

— Это наш район, но не наш квадрат, — говорит подводная лодка «Мария»: видимо, ей не хочется расстаться с солнышком и травой.

Очередной снаряд пролетает настолько близко, что ветки, сорванные воздушной волной с ближайшего дерева, попадают в воронку.

— Тральщик, вытралить это! — отдает распоряжение вице-адмирал.

Тральщик торопливо повинуется. Торпедный катер глядит в небо и размышляет вслух:

— Нет, это все-таки наш квадрат.

— Ничего, — говорит адмирал, — уже наши самолеты летают. Сейчас они засекут эту огневую точку — и все прекратится. Но нам все равно надо идти: Мария сейчас пойдет на питание.

Он помогает ей натянуть чулки и на руках выносит ее из воронки. Медленно, приноравливаясь к поступи больных девочкиных ног, мальчики скрываются в ближнем переулке. Обстрел к этому времени действительно прекращается.

Придя на другой день на эту же скамью, я увидела того, кто был военным транспортом.

— А где же остальные? — спросила я. — Где вице-адмирал?

— Придет, — неохотно ответил мальчик.

— Зачем вы его слушаетесь? Ведь вот хотя бы и ты тоже мог быть вице-адмиралом, — демагогически допрашивала я: меня интересовал этот вопрос. — Ты, кстати, и старше его.

— Не впутывайтесь не в свое дело, — с неожиданной резкостью оборвал меня военный транспорт. — Этот вице-адмирал, Колька его зовут, — знаете, сколько он за зиму зажигательных бомб погасил? Двадцать четыре штуки. Из них три термитные. Он за это благодарственную грамоту получил.

— А ты сколько погасил?

— Я — девять штук, то есть даже восемь. Одну я нашел на чердаке, она так и не загорелась. Ее отнесли в штаб МПВО. — Он помолчал и добавил с тайной надеждой. — Но, может быть, она была замедленного действия. Этот Колька... он эту девочку — Марию, сестренку — от смерти спас. И теперь воспитывает. Родители у них погибли. Марусю хотели в детдом отдать, а Колька сказал: «Нет!» Он ее и лечит, и на усиленное питание водит. Там ей сгущенное молоко дают. Девочка совсем умирала, а вот теперь выкарабкалась. Это все Колька. Вот он и вице-адмирал. А вы... Взрослые всегда так. Не знают, а говорят.

«Истребитель»

Возвращаясь домой с заседания ученого совета, где он делал доклад, профессор-биолог был ранен в висок осколком снаряда.

Он пролежал в больнице около двух месяцев и вышел оттуда в темных очках. Зрение было почти полностью утеряно, хотя врачи уверяли, что оно частично может быть восстановлено... со временем.

Глубокая ночь окружала теперь биолога. Он различал только смутные очертания предметов и даже шумы воспринимал по-другому. Маленький сад при доме, где он жил на Петроградской стороне, казался ему густым лесом. Черные деревья сумрачно шумели, хотя это были молодые липы, пронизанные солнцем и полные доброты к людям.

Биолог, выходя в сад, по привычке брал с собой газету, но он только слышал ее шорох. Он слышал также и то, как дети, бегая по саду, играли в партизан и выменивали друг у друга осколки. У них был в этом деле

большой опыт, и они по самому маленькому осколку определяли тип снаряда и давность его падения.

В один из дней быстрые, легкие шаги приблизились к профессорской скамье, и детский голос спросил:

— Отчего это вы затемнились? Раньше у вас так не было.

— У меня глаза болят,— отвечал профессор.— А ты кто?

— Я здешний мальчик, я вас хорошо знаю.

— И давно ты меня знаешь, мальчик?

— Уже четыре года почти что.

— Сколько же тебе лет?

— Мне скоро семь... почти что, но, знаете, дети до трех лет ничего не помнят.

— Это правда,— согласился профессор.

И пожалел, что, живя столько лет в этом доме, он не удосужился разглядеть росших здесь мальчиков. Один из них стоял сейчас перед ним. Но какой именно?

— Присядь-ка со мной и опиши мне себя,— попросил биолог.

— Я такой небольшой. Почти школьник. На лбу сияк.

— Ну, это признак нестойкий. А что-нибудь более точное.

— Более точное — я у вас один раз стекло разбил из рогатки. Помните?

— О, помню! — обрадовался профессор.— Стекло — это такая ценность в Ленинграде, а ты его разбил.

— Это я нечаянно,— пояснил мальчик,— совершенно нечаянно. Я метил в совершенно другое окно, где живет одна такая тетка... ее весь двор не любит. Зимой все разгребали снег во дворе, я тоже разгребал, а она — нет. Весной все собирали золу для огородов, и я тоже, а она — нет. Я из рогатки почти что снайпер, но иногда это трудно рассчитать, понимаете?

— Понимаю, мой друг.

— Вы меня еще прозвали за это «истребитель стекол», помните?

— Припоминаю, дружок. Но разве я не был прав?

— Меня теперь весь двор зовет «истребитель». А мама иногда еще называла меня «дикорастущий ребенок».

— А где сейчас твоя мама?

— Мамы нет,— ответил мальчик, и по тону его голоса биолог понял, что дальше продолжать этот разговор не следует.

— Хотите, я почитаю вам газету? — спросил «истребитель» после небольшого молчания.

— Я буду тебе бесконечно благодарен. А читаешь ты свободно?

— Совершенно свободно читаю. Вот вы сейчас увидите.

«Истребитель» отважно атаковал газетные строки, но уже через несколько минут тревожно задышал.

— Какие трудные фамилии у наших союзников! — сказал он упавшим голосом.— У-эй-вль... Кэ-ниг-хем... Я вам лучше почитаю что-нибудь про наших.

— Почитай про наших, дружок,— согласился профессор.

Через несколько дней, однако, процесс чтения заметно убыстрился и стал глаже.

— Ты положительно делаешь успехи, милый,— радовался профессор.

Но настал день, когда никто не подошел к скамье, где сидел полуслепой человек. Непривычная тишина стояла в саду. Наконец, после долгого ожидания, детский силуэт приблизился к скамье: это была девочка.

— Погоди,— сказал профессор,— а где же «истребитель»?

— «Истребителя» нет,— ответила девочка, и по тону ее профессор понял, что продолжать этот разговор не следует.

Вечером врач-глазник обрадовал своего больного. Он обнаружил некоторые симптомы, дающие основание надеяться, что зрение биолога действительно может вскоре улучшиться.

— Нет,— ответил тот.— Сегодня я лишился зрения вторично.

Генеральная уборка

Три школьницы, три подростка, с ведрами, щетками и тряпками нерешительно остановились на пороге.

— Не может быть. Это не он,— сказала Галя.

— Конечно, не он,— согласилась Ира.— Нам было сказано: «Белый с золотом и расписным плафоном», а этот...

— Нет,— вздохнула Наташа,— это все-таки он. Только очень закоптелый. Но мы, девочки, сделаем генеральную уборку. Вот и лестница пожарная для нас приготовлена.

Это был прелестный зал, отмеченный всеми путеводителями по Петербургу-Ленинграду. Но теперь в нем не было ни белизны, ни золота, ни росписи. Из пяти полукруглых окон только три пропускали скудный свет, остальные были забиты фанерой.

В одном из фанерных листов было черное отверстие — след трубы от печурки.

В этом бывшем дворце вельможи помещались по очереди: сборный пункт ополченцев, стационар для ослабевших от голода и, наконец, госпиталь. Теперь надлежало превратить помещение в детдом. И одна из ленинградских школ, взяв шефство над будущим домом, готовилась приступить к приведению его в порядок.

Девочки вошли в зал. За Ирой шел пятилетний Юрик с пышным бантом у ворота и в пестрой тютюбечке. Юрик называл ее «тютюбечка».

Увидав рояль, Юрик обрадовался.

— А вот *пинина*! — воскликнул он.

— Зачем ты взяла его с собой? — несколько раздраженно спросила Галя, смущенная видом пожарной лестницы.— Только будет мешать.

— Не на кого было оставить. Мама его день и ночь в госпитале. У них теперь, знаешь, сколько работы, у хирургов.

— Мама в *гостепеле*. Я не буду мешать,— степенно подтвердил Юрик.

Разглядев у амбирных кресел копытца вместо ножек, он возликовал:

— А вот козлики! — И погрузился в игру.

На пороге снова раздалась возгласы:

— Это не здесь.

— Здесь, здесь! — закричала Наташа. — Давайте передвинем лестницу и начнем.

— Я лучше буду мыть пол, — предложила Галя. — У меня на высоте ноги замирают.

— Так как самое трудное — это потолок, — рассудила Ира, — мы будем мыть его по очереди, за исключением Гали, у которой замирают ноги.

И уборка началась.

Пять пар полудетских рук, подобно ткацким челнокам, засновали по залу. Они чистили и мели, скребли и мыли. Мелькали под потолком, скользили по подоконникам, двигались по стенам. Они как бы ткали чистоту. И белизна, золото и роспись начали оживать то здесь, то там, как первые проблески былого и будущего очарования. Начались чудесные превращения. Одна из стен оказалась зеркалом. Чугунный камин стал беломраморным. Рояль — цвета слоновой кости. Мертвая люстра ожила и заиграла хрустальными искрами.

— Что оно видело, это зеркало? — мечтательно спросила Леля, вытирая дверные ручки.

— Оно видело балы, вечера и литературные собрания, — ответила Ира с высоты пожарной лестницы. — Может быть, оно видело даже Пушкина.

— А куда выходит это окно?

— Как будто в какой-то тупик.

Но постепенно, как драгоценная живопись под рукой реставратора, слой за слоем окно начало светлеть. И наконец... «Ах!» — очарованно воскликнули девочки, увидав в раме картину города. Солнечная Нева струилась там, неся в себе цветные блики, штрихи и точки. Это были отражения зданий, мостов и садов. Наконец, на потолке, среди легких облаков и цветочных гирлянд, обозначились пленительные женские тела.

— А вот какие тети! — пришел в восхищение Юрик, задрав головенку. — Они купаются.

— Они летают, — пояснила Нина. — Они называются — феи.

— Не феи, а нимфы, — поправила Наташа.

— Не нимфы, а музы, — окончательно уточнила Ира.

— Ира всегда все знает,— с уважением сказала Нина.

— Я прочла это в путеводителе,— честно созналась Ира.

— А вот мальчик! — внезапно закричал Юрик.— И тоже в *тютюбеечке*.

Это был амур, не сразу замеченный в затененном углу комнаты. Стоя на возвышении, мраморное дитя в венке из роз, смеясь, натягивало лук.

— Мальчика тоже надо вымыть,— решил Юрик.

— Непременно. Вот только кончим стекла и возьмемся за него,— пообещала Ира.

«Взз...» — раздался в эту минуту знакомый звук. И где-то там, вдали, тяжелый снаряд врезался в тишину солнечного дня, нанося очередное разрушение дивному городу.

— Начинается! — сказала Галя.— А нам еще полтора окна осталось.

— Может быть, подождем? — нерешительно предложила Нина.— А то, если их разобьет, зачем же нам тогда их мыть, мучиться?

— Разве можно так рассуждать? — серьезно возразила Наташа.— Если бы мы так рассуждали, это бы только было «ему» на радость. «Он» только этого и добивается.— И, говоря так, она показала мыльной рукой в пространство — туда, где притаился «он». Враг, все еще терзающий город.

«Взз...» — повторился выматывающий душу свист.

И тогда Галя сказала то, что говорили в таких случаях все ленинградцы:

— Если свистит — это через нас. Это еще далеко.

— Товарищи дети, — крикнула снизу дежурная МПВО,— как же можно такую недисциплину показывать? Немедленно в укрытие! Во дворе направо.

— Идем,— нехотя сказала Ира, сходя с лестницы.— Пойдем, девочки. Мы скоро вернемся.

— Мы скоро вернемся,— утешил Юрик мраморного амура.

Через полчаса они вернулись. Снаряд упал неподалеку, и зал был неузнаваем. Одно из окон, чисто вымытое, было разбито. Комья бурой земли с соседних ого-

родов, взметенные силой взрыва, покрывали пол. Музы на потолке были почти не видны, окутанные пылью. Люстра висела мертвая, погасшая, утратив все свои сверкания.

— А-а-а! — закричал Юрик так отчаянно, что все кинулись к нему.

— Что? Что с тобой?!

— Мальчика убили!

Амур был сброшен со своего пьедестала. Пухлые ручонки были отбиты, кудрявая головка мучительно вывернута. Ее мраморная белизна воспринималась теперь как смертная бледность.

— Убили, убили мальчика! — рыдал Юрик.

— Не плачь, Юрий, — сурово сказала Наташа. — Не надо плакать. Ты уже большой, ты все понимаешь.

— Я большой. Я все, все понимаю! — рыдал пятилетний Юрик.

— Его мама в госпитале еще и не то видит, — отвернувшись, глухо молвила Ира.

Но Юрик услышал.

— Мама в *гостепеле* и не то видит, — медленно повторил он. И умолк.

— Что же мы теперь будем делать? — растерянно спросила Нина.

— Начнем убирать сначала, — ответила Галя. — Давайте передвинем лестницу. И начнем.

1942—1943
Ленинград

ПОВЕСТИ



КАК Я БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ



Дима и я

Когда я была маленькая, я никогда не гуляла в лесу, грибы видела только сушеные, на нитке, бруснику — только в виде варенья, в банке, ландыши — на картинке. Кукушку слышала только деревянную: она жила у нас в домике, в столовых часах, и куковала время.

«Зато у южного ребенка есть много такого, чего нет на севере, — говорила мама. — Здесь у нас другие радости».

Нашей главной радостью было море. И хотя наше море называется «Черное», но чернеет оно только осенью и зимой, в бурные, ветреные дни. А весной и летом Черное море — синее, голубое, зеленое, а иногда, на закате, золотое.

Самым лучшим местом для прогулок был в нашем городе Приморский бульвар, где росли прекрасные южные деревья платаны.

В начале бульвара стоял бронзовый памятник Пушкину. Листья платанов шелестели над самой его головой. Ласточки, пролетая, задевали Александра Сергеевича своими легкими крыльями, а иногда садились к нему на плечо. Оттуда, сверху, далеко было видно море и корабли, идущие к нам в порт.

Корабли приходили усталые от далеких плаваний, задымленные, обветренные. Широкая труба хрипло дышала. Краска на бортах облупилась и потускнела. Ракушки и водоросли облепляли снаружи днище корабля.

Еще бы! Ведь ему приходилось иметь дело с волнами, бурями, ураганами.

В нашем порту корабли приводили себя в порядок: их чистили, мыли, ремонтировали, покрывали свежей краской.

Уходя снова в море, корабли выглядели отлично. И ласточки, сидя на плече Пушкина, провожали их глазами до самого горизонта.

Дима и я, мы очень любили гулять с папой на этом бульваре, откуда так хорошо было видно все, что делается внизу, в порту.

Дима собирался стать моряком и совершить кругосветное путешествие на парусном судне.

— На пароходе каждый умеет плавать, — объяснял Дима, — а вот на паруснике... ого-го!

— Почему «ого-го»? — допытывалась я.

— Потому что обращаться с парусами не так-то просто: матросы должны быть опытные, умелые. Да и порядки на паруснике тоже совсем особые. Каждые полчаса там бьют склянки.

— Ну, Дима, — воскликнула я, — это и мы можем попробовать! И совсем не надо ждать полчаса от склянки до склянки.

Уже потом папа нам объяснил, что склянками назывались на старинных парусных судах морские песочные часы. Песок сыпался из одного стеклянного пузырька в другой, на это уходило полчаса. Когда пузырек опорожнялся, раздавался удар судового колокола.

А Дима этого не знал. Он был не совсем еще опытный моряк.

Дима — это мой двоюродный брат. Родных братьев и сестер у меня не было.

Я была рыжеватая, кудрявая, на вздернутом носу — мелкие веснушки. Говорила быстро, захлебываясь. Дима — беленький, гладенький, с большими голу-

быми глазами, очень тихий на вид, а на самом деле вовсе не такой.

Зимой мы жили в городе, а на лето уезжали к бабушке в деревню. Ехать туда надо было пароходом. И хотя пароход — не парусник, но не только я, а и Дима всегда радовался этой поездке.

Вот приезжаем мы под вечер в порт, на пристань. Мама, Дима и я — на одной извозчичьей пролетке, папа с вещами — на другой. Папа с нами не едет, он только провожает нас.

В порту у нас разбегаются глаза. Сколько кораблей! Море тихое, и все они отражаются в гладкой воде, словно стоят на громадном зеркале.

— Здесь где-то должна быть канонерка, военное судно, — говорит Дима.

Канонерка? Интересно взглянуть на нее. Не она ли это вон там, на якоре, высокая с помидорно-красными бортами? На одном из них написано ее имя: «Ксения».

Мы с Димой не отрываясь глядим на канонерку «Ксению» и ждем, не раздастся ли на ней пушечный выстрел. Но вместо этого слышим крик петуха.

— Что вы, дети! — смеется папа. — Какая же это канонерка? Это грузовой пароход. Сейчас он нагружен курами. А канонерка — вот. — И папа показывает нам узкое серое, малозаметное суденышко, плоско сидящее в воде.

А Дима этого не знал. Нет, далеко ему еще до настоящего моряка. Однако пора на пароход. Мы поднимаемся туда по сходням. Папа остается на пристани.

— Заткни уши и открой рот, — советует мне Дима. — Сейчас пароход даст прощальный гудок. Нужно принять меры, чтобы не оглохнуть.

И правда, пароход загудел так, как это умеют делать только пароходы. У поездов гудок совсем другой, потише.

Мы медленно отплываем. Папа машет нам с берега носовым платком.

Стоя на палубе, мы смотрим, как все дальше от нас уходит город. Как вдали зажигаются в нем вечерние огоньки. Скоро зажжется среди них и папина кероси-

новая лампа на его письменном столе. А мы в это время будем уже в открытом море.

Нас ведут в каюту. Она с круглым окошком, с узким клеенчатым диваном и умывальником в углу. Под окошком — две койки, одна над другой. Меня с Димой мама укладывает внизу, головами врозь, а сама ложится на верхней койке. Ночью я просыпаюсь... В полуоткрытое окошко веет ветерок, раздувая шерстяную занавеску; журчит вода. «Пых-пых-пых» — негромко пыхтят корабельные машины. Я смотрю вверх: мама на месте? На месте. Про Диму и говорить нечего. И я снова засыпаю.

Рано утром мы снова поднимаемся на палубу. Море уже не такое открытое, как вчера. Уже видны берега.

— Это не море, а лиман,— говорит мама.— Здесь в Черное море впадает река Днестр. Соленая морская вода смешивается с пресной речной; это и есть лиман.

Лиман хмурый, взъерошенный. Солнце еще не встало. Дует ветер. Быстро бегут облака. Мама придерживает рукой шляпу и советует мне сделать то же самое.

— Тетечка, я боюсь, что меня сейчас укачает! — говорит моряк Дима.

— Ты, главное, ни о чем таком не думай,— советует мама.

Я загляделась на чайку: поджав лапки, она качалась на волне. И вдруг... моя новая шляпа срывается у меня с головы и летит в лиман. Вот она уже плавает, доньшком книзу. Чайка вьется над ней. Уж не вздумает ли она поселиться в моей шляпе, как в гнезде, и вывести там молодых чаек? На палубе все смеются, а у меня слезы на глазах. Мама качает головой: ведь шляпа то пропала.

Но в эту минуту восходит солнце. Лиман становится таким блестящим, что ничего нельзя уже разглядеть. И теплое летнее солнце высушивает мои слезы.

Приближается пристань. Там мы пересаживаемся на поезд и едем до той станции, где нанимаем знакомого возницу, чтобы ехать к бабушке.

Еще издали мы узнаем знакомых вороных коней. Раньше мы называли их черными лошадьми, но возница Ефим научил нас:

— Вы так не говорите — черные. Для лошади это обидно. Про нее надо сказать — вороная. И не лошадь, а конь.

Вороные кони назывались Фонарь и Мальчик.

У Фонаря белая звездочка на лбу. Мальчик весь черный, как будто его купали в чернилах. Это спокойные, старые кони.

Какой прекрасный экипаж у Ефима! Тоже старенький, удобный и просторный, как диван на колесах; все винтики дребезжат. «Дребезгун», — говорит про него Ефим.

А нам дребезгун очень нравится. Он так славно пахнет кожей, сеном, дегтем! Так приятно покачивается при езде!

Мы усаживаемся и едем.

По дороге — река, не широкая, но быстрая. Прибрежные кусты склоняются над самой водой, точно хотят погладить ее. Но она не дается и бежит все дальше.

Реку мы переезжаем на пароме. Фонарь и Мальчик привыкли. А мы с Димой крепко держимся за руки, но и виду не подаем, что нам страшно. А Дима — тот даже успокаивает маму дрожащим голосом:

— Ты, тетечка, главное, ни о чем таком не думай.

На той стороне реки лежат тихие, просторные поля. По сторонам дороги шепчутся зеленые колосья: они пожелтеют еще не скоро.

Мы едем спокойно и так долго, что успеваем вздремнуть, привалившись справа и слева к маминому плечу.

Солнце идет к закату. Темно-малиновое, оно стоит на краю неба. Перистые облака рдеют в синеве, отражаясь в пруду. Ветряная мельница на пригорке отбрасывает крыльями длинные тени.

А вот и низенький бабушкин домик с глиняной завалинкой, с мальвами у крыльца. Лает пес Узнайка. Индюшки скликают индюшат: «Спать пора, спать пора, спать пора».

На крыльце — бабушка в темненьком платье; седые волосы гладко причесаны. Она крепко обнимает всех нас. Меня она целует в нос.

— Люблю этот дерзкий носик, — говорит она, ведя нас в комнаты.

Индюшонок

В бабушкином домике полы не паркетные, не крашенные, а глиняные. Но глина такая гладкая, прохладная, что лучше всякого паркета. Глиняные полы хороши тем, что совершенно не скрипят. Можно встать раным-рано, потихоньку выйти из дому, и никто не услышит. Мы с Димой так и сделали. Никто в доме еще не проснулся, а мы были уже во дворе и для начала решили залезть под сарай. Туда любили прятаться куры и утки, чтобы на свободе снести там яйцо.

Сарай стоял на невысоких столбиках. Взрослым было туда не пробраться, а нам удобно, особенно мне. Но и то приходилось ползти на четвереньках.

Под сараем в клочьях пуха мы нашли несколько куриных и утиных яиц, одно очень большое, наверно гусиное, и одно совсем крошечное, неизвестно чье. Здесь же мы увидели одну из индюшек с детьми. Они ковриком разостлались вокруг нее, попискивая и толкаясь.

Индюк сидел поодаль. Мы постарались проползти мимо него сторонкой, потому что были случаи, когда он хватал за ноги.

— Давай-ка выгоним отсюда индюшат,— предложил Дима.— Интересно будет, когда они начнут выходить.

— А индюк? — спросила я с опаской.

— Ну и что же? — расхрабрился Дима.— Нас двое, а он один. Выгоним его первого. Сложим яйца вон у того столбика, а потом заберем.

Так мы и сделали, только самое крошечное я спрятала в карман.

Индюка мы выгнали удачно. Он забормотал, надулся, покраснел, но тронуть нас побоялся. Индюшка тревожно вытянула голову и стала быстро говорить детям по-своему: «Ближекомне, ближекомне, ближекомне».

Но мы надвигались на них ползком, крича «кш». И тогда все семейство кинулось к выходу. Мы — за ним.

— Алле гоп! — кричали мы, как в цирке, подхлестывая индюшат прутиком.

Нам нравилось, что они так быстро перебирают лап-

ками. Особенно забавно получалось это у самого маленького, который не попевал за остальными.

— К пруду их! — решили мы. — Пусть познакомятся с утятами.

И вдруг мы увидели бабашку. Она стояла перед нами, держа в руках миску с пшеном для индюшат и цыплят.

Бабушка молча смотрела вслед индюшатам, которые убежали что есть духу, только перышки летели. Но самый маленький замертво лежал на земле. Бедный индюшонок! Может быть, мы зашибли его прутиком? Или же он слишком быстро бежал?

— Кто убил индюшонка? — тихо спросила бабушка.

— Не мы, — быстро ответила я. — Мы под сарай не лазили.

От этой неправды мне стало жарко, даже лоб стал потный. Я полезла в карман за платком и нечаянно раздавила спрятанное там яичко. Оно потекло у меня по пальцам. Бабушка отвернулась от меня.

— Ну, а ты что скажешь? — обратилась она к Диме.

— Мы индюшонку ничего не сделали, — соврал Дима. — Это вот кто до смерти напугал его: Василий.

Василий, большой бабушкин кот, умывался в это время на ступеньке сарая. Услыхав свое имя, он с удивлением прислушался, а потом снова спокойно продолжал мыть уши.

— Жалко, — произнесла бабушка как бы про себя. — Очень жалко.

Мы с Димой переглянулись и ответили в один голос:

— Бабушка, у тебя и так много индюшат.

Бабушка внимательно поглядела на нас:

— Вас мне жалко, внуки мои. Что из вас вырастет, если вы научитесь говорить неправду!..

Тяжелый это был день! С нами никто не разговаривал. И даже кот Василий не пожелал взять у нас рыбку головку, которую мы для него приготовили. Кто-кто, а уж кот Василий был прав, не желая иметь с нами дело. А тут и небо нахмурилось, словно сердясь на нас.

Вечером мы долго не могли уснуть. Лежа в постеле

лях, мы слушали, как на крылечке бабушка и мама говорили о нас, думая, что мы спим.

— Всю жизнь я учу и воспитываю чужих детей,— говорила мама,— а родную дочку и племянника не сумела вырастить добрыми и правдивыми.

— Слышишь, Дима, что про нас говорят? Что мы недобрые и неправдивые,— прошептала я.

— Молчи, давай послушаем,— тоже шепотом ответил Дима.

— Ты неправ, дорогая моя,— раздался бабушкин голос.— Они еще очень малы. Уверю тебя, что все это еще поправимо.

Тут уж мы не могли улежать. Как были, в одних рубашках, бросились мы на крылечко.

— Мы поправимые, мы поправимые! — чуть не плакали мы.— Больше мы так никогда не сделаем!

— Что я говорила! — воскликнула бабушка.

На следующий день все помирились с нами. Солнышко светило вовсю. А кот Василий съел рыбку головку и даже попросил еще. И тогда мы поняли, что Василий не ел вчера рыбку головку еще и потому, что мы кормили его из рук. Коты так есть не умеют, они едят только с блюдца или с пола.

Проверьте, и вы сами увидите.

Тетя Наша

— Как у тебя, Дима, волосы отросли! Вон какие длинные стали,— сказала я.

Сказала и вспомнила: это значит — лето кончается.

В деревне Диму не стригли. А как только он возвращался в город, его сейчас же вели к парикмахеру.

И правда, лето кончалось. Мальвы давно отцвели. На огороде было пусто. Только огурцы, оставленные на семена, лежали, как толстые бочоночки.

Наступил день отъезда. Экипаж-дребезгун и его возница ждали нас у крыльца. Вороные кони Фонарь и Мальчик были серьезны: им предстояла долгая дорога.

Бабушка в последний раз обняла нас. Мне она сказала:

— Смотри, дерзкий носишко, не огорчай маму.

Нам было жалко уезжать из деревни, но домой в город тоже хорошо было вернуться. А главное — хотелось увидеть папу.

И какая это была радость, когда мы наконец увидели его на пристани! Сойдя с парохода, мы так и бросились к нему.

С Димой мы тут же и расстались. Его повезли прямо в парикмахерскую, а потом к ним домой. А мы поехали к себе домой.

Дома я быстренько обежала всю квартиру. Побывала на кухне, где хозяйничала и жила наша кухарка Дарьюшка.

Одеяло на Дарьюшкиной кровати было сшито из треугольных лоскутков: синих, зеленых, красных, клетчатых, в крапинку, в горошек и еще разных. О каждом таком лоскутке Дарьюшка могла рассказать целую историю: откуда он взялся, что с ним было до того, как он пошел на одеяло, где была в то время сама Дарьюшка.

Про один клетчатый треугольничек Дарьюшка сказала: «Это когда Устенька, племянница, родилась, мы ей пеленки из старого фартука сшили. Это Устенькин лоскут».

Дарьюшка была немолодая и довольно строгая. Особенно не любила она, когда я шарила на кухонных полках и заглядывала в банки со всякими вкусными вещами.

Вот и сейчас, хотя Дарьюшка и обрадовалась мне, но я сразу заметила, что миндаль и изюм стоят на самой верхней полке, откуда достать их уже невозможно.

Из кухни я побежала в ту маленькую комнату, где стояли моя кровать с сеткой, два стула, этажерка с книгами и низенький стол. Сейчас дверь в эту комнату оказалась запертой. Я заглянула в замочную скважину сначала одним, потом другим глазом. Что же я там увидела?

В комнате было солнечно. Блестящие пылинки плясали в косом луче, точно у них был бал. А на стуле сидела незнакомка в полосатом сером платье, с гребенкой в руке и задумчиво глядела в окно на осенние ли-

стья. Лицо у нее было бледное, худое. Черные пушистые волосы распущены по плечам. Видно, она собиралась их расчесать, но задумалась — стоит ли. Я ей почувствовала: я и сама не любила причесываться.

Но кто же все-таки была эта незнакомка?

— Ты, Верочка, что тут делаешь? — услышала я мамин голос. — Зачем ты подглядываешь в щелку? Если тебя интересует, что происходит в комнате, спроси, и я отвечу. А подглядывать не годится.

— Да, мамочка, меня интересует, — отвечала я. — Мне очень хочется знать, кто это там сидит с гребенкой. А подглядывать я больше не буду. Это в последний раз.

— Ну, вот и хорошо. А сейчас я тебе все скажу. Там в комнате — тетя Наташа, моя двоюродная сестра. Совсем недавно, — продолжала мама тихонько, — у тети Наташи случилось большое горе: у нее утонул жених. Корабль, на котором он плыл, столкнулся с другим кораблем и пошел ко дну. Это было большое несчастье. Теперь тетя Наташа одинока. Вот мы с папой и решили, что лучше всего ей будет поселиться у нас. Мы все будем стараться, чтобы тетя Наташа чувствовала себя в нашей семье как дома.

— Я тоже буду стараться, — сказала я.

С этого времени тетя Наташа поселилась у нас. Я сначала немного дичилась ее, а потом очень полюбила и стала называть «тетя Наташа». И так это имя ей подошло, что все взрослые тоже стали называть ее тетей Нашей.

Она начала заниматься хозяйством, и весь наш дом стал уютным, милым и таким опрятным, что пылинкам уже не удавалось поплясать в свое удовольствие в солнечном луче — их всех выметали вон.

Каждое утро мы с тетей Нашей убрали квартиру. Для этого у меня были свои фартуки и даже свои пыльные тряпки: клетчатые, подрубленные со всех сторон, а в уголке вышита начальная буква моего имени: «В». Кроме тряпок, была у меня еще метелочка из куриных перьев. Ею очень удобно было смахивать пыль с мелких вещей.

Дверцы нашего буфета были украшены гроздьями

винограда, яблоками, грушами и дикими утками. Все это было вырезано из дерева очень красиво, но пыли туда набиралось много, особенно в виноградные грозди. Надо было вытирать отдельно каждую виноградину.

Много возни было и с папиной фарфоровой пепельницей, сплетенной в виде лаптя: туда набивался папиросный пепел. Но я опускала лапоть в тазик с водой, и он выходил оттуда как новенький.

В столовой на окне появились два фикуса: большой — в горшке, а другой — маленький — в бутылочке с водой. У маленького фикуса корешки были еще слишком слабы, чтобы тянуть воду из земли.

Было у нас и лимонное деревце, выросшее из лимонной косточки. Поливать лимон надо было тепловатой водой, чтобы не простудить его.

Тетя Наша строго проверяла меня.

— Каждая девочка должна держать в порядке свои вещи и уметь ухаживать за растениями. Это пригодится в жизни. И еще как пригодится! — повторяла тетя Наша.

Мамины девочки

Моя мама была учительницей русского языка. Это был важный, самый важный школьный предмет.

— Необходимо отлично знать родной язык, особенно такой разнообразный, богатый, прекрасный, как русский, — говорила мама. — Кто плохо знает свой язык, тот не оценит красоты родной речи, не задумается над книгой, не заслушается песни, не запомнит стихов. Как хороши русские стихи! Вот, например ...

И мама начинает читать своим звучным голосом:

В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.

— Так начинается стихотворение Лермонтова «Три пальмы», — говорит мама. — Нравится тебе?

Нравится ли?.. Мне?.. «Три пальмы»?

Я прошу маму прочесть мне это стихотворение целиком. И пока я слушаю, наша столовая исчезает. Я — в песчаных степях. Я вижу три пальмы над родником. Качаются роскошные листья, журчит вода...

— Дитя мое, очнись, — говорит мама.

— Мама, мамочка, как это хорошо! — восклицаю я. — Ты так прочла, что все это стало как живое!

— Нет, — отвечает мама, — это Лермонтов так написал. Это его талант, его поэтический дар. А я только постаралась правильно прочесть это чудесное стихотворение.

В школе, где преподавала мама, училось пятьсот девочек. Пятьсот девочек — это очень много. Если их усадить в вагоны, то получится длинный поезд.

Каждое утро мне кажется, что я слышу шум морского прибоя: это девочки взбегают вверх по лестнице. Понемногу море стихает: это значит, что прозвонил звонок и все расселись по партам. Прозумело два раза — раз, два: это школьницы встали и снова сели при входе в класс учительницы. И наконец все стихало на целый час: шел урок. Все это я знала очень хорошо, потому что мы жили при школе и классы находились над нашей квартирой.

Встречаясь с мамой на улице, ее ученицы вежливо кланялись ей. Если я была тут же, я радовалась, что столько девочек знают мою маму.

Окончив школу и превращаясь во взрослых, девушки и тогда не забывали свою учительницу русского языка. На улице они почтительно кланялись ей, говоря: «Здравствуйте, Елизавета Семеновна». И мама приветливо отвечала: «Здравствуйте», и при этом называла свою бывшую ученицу по фамилии.

Бывало так, что та, улыбаясь, говорила: «У меня, Елизавета Семеновна, теперь другая фамилия. Я давно уже замужем, и моя дочка скоро будет вашей ученицей».

— Вот и хорошо, — одобряла мама. — Посмотрим, как-то она будет писать классные работы. Вы, я помню, писали неплохо.

Однажды мы с мамой пошли покупать шляпу взамен той, что улетела у меня в лиман при поездке к ба-

бушке. Продавщица в магазине тоже оказалась бывшей маминой ученицей. Она выбрала мне славную шляпу с лентой, сказав на прощанье:

— Носи на здоровье! Постарайся быть такой же хорошей, как твоя мама. Никогда не забуду ее уроков! Вы не помните меня, Елизавета Семеновна? — обратилась продавщица к маме. — Мохнаткина моя фамилия.

— Как же, Мохнаткина Генриетта, хорошо помню, — ответила мама. — Учились хорошо. Выразительно декламировали. Особенно вам удавался «Слон и Моська» Крылова.

— Вы и это помните? — обрадовалась Генриетта Мохнаткина.

— Я помню всех, кто учился у меня, — ответила мама.

Да, много было бывших маминых учениц. Поэтому я не удивилась, когда в Городском саду, где мы гуляли с тетей Нашей, к нам на скамейку подседа старушка с зонтиком и спросила:

— А как поживает твоя мама?

— Значит, вы тоже мамина ученица? — догадалась я.

— Ну, что ты! — улыбнулась старушка. — Я ее бывшая учительница. Твоя мама отлично училась. Передай ей привет от меня и скажи, что я горжусь ею.

Я и сама гордилась своей мамой и очень любила ее. Был только один человек, которого я любила еще больше: это папа...

Каждый день мама приносит домой стопку школьных тетрадок и проверяет их вечером в столовой. Ошибки подчеркиваются красным или синим карандашом, а в конце страницы ставится отметка. Иногда бывает, что это двойка, с маленькой, злущей, как у змейки, головкой, и тогда я прошу:

— Не надо, мамочка! Мамочка, не надо!

— Что делать, это необходимо, — отвечает мама. — Нельзя писать слово «жернов» с буквой «ф» на конце: «жерноф». Это ошибка.

В другой раз другая девочка написала слово «жираф» с буквой «в» на конце: «жирав».

Что ни говори, а писать диктовку или классные сочинения очень трудно!

Многих маминых учениц я знаю по фамилиям. Ольга Лебедева, например, учится на пятерки. Пишет красиво, ошибок не делает. Молодец Лебедева!

А вот Синичкина Александра часто огорчает маму и меня. Она пишет неряшливо, знаки ставит так, что не разберешь, точка это или запятая. Ошибается не только в знаках препинания, но и в словах.

Вот и сейчас Синичкина спутала «удочку» с «уточкой», хотя ясно было сказано: «Мальчик ловит рыбу удочкой».

В конце страницы Синичкина посадила кляксу. Чтобы поправить дело, она окружила кляксу лепестками и пририсовала стебель. Получился красивый цветок, похожий на подсолнечник. Но мама сказала: «Вырос не на своем месте», — и поставила Александре двойку; больше никак нельзя было.

Ах, Шура, Шура!

Как раз над нашей столовой находился зал, где в перерывах между уроками мамы девочки играют и бегают, да так, что у нас внизу все трясется.

Однажды в полдень, когда для мамы все было открыто к завтраку, раздался ужасный грохот и треск.

Мы с тетей Нашей прибежали. И что же мы увидели?

Лампа, висевшая над обеденным столом, сорвалась с потолка вместе с крюком и куском штукатурки и разбилась вдребезги. Хорошо, что мамы в это время не было. Вместо ее прибора лежала куча обломков. Скатерть была измята и продырявлена, и даже мамин стул опрокинут и отброшен в сторону. На стене покачнулся и чуть не упал большой, в дубовой раме портрет Константина Дмитриевича.

Константин Дмитриевич Ушинский был замечательный педагог, прекрасно знавший родной язык. Ушинского уже не было в живых, но по его книге «Родное

слово» учились во всех школах. Учились по ней и мамы девочки. Училась по ней и я.

Мама так ценила и уважала Ушинского, что повесила его портрет у нас в столовой.

Когда я была совсем маленькая, я побаивалась этого портрета. Константин Дмитриевич, в длинном черном сюртуке и черном галстуке на белой как снег крахмальной сорочке, с темной бородой и пристальными глазами, казался мне очень строгим. Он как будто был недоволен мной: в то время я еще плохо читала и некоторые слова произносила неправильно. К примеру, я никак не могла сладить со словом «замша» и все говорила «зашма».

Но потом, когда я научилась свободно читать «Родное слово», Ушинский стал поглядывать на меня совсем иначе. А я начала любить и уважать его, как мама. И теперь этот-то любимый нами портрет чуть не сорвался со стены.

Вот что может наделать лампа, если над ней прыгают и бегают девочки! Да и то сказать: лампы были тогда не то что нынешние — легонькие, электрические, под шелковыми абажурами. Лампы были крупные, тяжелые, с фарфоровым сосудом для керосина, вставленным в металлическую вазу. Все это держалось на толстых цепочках, идущих вверх к крепкому крюку, вкрученному в потолок.

Кроме большого, тоже фарфорового, абажура, у такой лампы были: горелка, фитиль, стекло и на тонкой цепочке шар, наполненный дробью. Он помогал по желанию передвигать лампу то выше, то ниже. Вот такая тяжелая штука и свалилась с потолка в нашей столовой. Хуже всего было то, что керосин залил диван. Диванная обивка теперь никуда не годилась.

Мама была очень огорчена:

— Надо новую лампу покупать, а тут еще этот диван! Все сразу для нас дорого. У нас нет таких денег.

Но тетя Наша утешила ее:

— Ничего. Мы отпорем диванную обивку, выстираем ее и набьем наново.

Это была большая работа. И я тоже помогала: подавала обойные гвоздики. Жалко только, что мне не

разрешили держать их в зубах, как это делают обойщики. Тетя Наша боялась, как бы я не проглотила один из гвоздиков.

Мы так хорошо обили диван, что он стал как новый.

— Красавец диван! — сказала про него наша Дарьюшка.

И до чего же хорошо было, сидя на красавце диване, слушать по вечерам папины рассказы!

Вечерами у нас в столовой тихо, уютно. Мама правит школьные тетрадки, отыскивает ошибки, тетя Наша вяжет или шьет. Папа тоже правит, но не тетрадки, а гранки, тоже отыскивает ошибки. Я играю в куклы или рисую. Каждый занят своим делом.

Мой папа работает в книгоиздательстве. Гранки — это будущие книги. Они еще не имеют страниц, еще напечатаны на длинных полосах. Но тут-то и надо зорко смотреть, чтобы все было напечатано правильно. Если в гранках замечена ошибка, ее обязательно исправят в типографии, где печатается книга. Потом уже поздно будет. Поэтому, говорит папа, при чтении гранок нужно большое внимание.

И все же в книгах иногда попадают ошибки: они называются «опечатками». Я сама как-то раз нашла такую опечатку. В строчке «Петушок, петушок, золотой гребешок» вместо «гребешок» было напечатано «гребшок». Значит, при чтении гранок внимание было не очень большое.

Вот так все мы и работаем по вечерам.

Иногда папа, покончив с гранками, читает какую-нибудь книгу. Я слежу за ним: книгу он держит бережно, никогда не перегибает ее переплетом назад, как это делают некоторые. «Книге это вредно, — говорит папа, — она быстро изнашивается. Корешок у нее ломается».

Папа читает внимательно, порой что-то отмечает карандашиком у себя в тетради, иногда ставит значок, похожий на летящую птичку галочку.

Бывает так, что папа говорит маме: «Лизонька, я отвлеку тебя на минуту. Как ты находишь это место?» Папа читает вслух, а мама слушает. А бывает и так: что мама читает вслух, а папа слушает.

— Мамочка, что это вы читаете? — спрашиваю я.— Это не рассказ, я слышу, и не стихи, и не басни.

— Это научная книга,— отвечает мама.— Мы с папой учимся. Учиться никогда не поздно.

В окна стучится осенний дождь или колючий снег. Ветер завывает жалобным голосом: «Пусти-и-и-те к огоньку-у-у!» Но мы и не думаем впускать его, хотя огонек у нас чудесный. И даже не огонек, а большой, настоящий огонь в кафельной печке.

Прежде чем закрыть вьюшку, мы открываем печную дверцу и любуемся догорающими угольками. Они насыпаны целой грудой. Они пышут жаром и рассыпаются с легким хрустом. Кажется, что под их золотой корочкой рдеет вкусный огненный сахар. Но папе так не кажется.

— Нет,— говорит он,— скорее это похоже на коралловые ветки.

Как раз к этому времени папа закончил чтение гранок. Поэтому он садится на диван у печки, я сажусь рядышком, и папа рассказывает мне о кораллах.

Это крошечные животные, живущие в южных морях. Каждый отдельный коралл строит себе известковый домик величиной с булавочную головку. Но домиков этих так много, что, прикрепляясь один к другому, они образуют как бы ветки или даже целые деревья: розовые, белые, а чаще всего ярко-алые, как пламя. Из этих коралловых веток и деревьев люди выделывают различные украшения: бусы, брошки, браслеты.

С интересом слушаю я папин рассказ о кораллах. Я бы послушала еще, но тетя Наша говорит:

— Пора закрыть вьюшку, дрова уже прогорели.

А мама, оторвавшись от тетрадки, добавляет:

— На всякий случай запомни, Верочка, что в слове «коралл» — два «л».

Как раз в эту минуту наша столовая кукушка выглядывает из своего резного домика и кукует один раз: половина девятого. Полчаса уходит на то, чтобы, пожелав всем спокойной ночи, привести в порядок игрушки, постелить себе постель, умыться и причесаться на ночь. Причесывает меня тетя Наша, сама я еще не умею.

Уже лежа в постели, я опять слышу кукушку. Она кукует девять раз: время сна.

Спокойной ночи!

Ночью снится мне сон. Школьные тетрадки окружают меня, машут страницами. Ах нет, не синие тетрадки, а птички синички летают по комнатам, машут крыльшками и щебечут. И опять нет. Не птички синички, а белые, как лебеди, школьные фартуки вьют вокруг меня хороводы. Мамины девочки наполняют столовую.

Утром я рассказываю свой сон тете Наше, а та пересказывает его маме.

— Ничего этого ей не снилось, — смеется мама. — Все это она сочиняет.

А я и сама не знала, снилось мне это, или я все выдумала.

Кукольная клиника

В маленькой комнате, где теперь жили мы с тетей Нашей, мне был отведен отдельный уголок; там я была полной хозяйкой.

Мама подарила мне стеной шкафчик, в котором раньше была у нас домашняя аптечка.

Теперь это был гардероб для кукол: кукольные платья висели там во весь рост.

На столике лежали книжки с картинками, цветные карандаши, бумага и ножницы для вырезывания. Под сырой тряпочкой — глина для лепки.

На стене висели рисунки моей работы; деревенский бабушкин домик, окруженный мальвами, портреты кота Василия со спины и больной куклы Танечки с закрытыми глазами и повязкой на лбу. На гвоздике в гарусной сетке висел мяч.

Кукла Танечка была прехорошенькая, с настоящими белокурыми локонами и темными, тоже настоящими, ресницами. Зубки у нее были беленькие, фарфоровые, на щеках — ямочки.

Танечку привезли мне из Москвы. Я начала с того, что хорошенько вымыла ей голову теплой водицей с мылом. Я считала, что после путешествия это просто необходимо.

И что же случилось? Локоны отклеились, щечки побледнели, глаза закрылись и больше не открывались. Танечка тяжело захворала.

Другие мои две куклы выглядели тоже не очень хорошо, особенно тряпичный негритенок Джимми. Он весь так протерся, что больно было смотреть на него. Тетя Наша сказала:

— На нем и вправду лица нет. Но ты не беспокойся, мы все это исправим.

Она взяла две бусины и сделала негритенку новые глаза. И он так живо и весело взглянул на нас этими блестящими, выпуклыми глазенками, что я засмеялась от удовольствия.

Красными нитками тетя Наша подправила Джимми губы, а из черной вязальной шерсти навертела узелков: получились взамен старых новые, густые, вьющиеся волосы.

— Да он еще лучше, чем был! — с восторгом воскликнула я.

— Погоди, это еще не все.

И тетя Наша нарядила Джимми в шапочку с кисточкой и пунцовую курточку. Прелесть что такое!

Третью куклу звали Золушкой. Иначе никак нельзя было — уж очень плохо она была одета.

Но тетя Наша сказала:

— Не всегда же бедняжке возиться с золой у очага. Мы сделаем Золушку такой, какой она была на балу.

И Золушка получила платье, обшитое кружевом, нитяные чулочки и, самое главное, белые бальные туфельки, сшитые из старой лайковой перчатки. Теперь не стыдно было поехать на самый лучший бал и встретить там принца.

Все это было отлично. Но как же быть с Танечкой?

— Ей я ничем помочь не могу, — вздохнула тетя Наша. — Придется отнести ее в кукольную клинику.

— А разве есть такая? — с волнением спросила я.

— Конечно. Завтра же мы пойдем туда.

Окно кукольной клиники выходило на улицу. За стеклом стояла большая румяная кукла в шляпе и ружьем указывала на входную дверь. Мы вошли.

В клинике пахло клеем. На столе были расставлены баночки и скляночки, разложены щипчики, кисточки, гвоздики, крючки и нитки. На полке под стеклом сидели и лежали больные и здоровые куклы.

Кукольный мастер, надев очки, внимательно осмотрел нашу Танечку, сказал, что ничего опасного нет, и просил прийти через неделю.

Через неделю Танечка вернулась домой такая же белокурая и розовая, какой приехала из Москвы. Она снова открывала и закрывала глаза. И я нарисовала новый ее портрет и повесила рядом с портретом кота Василия со спины.

Как устроена луна

В зимние сумерки раздается звонок. Побросав не одетых кукол, я бегу к дверям. Я догадываюсь, кто пришел: это Дима. Его часто приводят к нам ночевать.

Дима входит со своей мамой, весь красный от холода. Он так засыпан снегом, что его сначала обметают веничком и только потом снимают с него шапку и шубу.

Димины мама уходит, оставив у нас Диму до следующего вечера. Мы с ним убегаем играть в столовую. И я сразу замечаю, что Дима чем-то очень гордится, что у него, очевидно, какая-то важная новость. Уж не получил ли он в подарок перочинный ножик, о котором давно мечтал?

Однако для ножика еще рано. Он обещан Диме к тому времени, когда у него все передние молочные зубы сменятся настоящими и он станет большим мальчиком. Но пока что вышал один только зуб, и то Дима раньше времени выдернул его ниткой. И все же Дима действительно получил очень интересный подарок: маленький компас.

Компас похож на крошечные часики, только под стеклом у него не две стрелки, а одна, магнитная. Эта тоненькая подвижная иголка, похожая на усик жука, как бы ни вздрагивала и ни вертелась, в конце концов всегда показывает на север.

И где бы ни находился путник — в лесу, в море или в пустыне, — стбит ему взглянуть на компас, и иголка

тотчас же укажет на север. А зная, где север, легко можно определить юг, запад и восток и найти правильную дорогу.

Счастливец этот Димка! Такой чудесный подарок получил, какой мне и не снился! Но это я думаю про себя, а вслух говорю:

— Ну зачем тебе компас? Ты ведь не бываешь ни в лесу, ни в море, ни в пустыне.

— Мало ли что случается,— возражает Дима.— Вот, например, мы с мамой вчера по ошибке пошли не в ту сторону. Компас мне и пригодился. Я сразу сказал: «На этом углу должна быть кондитерская, а ее нет».

Пока мы толковали о компасе — стемнело. Снег перестал падать, и сквозь полузамерзшие стекла глянул молодой месяц, окруженный морозным сияньем.

Лампу еще не зажгли, а печку еще не закрыли. И от этого в комнате было два света: голубой и огненный. Самый хороший часок, чтобы послушать какой-нибудь из папиных рассказов. Но в это время папа читает газету и не любит, чтобы ему мешали. И все же, как будто почувствовав, что мы его ждем, папа, в своей домашней куртке, встает из-за стола с недочитанной газетой в руках.

Мы садимся втроем на диван: папа в середине, а мы с Димой по бокам. Молодой месяц смотрит на нас, а мы на него.

— Дядечка,— спрашивает Дима,— а куда это каждый раз деваается старая луна, когда рождается новая?

— Да это все та же луна,— отвечает папа.— Она у нас одна. Она вращается вокруг земли и вместе с землей вокруг солнца. Но своего света луна не имеет. Ее освещает солнце. И от того, как на нее падают солнечные лучи, мы видим то полную луну, то половину, то тоненький серп новорожденного месяца. Он растет с каждым днем, пока не превращается в полную луну. А потом снова идет на убыль. Молодой месяц — это как бы долька луны, он похож на апельсинную дольку. Да вот кстати...

Папа берет с буфета апельсин, очищает его от кожуры и разбирает на дольки.

— Но апельсин мы видим со всех сторон, — говорит он, — а луна повернута к нам всегда только одной своей стороной. Что там, на другой стороне, как она выглядит, мы не знаем.

— А луна песочная, глиняная или какая? — спрашивает Дима.

— Нет, скорее всего она каменная, но легкая, похожая на пемзу. Кусок такой пемзы лежит у нас в ванной комнате, и если потереть им пальцы, он отлично уничтожает пятна от химических карандашей, которые не следовало брать с моего стола...

Услыхав про химические карандаши, я проворно прячу руки за спину. Ох, уж этот папа! Ничего от него не скроешь!

Я очень рада, что как раз в эту минуту тетя Наша зовет меня:

— А ну-ка, Верочка, иди сюда. Приведи в порядок игрушки. В таком виде их оставлять на ночь нельзя.

Укладывая кукол, я рассказываю тете Наше про маленький компас с магнитной иглой.

— Все это хорошо, — отвечает тетя Наша. — Но я тебе советую интересоваться не только магнитной, а и обыкновенной швейной иглой. Скоро я начну тебе показывать различные швы. А теперь, раз ты все убрала, можешь идти опять в столовую.

В столовой было тихо.

Папа внимательно читал газету. Дима задумчиво глядел в огонь и что-то жевал.

— А... а где же луна? — спросила я.

— Какая луна?

— Луна-апельсин.

Дима не ответил. И тогда я поняла, что он ее съел. Целиком съел все полнолуние, не оставив мне ни одной дольки.

Мне очень хотелось пожаловаться папе, но он не любил жалоб и говорил, что все это мы должны решать сами.

А сейчас к тому же папа так закрылся газетой, что его и не видно было.

Я села в уголок и обиженно замолкла. И вдруг чувствую, что подошел Дима и тихонько трогает меня за локоть.

— Слушай, возьми компас,— говорит он.— Я тебе его дарю. С ним и в безлунную ночь не пропадешь.

Папа опускает газету. Слышал он или не слышал, о чем мы тут говорили? Неизвестно. У него разве узнаешь!

Пуговица на ножке

— Ну, Верочка,— сказала тетя Наша,— сейчас мы начнем урок рукоделия. Но сначала повтори, что нужно для того, чтобы правильно шить. А ты, Дима, сядь в сторонку и не мешай нам.

— А мне и неинтересно,— ответил Дима.— Я и сам занят. Видите, у меня конюшня.

Конюшня была устроена в опрокинутом табурете. Там стояли два коня, такие же, как в деревне: Фонарь и Мальчик.

Фонарь — был большой деревянный рысак на качалке, с пышной гривой. Раньше у него был и хвост, но Дима нечаянно оборвал его при запряжке. Мальчик — был конек похуже, но тоже славный: серый в яблоках, с красной уздечкой.

Диму привезли к нам в гости на два дня, поэтому он прихватил с собой и лошадей и гвозди, которые очень любил.

— Итак,— снова сказала тетя Наша,— что же нужно для правильного шитья? Во-первых?

— Во-первых,— ответила я,— нужно, чтобы свет падал на шитье с левой стороны. Тогда всегда будет светло.

— Правильно,— подтвердила тетя Наша.— Во-вторых?

— Во-вторых, чтобы ноги не висели, а упирались в пол. А если не достают до пола, то в скамеечку.

— Правильно. В-третьих?

— В-третьих, чтобы руки были чисто вымыты и сухо-пресухо вытерты.

— Совершенно правильно. И в-четвертых?

— В-четвертых,— ответила я с тяжелым вздохом,— чтобы всегда был наперсток.

— И в-пятых, чтобы был носовой платок, а не тянуть носом,— вдруг отозвался Дима с другого конца комнаты.

— А ты при чем тут? — рассердилась я.— Сидишь в конюшне, ну и сиди! Тетя Наша, скажи ему, чтобы он не мешал!

— Дима,— строго сказала тетя Наша,— хотя твое замечание насчет носового платка правильно, я серьезно прошу тебя не мешать нам. Теперь, Верочка, сядь, как ты сказала, и начнем «елочку». Этот шов называется так потому, что его стежки расположены с двух сторон вкось, как хвоинки на еловой ветке. Но прежде всего, где твой наперсток?

Нечего делать, пришлось достать наперсток.

С какой завистью глядела я на тетю Нашу во время шитья! Наперсток, как пришитый, сидел у нее на пальце. А у меня он никак не держался, хоть плачь. Вот и сейчас: как только я надела наперсток, тотчас мне стало казаться, что у меня вырос шестой палец, с которым я не знала, что делать. Вся рука так вспотела, что трудно стало держать иголку. Я старалась подтолкнуть ее, но не наперстком, а соседним пальцем. Или же я упирала конец иголки в стол и проталкивала ее. Все это было очень плохо. Я затягивала нитку до того, что стежков почти не было видно. Весь кусочек полотна сморщился. Я чуть не плакала от злости.

Тетя Наша молча следила за мной, потом сказала:

— Отложи работу. Возьми платок, вытри глаза, а заодно и нос.

— Ага! Что я сказал! — закричал издали несносный Дима.

— Медленно посчитай до десяти, как я тебя учила,— продолжала тетя Наша, погрозив Диме.— Успокойся. А самое главное — перестань злиться. Злость — плохой помощник в работе.

Я сделала все, как сказала тетя Наша. Едва я начала считать: раз, два, три — мне стало легче. Семь, восемь... — и я совсем успокоилась.

— Теперь шей снова,— сказала тетя Наша.— Не торопись, но и не мямли. Работу держи легко, не стиски-

вай ее. Нитку клади воздушно. Не забывай про наперсток. Вот так. Неплохо.

Я довела «елочку» до конца, и тетя Наша сказала:

— Довольно. А теперь перейдем к пуговицам. Представь себе, что у тебя оторвалась пуговица на пальто. Как ты будешь пришивать ее? Обыкновенным образом или нет?

— Я буду пришивать ее особым образом, — ответила я. — Я пришью эту пуговицу на ножке.

— Как это «на ножке»? — заинтересовался Дима. Он оставил свою конюшню и подошел к нам. — Разве пуговица — это гриб, который растет на ножке?

— Бывает, что пуговица отчасти напоминает гриб, — объяснила ему тетя Наша. — Или, еще точнее, ягоду, висящую на коротеньком стебельке, только стебелек этот нитяной. Такая пуговица гораздо удобнее застегивается и дольше держится. Особенно важно это, когда дело касается плотной одежды, например пальто. Сейчас Верочка на кусочке сукна покажет нам, как делается «ножка».

— Тетя Наша, я тоже хотел бы пришить пуговицу на ножке, только без наперстка, конечно, — стал просить Дима.

— Не давай ему, тетя Наша! — сказала я. — Зачем ему уметь шить?

— А вдруг я в пустыне или в открытом море? — возразил Дима. — И вдруг без компаса, и в безлунную ночь у меня отрывается пуговица на куртке. Я сейчас же пришиваю ее «на ножке». Правда, тетя Наша?

— Пожалуй, что и правда, — согласилась тетя Наша. — Ну что ж, вот вам обоим по пуговице и по суконному лоскутку. Сядьте рядышком и шейте.

Дима попробовал было, но сразу же укололся и, бросив шить, сказал:

— Ты права, тетя Наша, мне это ни к чему. А когда я поеду путешествовать, у меня все пуговицы будут на проволоке. Я это давно уже решил. А пока — не можешь ли ты, тетечка Нашечка, пришить Фонарю хвост? Хоть с наперстком, хоть без наперстка — как хочешь.

— Нет, — отвечала тетя Наша, — хвостом мы займемся как-нибудь в свободное время. А ты, раз уже занялся пуговицей «на ножке», изволь довести это до конца.

Хотя и неохотно, Дима так и сделал.

Волшебный смычок

На главной улице, в окне нотного магазина, на подушечке из живых цветов, была выставлена фотография знаменитого скрипача, который должен был приехать в наш город. Скрипач был снят со своей скрипкой. Она лежала у него на левом плече, и он легко поддерживал ее пальцами. В правой руке был смычок, поднятый над струнами. Лицо у скрипача было худое, беспокойное, глаза темные. Черные длинные волосы спутаны, будто их взметнуло ветром.

У этого окна все время толпились прохожие. Но, наверно, никто в целом городе не ждал приезда музыканта с таким нетерпением, как я. Меня спросят: почему? И я отвечу: этот знаменитый скрипач был дядя Оскар, наш родственник, родной брат тети Наши.

Я много слышала о дяде Оскаре, но никогда не видела. И вот теперь увижу.

Тетя Наша часто рассказывала, как трудно приходилось будущему скрипачу в их небогатой семье. Отец тети Наши и дяди Оскара хотел, чтобы его сын сделался зубным врачом. «Больные зубы у всех всегда найдутся, — говорил отец. — А слушать музыку — это роскошь. Я, например, всю жизнь прожил без скрипки».

И все же маленький дядя Оскар настоял на своем. Но как тяжело ему было!

Один раз, возвращаясь вечером от учителя музыки, он потерял смычок своей первой, самой первой детской скрипки. Футляра у нее не было. Дядя Оскар носил скрипку и смычок в холщовой сумке, которую ему сшила тетя Наша; смычок оттуда и выпал.

«Ха! — сказал отец. — Я так и знал, что из этого мальчика не выйдет скрипач!»

Но дядя Оскар пришел в такое отчаяние, что вместо теплой шапки-ушанки, которая зимой была тоже очень нужна, ему купили новый смычок.

И вот теперь, когда дядя Оскар вырос, про него стали говорить, что у него «волшебный смычок». Знаменитый скрипач, он ездит по городам и дает концерты по всей России и за границей.

Сколько раз ему предлагали навсегда остаться в Америке и стать американцем. Но дядя Оскар отвечал: «Приезжать к вам я буду, а жить у вас не стану».

Тетя Наша рассказывала об этом с гордостью. И мы все вместе с ней гордились таким родственником. Вот почему я так радовалась и волновалась, узнав, что дядя Оскар скоро приедет к нам, чтобы выступить здесь перед публикой и повидать нас всех, которых он не видел много лет. А меня он и вовсе не знал.

Задолго до приезда дяди Оскара у нас в доме только и говорили что о нем и о его концерте. Мы с Димой не успокоились до тех пор, пока не услышали, что «дети тоже пойдут».

Накануне дня приезда тетя Наша сказала:

— Ну, пора взяться за медовую коврижку.

И она объяснила мне, что с детства это любимое лакомство дяди Оскара.

В городах, где он дает концерты, ему подносят дорогие подарки — золотые портсигары, серебряные вазы, бронзовые чернильницы, венки, букеты. Но никто не догадался поднести знаменитому скрипачу домашнюю медовую коврижку.

Испечь такую коврижку не так-то просто. Весь секрет в том, чтобы не сделать ее обыкновенной ноздреватой сладкой булкой. Но и тугой, как резина, она тоже не должна быть. Надо очень точно рассчитать количество меда и муки. И тетя Наша рассчитала все это так, что коврижка получилась на славу. Верхняя ее корочка была густо усажена миндалинами, из которых я не тронула ни одной.

На другой день мы понесли эту коврижку в гостиницу, где остановился дядя Оскар. Он не любил, чтобы его встречали на вокзале, поэтому-то тетя Наша и не встретила его.

Вообще у дяди Оскара был такой характер, что никогда нельзя было знать наверняка, что он любит и чего не любит.

По дороге в гостиницу тетя Наша так волновалась, что я ей сказала то, что иногда говорила она мне: «Необходимо взять себя в руки».

Дядя Оскар жил в самом лучшем, бархатном, номере. В передней стояли горкой коричневые, как шоколад, чемоданы.

Когда мы вошли, дядя Оскар брился. Увидя нас, он с бритвой в руке и мылом на подбородке кинулся обнимать тетю Нашу:

— Сестра!.. Дорогая!.. Сюда, к окну. Дай взглянуть на тебя. О, ты плачешь... Я тоже, тоже. И эта мыльная пена... Я замылил тебя.— Он стал вытирать тете Наше лицо полотенцем, которое тоже было в мыле.

Дядя Оскар лицом был похож на тетю Нашу, но только он был моложе. Он бегал по комнате, жевал коврижку и все говорил, разговаривал и все никак не мог добриться до конца.

Тетя Наша со слезами и улыбкой смотрела на него.

Пока мы сидели у дяди Оскара, ему несколько раз стучали в дверь, но он всем отвечал: «О, прошу... нельзя!» Когда ему подали в щелку письма, он крикнул: «Вечером, вечером!»

Бегая по комнате, он вдруг наклонился ко мне:

— Ах, здравствуй, ну, здравствуй! Как ты мала! Я думал, ты больше. Какая же ты? Послушная, хорошая?

Я посмотрела на тетю Нашу и ответила:

— Я довольно хорошая.

И тетя Наша кивнула головой.

— А как ты думаешь, привез я тебе что-нибудь? Ну, подарок?

— Я думаю, что да,— сказала я.— У вас такие большие чемоданы.

— Правда, правда. Я привез. Но что именно, как ты думаешь?

— Я не знаю.

— Да, вот именно, не знаешь. Ты все получишь завтра, когда я приду к вам в гости. Ведь ты зовешь меня в гости? Да?

— Вы приходите к нам обедать,— сказала я.— Мы уже все приготовили, но не знаем, понравится ли вам. Ведь вы капризный.

— Это кто же тебе сказал?

— Тетя Наша.

Тетя Наша покраснела, как маленькая девочка, и покачала головой. А дядя Оскар снова кинулся ей на шею.

Он был капризный, но добрый. И я осмелела:

— Милый дядя Оскар, а нельзя ли мне посмотреть волшебный смычок?

— Ах, и ты уже знаешь про него? Сейчас покажу.

И он вынул из скрипичного футляра тоненький, тугой смычок. Самый обыкновенный.

— А где же волшебство? — спросила я.

— Оно там, внутри. Это не видно.

— Это слышно,— пояснила тетя Наша.— Мы услышим это сегодня вечером на концерте.

А я добавила:

— И дети тоже пойдут. Но... дядя Оскар, милый, а нельзя ли, чтобы вы сейчас мне что-нибудь сыграли? Что-нибудь красивое. Хоть немножко!

— Верочка! — с укором воскликнула тетя Наша.

Но дядя Оскар не рассердился:

— Ничего, ничего. Да, я тебе сыграю. Слушай.

Он положил скрипку на плечо, как на фотографии, поднял смычок и провел им по струнам вверх и вниз, и опять вверх и вниз.

— Ну что, нравится?

— Нет,— решительно ответила я.— Это некрасиво. Вы вечером так не играйте.

— Верочка! — с ужасом закричала тетя Наша.

Но дядя Оскар рассмеялся до слез:

— Правда, правда, ты права, это не очень красиво. Это я просто гамму тебе сыграл. А вечером будет совсем не так.

По дороге домой тетя Наша все упрекала меня за болтливость и невоспитанность, но я не слушала ее.

Меня очень интересовали подарки. Но, главное, я беспокоилась: а вдруг дядя Оскар и вечером так сыграет? Мне будет совестно перед Димой. Ведь я столько рассказывала ему про «волшебный смычок».

Да, я очень беспокоилась.

Бис, бис!

— Что это с детьми? — встревожилась мама. — Застыли рядышком на стульях и только глазами ворочают.

— Это ничего, мамочка, — успокоила я ее, не трогаясь с места. — Это мы так сидим, чтобы не измяться к концерту.

Мы были очень нарядны. Дима — в светлом матросском костюме, а я — в розовом платье, на голове — такой же бант. Этот бант пребольно ухватил меня за какой-то один волосок. Но когда я хотела освободить его, тетя Наша остановила меня: «Кто хочет быть красивым, должен терпеть».

Кто хочет быть красивым!.. Да кто же этого не хочет? Хотела и я. Но, глядя на себя в зеркало, я видела, что даже розовый бант не помог мне. Вздернутый нос, непослушные волосы «с рыжинкой», как говорила наша Дарьюшка, а главное, до обидного маленький рост — все это было не очень красиво. Какое сравнение с Юленькой Пташниковой! Я считала, что красивее ее не найдется, пожалуй, во всем свете.

— Да почему ты так думаешь? — спрашивала тетя Наша. — Ведь ты ее вблизи даже не видела. Как следует не разглядела.

Пташниковым принадлежала большая фабрика материй. На вывеске магазина, где продавались эти материи, было написано: «Пташников и сыновья». Но этих сыновей никто никогда не видел, а Юленьку и ее маму можно было видеть, когда они катались вдоль бульвара: только пыль летела или снег клубился из-под копыт серого рысака.

Юленька всегда была прекрасно одета, да это и понятно: ведь она могла выбрать себе любую матерью

в магазине «Пташников и сыновья». Шляпки у Юленьки были одна наряднее другой: зимой — бархатные, отделанные мехом, летом — кружевные, в цветах. Ну что за шляпки!

— А под шляпкой-то что? — допытывалась Дарьюшка.

Но что под шляпкой, я и сама толком не знала. Видела только светлые длинные локоны по плечам.

Да, так вот, значит, мы собрались на концерт.

Зал, где он происходил, был весь белый, точно выпиленный из сахара. С потолка свисала люстра, вся в хрустальных сережках. Лампочки — электрические. И насколько же они были ярче, чем керосиновые лампы, горевшие у нас дома! Мы с Димой не могли оторвать глаз от электрической люстры. И вообще мы не знали, на что нам раньше смотреть: то ли на люстру, то ли на эстраду, где стоял уже рояль, чтобы аккомпанировать на нем дяде Оскару, то ли на публику. Юленьки Пташниковой не было видно, но ее мама, в кружевной пелерине и длинных белых перчатках, сидела в первом ряду.

— Как бы дети у нас не заснули, — беспокоилась мама. — Они ведь не привыкли так поздно ложиться.

Но нам было не до сна. Какой там сон!

Дядя Оскар вышел на эстраду так быстро, будто его вынесло ветром. Он глядел на публику, но никого не видел. И когда я поклонилась ему из третьего ряда, он мне не ответил. На эстраду вышел и аккомпаниатор, худенький старичок.

Дядя Оскар положил скрипку на плечо, поднял смычок, и... я крепко зажмурилась от страха: что-то будет?

Но «волшебный смычок» сразу же запел так нежно и плавно, так легко и волшебно, что весь мой страх сразу пропал. Играй, играй еще, милый дядя Оскар! Смотри, как все слушают тебя.

Вот девушка вся подалась вперед на своем стуле, точно желая улететь к тебе на эстраду. Вот старый человек, сделав щиток из ладони, приложил его к уху, чтобы лучше слышать. Вот молодые люди, сидящие

на хорах, приникли подбородками к барьеру. Тетя Наша закрыла лицо платком. И даже моя милая, но строгая мама вся светится добрым, счастливым выраженьем.

Тихо-тихо в зале. И только смычок, волшебный смычок, порхает по струнам... В конце первого отделения все просто из себя вышли от восторга и вскочили со своих мест.

— Бис, бис! — кричали все, прося повторить только что сыгранную вещь.

И дядя Оскар повторил ее. Смычок будто танцевал на цыпочках, будто смеялся шепотком. Ах!..

— Как это называется? — спросила я.

— Это «Вальс каприз», — ответила мама.

Я была поражена.

— Никогда бы не подумала, — тихонько сказала я Диме, — что каприз может быть таким замечательным!

— Это совсем не тот каприз, — сказала мама. — В музыке капризов не бывает. Это «каприз», на конце «с», — название музыкального произведения.

Но мне он нравился и с буквой «с» на конце.

— Бис, бис! — кричали все вокруг.

На эстраду полетели цветы и длинная белая перчатка, в которой, как мы потом узнали, была записка с приглашением на обед. Бросила эту перчатку госпожа Пташникова, Юленькина мама. Но дядя Оскар на другой день обедал у нас, а не у них.

Среди концерта мне вдруг показалось, что мраморные колонны как-то заплетаются в воздухе, а люстра вся опуталась длинными лучистыми нитями.

— Она сейчас заснет, — сказал надо мной чей-то голос.

— Вовсе нет! — обиделась я.

И тут же заснула так крепко, что даже не помню, как меня привезли с концерта домой, раздели и уложили в постель.

Утром я была очень сконфужена: стеснялась Димы. Но я успокоилась, узнав, что он заснул еще раньше меня.

Четыре подарка дяди Оскара

Когда мы кончили обедать, дядя Оскар сказал:

— А теперь надо сделать так, чтобы эти тарелочки и кофейные чашки освободили стол. Он мне нужен для подарков.

По правде говоря, я уже перестала верить в них, хотя в передней, под вешалкой, лежал один из чемоданов дяди Оскара, не кожаный, а мелко сплетенный из соломы. Не из самых больших, скорее даже маленький, но все же такой, в котором могли уместиться отличные вещи.

Чемоданчик принесли и положили на стол перед дядей. Тот встал и повыше вздернул рукава пиджака, чтобы свободнее было рукам: так делают фокусники. Но прежде чем открыть чемоданчик, дядя Оскар подул на него.

— Неужели пыль? — встревожилась тетя Наша.

— Ах, моя Наташа, разве у тебя может быть пыль! — рассмеялся дядя Оскар. — Я подул на этот чемодан, чтобы он немного поостыл. Он просто горит от нетерпенья показать, что же в нем лежит.

Папа так взглянул на меня, что я испугалась, как бы он не сказал: «Вы вот на кого подуйте. Это вот кто горит от нетерпенья». И он был прав.

Дядя Оскар открыл чемодан.

Сейчас я увижу подарки!

Но сначала я увидела папиросную бумагу. Все было завернуто и перезавернуто. И для чего только выдумали эту бумагу! Только чтобы мучить человека.

Но вот наконец! Вот-вот-вот...

Первым из бумаги показался ящичек. А из ящичка — игрушечная швейная машинка. Она была совсем как та, на которой тетя Наша строчила мне фартуки. Совсем как большая, только маленькая. У нее было блестящее колесо с темной ручкой. Катусечка черных ниток была насажена на металлический колышек, и нитка шла оттуда в игольное ушко.

Только челнока внизу не было. Машинка шила одной ниткой. Это было не так прочно, как двумя. Но ведь

зато и куклы носят свои платья гораздо бережнее, чем мы, девочки.

— Ах, какая прелесть! — воскликнула я.

— Разумный, полезный подарок, — одобрила тетя Наша.

— Правда, прелесть? — обрадовался дядя Оскар. — Правда, разумный, полезный подарок? — Он схватил со стола салфетку, сложил кончик, как заячье ушко, подsunул его под иголку и проворно завертел ручку колеса.

— Оскар! — закричала тетя Наша. — Что ты делаешь? Белое полотно черной ниткой!..

— Пустяки, — отмахнулся дядя Оскар. — Тут есть и белая катушка. Потом увидите.

Швейная машинка — это был первый подарок дяди Оскара.

Во втором свертке был волчок, похожий на полосатую репку.

Я посмотрела на него с любопытством: у меня никогда еще не было волчков, и я не знала, как играть ими. «Подарю его Диме», — подумала я.

Но не тут-то было.

— Этот волчок — мой любимец, — продолжал дядя Оскар. — Сейчас ты услышишь, как он поет. В следующий раз приеду и спрошу его, как ему у тебя жилось. Смотри-ка...

Волчок, жужжа, завертелся, понесся по всему столу, столкнул на пол кофейную чашечку и разбил ее.

— Ничего, зато блюдо осталось, — утешил нас дядя Оскар.

Тетя Наша только вздохнула. Папа с мамой смеялись.

Третий сверточек лежал на столе. И что это... или мне показалось, но он тихонько передвинулся сам собой. Не может быть! Сверточек еще немного передвинулся. Все пристально смотрели на него. Я ближе под села к папе.

Дядя Оскар, страшно довольный нашим испугом, сказал:

— Не бойтесь. Прошу вас, пусть никто не боится. Это очень спокойная вещица, не такая, как волчок.

Она никуда не побежит, ничего не разобьет, а будет тихо ходить своими лапками. Это такая тихоня. — И он вынул из бумаги маленькую живую черепаху.

Та осторожно высунула из-под своего панциря сначала головку, потом ножки и тихонько пошла по столу. Тетя Наша на всякий случай отодвинула кофейник.

— Очень любит музыку, — объяснил дядя Оскар. — Долго ездила со мной.

— Но ведь у нас никто не играет, — озабоченно возразила тетя Наша. — И потом... если она привыкла, почему бы ей и дальше не ездить с тобой?

— Значит, вы не хотите ее? Она вам не нравится? Ну что ж... — И дядя Оскар стал заворачивать черепашку в бумагу.

Видно было, что он обиделся.

— Не сердись, Оскар, дорогой, — сказала тетя Наша, — но я боюсь, что она вырастет в громадную черепаху и заполнит всю нашу ванну.

— Ах, но ты ошибаешься! — воскликнул дядя Оскар. — Они растут очень медленно. Ей уже около пяти лет, а ты видишь, какого она роста.

Вот удивительно! Эта черепашка была всего на два года моложе меня!

— И потом, почему ванная? — продолжал дядя Оскар. — Моя черепаха не водяная, а сухопутная. Смотрите, у нее на лапках нет перепонки. У меня она жила в чемоданчике, вот в этом, соломенном, чтобы ей легко было дышать. Совершенная тихоня.

— Дядя Оскар, — попросила я, — пожалуйста, оставьте Тихоню у меня. Она мне нравится. Вы только скажите, чем кормить ее.

— Муравьиными яйцами, — ответил дядя Оскар и погладил меня по голове. — Ты действительно хорошая девочка. В другой раз привезу тебе два волчка.

— Следует тебя похвалить, Верочка, что ты не испугалась, когда сверток задвигался, — добавила мама.

Папа ничего не сказал, только подмигнул мне.

Но как раз в ту минуту, когда мама хвалила меня за то, что я не испугалась, в передней раздался звонок. Слышно было, как Дарюшка кому-то отперла, кого-то

впустила, о чем-то кого-то спросила. И после этого, войдя в столовую, громко сказала:

— Пришел Гребень. Говорит — по важному делу. Ох! Гребень!.. Пришел-таки! Выбрал время!

Я прикрыла голову руками и как можно ниже пригнулась к столу. К счастью, никто не обращал на меня внимания: все повернулись к двери.

Сейчас я объясню, почему я так струсила.

Дело в том, что я не любила причесываться. Как ни старалась тетя Наша осторожно расчесать мои волосы, но они были такие густые и, главное, такие кудрявые, что с ними никакого сладу не было. Гребешок путался в их кольцах, колечках и завитках. Там зацепит, там потянет. Боль такая!.. Просто хоть возьми да остригись, как Дима.

Я всячески старалась увильнуть от причесыванья.

— Страм, да и только, — ворчала Дарьюшка у себя на кухне. — Вот как зайвится Кум-Гребень да как пойдет чесать!..

И Дарьюшка рассказала, что у них в деревне, над самой речкой, возле мельничного колеса, стоит избушка, вся овитая туманом. Всюду ясный день, солнышко светит. А у мельничного колеса сырость кольцами вьется, космами тянется. Проживает в той избушке Кум-Гребень. Из себя он высокий, костистый, серьезный такой. Волосы жесткие. Пальцы ухватистые. Как услышит Кум-Гребень, что живет где-то растрепа, тотчас же, непрошенный, зайвится в то жилье. Встанет на пороге и поманит пальцем. Растрепа выйдет за дверь. Пойдет-пойдет, а там и в избушку войдет, в туман этот. И следов потом не сыщешь. Вот что бывает...

Мама была недовольна:

— Что вы, Дарьюшка, вздор какой говорите! Причесываться необходимо, но Кум-Гребень — просто неумная сказка. Вы таких вещей не рассказывайте.

После маминых слов я успокоилась. Но все же Кум-Гребень тревожил меня. Мама, вероятно, лучше знает. Но ведь Дарьюшка собственными глазами видела эту избушку и туман.

Кум-Гребень долго не шел ко мне, но вот, выбрав

день, когда у нас был в гостях дядя Оскар, он заявился в наше жилье.

— Сейчас я узнаю, в чем дело,— сказала тетя Наша и вышла в переднюю.

Оттуда доносились к нам голоса: ее и Гребня. Тетя Наша говорила громко, уверенно. Гребень — тихо, слегка покашливая. Видно, простудился в своей туманной избушке.

— Вот в чем дело, Оскар, дорогой,— сказала тетя Наша, возвращаясь в столовую.— Просто не знаю, как тебе быть. Ты ведь утомлен, скоро уезжаешь. А тут тебя просят. Нет, я считаю, что ты не должен.

— А может быть, я все-таки должен,— улыбаясь, ответил дядя Оскар.

— Но ведь ты даже не знаешь, о чем идет речь.

— А может быть, я все же догадываюсь,— сказал дядя Оскар.— Кто там пришел? Попроси его войти.

И в столовую вошел Гребень. Это был студент. Высокий, худой, с мягкими волосами, падающими на лоб. Пальцы на руках самые обыкновенные. На ногах — стоптанные башмаки, да и куртка на нем потертая.

— Простите, что я врываюсь,— сказал студент дяде Оскару.— Искал вас по всему городу, боялся, что уедете. Я от имени своих товарищей. Они так хотят вас послушать! Немногие, совсем немногие были на вашем концерте. Ведь билеты дорогие. Мы к вам с просьбой, с большой просьбой: не согласитесь ли вы дать концерт для студентов... Бесплатный.

Последнее слово Гребень выговорил совсем тихо, почти шепотом.

— Пожалуйста, громче. Я вас плохо слышу,— сказал дядя Оскар.

Но было видно, что он все слышал, что он шутит. Лицо у него было ласковое, доброе.

— Устраивайте концерт,— обратился он к студенту.— Пусть послушает молодежь. Пусть.

Гребень весь покраснел от радости.

— Это будет такой подарок, такой подарок! — повторял он, уходя.

Он был совсем не страшный, а наоборот — добрый, хороший. Звали его Иван Васильевич. Он стал бывать

у нас, подружился со всеми нами, особенно с тетей Нашей.

Через неделю мы провожали дядю Оскара в дальние края.

Пароход, на котором он уплывал, был непохож на тот, что отвозил нас с Димой к бабушке. Тот был небольшой, невысокий. А этот — огромный, высоченный, весь усыпанный людьми. Да и вся пристань была полна: это студенты пришли проводить дядю Оскара.

На палубе, среди уезжающих, стоял дядя Оскар в своей серой шляпе и белом кашне.

Папа поднял меня на плечо.

Дядя Оскар засмеялся и пальцами правой руки маленькими шажками прошелся по левой ладони. Я поняла, что он мне наказывал: «Береги Тихоню».

— До свиданья, до свиданья, дядя Оскар! Приезжай опять!

— Счастливого пути! — закричали десятки голосов.

Десятки синих студенческих фуражек взлетели в воздух: вся пристань поголубела.

Огромный пароход стал медленно отходить от нас.

До свиданья, дорогой дядя Оскар!

Счастливого пути!

Чашка шоколада

— Я не уверен, — сказал папа, — обращаясь к маме, — что Веруше стоит идти к Пташниковым. Почему они позвали ее на чашку шоколада? Только потому, что ее родственник — знаменитый скрипач. А я бы хотел, чтобы нашу девочку приглашали в гости ради нее самой.

— Видишь ли, я думаю, что... — Тут мама плотно прикрыла дверь.

И мне не удалось узнать, о чем мама думала.

Мне очень хотелось к Юленьке. Меня никогда еще не приглашали на чашку шоколада. До сих пор я пила только чай с молоком или какао. Да и не только в шоколаде было дело. Я мечтала подружиться с Юленькой.

Поэтому я страшно обрадовалась, когда узнала, что в конце концов было решено пустить меня к ней в гости.

— Не облейся шоколадом, — сказала тетя Наша, помогая мне надеть мое лучшее, шерстяное розовое платье. — Шоколад очень плохо отмывается.

В половине пятого Дарьюшка пошла со мной к Пташниковым, чтобы быть у них к пяти часам, как они просили.

— Я приду за тобой в восемь, — сказала Дарьюшка.

— Так рано? — огорчилась я.

— Так велено. Да и сколько же сидеть в гостях-то? Ночевать, что ли, там собираешься?

Столовая у Пташниковых была громадная, как каток. В ней все блестело и светилось. Пол был не такой, как у нас, крашенный, а паркетный, до того блестящий, что в нем отражались ножки стульев.

Да и стулья были не такие, как наши. У Пташниковых они были обиты ярким бархатом, медные гвоздики в виде звездочек сверкали, как золотые. Даже нашему красавцу дивану было далеко до этих нарядных стульев.

Мне навстречу вышла Юленька. Она была вся в шелку. На шее — золотой медальон. Впервые я видела ее так близко. Губы у нее были капризно надуты, светлые глаза прищурены. Нос она морщила, как будто ей предлагали выпить касторку. То и дело она поправляла свои длинные локоны.

— Как они у тебя красиво вьются! — с грустью заметила я и потрогала свои волосы.

Несмотря на все старания тети Наши, они вились во все стороны. Даже бант не помогал. Пользы от него не было никакой, одни неприятности.

— Мои локоны называются «букли», — с гордостью сказала Юленька. — Но, конечно, они сами не вьются. Моя гувернантка, мисс Докс, каждую ночь накручивает их на бумажные папильотки. Когда я катаюсь с мамой, я всегда стараюсь, чтобы ветер не растрепал моей прически.

Я хотела подробнее расспросить про букли и папильотки, но тут нас всех усадили за стол, где уже

дымились беленькие чашечки, такие прозрачные, что шоколад просвечивал сквозь них.

— Это английский сервиз,— сказала мне Юленька. — Очень дорогой. Называется «яичная скорлупа».

Меня даже в жар бросило от страха разбить чашечку — такая она была тонкая, легкая и горячая. Я только удивлялась тому, как другие спокойно пили из этих чашек шоколад и при этом еще ухитрялись есть ореховый торт.

— Девочка, как тебя зовут? Ты не боишься обжечься? — шепотом спросила я у своей соседки в кудрях до плеч и кружевном воротнике.

— Я не девочка, а мальчик Гаррик. И не мешай мне,— с полным ртом ответил Гаррик.

— Ах, так вот она, эта малютка, у которой такой выдающийся дядюшка! — услышала я позади себя громкий, смеющийся голос.

Это была госпожа Пташникова со своими взрослыми гостями. Я поторопилась встать, но, вставая, задела рукой «яичную скорлупу». Счастье еще, что удалось подхватить ее на лету, но зато шоколад брызнул мне на платье. Вот беда так беда!

Когда мы выпили шоколад, мисс Докс захлопала в ладоши:

— В салон, дети, поспешайте в салон! Мы будем там устраивать живые картины.

Мисс Докс как-то странно говорила по-русски.

— Как это «живые картины»? — спросила я у Гаррика, видя, что он перестал наконец жевать.

— Это такая игра,— ответил он.— Живые люди стоят неподвижно, как картина, и все ими любят. А ты и не знала этого?

Нет, я этого не знала.

Из столовой мы прошли в еще ббльшую комнату, про которую мисс Докс сказала, что это «салон». Часть салона была отгорожена портьерой. Когда она отдернулась, мы увидели первую «живую картину». Это была Юленька в длинном, до пола, сборчатом платье. На лбу — веночек, в руках — корзинка с цветами. Справа и слева два мальчика в цветных кафтанчиках, изо всех сил надув щеки, смотрели на Юленьку.

— Дети, — сказала мисс Докс, — это Флора, царица цветов. Юные молодые люди — это Зефиры, теплые ветры, дующие на весеннюю природу.

— Пускай не дуют! Они испортят ей прическу! — с тревогой воскликнула я.

— Тсс! — зашипела мисс Докс. — Надо соблюдать тишину.

Флора стояла до тех пор, пока не покачнулась от усталости, а младший из Зефиров чуть не задохнулся. Тогда портьера медленно задвинулась.

Вторая живая картина была еще лучше.

Другая девочка, не Юленька, в меховом капоре и с муфтой, нагнувшись, протягивала блюдце с молоком плюшевому пуделю. На ковре вокруг них был рассыпан бумажный снег.

— Я знаю, что это такое! — опять воскликнула я. — Это Фауна, царица животного мира! У папы есть такая книга, о животных.

— Дети, это Милосердие в образе красивой дамы. Оно питает замерзающую собачку, — сказала мисс Докс и сердито прибавила, глядя на меня: — Надо умейть вести себя в чужом доме.

Нам показали третью, четвертую, пятую живую картину. Все приглашенные кого-нибудь изображали, некоторые — по два и даже по три раза.

Напрасно я ждала, что позовут и меня, но меня никто не звал.

Тогда я не выдержала, пробралась за портьеру и позвала:

— Юленька!

— Что тебе? — Юленька была так занята, что почти не слушала меня.

— Юленька, я тоже хочу быть «живой картиной».

— Ты? — Юленька удивилась, но потом сказала: — Ну хорошо. Ты будешь мраморным цоколем. Мы тебя накроем простыней, и к тебе прислонится Амур с крылышками. Вот он стоит.

Это был мальчик Гаррик, одетый ангелочком.

— Почему же я должна быть цок... цоколем? — дрожащим от слез голосом спросила я. — Я не знаю, что это такое. И почему под простыней? Я не хочу быть

цок...цоколем...Я...я хочу домой,— вдруг заплакала я.

Уж не помню, как я дождалась Дарьюшки. Увидев ее, я кинулась к ней:

— Почему так поздно?

— Как поздно? Еще восьми нет.

Домой я пришла такая расстроенная, что тетя Наша стала утешать меня:

— Не огорчайся. Шоколадное пятно совсем маленькое. Мы отмоем его.

Но не в пятне было дело. Просто мне было очень обидно.

— Видишь, — сказала мама папе, — я так и думала, что Верочке не понравится в этом чужом для нее доме. Но было очень важно, чтобы она сама убедилась в этом.

«Никогда не пойду больше на чашку шоколада!» — подумала я и тихонько погладила спинку нашего красавца дивана.

Мои подруги Тамара и Устенка

Я была довольна, что у меня такой двоюродный брат, как Дима. Мы были с ним друзья. Но это был моряк, будущий мореплаватель, а мне иногда хотелось поиграть в куклы с подругой. Поэтому я очень обрадовалась, когда однажды мама вошла в детскую с незнакомой девочкой.

— Познакомьтесь,— сказала мама.— Это Тамара Королькова. Она учится у нас в школе в приготовительном классе. И учится, надо сказать, отлично. Надеюсь, вы понравитесь друг другу.

Не знаю, как я Тамаре, но мне она сразу понравилась. Это была высоконькая, тоненькая девочка с шелковистыми, туго заплетенными длинными волосами. Брови у Тамары были ровные, как шнурочки. Глаза серые, серьезные. Но когда Тамара улыбалась, они так и светились.

Тамара была старше меня: я еще только собиралась поступить в школу, а она уже отлично училась в приго-

товительном классе. Как только я увидела Тамару, я тотчас же поняла, что это и есть моя самая любимая подруга. Сразу же мы занялись куклами.

— Познакомьтесь, — сказала я. — Надеюсь, вы поправитесь друг другу.

Куклы Тамаре сразу понравились. Особенно Танечка, про которую я рассказала, что она лечилась в клинике от серьезной болезни.

— А железо ты ей даешь? — спросила Тамара.

— Какое железо? — удивилась я. — Она же фарфоровая.

— Железо — это такое лекарство в пилюльках. Укрепляет здоровье. Человек становится крепким, розовым.

— Вот это хорошо! — обрадовалась я. — А то у меня Таня никак не оправится после клиники. Все бледнее становится.

— А может быть, ты умываешь ее водой?

Я созналась, что да, умываю. Голову Танечке не мою, я знаю, что это ей вредно, а лицо вытираю влажной губочкой.

— Это ей тоже вредно, — сказала Тамара. — Куклы этого не выносят.

Я обещала больше так не делать. Но на всякий случай мы приготовили малюсенькие шарики из черного хлеба и начали давать Танечке железо.

— А оспу ты им всем прививала? — спросила Тамара.

— Оспу не прививала, — виновато ответила я. — А разве нужно?

— Ну как же! Тебе ведь прививали. Непременно нужно, иначе в школу не примут. Оспа — это знаешь какая болезнь! Если ею захворать, то потом на лице остаются оспинки, рябины. Представь себе, вдруг бы это случилось с Танечкой.

Из клея и воды мы приготовили раствор для прививки, засучили каждой кукле рукав, даже Золушке, хотя она и была в бальном платье, и привили всем оспу булавкой.

— Глубокую царапину делать не надо, — учила меня Тамара. — Царапнем чуть-чуть — и оспа привьется.

Я в первый раз видела девочку, которая умела лечить кукол. Да и как иначе? Ведь Тамарина мама была фельдшерницей, дочка от нее многому научилась.

Уже позднее я узнала, что Тамара умеет не по-игрушечному, а по-настоящему поставить компресс, измерить температуру, приготовить полоскание, вытащить занозу, дать больному касторку. И, главное, без всяких фокусов, если это было надо, самой выпить касторку.

Тамара часто оставалась дома совсем одна: ее мама уходила на ночное дежурство. А когда возвращалась — ей был приготовлен чай и завтрак.

Вот какая была Тамара!

— Кем ты будешь, когда вырастешь? Ты уже подумала об этом? — спросила она меня, когда мы уложили кукол спать.

Я отвечала, что еще не подумала, но скоро начну думать.

У самой Тамары все уже было решено: она будет фельдшерница, как ее мама.

— Смотри, смотри, что это такое? — вдруг воскликнула моя новая подруга. — Вон там, под диваном?

— Да это наша Тихоня. Черепаха. Ты не бойся ее, она ручная.

Но Тамара не боялась. Она была храбрая, гораздо храбрее не только меня, но даже и Димы, хотя он не сознавался в этом. Да и то сказать: кто не боится залпом выпить касторовое масло, тому уже ничего не страшно.

Тамара была моя первая подруга. Вторая была Устенюшка. Та самая, которую я знала по клетчатому лоскутку на одеяле нашей Дарьюшки.

Глядя на этот лоскуток, я пробовала представить себе Устенюшку. И всегда она мне казалась маленькой, в клетчатом фартучке, тихой, боязливой, как мышка. Носик курносенький, косичка тонкая.

И вот однажды вечером, когда мы сидели за чаем, в столовую вошла Дарьюшка, ведя за руку маленькую девчущку. Носик у нее был курносенький, светлая, как липовый цвет, косичка загибалась кверху.

— Устенюшка! — воскликнула я.

И верно: это была она. Но какая махонькая! Уж на

что я была невелика ростом, но и то переросла Устеньку, хотя мы были с ней однолетки.

— Такая уж она у нас мелкая уродилась,— сказала Дарьюшка.— Мелкая, зато шустрая.

Мы смотрели на Устеньку, а она смотрела на нас своими шустрыми глазками, словно хотела сказать: «Да, уж такая я!»

— Елизавета Семеновна,— снова заговорила Дарьюшка,— просьба к вам великая. Не знаю, как и выговорить...

— Если смогу, я вашу просьбу охотно исполню,— ответила мама.— Вы объясните только, в чем дело.

— Вот, привезли мне племянницу из деревни,— стала объяснять Дарьюшка.— Сестрину дочку. У сестры муж недавно помер, и осталось у нее четверо таких-то.— Дарьюшка указала на махонькую Устеньку, а та, словно виноватая, потупила шустрые свои глазки.— Четверо. Одна — постарше, эта вот — вторая, а двое и вовсе малолетки. Живут трудно. И вот она, просьба: хоть одну из четырех в городе прокормить. У сестры у бедной каждый лишний рот на счету.

Пока Дарьюшка говорила, я все смотрела и смотрела на Устеньку. Рот как рот. Какой же он лишний?

— Вы, значит, хотите, чтобы девочка жила с вами у нас. Что ж, я подумаю,— ответила мама.

На другой день, посоветовавшись с папой и тетей Нашей, она позвала Дарьюшку в столовую и сказала:

— Вы, Дарьюшка, правы. Самое разумное будет, если племянница останется с вами в городе. Осенью она сможет поступить в народное училище: научится читать и писать.

Дарьюшка была очень взволнована.

— Благодарите же, Устинья, кланяйся,— приказывала она.

Но мама нахмурилась, рассердилась:

— Чему вы ее учите? Чего ради ей кланяться? Ты, Устя, если хочешь поблагодарить, скажи это словами, а не поклонами. Кроме того, благодарить еще преждевременно: сначала надо хорошенько усвоить грамоту.

— Скажи: «Дай вам бог здоровья. Пусть он пошлет вам радость большую, казну золотую»,— снова подсказывала Дарьюшка.

Но мама недовольно покачала головой.

— Ну что вы такое говорите, Дарьюшка! Зачем мне золотая казна, сами посудите! Вот здоровье — это другое дело. Однако бог тут совершенно ни при чем.

— Тут главное — железо, — не вытерпела я. — Пилюли такие.

Но мама не стала слушать про пилюли, отослала меня с Устенкой в детскую, а сама осталась разговаривать с Дарьюшкой и тетей Нашей.

Из кукол Устенке больше всех пришелся по душе негритенок Джимми.

— Ах ты мой арапчонок! Да какой же ты славенький, да какой же ты ладенький! На голове курчавинки! Боязно ему небось?

— Почему боязно? — удивилась я.

— А как же: сам черненький, а кругом белым-бело.

— Не беспокойся, — успокоила я Устенку. — Мы все его любим. Заботимся о нем. Видишь, на нем все новое, даже курчавинки тетя Наша сделала ему новые.

— А это что за барыня за такая? — спросила она про Золушку.

Узнав, что у нее есть другое платье, попроще, Устенка решила:

— Вот и ладно. Его и наденем. А то где ж это видно — праздничное в будни снашивать!

Мы играли в куклы каждый день. Стряпали им обед. Топили баню. Ходили на речку полоскать белье.

— Поторапливайся, — говорила мне Устенка. — Пора тесто ставить. Где у нас квашня? Да только гляди — с мукой аккуратнее: мучицы у нас на донышке осталось.

Ножную скамеечку мы превратили в корову Буренку. Водили ее на веревочке пастись на зеленый коврик, берегли молоко для ребят.

Но лучше всего мы играли, когда приходила фельдшерница Тамара.

— Здравствуйте, Тамара Львовна, голубушка! — приветливо встречала ее Устенка. — Сядьте вот сюда. Сейчас мы вам молочка дадим: только что надоено.

Тамара Львовна выпивала кружечку воды и говорила:

— Спасибо большое. Молоко у вас отличное.

— Мы трудов не жалеем — Буренку во-он куда водим, где трава получше.— И Устенъка показывала на зеленый коврик в другом конце комнаты.

Попив молока, фельдшерница осматривала детей. Главное, беспокоила нас Танечка: несмотря на пилюли, она все еще была бледновата.

Однако вылечила Танечку не Тамара, а тетя Наша. Взяв красный карандаш, которым мама ставила отметки в тетрадях, тетя Наша осторожно навела румянец на Танины щечки, сказав при этом:

— Если ты еще раз вымоешь ей лицо водой, ты ее окончательно испортишь.

Я крепко-накрепко обещала Татьяну больше не мыть.

Укротительница

Черепаша Тихоня, подаренная мне дядей Оскаром, поселилась у нас в детской, в старой клетке, где жил когда-то чижик. Маленькая дверца, удобная для чижики, конечно, не годилась для Тихони. Поэтому мы вырезали целиком всю переднюю стенку клетки: образовался широкий, удобный вход. Клетку мы поставили на пол, поближе к куклам, чтобы Тихоня не скучала.

Первое время она почти весь день спала. Просыпалась только к вечеру, закусывала муравьиными яйцами, пила водичку и начинала расхаживать по комнате. Все это тихохонько: настоящая Тихоня.

Нас она дичилась и все прятала головку под панцирь. Папа объяснил, что она «привыкает к обстановке».

Понемногу Тихоня уже и днем начала гулять по детской, а иногда выходила в столовую и даже на кухню. Но, боясь, чтобы Дарьюшка на нее не наступила, я ее туда не пускала.

Мы стали давать Тихоне листики салата, мелко крошенное яблоко и даже кусочки сыра, и все это она ела. Видно было, что обстановка ей нравилась.

Тихоня уже разбиралась и в людях. Меньше всех она любила Диму — за то, что он клал ее на спинку. На спин-

ге Тихоня перебирала в воздухе лапками, как жук, но встать не могла. Я очень сердилась на Диму:

— Это тебе не твой паровоз! Тому все равно, когда ты переворачиваешь его вверх колесами, чтобы посмотреть, как там у него все устроено. А Тихоне не все равно.

Дима несколько раз давал мне слово больше так не делать, но слова не держал. И чего же он добился? Того, что Тихоня, как только могла быстро, уползала от него под комод и сидела там до тех пор, пока Дима не уходил.

Совсем иначе обращалась с Тихоней Тамара. Она подзывала к себе Тихоню, как цыпленка: «Цып-цып-цып», только очень тихо, совсем шепотом.

— Она сама тихая и любит все тихое, — говорила Тамара.

И Тихоня, как только услышит «цып-цып-цып», так и бежит со всех четырех лапок. Торопится, маленькая.

— Милая, милая! — говорит Тамара; наклонится, возьмет Тихоню и подставит ей ладонь.

А та медленно ходит по Тамариной руке, ощупывает мордочкой каждый палец, точно гладит его.

— Я буду укротительницей хищных зверей, я уже твердо решила, — повторяла Тамара.

— Но ты же хотела быть фельдшерницей? — напомнила я.

— Нет, теперь я вижу, что то была ошибка. Я буду укротительницей, это решено. Я так ясно представляю себе это: вот вводят в клетку громадного африканского льва. А потом туда вхожу я.

— И ты говоришь ему «цып-цып-цып», — подсмеивается Дима.

Но Тамара не смущается:

— Нет, я говорю ему: «Царь зверей, властитель пустынь, посмотри мне в глаза. Ты видишь, у меня в руках ни хлыста, ни бича, только тоненькая палочка, как у дирижера. Но все равно ты будешь повиноваться мне, потому что я человек. А человек всегда сильнее зверя...» И тогда лев покорно ложится, и я ставлю ему ногу на голову.

— Знаете что? Давайте сейчас в это играть! — заго-

рается Дима.— Ты, Тамара, будешь укротительницей. Я — львом. Только не ставь мне ногу на голову.

— А я кем буду? — спрашиваю я.— Я тоже хочу быть хищным зверем. И Устенка тоже.

— Хочешь быть львицей? — предлагает Тамара.

— Вот-вот! — подхватывает Дима.— Ты будешь львицей, а Устенка — львенком. И все мы будем охотиться.

— Нет, это скучно,— не соглашаюсь я.— Лучше, чтобы были разные звери.

— Тогда так,— предлагает Дима: — я лев, ты,— обращается он ко мне,— тигрица, Устенка — кенгуру. А Тихоня будет крокодилом.

— Зачем же ей быть крокодилом, когда она родилась черепахой? — возражаю я.

— Черепаха она каждый день. Пусть разок побудет крокодилом,— спорит Дима.

— А кто это — кенгуру? — допрашивает Устенка.— Какой из себя?

Дима объясняет, как выглядит кенгуру и как она прыгает: только на задних ногах, а передние, короткие, висят в воздухе.

— А ну, попрыгай для пробы,— предлагает Дима Устенке.— Очень хорошо,— хвалит он ее.

— Пойдите, как же это будет? — спохватывается Тамара.— Ведь зверей укрощают пойманных, в клетке. А вы ведь хотите охотиться в пустыне и в лесу.

Договорились, что Тамара будет укрощать нас еще не пойманных, это гораздо интереснее.

Начались приготовления.

Я, как тигрица, надела полосатый мамин халат.

Коричневая папина куртка превратила Диму в отличного льва.

Устенку мы завернули в старую пелерину.

А Тамара набросила на себя в виде мантии белую скатерть и взяла в руки деревянную вязальную спицу из тети Нашиного рукоделия.

— Можно начинать! — скомандовала Тамара.— Хищники, сходитесь к источнику на водопой!

— Ррр-ррр! — зарычал из-за комода лев.

— Гр-гр-гр! — откликнулась из-под стола тигрица.

— Уф-уф-уф! — зафыркала кенгуру, делая огромные прыжки.

Мы шумно пили воду, выслеживали добычу и охотились. Но едва только укротительница выступила из-за шкафа и произнесла: «Царь зверей, повелитель пустынь...» — как лев с криком: «Ам! Я тебя сейчас проглочу!» — набросился на нее и стал грызть на ней мантию.

Мы тут же хотели прекратить игру, но Дима поклялся, что больше это не повторится.

Одной только Тихоне эта игра не понравилась. Она не хотела изображать крокодила и засела под комодом, изредка высывая оттуда головку.

— Кыш оттуда! — закричал Дима и захлопал в ладоши.

Он так разошелся, что с ним сладу не было.

— Дима,— сказала я,— напоминаю тебе про бабушкиного индюшонка. Как бы с Тихоней не случилось того, что было тогда.

— А что было тогда? — полюбопытствовала Тамара.

— Что было, то прошло,— ответила я.

Дима ничего не сказал, но сразу стих. После этого мы играли очень хорошо.

Это была настоящая, серьезная игра. Не то что живые картины у Пташниковых.

Тихоня захворала и выздоровела

«Ползет, как черепаха», — говорил Дима про Тихоню.

Да как же иначе? Она носила на себе свой панцирь, а это нелегко. Но и мне стало казаться, что Тихоня ходит медленно даже для черепахи, гораздо медленнее, чем раньше.

Мы с Тамарой внимательно пригляделись к Тихоне и увидели, что та волочит за собой заднюю левую лапку.

— Смотри-ка, эта лапка даже стала тоньше, чем остальные, — сказала Тамара.

— Не может быть, — не поверила я.

— А я тебе говорю, что тоньше.

Встревоженная, я предложила устроить совет врачей.

На совет врачей пригласили папу, маму и тетю Нашу. Диму решили не приглашать.

Совет собрался в столовой, под лампой. Тихоню для удобства положили в глубокую тарелку. Каждый по очереди придвигал тарелку к себе и рассматривал больную.

— Бедное животное явно нездорово, — сказала мама, — но я затрудняюсь сказать, что с ним такое.

— Не тоскует ли Тихоня по другим черепахам? — предположил папа. — В тоске ломая лапки, она, бедняжка, сломала одну из них.

Папа просто пошутил.

— Вернее всего, это ревматизм, — высказала свое мнение тетя Наша. — У нас в детской с пола всегда дует, потому что под нами подворотня. Не натереть ли лапку камфарным маслом?

Подумали и решили, что этого делать не стоит. А вдруг это не ревматизм? Совет ничего не установил. Но под конец папа сказал уже без шуток:

— Придется обратиться к ветеринару.

Ветеринар, доктор Шубин, жил в стареньком особняке, пропахшем лекарствами. На медной табличке у входа было написано: «Прием мелких домашних животных ежедневно от трех до шести».

Мелкие домашние животные со своими хозяевами дожидались очереди в прихожей, где пол был вымыт карболкой.

Когда мы с тетей Нашей пришли к доктору Шубину, неся с собой Тихоню в плетеном чемоданчике, маленькая прихожая была уже полна.

Здесь было два взрослых мопсика и один щенок со странными глазками. Ангорская кошка с перевязанным ухом и еще одна кошка, простая. В плетенке, полузакрыв глаза, сидел селезень. Тепло укутанную, как ребенка, принесли обезьянку.

Все эти больные старались вести себя прилично, но видно было, что они готовы вцепиться друг в друга.

Селезень, увидавши нашу Тихоню, раскрыл глаза и так зашипел, что мы отсели подальше.

Раздался еще один звонок, и, стуча лапами, в приемную вошел такой громадный дог, что все попятились от него. Вот так «мелкое животное»!

— А с кого же начинаются крупные? — спросила я тетю Нашу.

И она, подумав, ответила мне, что крупные начинаются с овцы.

Доктор Шубин, с седыми бровями и папиросой во рту, в белом халате с пятнами йода, открывал дверь из кабинета и говорил: «Следующий». Наконец настала и наша очередь.

Кабинет был с кожаным диваном и книжными полками.

В стеклянном шкафчике блестели инструменты. Посреди комнаты — большой, но низкий крашенный стол, обитый сверху цинком. На этом столе доктор принимал больных.

— Ну, покажите, кто у вас там. А, черепаха! Так, так. Ты, девочка, наверно, неосторожно с ней играла и повредила ей. Это бывает, если животных полностью предоставляют детям. Вот, — обратился доктор к тете Наше, — приведу вам в пример только что бывшего у меня щенка. Обратили вы на него внимание?

— Обратили, — ответила я. — Он косенький.

— Вот именно.

И доктор рассказал, что хозяйка щенка, девочка моих лет, вздумала наряжать его в кукольные платья и держать в колясочке на спинке. Щенок к этому привык, но глаза его не привыкли. Смотря все время вверх, он испортил себе зрение и стал косить. Спихватились, но уже поздно. Возможно, что-либо подобное произошло и с черепахой.

— Ах нет, доктор, — запротестовала я. — Я, наоборот, никогда не позволяю держать Тихоню на спине. Да у нее вовсе не глаза болят, а лапка. Вот эта, задняя левая.

— Сейчас посмотрим. Кладите черепаху на стол, — распорядился доктор.

Бедная Тихоня, попав на холодный, скользкий цинк, попыталась было уползти обратно в чемоданчик, но доктор крепко ухватил ее за панцирь:

— Стоп, стоп! Куда? Те-те-те!

Он переменял очки и стал внимательно разглядывать лапку, сравнивая ее с другими.

— Тут что-то неладно, — сказал он.

Затем, взяв увеличительное стекло, он поднес Тихоню к самому окну.

— Есть! — вдруг воскликнул он. — Нашел. Ты, девочка, действительно не виновата.

В чем же было дело?

Оказалось, что тонкий волосок обвился вокруг Тихониной лапки и так крепко сдавил ее, что лапка стала сохнуть. Еще немного — и Тихоня совсем бы потеряла ее. Как только волосок был снят, Тихоня тотчас стала разминать лапку, как человек разминает ногу, которую он отсидел. Приятно было видеть, с каким удовольствием и как быстро наша Тихоня прошлась по цинковому столу, точно говоря: «Отличный стол».

Мы весело попрощались с доктором Шубиным и отправились домой.

До-ре-ми-фа

— Дивану придется потесниться, — сказала мама. — Подвинем его поближе к окну, а на его место поставим предмет, который привезут завтра.

— Диван — к окну? — заволновалась я. — Подальше от печки? А где же мы будем сидеть с папой по вечерам?

— Будете сидеть у окна. Какая разница?

— А нельзя ли этот предмет поставить вместо буфета, а буфет к окну?

— Нет, нельзя. Это слишком сложная перестановка.

Я была так расстроена, что даже не спросила, кому же должен уступить место наш диван. Но я уже заранее невзлюбила этот предмет, который должны были привезти завтра.

Вечером мне сделалось так грустно, что папа спросил, в чем дело.

Я промолчала.

— Что же все-таки случилось? — настаивал папа.

Я обхватила диванный валик и припала к нему щекой, будто расставалась с милым другом.

— Значит, я прав, — сказал папа. — Что-то случилось. И ты сейчас скажешь, что именно.

Пришлось сказать.

Папа успокоил меня:

— Уладим как-нибудь. Диван в обиду не дадим.

И, к моей большой радости, к окну переставили buffet, которому было безразлично где стоять.

Привезенный предмет оказался большим старым роялем, купленным «по случаю».

Я очень сожалела, что этот случай не случился в какой-нибудь другой семье. Мне рояль не понравился. Когда его несли по лестнице, он глухо ворчал. В дверях долго не удавалось повернуть его: хвост мешал. Дворник и двое грузчиков из сил выбивались.

Наконец рояль втащили в столовую, дворник сказал: «Играйте на здоровье!» Ему и грузчикам заплатили, и они ушли.

Рояль был коричневый, уже потускневший. Правая педаль гудела, а левая не нажималась совсем. Пожелтевшие клавиши звучали нестройно.

— Рояль расстроен, — сказала мама. — Придет настройщик, господин Птачек, и все приведет в порядок.

— Знаешь что? — предложил на другой день Дима. — Пока рояль не настроен, а дома никого нет, давай поиграем в четыре руки.

— Давай! — с радостью согласилась я.

Мы уселись перед роялем рядышком, на двух стульях. И вот бы кто послушал, какая началась музыка!

Мы тыкали пальцами в клавиши, ударяли по ним всей пятерней, били по ним кулаками!

Но нам и этого показалось мало. Мы с Димой стасили с себя по башмаку и с громким хохотом стали колотить ими по всем клавишам сразу.

Старый рояль стонал всеми своими струнами, будто плакал, но нам и горя было мало.

Громче, еще громче! Не зевай!

Мы подняли такой шум, что ничего другого не слышали. Когда же, утомясь «игрой», красные, растрепанные, мы обернулись, то увидели, что за нами стоит мама, а рядом с ней пожилой человек с продолговатым ящиком в руках: господин Птачек, настройщик.

— Продолжайте, продолжайте, — сказала мама. — Отчего же вы перестали?

Опустив головы, мы тихонько сползли со стульев и встали перед мамой, каждый из нас на одной ноге, поджимая под себя вторую, разутую, и пряча за спину снятый башмак.

— О, фу! — сказал господин Птачек, качая головой. — Как так можно? Почтенный инструмент. Старинной работы. Большие пианисты на нем играли. А тут... Фу! — И господин Птачек замшевой тряпочкой бережно протер старенькие клавиши.

Он отомкнул свой черный ящичек и достал инструменты. Потом приподнял крышку рояля, где, словно арфа на боку, лежали струны, по которым ударяли маленькие суконные молоточки.

Мама ушла к себе. На нас господин Птачек не обращал никакого внимания. А мы, пристыженные, молчаливые, побрели в детскую и, сидя там, стали слушать, как настраивали рояль.

Господин Птачек ударял то тут, то там по клавишам, слушал звук, что-то делал со струнами и ударял снова.

При этом он негромко разговаривал с каждой нотой в отдельности:

— До-до-до, так-так. А теперь фа. Я плохо слышу тебя, мое маленькое фа. Ре-ре-ре. Э, как ты фальшивишь! Ты опустилась, бедная нота. Мы тебя сейчас подтянем. А сейчас испытаем самое верхнее ля. Что за светлый голосок! Умница, умница. Теперь до-ре-ми-фа... туда и обратно, туда и обратно.

Господин Птачек беседовал с нотами до тех пор, пока они не зазвучали так, как он этого требовал.

На прощанье он сыграл вальс, уложил свой ящичек и ушел, учтиво попрощавшись с мамой и очень холодно — с нами.

— Завтра, Верочка, ты начнешь брать уроки музыки, — сказала мама. — Сусанна Ипполитовна будет приходить к тебе два раза в неделю.

Рояль мне стал нравиться. Я думала о том, как приятно я буду заниматься, как Сусанна Ипполитовна будет довольна мной. И главное — как доволен будет дядя Оскар при мысли, что у нас в семье появился еще один музыкант.

Сусанна Ипполитовна была высокого роста и держа-

лась очень прямо. Лицо у нее было без румянца и без улыбки. На тонком носу — пенсне с черным шнурочком, закинутым за ухо.

Первые уроки ушли на то, чтобы «поставить» мне руку: ее надо было держать высоко и ударять по клавишам той частью пальца, которая называется подушечкой. Потом я познакомилась с нотами и приступила к гаммам.

Но те же самые до-ре-ми-фа, которые были так послушны господину Птачеку, не слушались меня.

Сусанна Ипполитовна была очень строга. Когда она сквозь пенсне, закинув шнурочек за ухо, смотрела на мои руки, мне начинало казаться, что на каждом пальце у меня по наперстку.

Кроме того, я от волнения боялась перепутать имя своей учительницы и назвать ее Ипполитой Сусанновной, как это уже однажды со мной случилось.

— Мамочка, пусть мне уроки дает господин Птачек, — попросила я.

— Господин Птачек может настроить рояль, но не ученицу, — отвечала мама. — Вся беда в тебе самой — мы с Сусанной Ипполитовной недовольны тобой.

Музыка мне давалась так туго, что папа наконец сказал:

— Как ни печально, но придется Верушу от этих занятий освободить.

— Эти первые трудности необходимо преодолеть, — возражала мама. — Дальше будет легче.

— Ты, Лизонька, не права, — стоял на своем папа. — Музыка не грамота, которая необходима всем. Музыка должен учиться только тот, у кого есть к ней способности. Иначе это потерянное время.

— Но, мой друг, мы же нарочно приобрели для этого рояль! — упорствовала мама. — Обидно, если он будет стоять без дела.

— Лучше ему стоять без дела, чем каждый день быть облитым слезами, — не уступал папа.

Кончилось все это тем, что от музыки меня освободили. Но и рояль не остался без дела. Очень большие музыкальные способности оказались у Тамары.

Она всегда старалась приходиться в дни моих уроков.

Ей так легко давалось все трудное для меня, что Сусанна Ипполитовна выразила желание заниматься с ней.

Занимаясь с Тамарой, Сусанна Ипполитовна становилась не такой строгой. Она даже улыбалась.

Однажды после урока Тамара попросила ее сыграть нам что-нибудь.

— Что же бы такое сыграть? — задумалась Сусанна Ипполитовна, перебирая клавиши.

— Если можно, пожалуйста, «Вальс каприс», — несмело попросила я.

— Нет, я лучше сыграю «Тарантеллу» — итальянский танец.

Сусанна Ипполитовна сбросила пенсне. И мы увидели, что глаза у нее большие и блестящие.

Лицо ее без шнурочка стало совсем другим. Она начала играть. И хотя это было не то, что дядя Оскар, но все же очень хорошо. Вся наша квартира наполнилась музыкой. В коридоре бесшумно появились тетя Наша и Дарьюшка.

Когда Сусанна Ипполитовна кончила играть, в коридоре зааплодировали, а мы с Тамарой кинулись ее целовать.

Порозовевшая Сусанна Ипполитовна нежно обняла Тамару, а меня потрепала по щеке:

— Ты тоже неплохая девочка. Но способностей — никаких.

— Но почему же, Сусанна Ипполитовна, я так люблю слушать, когда играют другие? Значит, я люблю музыку.

— Да, ты любишь ее. А сама играть не можешь. Это часто бывает, — ответила Сусанна Ипполитовна, закидывая шнурочек за ухо.

— А вот я буду играть всю жизнь, — сказала Тамара. И хотелось верить, что так оно и будет.

Мыс Доброй Надежды

Дядя Оскар, разъезжая по свету, отовсюду присылал тете Наше письма. Особенно ждал этих писем Дима, собиравший почтовые марки. Диму огорчало только то,

что дядя Оскар давал концерты не в тех странах, чьи марки нужны были ему для коллекции.

— Ему бы поехать на остров Борнео, где на марке тигр выходит из чащи. А он засел в Швейцарии, с места его не сдвинешь, хотя марка там неинтересная — белый крест на голубом, — говорил раздосадованный Дима.

— Но в Борнео очень жарко, — возражала тетя На-ша. — Дядя Оскар хотя и любит тепло одеваться и зимой всегда носит шапку-ушанку, но играть в жарком климате ему трудно.

— Тогда пусть едет в Австралию, — не сдавался Дима. — Хоть там тоже жарко, зато на австралийской марке — лебедь плывет по воде. Эти лебеди бывают разные: оранжевые, зеленые. Но самый лучший — черный. За него дают двух тигров и сколько хочешь крестов.

— Дядечка, — сказал однажды вечером Дима, — я тебя очень прошу: пусть сегодня никто не придет к нам и не помешает.

— Постараемся, — ответил папа.

Дима бережно раскрыл на столе свой альбом, где в каждой клеточке сидело по марке: целая маленькая география в картинках, которые можно было рассматривать часами.

— Заодно поглядывайте на глобус, — предложила мама и поставила на стол небольшой глобус, стоявший обычно у папы на книжном шкафу.

— Превосходная мысль, Лизонька, — одобрил папа.

Склонившись над альбомом, Дима стал нам показывать свои сокровища.

Мы увидели американскую марку: индейцы встречают Христофора Колумба, открывшего Америку.

Дима с гордостью показал нам другую — знаменитую марку с черным лебедем. Он раздобыл ее, не дождавшись поездки дяди Оскара в Австралию.

— Австралия целиком лежит в Южном полушарии, — показала на глобусе мама. — Поэтому времена года там обратны нашим: январь, февраль — летние месяцы. Июнь, июль — зимние.

— Как интересно! — сказала Тамара. — Нет, почему бы дяде Оскару не поехать в Австралию?

— Последнее письмо я получила из Голландии, — вспомнила вдруг тетя Наша. — Сейчас, Дима, я дам тебе марку.

— Голландская у меня уже есть, — сказал Дима. Но марку все же взял.

— Голландия вот. — И мама повернула глобус. Перед нами была небольшая страна близ моря.

Голландия занимала на глобусе совсем мало места. Она находилась на Европейском материке и называлась «Нидерландами», что означает «Низко лежащая страна». Нидерланды расположены ниже уровня моря. И трудолюбивым голландцам приходится зорко следить за плотинами, чтобы вода не затопила их города и замечательные цветочные плантации, где растут лучшие в мире тюльпаны.

В Димином альбоме была и китайская марка, на которой извивался дракон. Была и японская марка — с восходящим солнцем. И разные другие.

Последняя марка изображала сидящую на скале женщину, которая смотрит вдаль.

— Африканская. Мыс Доброй Надежды, — с торжеством объявил Дима. — Очень редкая. Я за нее отдал египетскую марку с пирамидой и сфинксом и три гвоздя в придачу.

— Марка очень интересная, — подтвердил папа.

И рассказал нам о мысе Доброй Надежды.

— Африка немного похожа на грушу, опущенную узким концом вниз. Два океана, Атлантический и Индийский, омывают ее. Одна из самых южных точек груши — это и есть мыс Доброй Надежды.

Сначала он назывался мысом Бурь, и это понятно почему: два океана вздымают здесь свои волны, два великана, из которых один суровее другого. Смелый мореплаватель португалец Бартоломео Диас, много лет тому назад открывший этот мыс, в конце концов погиб у его скал. Корабль разбился. И два океана долго играли его обломками.

Но все же мыс был открыт и вскоре стал называться по-другому: мысом Доброй Надежды.

На вершине мыса зажгли маяк, далеко-далеко видный в море. И, видя его свет, моряки твердо надеются

на благополучный исход путешествия. Фигура женщины на марке — это и есть образ Доброй Надежды.

Нам хотелось слушать еще и еще. Но папа сказал:

— Довольно, милые, довольно. Я устал, да и марки кончились.

Уйдя из столовой, Дима, Тамара и я — мы долго рассуждали о том, что слышали.

— Мореплавателем — вот кем надо быть! — повторял Дима. — Я всегда это говорил.

— Но девочка не может быть мореплавателем, — печально возражала я.

— Зато девочка может быть смотрительницей маяка, — придумала Тамара. — Ведь и на марке изображена женщина.

Это так понравилось мне, что я в тот вечер долго не могла уснуть. Я видела себя на мысе Доброй Надежды в бурю. Грозные волны бьются у подножия скал. Горы покрыты туманом. Но маяк, зажженный смотрительницей маяка, бросает свет далеко в море. И корабли, плывущие вдаль, видят его и надеются на добрый исход путешествия.

Снежная королева

В нашем городе снег выпадал не так уж часто, а главное — лежал недолго.

Только он уляжется на денек-другой, как сырой ветер с моря поднимает его с места и гонит прочь. И вот он уже темнеет, тает, тает... Его уже нет, точно он приснился.

Воробьи только было собрались обтереться сухим снежком, как перед ними уже лужица. «Вот был, вот был, вот был — и нет его, нет его, нет его!» — хором восклицают воробьи, всплескивая крылышками. И — что поделаешь! — купаются в лужице.

Снег!.. До чего же он прелестен!

Он хорош и тогда, когда медленно падает большими хлопьями, точно мохнатые пчелы разлетелись из громадного улья по всему свету.

Хорош и маленький снег, словно кисеей затянувший окно.

Если глядеть на него из окна, то кажется, что он не падает сверху, а поднимается вверх от земли.

А когда снег оденет весь город, какими уютными становятся улицы! Какие пышные перины на балконах, какие подушки на перилах!

Случается, что одна какая-нибудь снежинка сядет на рукав твоей шубки. Сядет и сидит, не тая, и дает разглядеть себя.

Ты разглядываешь ее и видишь, что у нее тонкий-претонкий узор. Что она — звездочка. Каждая такая звездочка — из шести лучиков, но у каждой они другие: игольчатые, стрельчатые, граненые, кружевные, перистые...

Ученые открыли уже около двух тысяч видов различных снежинок, но на самом деле их гораздо больше. Ни одна кружевница не придумает таких узоров, какие есть у снежинок. И все они так нежны, нежнее даже цветочных тычинок...

Пора было думать о новогодней елке. У нас на юге своих елок не было. Их привозили к нам издалека зашитыми в рогожу, чтобы не измялись в пути.

Мы с папой пошли покупать елку в воскресенье. Елки стояли на площади, осыпанные снегом. Рогожи сверху были расшиты, и оттуда выглядывали зеленые макушки.

Нам понравилась небольшая елочка, немногим больше меня, — чудо какая славная! Вверху она кончалась острой стрелкой, будто нарочно сделанной для серебряной звезды.

Мы сели в санки, положили елочку поверх полости. Извозчик взмахнул кнутом, и мы поехали.

В столовой, выйдя из рогожи, елочка сначала стояла сплюснутая, испуганная. Но мало-помалу начала распрямлять лапку за лапкой, совсем как Тихоня. А к вечеру уже раскинулась, распушилась, как на родной полянке.

Мы с тетей Нашей золотили кисточкой орехи, клеили бумажные цепи и плели мешочки для леденцов.

Остальные украшения мы купили готовыми, прибавив к тем, которые остались от прежних елок.

Здесь были цветные шары, самовар с чайником, голубь с письмом в клюве — все это стеклянное, воздушный шар с подвесной корзинкой, где сидели крошечные ватные человечки, виноградная гроздочка, дама под зонтиком... Да мало ли чего тут не было! Кроме того, хлопушки, гирлянды морских флажков и, конечно, свечи.

Когда мы все это развесили, особенно флажки, наша елочка сделалась похожа на кораблик, готовый плыть навстречу Новому году.

Взрослые встречают его в полночь.

Часы бьют двенадцать раз. И с последним ударом часов рождается Новый год. В эту минуту взрослые поднимают бокалы с шипучим вином и желают друг другу здоровья и счастья.

Но дети обычно не ждут полуночи: для них это слишком поздно. Детская встреча Нового года происходит в восемь, самое позднее, девять часов вечера. Мы встретили Новый год ровно в девять.

На встречу были приглашены: Дима и два его товарища, Тамара и ее одноклассница по приготовительному и Устенка.

Тридцать первое декабря, за несколько минут до девяти часов, Сусанна Ипполитовна заиграла на рояле марш, и под эту музыку мы вошли в столовую, где чудесно пахло хвоей, восковыми свечками, яблоками и мандаринами.

Лампа была погашена, и елочка сияла всеми своими огоньками, отражаясь в зеркале, висящем в передней. Казалось, что там зажгли вторую елку, еще наряднее, чем первая.

Мы взялись за руки и прошлись хороводом вокруг елочки, подпевая музыке. Когда наша столовая кукушка прокуковала первый раз, мы сели за стол. А когда она прокуковала девятый раз, мы подняли рюмки со смородиновой наливкой и чокнулись:

— С Новым годом! С Новым годом!

После ужина мы снова окружили елку, разглядывая полученные подарки: каждый получил то, что ему больше всего хотелось.

Даже удивительно, откуда это взрослые узнали наши желания! Дима получил «Приключения Тома Сойера», Тамара — папку для нот, Устенка — букварь, а я — сказки Андерсена в голубом переплете.

Какая это была для меня радость! Больше всего я любила сказку о Снежной королеве. Для тех, кто еще не читал этой сказки, я могу пересказать ее.

В одном городе, в двух соседних домиках, мирно и счастливо жили две семьи. В одной рос мальчик Кай, в другой — девочка Герда. Дети очень любили друг друга.

Но однажды в глаз Каю попал крошечный осколок заколдованного зеркала, которое все показывало криво, неверно. Отражаясь в нем, самые красивые вещи казались уродливыми.

С осколком такого зеркала в глазу Кай стал нехорошим, недобрый насмешником с холодным сердцем. Он забыл своих родных и Герду и позволил злой Снежной королеве увести себя в ее быстрых, как ветер, санях далеко-далеко, на Северный полюс: там сердце Кая должно было стать совсем ледяным.

Все было бы так, как задумала Снежная королева, если бы не Герда. Не боясь ничего, она пустилась в путь, чтобы спасти Кая. Она шла и шла. Чем ближе к Северному полюсу, тем становилось темнее и холоднее. Льдины громоздились все выше, охраняя снежное царство. Опасности подстерегали маленькую Герду на каждом шагу... Ах нет! Я не могу описать все это так, как рассказано у Андерсена: это надо прочесть самим.

Маленькая Герда спасла Кая. Своей любовью она согрела его сердце. На глаза Кая навернулись слезы. Он заплакал, и вместе со слезами из глаза вышел заколдованный осколок.

Взявшись за руки, Кай и Герда покинули Северный полюс. Они вернулись домой. И тут только увидели, что стали взрослыми. Вот как долго Герда искала Кая...

Вокруг меня танцевали, пели, грызли орехи, а я, забыв обо всем на свете, перечитывала под елкой любимую сказку. И вдруг я увидела, что Дима, стоя за моим плечом, тоже читает про Снежную королеву.

— Да, Дима,— сказала я,— будь спокоен: я бы тоже, как Герда...

Дима ничего не ответил, только погладил меня по руке и дал мне золоченый орех, хотя у меня и своих было достаточно.

После танцев начались игры. Отодвинув стол, мы играли в фанты, в кошки-мышки и в «море волнуется». В самый разгар «море волнуется» в передней раздался звонок, а потом громкий голос дяди Бори, Диминого папы.

— Вы тут поете, танцуете,— говорил, отряхиваясь, дядя Боря,— а знаете ли вы, что происходит на улице?

— Что, что происходит? — воскликнули в один голос и взрослые и дети.

— Метель. Буран. Заносы. Все улицы замело. Я еле дошел.

— Пожалуй, нам не добраться домой,— озабоченно сказала тетя Лена, Диминая мама.

— О чем толковать! Все останутся до утра,— решил папа.

— Ура! — закричали мы, дети, поняв, что теперь нас не скоро уложат спать.

И мы бросились к окнам смотреть заносы, но ничего не увидели: стекла были сплошь покрыты стрелчатыми, игольчатыми, перистыми, кружевными, гранеными и еще разными-разными снежинками.

Зато мы слышали гул, свист, шум, завыванье ветра. Казалось, что это сама Снежная королева мчит-ся по городу в своих колдовских санях. Мчится все дальше, дальше, дальше — на Северный полюс, туда, где сердце может превратиться в лед, если не согреть его любовью.

— Не бойся,— шепнул мне Дима.— Я с тобой.

Луковое колечко

Как-то так получилось, что долгое время я путала галок с грачами. Но мама однажды сказала:

— Что ты, Верочка! Хотя они и похожи друг на друга и дружны между собой, но это разные птицы. И повадки у них разные. Галки холода не боятся и

зимуют там, где родились, а грачи улетают на зиму в теплые края и возвращаются только весной.

И мама прочла мне стихотворение Некрасова, которое начинается так:

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился. Поля опустели.

А потом мама показала мне снимок с картины художника Саврасова. Тут уже другое. «Грачи прилетели» — называется эта картина. Рыхлый мартовский снег. В большой проталине отражаются березы. На березах суетятся грачи, ремонтируя гнезда; так и кажется, что слышишь громкие птичьи голоса. Один грач с прутиком в клюве сидит на снегу: вот-вот взлетит. За березами — деревушка, за деревушкой темнеют поля. Над полями небо с теплыми весенними облаками.

Хорошо!

Но, как ни старайся, пересказать картину трудно. А взглянешь — и сразу все увидишь.

В нашем городе галки жили в городском саду. Каждый год они с нетерпением ждали, когда же наконец наступит весна, деревья покроются листвой и скроют гнезда от любопытных глаз. «Всю зиму жили как на улице», — шумно жаловались галки прилетевшим грачам.

Но в марте месяце у нас на юге уже недалеко до весны. Городской сад стоит весь окутанный весенней дымкой. Почки на деревьях — крупные.

В один из таких дней, когда мы собрались на прогулку, тетя Наша сняла с кухонной полки ту самую корзинку, в которой мы относили дяде Оскару медовую коврижку. Теперь мы уложили в эту корзинку бутылку сливок, горшочек масла и белую булку.

— Мы навестим одного больного, — сказала тетя Наша. — То есть даже не совсем больного, но и не вполне здорового. Да это и понятно: человек переутомился и к тому же плохо питается.

Мне очень хотелось спросить, кто же этот человек, но я промолчала, зная, что тетя Наша ответит: «Потерпи и узнаешь».

— Мы идем в меблированные комнаты «Свет и воздух», — объяснила мне по дороге тетя Наша. — Там

живут те, у которых нет своей квартиры. Для таких людей недорогая комната с мебелью — большое удобство.

«Свет и воздух» помещались в старом, некрасивом доме. В длинных коридорах было темновато. Удобства никакого.

«Меблированная комната», куда мы вошли, была меблирована совсем плохо: маленький стол, умывальник с подвязанным краном, чтоб не капал, кривенькая этажерка, железная кровать продавлена. Это было совсем не похоже на тот номер в гостинице, где жил дядя Оскар.

На кровати лежал не совсем больной, но и не здоровый Иван Васильевич Гребень и с карандашом в руке читал толстую книгу.

Увидя нас, он быстро приподнялся и даже покраснел от радости.

— Наталья Матвеевна, голубушка, вот не ожидал! И ты, Верочка, здравствуй! Как поживает кукла Лидочка? Или нет... кажется, Катенька? До чего же я рад вас видеть!

— Зато я совсем не рада видеть вас в таком состоянии,— ворчливо ответила тетя Наша и спросила:— А где у вас пыльная тряпка?

Иван Васильевич только засмеялся и рукой махнул.

Но тетя Наша отыскала все же на этажерке одинокую рваную варежку и вытерла ею всю мебель, прихватив заодно и подоконник.

Иван Васильевич должен был при нас выпить стакан сливок и съесть кусок хлеба с маслом. Остальное он обещал съесть и выпить немного позже.

— Я вас прошу,— сказала тетя Наша,— я вас очень прошу, Иван Васильевич, не шутить со здоровьем!

— Голубушка, кто шутит! — воскликнул Иван Васильевич.— Здоровье действительно штука важная. Однако в жизни есть вещи и поважнее... Но тебе, Верочка,— обратился Иван Васильевич ко мне,— наверняка уже наскучили наши разговоры. Дал бы я тебе почитать какую-нибудь книжицу, да ведь они у меня все о болезнях.

— А вот эта, толстая, о каких болезнях? — спросила я.

— О болезнях легких, — ответил Иван Васильевич.

— Вы, значит, еще только легкие болезни учите? — спросила я.

— Болезни легких... Э, дружок ты мой, это совсем не то, что ты думаешь. Легкие — это то, чем мы дышим. Они наполнены воздухом, оттого они и легкие. Находятся они у нас в груди. А лечить их трудно. Это трудные болезни.

— Тамара тоже хотела лечить, когда вырастет, но теперь раздумала. А вы, когда окончите учиться, тогда и начнете лечить? — продолжала я свои расспросы.

— Если окончу, тогда начну, — задумчиво ответил Иван Васильевич. И повторил невесело: — Если окончу. А вот окончу ли?..

Он вздохнул, и тетя Наша тоже вздохнула. Все помолчали.

— Ну, нам пора домой, — сказала вдруг тетя Наша. — Мы торопимся. А вы, как только будет время, приходите, Иван Васильевич.

— Чтобы прийти к вам, я всегда смогу выкроить часок, — ответил Иван Васильевич, провожая нас по коридору.

На обратном пути тетя Наша все время молчала. А когда мы пришли домой, задала мне урок: украсить к обеду селедку гарниром из вареных овощей и сырых луковых колечек.

— Этому тоже полезно выучиться, — сказала тетя Наша. — И помни, что в твоём распоряжении всего пятнадцать минут. Особое внимание обрати на свекольные звездочки. В прошлый раз они получились у тебя исключительно уродливые.

Я принялась за работу. Всего труднее было сладить с луковыми колечками. Тот, кто так легко и охотно поддевает на вилку такие колечки, не представляет себе, каково иметь дело с ними на кухне.

Приготовленная для меня луковица была толстая, крутобокая, блестящего медного цвета. Приделать ей носик и ручку — и был бы готов прехорошенький маленький чайник.

Стараясь не дышать этой красивой, но злой луковицей, я очистила ее и стала думать, как бы половчее разрезать на ломтики. Но пока я думала, слезы брызнули у меня из глаз так сильно, что я уже ничего не видела.

Уж я и отворачивалась и отбегала в сторонку... Но как только я приближалась к столу, сердитая луковица снова набрасывалась на меня.

«Так-так-так», — насмешливо тикали кухонные ходики и вдруг показали — три: час нашего обеда. Сейчас должны прийти папа и мама.

Тетя Наша, задумчиво стоявшая у окна, встрепенулась:

— Ну что? Гарнир готов?

Но увидя, что со мной происходит, она быстро отобрала у меня луковицу, не долго думая, изрезала ее всю на поперечные ломтики и стала разбирать на колечки.

Я же в это время терла руки щеткой и промывала глаза водой.

— Подумать только... — заговорила тетя Наша, склоняясь над луковым колечком, — подумать только, как трудно дается иногда ученье!

— Да-да-да, — закивала я головой.

Но тетя Наша не слушала меня. Глаза ее наполнились слезами.

— Человек умный, способный, трудолюбивый, а живет в скверной комнате. Без света и воздуха. Питается отвратительно. Весной мучается, не знает, чем заплатить в университет за ученье, — денег нет.

Я молчала. Только сейчас я поняла, о каком человеке идет речь.

Я представила себе, как Иван Васильевич, бедный, один в своей неудобной комнате, учит трудные болезни.

На дворе весна, грачи прилетели. Но тут уж не до прогулок, когда нет денег, да и времени мало: приходится «выкраивать часок». Не ножницами, конечно, это только так говорится, но все равно трудно.

И я тоже чуть не заплакала, но на этот раз не из-за лукового колечка. Нет, нет, не из-за него.

Семь роз и один бутон

Что за радость проснуться рано утром на даче!

Накануне весь день была суета. Тетя Наша укладывала вещи, Дарьюшка — посуду. Мы с Устенковой помогали им обеим. Дима собирал по всему дому гвозди. «Пригодятся для дачи», — говорил он.

Ломовой извозчик был заказан к трем часам дня, но незадолго до этого пошел дождь.

— Придется, пожалуй, отложить переезд на завтра, — рассуждала с Дарьюшкой тетя Наша.

Но мы стали умолять не делать этого.

— Это не дождь, а дождик, — уверяли мы. — Он сейчас пройдет.

Мы, и особенно Дима, так надоели тете Наше, что она наконец пригрозила:

— Смотри, Дима, как бы я не отправила тебя домой со всеми твоими гвоздями!

Но и после этого мы не совсем еще успокоились: высывались из окна, смотрели на небо, даже выбегали во двор.

И дождь сжалился над нами: к трем часам прекратился.

Когда же ломовик начал грузить вещи, над городом появилась радуга.

И так, под этой радугой, мы со всеми нашими вещами отправились на дачу...

Бабушка приехала к нам как нельзя удачнее: когда мы уже устроились.

Мама снимала дачу у старенького отставного капитана. Всю жизнь он провел в плаваниях, а состарившись, поселился на суше, но так, чтобы видно было море: выстроил себе за городом небольшой домик, а летом половину его сдавал дачникам.

Дачный участок был неширокий, но длинный. Задняя калитка выводила липовую аллею прямо в степь. Входные ворота смотрели на дорогу, где проходил дачный поезд с паровичком.

Отставной капитан очень любил розы. Он даже выписывал их черенки из чужих краев.

Сначала он и слышать не хотел о дачниках с детьми.

— Нет, нет! — сказал он маме.— Вы, сударыня, я слышал, педагог, следовательно, любите детей. А я их боюсь. Они будут рвать мои розы.

— Я вам ручаюсь,— сказала мама,— что цветы будут в полной сохранности.

Нам же она сказала:

— Я поручилась за вас. Вы понимаете, что это значит?

— Понимаем,— ответили мы.

После этого мы старались даже не глядеть в сторону роз, чтобы как-нибудь нечаянно не сорвать одну из них.

Розы были белые, розовые, кремовые, желтые и алые. Одни — на кустах, другие — на деревцах, штамбовые.

Старенький капитан, седой, весь серебряный, в белом кителе, с ножницами и лейкой расхаживал по цветнику.

Перед террасой на солнышке дремал большой, тоже белый, кот. Сначала мы боялись, как бы он не принял нашу Тихоню за крысу, но потом узнали, что он не ловит даже мышей.

Что за радость проснуться утром на даче и увидеть бабушку, идущую по дорожке с чемоданчиком и корзинкой! За ней несли корзину побольше.

— Бабушка! — закричали мы, бросаясь к ней навстречу.

— Тихе, тихе! — испугалась бабушка.— Здесь у меня свежие яички и мед. Не разбейте и не пролейте.

Но тут же сама крепко обняла нас.

— А ну, покажитесь, какие вы стали? Особенно ты, дерзкий носишко. А это что за девочки?

— Это Тамара. Она перешла в первый класс, а теперь гостит у нас. А это Устенька, Дарьюшкина племянница.

Бабушка уже давно сидела на террасе с мамой и тетей Нашей, а я все еще вертелась тут же.

— Я, бабушка, думала, что ты совсем уж не приедешь!

— Как же я могла не приехать, когда вот-вот твоё рожденье.

Мне только это и нужно было: я все боялась, что бабушка забудет об этом важном для меня дне.

Наконец он наступил. Мы перенесли его с пятницы на воскресенье, чтобы папа все время был с нами.

Как раз к этому дню зацвела вся липовая аллея. Распустилась бездна желтых звездочек, но, в отличие от снежинок, все они были одинаковы. И как сладко пахли! Отовсюду слетались пчелы; наверно, они на лету сообщали друг другу о том, что у нас зацвели липы.

— Можно сорвать липовую ветку? — спросила я у тети Наши. — Это ведь не розы.

— Можно, но лучше не нужно, — ответила она. — Это может не понравиться капитану. А у тебя и без того много подарков.

Это была правда. Лучшим из подарков были сказки Пушкина, удочка и крокет. Но меня ожидал сюрприз.

Когда мы сидели за чаем, к нам на террасу поднялся капитан. В руках он держал розы.

— Милая барышня, — обратился он ко мне, — мне известно, что нынче день вашего рождения. Разрешите преподнести вам семь роз — по числу ваших лет. Этот скромный букет невелик, но из года в год он будет расти вместе с вами.

Я вспыхнула от гордости: первый раз в жизни, как взрослою, меня называли на «вы»!

Как взрослой, мне тоже захотелось сказать капитану что-нибудь приятное.

— В день вашего рождения я вам подарю сто роз, — ответила я.

Все засмеялись, но мама была недовольна:

— Что ты, Верочка, разве капитану сто лет? Ему, вероятно, не больше восьмидесяти.

— Нет, сударыня, мне только шестьдесят пять. Я выгляжу гораздо старше своих лет. Это оттого, что у меня была трудная жизнь.

— Были ли вы когда-нибудь у мыса Доброй Надежды? — спросил Дима.

— О нет. Я плавал на небольшом пассажирском судне. И только по Черному морю.

Заметив разочарование Димы, капитан добавил:

— Что ж! И моя скромная работа была необходима. Я перевез много пассажиров и нужных грузов.

И самое главное — у меня никогда не было ни одного несчастного случая.

Опуская подаренный мне букет в воду, я заметила, что, кроме семи роз, там есть еще один бутон.

— Будем считать, что это ваш будущий, еще не распустившийся год, — сказал капитан, принимая от мамы стакан чаю с пирогом. — И теперь только от вас зависит, чтобы он расцвел пышным цветом.

Папины книги

Выпустить в свет книгу не так-то просто.

Много нужно трудиться, прежде чем книга попадет к нам в руки, свежая, чистая, в красивом переплете, без опечаток.

Как хороши были сказки Пушкина, подаренные мне! Какие картинки были в этой книжке! Их можно было рассматривать часами. Здесь был рыбак с неводом у порога избышки, где под окном сидела всем недовольная жена рыбака. Тридцать три богатыря выходили из морской глубины. На пустынном берегу царевич натягивал лук, собираясь пронзить стрелой злого коршуна. Злая мачеха гляделась в волшебное зеркальце. Золотой петушок сидел на шесте и кричал «кукареку», завидя врага.

Прекрасные сказки!

Большой шкаф в папиной комнате был полон книг. На полках, плотно прижавшись друг к другу, стояли книги, изданные в том издательстве, где работал мой папа. Этих книг становилось все больше и больше. Пришлось освободить для них еще одно местечко, рядом с «Толковым словарем».

— А «Бестолковый словарь» тоже бывает? — спросила я у папы.

— Нет, не бывает. «Толковый словарь» объясняет, растолковывает каждое слово. А «бестолковый» — кому он нужен?

Мне очень хотелось прочесть хотя бы одну из папиных книг. Но папа сказал:

— Нет, Веруша, для тебя это еще рано. Это не сказки, а научные книги. В одной из них рассказано, как

устроены Земля, Солнце и звезды. В другой речь идет о морском дне. В третьей — о том, что можно увидеть в капле воды, если глядеть на нее через особый прибор — микроскоп.

— Я, дядя, пожалуй, прочел бы о морском дне, — сказал вдруг Дима. — А она... — тут Дима указал на меня пальцем, — пусть читает о водяной капле.

— Почему же мне только одна капля? — обиделась я, готовая заплакать.

Но папа так посмотрел на нас обоих, что мы устыдились и примолкли...

«Флора и фауна земного шара» — так назывались две толстые, большие книги, похожие друг на друга, как сестры-близнецы. В эти книги я уже не раз заглядывала.

Флора — это растительный мир. Все, что растет на земле, начиная от дуба и кончая фиалкой, — это флора. Фауна — мир животный. Свиный лев — это фауна, и полевая мышка тоже.

Флора и Фауна... Мне представлялось, что это две сестры-великанши. Две хозяйки земного шара.

— Нет, — поправила меня однажды мама, — настоящий хозяин земного шара — это человек. Он изучает флору и фауну и распоряжается ими по-своему. Только он должен делать это заботливо и разумно.

После этого разговора я еще заботливее стала ухаживать за лимонным деревцем и особенно за фикусом в бутылочке.

Некоторые из папиных книг были с рисунками. Там были нарисованы круги, квадраты, треугольники, по углам которых стояли маленькие буквы и цифры. Это «высшая математика», пояснил папа.

Высшая? Вот как! А я-то думала, что ничего нет выше таблицы умножения: она давалась мне очень трудно.

— Я, мамочка, не могу ее выучить, — жаловалась я иногда.

Но мама отвечала:

— Никогда не говори: «Не могу». Считай, что этих слов нет в русском языке.

В той из папиных книг, где речь шла о морском дне, рассказывалось и о рыбах, живущих так глубоко в океа-

не, что туда не проникает ни солнечный, ни лунный свет.

Такие глубоководные рыбы носят свое освещение с собой, как это делают светлячки. У каждой из них — как бы собственный фонарь, освещающий им путь.

Возможно, под водой имеются многорыбные проспекты с оживленным уличным движением. Медленно, словно экипажи, проплывают рыбы с большими круглыми глазами. Спешат, как велосипедисты, рыбы поменьше. Стайками снуют пешеходы. И все это светится.

Кроме светящихся, в теплых тропических водах живут еще и летучие рыбы. Большие плавники всех цветов радуги, раскрываясь, как веер, легко выносят летучих рыб на поверхность, на воздушный простор. И они летят и ныряют, летят и ныряют.

Летучка, парусник, долгопер, крылатка — можно подумать, что это названия бабочек или птиц. Но это рыбы.

Мы, живущие у обыкновенного, не тропического, моря, можем только воображать себе красоту и легкость этих рыбьих полетов на закате.

Выслушав все это, Дима с обидой сказал про наших черноморских рыб:

— Наверно, тоже могли бы летать, но не знают, как за это взяться. А может быть, ленятся.

Подумав, Дима добавил:

— А все-таки, дядя, наше море — отличное море. Правда ведь?

— Правда, мальчик, правда, — ответил папа. — Человеку всегда дóроги места, где он родился...

У папы был очень неразборчивый почерк. Папины буквы будто бодались острыми рожками, пытаясь столкнуть друг друга с линейки. Бывало так, что папа сам не мог разобрать, что же это такое он написал. Тогда он шел к маме и виноватым голосом спрашивал:

— Что это за слово, Лизонька, как ты думаешь? Похоже на «воротник», но по смыслу не подходит.

Мама взглянет и скажет:

— Нет, мой друг, это у тебя написано «возвращение», а не «воротник».

— Ты права, как всегда! — радуется папа. — Дей-

ствительно, «возвращение». Как это я сразу не догадался!

Зато у мамы почерк был прелестный. Тоненькие мамины букочки ровненько бежали по строчке, точно бисер, нанизанный на нитку. Каждая букочка, хотя и маленькая, читалась очень легко. Такой почерк так и называется «бисерный».

Но, хотя и нечетким почерком, папа писал очень интересно. Он не только работал в издательстве, где издавались научные книги, он сам иногда писал небольшие книжки: они назывались «брошюрами». И, конечно, в напечатанных брошюрах все было разборчиво. Каждый читал их с удовольствием и узнавал много нового.

— Такие брошюры хороши тем, — говорил папа, — что они стоят дешево. Они доступны народу.

Об одной из таких брошюр мне хочется рассказать подробнее. Это была брошюра о звездах. И даже не о звездах, а об одной звезде. Звезда была особая: это была комета.

Кометы с их длинными серебристыми хвостами, раскинутыми по небу, то приближаются к Земле, то снова уходят от нее на многие десятки, даже сотни лет. И опять возвращаются и снова уходят. И снова возвращаются, как будто желая взглянуть, что же произошло с Землей в их отсутствие.

Мой папа написал брошюру про одну из таких комет: комету Галлея. Она называлась так по имени ученого, который первый изучил ее путь и вычислил, что она возвращается к Земле каждые семьдесят шесть лет.

До чего же нам с Димой посчастливилось! Комета Галлея приблизилась к Земле при нас. Она появилась в теплый звездный вечер над Приморским бульваром, куда мы пришли еще засветло.

Ласточки сонно переговаривались под крышей соседнего дома: они уже готовились к отлету. Первые красно-желтые листья платанов падали на плечи бронзового Пушкина. Голубое Черное море было спокойно. Наступал вечер ранней осени.

Все знают, как долго тянется время, когда чего-нибудь ждешь. Вот и сейчас медленно, как никогда, наступали сумерки. Уже пора бы появиться звездам, а

их все не было. Но даже когда они появились, мы не сразу заметили комету.

— А не может быть, чтобы она запоздала еще на семьдесят лет? — сдавленным от волнения голосом спросил Дима.

— Смотрите внимательно, — негромко ответил папа и показал рукой на небо.

И тогда мы увидели комету. Она появилась совсем тихо. Ее голова была похожа на небольшой светлый клубок, но серебристый хвост, как прозрачное покрывало, расстилался по всему Млечному Пути. Комета как бы летела над морем, словно желая головой коснуться его.

— Смотрите, смотрите внимательно, — повторяла мама. — Хорошенько запомните эту редкую гостью наших небес. Она пробудет у нас не очень долго.

И мы не отрываясь смотрели на комету. Да и не мы одни. На бульваре было полно народу. Запрокинув головы и тихо переговариваясь, стояли люди.

И чем больше темнело, тем все отчетливее, все серебристее становилась в царстве звезд комета Галлея, редкая гостья наших небес.

Дима остался с папой на бульваре, а я поспешила с мамой домой, чтобы поскорее рассказать тете Наше все, что мы видели. У тети Наши болел зуб мудрости, который никак не мог прорезаться. Но она собиралась взглянуть на комету через несколько дней.

Придя домой, мы обо всем рассказали тете Наше. Сначала рассказывала мама, а я не перебивала ее: мама этого не любила, да и никто не любит. Наконец заговорила и я:

— Ты, мамочка, не все рассказала. Забыла про красные листья, как они тихо падали в ожидании кометы. Как долго не засыпали ласточки, поджидая ее. И самое главное, тетя Наша, представь себе, — бронзовый Пушкин, Александр Сергеевич, знаешь, тот, что на бульваре, — я вдруг увидела, что он на минутку тоже поднял голову и посмотрел на комету Галлея.

Тетя Наша выслушала меня и сказала маме:

— Может быть, она будет писательницей. Будет сочинять рассказы или даже стихи.

— Кто знает, — отвечала мама. — Это еще так далеко.

Школьная скамья

В середине августа, когда бабушка вернулась обратно к себе в деревню, а комета Галлея начала быстро удаляться от Земли, мы переехали в город. Приближался день моего экзамена в гимназию, в первый класс.

Как ни стыдно сознаться, но я начала важничать перед своими подружками.

— Мы в гимназии будем изучать высшие науки. Может быть, даже высшую математику,— рассказывала я Тамаре и Устенке.

— А кстати, сколько будет шесть семь? — спросила меня мама, услышав этот разговор.

Я запнулась: не могла сразу вспомнить.

Мама подождала немного, потом сказала:

— Вы, дети, пойдите поиграйте. А ты, Верочка, останься.

Тамара и Устенка вышли, а мама стала разглядывать меня, как будто видела впервые.

— Я, мамочка, вспомнила,— робко сказала я.— Шестью семь — тридцать два.

— Не тридцать два, а сорок два. Но сейчас не в этом дело,— ответила мама.— Ты мне скажи другое. Возможно, что я ошиблась, но мне слышалось, что ты говорила здесь что-то насчет гимназии и хвасталась этим. Но, может быть, я ошиблась и ты не говорила этого.

— Нет,— тихо ответила я.

— Что — нет? — переспросила мама.

— Ты не ошиблась,— еще тише ответила я.

— Значит, ты говорила это. И что же, правильно ты поступила?

— Нет, неправильно,— совсем уже шепотом ответила я.

— А почему неправильно? Можешь ты мне это объяснить?

Я молчала.

— Ну, а если ты не можешь, я сама объясню тебе. Видишь ли, не все родители, как мы с папой, могут платить в гимназию за учение своего ребенка. Не все могут ждать восемь или даже десять лет, пока их дочка или

сын окончат учиться и решат, кем им быть в жизни. Понятно? Иные родители рады, если их дитя может поступить в четырехклассную школу, как Тамара, или даже в двухклассное училище, как Устенка, приобрести хоть какие-нибудь знания. А ты хвастаешь гимназией, как будто в этом какая-то твоя заслуга. Да еще рассказываешь о высших науках, в то время как сама не усвоила даже таблицы умножения. Все это настолько грустно, что я даже ничего не скажу папе, чтобы не огорчать его,— закончила мама.

— И тете Наше тоже не говори,— дрожащим голосом попросила я.— А то она расскажет Ивану Васильевичу, а ему самому трудно учиться. И питается он от... отвра... тительно.

Но тут я заплакала так горько, что не могла сразу выговорить это длинное слово.

— Никому ничего не скажем,— ответила мама, погладив меня по волосам.— Вот тебе носовой платок. И не будем больше говорить об этом.

А день экзамена все приближался. Мне и хотелось на школьную скамью и было страшновато.

— Особенно хорошо ты должна успевать по русскому языку,— напоминала мне мама.— Каково это, если ты, моя дочь, будешь писать с ошибками?

Ошибок-то я и боялась.

Особенно трудно было с буквой «ять». Эта буква была трудна тем, что выговаривалась, как простое «е», а иногда, в виде исключения, как «ё». Трудно было распознать эту «ять». «Какая бы это была радость для школьников, если бы она вдруг пропала!» — думала я. Но она до поры, до времени оставалась в азбуке по-прежнему и досаждала всем, кому только могла.

Я хорошенько повторила таблицу умножения. Еще раз прочла наизусть басню Крылова «Мартышка и очки» и пошла с мамой на экзамен довольно храбро.

— Придешь с экзамена — получишь миндаль с изюмом,— посулила мне Дарьюшка.

Гимназия помещалась в старинном белом здании. В гимназическом саду росли старье-престарые серебрястые тополи.

Мы с мамой вошли в приемную, где было сумрачно от темных портьер и кожаных стульев вдоль стен. На этих стульях сидели будущие гимназистки, пришедшие со своими матерями, как я. Только одна девочка явилась с бабушкой, а одна — даже с дедушкой.

Вошла начальница гимназии, в темно-синем платье, седая, и поздоровалась со всеми. С моей мамой она была уже раньше знакома.

— Ну что ж,— сказала начальница,— пойдём.— И, взяв меня за руку, повела по лестнице на второй этаж, указывая дорогу другим.

Родные остались в приемной.

Класс, куда мы вошли, был большой и светлый. Серебристые тополи заглядывали в открытые окна, желая узнать, как будет проходить экзамен. Солнечный луч, как длинная указка, был протянут к классной доске.

Мы все уселись на школьные скамьи. И молоденькая учительница начала экзамен с меня.

Она дала мне прочесть рассказик из хрестоматии, но после первых же строк сказала:

— Достаточно. Читаешь ты хорошо. А теперь прочти то, что ты знаешь наизусть.

Я прочла «Мартышку и очки». Как всегда, сначала я запуталась от волнения, и у меня получилось: «Мартышка в старости *глаза слабами* стала». Но я быстро оправилась и дочитала до конца благополучно.

— Хорошо,— похвалила учительница.— Теперь подойди к доске и напиши слово «жернов».

Вот удача! Это слово было мне знакомо по маминым тетрадкам. Я написала.

— Правильно. Теперь напиши: «Звезды светят». Я написала.

— Правильно ли это? Кто скажет? — спросила учительница.

Девочка, пришедшая с дедушкой, встала и сказала:

— Неправильно. Звезды пишутся через «ять». Это исключение.

Вот тебе и раз! Так я и знала, что буква «ять» подведет меня. Что скажет мама!

Я вышла к ней в приемную красная, как клюква:

— Я, мамочка, не выдержала экзамена, сделала ошибку в слове «звезды». Меня не примут в гимназию.

— Будем надеяться, что тебя все же примут. Но,— и она подняла палец,— ты будешь дома писать со мной диктовки.

И действительно, в гимназию меня приняли.

Я возвращалась домой счастливая. Все поздравляли меня. Дарьюшка подала обещанное угощение, которого хватило на всех. Не хватило только опоздавшему Диме. Он был очень недоволен, но мы утешили его, пообещав новехонький гвоздь с большой головкой. У Димы экзамен был еще впереди: он тоже поступал в гимназию.

— А теперь давайте играть в гимназию,— предложила я.

Все с радостью согласились.

Мы расставили стулья один за другим. В первом ряду, как самая маленькая, села сияющая Устенка со своим букварем.

Этот букварь она обернула голубой бумагой и часто разглядывала его на кухне с Дарьюшкой.

— Гляди, буквы какие славные, крупные! Отборные, одна в одну,— любовалась Дарьюшка.— Самая неученая, мать у тебя неграмотная. А ты сможешь книжки читать. Видишь, какая ты уродилась: мелкая, зато удачливая.

— Я, тетенька Дарья, лучше всех буду учиться,— обещала Устенка.

— Это уж как бог даст! — вздыхала Дарьюшка.

— Бог тут совершенно ни при чем,— поправляла ее мама.— Все зависит от самой ученицы.

И вот теперь, когда мы начали играть в гимназию, Устенка с букварем сидела в первом ряду.

— Рассаживайтесь все! — командовала я.— Будете писать диктовку. А я буду учительница.

— Почему же именно ты? — возмутился Дима.

— А как же? Я ведь единственная гимназистка среди вас.

— Но ты сама говорила, что сделала ошибку в слове «звезды».

— Ну и что же! Больше ошибок делать не буду. И потом, раз моя мама учительница, значит, и я.

— Совсем это не значит. То мама, а то ты,— не сдавался Дима.

Я хотела было дальше спорить, но вдруг взглянула на Тамару. Она тихо сидела на своем стуле. Гладко заплетенные косы лежали на плечах. Спокойно глядели на всех серые глаза из-под ровненьких бровей.

На минуту я задумалась. Нелегко мне было решить-ся, но я решилась.

— Пусть Тамара будет учительница,— предложила я.— Это будет правильно.

— Да, это будет правильнее всего,— подтвердила из соседней комнаты мама.

Все было хорошо, весело, правильно. Но через несколько дней пришла беда.

Утром, войдя на кухню, я увидела, что Дарьюшка неподвижно, как застывшая, сидит у стола, подперев голову рукой. К ее плечу припала Устенька. А тетя Наша читает им письмо из деревни, написанное кем-то по просьбе неграмотной Устенькиной матери.

— Что случилось? — с испугом спросила я.

Дарьюшка ничего не ответила. А Устенька, потянув меня за рукав, вывела в коридор и там сказала на ухо:

— Буренка наша померла. Напоролась в лесу на сук. Поранилась и померла. Нету ее больше у нас...

И снова вошла в столовую Дарьюшка, ведя за руку притихшую Устеньку, которая крепко прижимала к груди букварь в голубой обертке.

Мать звала Устеньку домой. Надо было поднакопить денег на новую Буренку. Старшая дочка пошла в услужение к богатому соседу, а наша Устенька должна была нянчить младшеньких.

Ей было уже не до школьной скамьи.

Настанет день

Когда к нам в гости приходил Иван Васильевич Гребень, тетя Наша усаживала его в столовой и заставляла выпить стакан горячего молока с медом.

— Вы все кашляете, Иван Васильевич,— говорила

тетя Наша. — За собой не следите совершенно. А ведь в жизни главное — здоровье.

— Здоровье, конечно, вещь важная, — соглашался Иван Васильевич, размешивая молоко, — но есть вещи и поважнее.

— А что поважнее? — спрашивали мы с Димой.

— Ну, например, очень важно, чтобы людям хорошо жилось. Чтобы все были грамотны, учились в школах, читали нужные, интересные книги...

Случилось так, что как раз накануне того дня, когда мне надо было идти в гимназию, под вечер у меня заболело горло. Смерили температуру — оказалось тридцать семь и восемь.

— Похоже на ангину, — сказала тетя Наша.

Меня уложили в постель и закутали горло фланелью.

Тетя Наша укрыла меня потеплее, посоветовала уснуть и ушла в столовую, откуда доносились голоса.

От жара они мне казались то слишком громкими, то очень тихими. Вдруг одно какое-нибудь слово начинало звенеть у меня в ушах, разрасталось в целую историю, иногда даже с картинками, которые перелистывались передо мной так быстро, что кружилась голова.

Мне казалось, что я спала долго, что уже ночь. А в столовой все еще разговаривали, расхаживали, передвигали что-то. Кто-то при ходьбе позвякивал, будто коньками.

А может быть, это не ночь? Но зачем же тогда у нас на подоконнике горит ночник: фитилек в деревянном масле?

— Приступим к роялю, — приказал чей-то мужской голос.

— Слушаюсь, — ответил кто-то другой.

Это что же такое происходит? Кто распоряжается нашим роялем? Неужели папа с мамой решили все же тайком от меня, ночью, перевезти его в другое место, где бы он не стоял без дела!

Но ведь он и у нас не бездельничает: Тамара играет на нем.

— Мамочка! Папа! — позвала я.

Но голос мой звучал так слабо, что меня никто не услышал.

Этого нельзя было оставить!

С трудом дыша, я встала, сунула ноги в ночные туфли, закуталась в одеяло и, подойдя к столовой двери, чуть приоткрыла ее.

Я угадала: собирались увозить рояль. В столовой находился дворник, но вместо грузчиков были полицейские.

Главный из них звякал при ходьбе, но не коньками, как мне казалось, а шпорами.

Полицейские так удивили меня, что я не сразу заметила, какой беспорядок в комнате. А заметив, ужаснулась. И как это тетя Наша допустила?

Нет, рояль не увозили: он был раскрыт, как при настройке. В нем что-то искали. Да и вся комната была перерыта. Стол завален книгами, посуда из буфета вынута, Ушинский снят со стены, диванное сиденье поднято.

Внутри красавца дивана лежали старые газеты и бумажные выкройки. Сколько раз я просила тетю Нашу подарить их нам с Тамарой, чтобы мы могли играть в портниху! Тамара хотя и не любила этой игры, но соглашалась быть заказчицей и приезжать на примерку. Так нет же! Тетя Наша не позволяла. «Там туча пыли, — возражала она. — Эти выкройки выбросить надо». Однако не выбрасывала. Несколько штук подарила нам, а остальные спрятала обратно в диван.

Теперь она охотно показывала их главному полицейскому.

— Пожалуйста, взгляните сюда. А вот этого вы еще не видели. И здесь вы еще не смотрели. Еще эта пачка. Еще тот сверток.

Говоря это, тетя Наша так трясла в воздухе ветхой бумагой, что туча пыли заволокла всю комнату.

— Апчхи! — чихал главный. — Апчхи! Сударыня... апчхи... достаточно.

Но тетя Наша не унималась до тех пор, пока главный, сморкаясь и вытирая глаза, не приказал городовому закрыть диван.

Отдышавшись, главный указал на нашу дверь:

— Теперь пойдете туда.

— Там детская,— сказал папа.— Ребенок болен. Я просил бы не тревожить его.

Тут я не утерпела и просунула голову в дверь:

— Ничего, ничего, можете войти. У нас тоже есть выкройки.

Никогда еще папа так не сердился на меня.

— Сию минуту марш в постель! — крикнул он, ударив рукой по столу.— Что за девчонка! Почему ты вмешиваешься не в свое дело! Кто тебя спрашивает?

Роняя туфли, босиком я кинулась обратно в кровать, юркнула под одеяло, укрылась с головой, чтобы ничего больше не слышать. И от огорчения и боли в груди уснула.

Утром я услышала, как разговаривали папа с мамой.

Оказывается, полицейские доискивались, не прячет ли папа у нас на квартире какие-нибудь брошюры, написанные против царя.

Но таких брошюр они не нашли.

Днем мне стало лучше. И когда папа пришел проведать меня, я уже не лежала, а сидела в кровати и пила горячее молоко с медом.

— Как ты себя чувствуешь, Веруша? — спросил папа, и было видно, что он уже не сердится на меня.

— Мне, папочка, лучше,— ответила я.— Я не хочу больше болеть. Я буду следить за своим здоровьем. Это очень важно, хотя есть вещи и поважнее. Иван Васильевич тоже так говорит.

— Ну что, например, поважнее, девочка ты моя? — улыбаясь, спросил папа и присел ко мне на кровать.

— Важнее, чтобы всем хорошо жилось, чтобы все были грамотны, учились в школах, читали хорошие книги. Правда ведь?

— Правда, правда,— серьезно ответил папа.— Настанет день, когда все школы, все книги, самые лучшие, станут доступны народу. Не знаю, доживу ли я до этого. Но ты, моя девочка, наверное доживешь.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ



Повесть двадцатых годов

Глава первая

В южном городе, осенью, в год гражданской войны наступили прекрасные дни, когда море неомраченно синело и ветер спал, свернувшись, как якорный канат. Было так тихо, что даже у берега, там, где обычно курчавится мелкий прибой, синяя вода была как бы срезана ножом. В тот год был дынный урожай. Гладкие и змеино-пестрые дыни переполняли город. Ночи были темны и часто вздрагивали от падающих звезд.

Эвакуация белых началась с окраин, началась тихо и буднично: вывозили сено, пишущие машинки, оружие, мебель. Но постепенно эвакуация убыстрялась, она шла к центру, захватывала все новые улицы. Порт был захвачен ею, в порту люди дрались из-за вершка пароходной палубы, пароходные трубы вопили: «Скорей, скорей!» и только море синело безмятежно.

В шорохе опадающих листьев, в блеске падающих звезд, в чистоте и прибранности осенних улиц эвакуация окончательно дозрела. На второй день на приморском бульваре из окон лучшей гостиницы летели желтые, как дыни, чемоданы и с треском лопались на мостовой. Добровольческие юнцы в шинелях английского образца

набивали карманы бутербродами и патронами. Добровольческие деньги, деникинские «колокольчики», звенели все тише и тише, едва слышно. Даже те, которым некуда и не от кого было бежать, впадали в сомнение. Вихревые клубы людей и вещей, летящие по направлению к порту, вселяли в сердце неистребимую тревогу. На крышах пустых уже домов ласточки сговаривались об отлете: их эвакуация тоже была близка.

Переулок был уже тих и пуст. Греясь на слабом осеннем солнышке, лежала на мостовой собака, на ее белой спине сидела муха. Окна углового дома были открыты, и слышно было, как там играли на гитаре и пели песню:

Эх, зачем, почему
Наша жизнь проходит и тает?
Я бокала не дбпил
И сердце свое не раскрыл.
Ухожу навсегда из родного и милого края,
Где оставлено столько могил.

Дынная корка вылетела из окна на мостовую, муха сорвалась с белой собачьей спины, и голос снова запел: «Эх, зачем, почему...»

Красные были уже совсем близко, уже за лиманом стучал пулемет, тяжелое орудие заявилось где-то со стороны порта. И веселые маленькие пульки защелкали по улицам. В порту отчаянно и прощально заливались парходные гудки.

В этот самый миг произошла встреча. По улице, прямо на меня, с чемоданом в руке, в тяжелой и нечистой шубе, бежал хорошо знакомый мне человек. В наш город он попал случайно: его принесло сюда с севера, с берегов Невы. Кронштадтские матросы нажали на него, и он бежал, бросив в Петрограде свой письменный стол, свою кафедру, студентов и свои шесть тысяч томов. У нас в городе, на юге, он отдышался от быстрого бега и стал даже потихоньку обрастать книгами и друзьями.

Он любил северные белые ночи, проведенные без сна над сборником стихов, и шабли в цветных бокалах.

Мы были с ним приятелями. С ним хорошо было сидеть поздно вечером за вином или без и слушать его. Он любил и умел рассказывать о том, как в период

упадка молодые и старые римские адвокаты любили стихи. Они собирались без женщин. Венчая друг друга розами, они обнажали и смаковали какую-нибудь юную, только сегодня написанную строфу. На другой день, вялые и шальные, они проигрывали дела и вскоре проиграли империю.

Теперь этот «римлянин» налетел на меня внезапно, как налетает на человека тоска или болезнь.

— Вы? — сказал он, приостанавливаясь на минуту. — Ах, это вы! А где ваш... этот самый? Одним словом, где?

— Что именно, Игорь Евгеньевич?

— Я хочу сказать — чемодан. Словом, вещи. Они уже там? — Он подбородком указал на море и вытер потный лоб рукавом шубы.

— Нет, они там. — И я тем же способом указала на город.

В это время пулька щелкнула где-то рядом.

— Сумасшедшая женщина! — взвизгнул человек с чемоданом. — Через два часа город будет взят. — Он нагнулся к моему уху: — Французский консул, мой друг, берет меня на свой миноносец. Судно стоит за брекватером.

— Желаю вам счастья, Игорь Евгеньевич. Жаль, что я ничего больше не услышу о римских адвокатах, которые проиграли империю.

— Империя погибла, — возразил он и взмахнул чемоданом. — Варвары наступают. Прощайте. — И он исчез.

Он исчез. А я осталась.

Хотя я нашла в себе мужество упомянуть о римских адвокатах, но мысли мои были далеки от них. Мысли мои были здесь, в России, в родной стране, которая теперь перекраивалась наново. Пожалуй, еще и сейчас, в эту самую минуту, ухватившись за полу тяжелой и пыльной шубы, можно было очутиться на миноносце французского консула, который ждал за брекватером. Осенние синие волны понесли бы меня в ту сторону, куда ночью уводит лунная дорога: в Константинополь, Стамбул!.. Я там была, там хорошо забывать. Там, над Босфором и еще дальше, в деревнях, есть над самой

водой старые турецкие дома, сухие и пахучие, как скрипка. Там можно будет жить, ничего не делая, бродя и мечтая, если кто-нибудь согласится финансировать эти лунные ночи и мечтательные прогулки.

В Париже можно будет жить и работать. Можно будет шить белье или продавать шляпы. «Мадам,— скажу я,— если что-нибудь создано друг для друга, так это шляпа, которую вы держите, и вы сами». — «Моя милая, — ответит мне мадам,— кто научил вас говорить такие приятные вещи?» — «Мадам,— скажу я снова,— у себя на родине я не предполагала, что мне придется стоять у прилавка. Я читала, разъезжала по свету, беседовала с друзьями — словом, вела приятную и легкую жизнь. Естественно, что я накопила много приятных и легких слов». Впрочем, конечно, вздор. В Париже дамы, покупающие шляпы, не разговаривают с продавщицами о жизни. Вообще я боюсь, что буду не на месте в шляпном магазине. Тогда остается белье.

Я умею шить и вязать. Перед тем как родилась Киска, моя дочь, я сшила ей чепчик и связала фуфачку. Не моя вина, если все это потом на нее не нашло. Я предполагала, что родится маленький хрупкий мальчик, а вместо него получилась огромная толстая девочка, которая плакала басом и так сосала кормилицу, что та попросила прибавки.

Но дело было в том, что я не хотела продавать шляпы и шить белье. Я хотела остаться здесь, где я есть.

Случилось так, что как раз в самую сложную, ответственную минуту моей жизни я осталась одна. Со мной, правда, были Киска и Юлия Мартыновна — Кискина бонна, но мужчин не было, а они необходимы, потому что внушают нам, женщинам, чувство соревнования. Соревнуясь же, мы становимся решительнее и умнее.

Положение было серьезно и не располагало к улыбкам. И все же уехать я не могла. Не могла и не хотела.

Вечером того же дня кончилось веселое, нарядное бабье лето и началась нешуточная осень. Красные заняли город. Войдя в него, они как бы принесли с собой нерастраченные заряды дождей, гул осеннего моря.

Вечером, занавесив окна спальни, чтобы не бояться ночи, я высыпала себе на колени все свои богатства. Я опорожнила все свои сумки, ящики и кошельки.

Сделав это, я задрожала при виде стольких ничтожностей.

У меня на коленях лежали главным образом старинные пустяки. Панцирные браслетные змееныши, кусающие собственный хвост, брошь из синей эмали, наполненная воздухом, как пирожное. Плоские квадратные и раскосые часы на черной ленточке. Впоследствии часы эти я тщетно старалась выменять на маринованное сало. Баба, привезшая сало, сидела на возу, как башня. Она была окутана тремя великолепными пледами, на ногах ее лежала лисья шуба. Не сгибая головы, баба глядела вниз, на колеса, где стояла я с часами в руках, и говорила:

— Да хйба ж цэ часы? Да чога ж воны скосоротились? Ни!

Так и не взяла баба часов, убоявшись их необычайности. Вся эта раскосая чепуха — это все, что у меня было. Как все это оказалось легкомысленно и ничтожно!.. Где были серьезные, подлинные драгоценности: брильянтовые звезды в атласе футляров, изумрудные стрекозы, рубиновые мухи, круглые жемчужины? Где были кольца с одним огромным камнем, освещающим всю руку? Ничего этого не было. Одно лишь было: кольцо опасности за окном, в огнях прожекторов и сигнальных ракет. Оно было близко и могло сдавить меня в любую минуту.

Киска крепко спала, положив себе под щеку плюшевого зайца. Зайца звали Джерри. Джерри был старый, матерый русак, затравленный Кискиными ласками. Одно ухо у него было надорвано и висело; другое, чрезмерно укороченное починкой, торчало кверху. Питался он преимущественно паклей из дивана и шоколадом.

Вблизи Киски, разложив перед собой цветные клубки, Юлия Мартыновна на деревянном грибе штопала чулок. Ее светлые латышские волосы были оттянуты назад. Ее изумительная штопка, за которую в свое время она получила на состязании штопальщиц в Риге

первую премию, была в эту тревожную ночь изумительна, как всегда.

— Юлия Мартыновна, — сказала я, перебирая ее клубки, — должна вам сказать, что я сейчас бедна и одинока, как вот этот наперсток. Я ценю вас очень, Юлия Мартыновна: вы прекрасно смотрели за Киской, а однажды, помните, когда она проглотила пуговицу, вы даже спасли ей жизнь. Но платить вам мне теперь нечем. И поэтому мы должны расстаться.

Говоря так, я лукавила. Мне казалось невозможным, чтобы Юлия Мартыновна оставила меня. Меня, которая дарила ей шевиотовые платья и так охотно слушала ее рассказы о кузене в Риге: обещав жениться на ней, он изменил своему слову, открыл колбасную фабрику и влюбился в аристократку.

Выслушав меня, Юлия Мартыновна несколько минут молчала. Она взяла второй чулок, она вдернула новую нитку. Киска засмеялась во сне; осенняя ночь, пролетая над домом, дохнула ветром; я ждала, затаив дыхание. Юлия Мартыновна ответила мне:

— Я у вас очень хорошо жила. Я буду у вас дальше жить, если вы мне дадите в этот месяц пикейное одеяло и два полотенца. А в следующий месяц — фибровый чемодан, а еще дальше я вам буду говорить, что мне нужно.

Ее ответ был для меня первым из той серии уроков, которые мне надлежало получить. Должна сказать, что в те тяжелые годы, которые мы провели вместе, Юлия Мартыновна была мне опорой и защитой. И в тот день, когда она под выстрелами принесла для больной Киски кувшинчик молока, я подумала, что пикейное одеяло и фибровый чемодан, пожалуй, уж не такая дорогая плата за ее услуги.

Все было необычно в тот год на юге. В конце осени, когда полагалось лить докучным, но, в сущности, не злым дождям, внезапно, при страшной синеве неба без единого облака, без намека на жалость, при режущем ветре начались двадцатиградусные морозы. Море цвета бешеного аметиста, все в пенных сугробах, рвущее и ревущее, обрушилось на мол и пыталось сокрушить маяк. И тогда население города, ужаленное холодом, заметалось по улицам в поисках труб.

Топлива ни у кого не было, центральное отопление умерло, радиаторы были смертно холодны. Даже голландские и чугунные печи не шли в счет: они были слишком прожорливы. На смену им всем появились «буржуйки» — неприхотливые железные создания с тонкими ногами, прямоугольным туловищем и длинной шеей: такими Киска рисовала лошадей.

В первый же морозный день по городу замелькали эти печи. Их несли на плечах, везли на извозчиках, на тачках и колясочках. Их покупали на последние деньги, выменивали на вещи, на хлеб. Лавчонки жестянщиков были мгновенно наводнены синими от холода людьми, жаждущими труб. Трубы продавались на аршин; колена и вьюшки шли отдельно. Самой убогой печке, как и человеку, полагалось два колена. Для колен требовалось время, для вьюшек — тоже, для труб — тоже.

Мы с Юлией Мартыновной, как и все, пошли к жестянщику, стали там в очередь, плакали перед седобородым важным евреем. Он нахмурил седую бровь, назначил срок и цену. Мы просили уменьшить и то и другое — он не согласился. Это был его день, и он был прав.

Принеся домой на руках холодную и острую печку и гремящие трубы, мы начали устраиваться на зимовку. Наш дом находился в приморской части города, там, где начинались дачи. В тот год дом этот, с его застрявшим лифтом, погасшим электричеством, мертвым отоплением и безводными кранами, был страшен и жалок.

Нижний этаж был занят складом цветов и семян. Там в низких ящиках обычно росла веселая зелень, в шкафах лежали семена, на шкафах располагались гипсовые модели корнеплодов: морковь, свекла, репа и тыква. Все такое большое, новое и яркое, как в детских снах. В плоских ящиках спали будущие клумбы, газоны и огороды.

Четырнадцать смен правительств доконали всю эту растительность в самом зародыше: низ дома пустовал. Равным образом пустовали остальные этажи. И только на одном из них, бежав из больших северных комнат в маленькую южную детскую, жили мы трое. Но, конечно, трех наших слабых дыханий не хватало, чтобы

наполнить хотя бы подобием жизни столько стекла и железобетона.

Море было рядом. По ночам оно вело себя как пятнадцатое, самое мощное правительство, идущее на город, с тем чтобы поглотить его.

Ветер просторов и безлюдий тряс наши окна. Масляная коптилка в одну двадцатую свечи содрогалась от этих ударов.

Воду приходилось носить из других, более низких частей города. Там, в чужих дворах, в чужих подвалах, в темноте, у крана выстаивалась очередь: ведро наполнялось десять минут. Порой кто-нибудь зажигал спичку, чтобы проверить уровень воды. Но это бывало редко: спички продавались поштучно, и каждая стоила дорого.

Нашу «буржуйку» мы питали прекрасно: преимущественно классиками и дубовым буфетом. Мы начали с Шекспира в издании Брокгауза и Ефрона. Издание это роскошно и чрезвычайно продуктивно в смысле топлива. Мы начали с него. Творения великого англичанина, как им и подобало, наполнились жаром и блеском страстей, пеплом раскаянья и пурпуром преступлений. Леди Макбет вставала в пламени, король Лир рыдал в трубе. Горящий кусок буфета бушевал, как мавр в огненном плаще, покуда над ним жарилась постная лепешка.

В одну из таких ночей, когда неосвещенный и замерзший город был так тих, что в темноте, казалось, можно было споткнуться о него, наша дверь задрожала от ударов.

— Откройте, — сказал мужской звучный голос. — Обыск.

К нам в комнату вошли трое в шинелях и один в драной шубе, подпоясанной ремнем. Один встал у двери, другой, весь распухший, сел у стола, поигрывая ручной гранатой. Двое искали.

— Нам известно, — сказал человек с красивым голосом, — что у вас скрыта валюта: брильянты, пшено и прочие драгоценности. Так вот...

— А не то — к чертовой матери! — хрипло произнес сидящий с гранатой. — Революция не имеет пощады. Тут проснулась Киска и заревела.

— Это мое,— сказала она, ухватив Джерри за большое ухо.— Это мое, потому что это заяц.

Все беспокойно зашевелились, а главный из них внезапно погрубел.

— Ну-ка, пусть девчонка помолчит,— сказал он.— Не то гарантирую неприятности.

— Обезвредить сволочей,— дрожа в ознобе, подтвердил человек с гранатой.

В эту минуту мне стало по-настоящему страшно: я поняла, что человек с гранатой болен и пьян.

Они ушли, унося с собой многое из того, на что мы собирались жить несколько месяцев. Наутро мы узнали, что поблизости были ограблены не мы одни. Бандитская четверка, которая грабила, была вскоре поймана, и главарь их расстрелян. Я подозреваю, что это был тот, который гарантировал нам неприятности.

Через несколько дней, когда уж выпал снег, к нам пришли два матроса с целью реквизировать квартиру для Отряда особого назначения. Один из матросов, в черном бушлате, был аккуратен и чист до блеска. На его фуражке, на муаровой ленте — грозная, хорошо всем известная надпись «Алмаз» сияла неомраченным золотом, как на детской шапочке слово «Шалун» или «Мамин любимец».

Матрос с «Алмаза» был совершенно спокоен, только на щеках у него ходили желваки, а ярко-синие глаза были безмятежны, как спирт в барометре, когда тот показывает бурю.

Мы прошли по оледенелым и покинутым комнатам, прошли гостиную, где увидели толстые, мохнатые от мороза стекла, кучу мерзлого картофеля под роялем и самый рояль в радугах стужи. В кабинете книжный шкаф был раскрыт, и полка Шекспира зияла пустотой.

Матрос с «Алмаза» сразу понял, в чем дело.

— Книжки жжете,— сказал он.— Жжете книги. Растапливаете народное достояние. Это вы которого же писателя пожгли?

— Шекспира,— ответила я.— Вильяма. Жил в шестнадцатом веке.

— Такого не слышал.— Он наклонил голову, читая сбоку корешки книг.— Александра Пушкина не жечь.

Николая Гоголя не жечь. Михаила Лермонтова не жечь тоже. Понятно? — спросил он, поворачиваясь ко мне широкой суконной спиной.

— Понятно, — ответила я.

Детскую, где мы обитали, он прошел из двери в дверь, как сквозняк, прошел, не вынимая рук из карманов, не останавливаясь и не спуская глаз, устремленных как бы на далекий горизонт. Оттого что он не глядел себе под ноги, он, проходя, разрушил строение из Кискиных кубиков. Но тайны женского сердца поистине глубоки. Вместо того чтобы рассердиться, Киска улыбнулась. Ее тонкие бровки поползли кверху, на щеках запылали ямочки:

Она сказала:

— Ты самый симпатичный из налетчиков.

От ее слов кровь зажужжала у меня в ушах. Но матрос с «Алмаза» даже не взглянул на нее.

Квартира не подошла для Особого назначения. Перед тем как уйти, матрос чернильным карандашом на измятой бумаге написал приказ о том, чтобы Пушкина не жечь, Гоголя и Лермонтова тоже. Рояль же, стоявший в холоде, «негодном для роялей», укрыть одеялом или ковром. Дальше было сказано, что рояль есть народное достояние и что за каждую лопнувшую струну я отвечаю перед республикой, равно как и за все свое имущество.

Приказ был написан мучительно квадратными буквами, печать была поставлена тут же. Печать была вынута из матросского клеша и оставила на бумаге волнистый след — вернее, ее вовсе не было. И все же в приказе была сила, которой нельзя было не повиноваться.

Однако в скором времени я отчасти расхитила народное достояние, за которое отвечала перед республикой: я тайком продала три суконных портьеры, чтобы купить макухи и мыла.

Покупателя нашла Юлия Мартыновна. Это был синеватый брюнет, настроенный конспиративно. О деле он говорил обиняком, обшаривая глазами стены.

— Какие дивные погоды, — начал он, — просто отдыхаешь душой! Покупаю ковры и меха за наличные.

Какая замечательная девчурочка! Девочка, подойди сюда. Желательна швейная машина, если есть запасные шпульки. Вид у вас из окна безграничный. Покупаю краны, звонки и паркет на корню. Вид божественный.

Он вывез портьеры в детской колясочке, свернув ткань наподобие детского туловища. Занавески были спущены, а ножки прикрыты цветным одеяльцем, чтобы не простудить дитя.

Глава вторая

Почти у самого бульвара дома расступились плавным полукругом, давая место площади, посвященной Екатерине II. Перед императрицей в пролете зданий синел и зеленел лучший кусок порта, где бросали якорь лучшие корабли. Над ней синел и зеленел лучший в городе кусок неба, куда, как в гавань, заплывали на закате облака. Что касается земли, то на ней, по краям площади, было много греческих лавок, — каждая из них пахла фруктами, орехами, вином и морем, словно лодка контрабандиста.

Екатерина была поднята на цоколь из красного гранита. На ней были все ее ленты и ордена. Шлейф, бесконечный, как ее империя, падал пудовыми складками. Пухлой и властной рукой она указывала на город, на степную и морскую Новороссию, распростертую во все концы. Окружив Екатерину чугунным кольцом, стояли Потемкин, Орлов, Суворов и другие.

На этот цоколь, на этот темно-красный монолит было решено поставить бюст Карла Маркса. Торжество открытия памятника состоялось в зимний день, когда туман клочьями носился по городу и за углом площади разрушался дом, из которого были вынуты все деревянные части для топки.

Памятник был закрыт парусиной. Наконец холодные трубы и валторны заиграли «Интернационал», и мы, стоящие внизу, увидели памятник. Он состоял из одной головы, как богатырь, с которым сразился Руслан. Не было ни плеч, ни шеи. Каменная волна волос

сливалась с бородой, плоскости щек были квадратны, потому что скульптор был кубист.

То время вообще было богато памятниками. Во всех городах страны появлялись тогда самые разные сооружения — то непомерно большие, то, наоборот, непонятно мелкие. Иногда это была голова на высоте, и даже не голова, а одна только едва оформившаяся мысль. Иногда невнятное скопление смутных фигур, стоящих почти на земле и обнесенных деревянной оградой. Приехав в Москву в двадцать втором году, я застала еще у Арбатских ворот стену, на которой были начертаны охрой всемирно известные имена. Имена бунтовщиков, ораторов, ученых, воинов и актеров. Рядом с Сен-Жюстом была Дузе и рядом с Тимирязевым — Мирабо. Все было смешано, как в минуту сильного душевного напряжения.

После труб и валторн на открытии памятника заговорили люди. На возвышении встал знакомый мне матрос с «Алмаза». Его куртка была расстегнута, и ветер обдувал его шею. Обращаясь к стоящим внизу и указывая рукой на город, он произнес речь. Я хорошо запомнила ее, потому что стояла близко и слова летели надо мной.

— Товарищи, которые внизу! — сказал матрос. — Мы свергли царя. Это не факт, *это на самом деле было*. Но мы пойдем дальше, потому что маятник двенадцатого часа подпирает уже под самое горло мирового империализма. Товарищи, вас будут *инзить* пули, но вы не обращайтесь на это внимания. Товарищи, которые внизу, мы знаем...

В этом месте его речи за углом тяжело обрушился кусок дома, как бы ставя точку. Это была новая орфография эпохи, где были свои знаки препинания и свои законы. Город был переписан наново, как декрет, где все ненужное вычеркнуто.

Были вычеркнуты многие жизни, как, например, жизнь «мистера Пирибингля». Таково было прозвище этого человека, данное ему друзьями.

Мистер Пирибингль был журналист и москвич. На юг его занесло случайно, как Игоря Евгеньевича, как многих других, но почему-то осенью он не уехал вместе

со всеми. Он остался и скрылся много позже, ранней весной, когда сады уже запустились сиреневым пухом и мы перестали рубить мебель на дрова. Тогда мистер Пирибингль нырнул в весенний туман, задернул его за собой и вынырнул по ту сторону границы, на румынском берегу, откуда перебрался в Париж.

Незадолго до его отъезда мы пошли с ним за город, на прогулку. Мы пришли на кладбище, где гробы отдавались напрокат от жилища покойника до могилы: в нашем степном краю лес был слишком дорог, чтобы зарывать его в землю.

Мистер Пирибингль и я, мы обошли оба кладбища — еврейское и русское. На еврейском мы заглянули в склеп знаменитого цадика: там, за решеткой, были каменные скрижали, мерзость запустения, грязный мрамор. Тополь, росший до революции у склепа, был срублен. Все деревья обоих кладбищ были срублены, потому что красота не так нужна мертвым, как тепло живым. Памятники были расхищены, все было голо и безрадостно, как сама смерть.

В одной из боковых аллей мы застали конец погребения. Здесь не было ни священника, ни раввина: красное коленкоровое знамя профсоюза «Игла» лежало на черной бархатной земле. Извлеченная из глубины, земля эта была полна соков и богатств: нищета поверхности не коснулась ее. Мы услышали конец надгробного слова:

— Он жил и работал, — было сказано о покойном.

Мы сели отдохнуть на кроткую христианскую могилку какой-то Аси, с хилым крестиком, на который не польстился ни один вор. Мы были очень задумчивы.

— «Жил и работал», — повторил мой спутник только что услышанные слова. — Это напоминает мне эпитафию на могиле одной античной танцовщицы: «Плясала и нравилась». Больше мы ничего о ней не знаем. Какая краткость! Это кратко, как сама жизнь.

Мы помолчали.

— Необходимо как можно скорее уехать отсюда, — начал снова мистер Пирибингль. — Я не виноват, что эпоха сломалась именно на моем поколении, которое от этого кровоточит. Я не хочу быть раной.

— Лучше быть раной, чем опухолью, — возразила я.

Потом мы снова надолго замолчали, следя за тем, как скворцы, прилетевшие из теплых стран, ищут деревья и не находят. Вскоре после этого мистер Пирибингль нырнул в туман; он предпочел быть опухолью.

Все это было весной, но зимой, он, казалось, вовсе не помышлял об отъезде. Он жил, как и все, и даже служил: он заведовал яичным подотделом в учреждении, ведающем питанием. Белые и кремовые яйца хохлатых украинских кур омрачили жизнь мистера Пирибингля неслыханными заботами. Отдавая яйцам столько времени и сил, он перекроил на птичий лад свое мышление. Это стало совершенно очевидным в тот день, когда, разбив часы, он сказал:

— Часы разбились, и время вытекло из них, как желток из яйца.

Положительно, он стал смотреть на мир с точки зрения курицы.

Так жил он. А мы... мы жили сурово. Мы плохо ели, мы пили чай с сахарином, который противоестествен тем, что нейтрален. Он не вреден и не полезен: он — ничто. В жизни так нельзя.

Мы пили чай с сахарином, но Киске нужен был сахар. Она росла, и ей, этому комочку нежности, нужны были масло, молоко, сахар. Юлия Мартыновна, в сапогах и тулупе, как золотоискатель, приносила с рынка маленький тяжелый сырой мешочек рыжего сахара, драгоценного, как золотой песок.

Юлия Мартыновна и я — мы вели суровую жизнь! Мы кололи лед, кипятили снег, чинили трубы, лечили Киску от желтухи.

Я не знаю почему, но однажды ночью у нас пошла вода. Мы долго лежали в темноте, слушая, как в смежной ванной комнате нежно, словно неопытный соловей, защебетал маленький кран над раковиной, потом влажным широким горлом зарокотали большие краны. Как, наконец, захлебываясь и клокоча, вырвалась на волю мелодия воды. И тогда мы крикнули: «Вода!» — голосом Колумбова матроса, увидевшего землю.

Я пришла к мистеру Пирибинглю в его яичные владения просить о службе.

Служба была нужна мне не только потому, что таяли запасы, не только потому, что жизнь, не защищенная удостоверениями и пайками, становилась чрезмерно сложной, но, главное, потому, что меня трепало и било ветром событий, меня сносило водой: мне нужен был хоть какой-нибудь якорек, чтобы удержаться в новом мире.

Яичный подотдел помещался на бульваре, в одной из комнат особняка, обшитой дубом. Затоптаный бобр-рик цвета петушиных гребней устилал пол, и с потолка свисала венецианская люстра.

Мистер Пирибингль сидел в драном кресле, крытом парчой. Черные резные амуры резвились на высокой спинке кресла и поддерживали тяжелые ручки. Такой же стол, черный, с амурами и крыльями, утопал в красных и зеленых квитанциях. Сбоку, на футляре от ундервуда, лежало продолговатое голубое, явно утиное, яйцо.

Комната была нетоплена, и мистер Пирибингль, в пальто и шапке, разглядывал человека, стоявшего перед столом, и слушал его объяснения. Человек объяснял:

— Я, товарищи, не возражаю: реквизируйте. Но курица — птица нервная. Она впечатлительная, имейте в виду, и несется только при полном душевном спокойствии. Обращаю ваше внимание.

— Что же вы предлагаете? — спросил мистер Пирибингль, барабанив пальцами по голове резного амура.

Человек ничего не предложил.

— Послушайте, — сказала я, выждав, когда человек ушел, — у меня к вам дело. — И в амбразуре квадратного окна, за яичными ящиками, я попросила его о службе. — Вы занимаете ответственный пост, — сказала я. — У вас связи. Вы можете мне помочь.

— Бедный цыпленок! — произнес мистер Пирибингль с административной нежностью. — Не бойтесь, я возьму вас под свое крыло.

Учреждение, где мне надлежало служить, не могло похвастаться ни венецианскими люстрами, ни амурами. Это была длинная желтая и голая комната. Письменные столы шли вдоль стен.

Главой учреждения был бледный и упорный человек. Взамен правой руки у него был пустой рукав, засунутый в карман. Это был товарищ Шуляк, мое начальство. За недолгий срок моего пребывания здесь я хорошо изучила его. Я видела его в трудные минуты, когда не слаженное еще и громоздкое учреждение стонало и скрипело на ходу. В руках товарища Шуляка, вернее, в его единственной руке, было сосредоточено снабжение продовольствием общественных столовых. Он распределял нещедрые запасы муки, гороха, сала и ячневой крупы, бывшей на юге тем, чем было пшено на севере.

Товарищ Шуляк распределял все эти пайки, эти скудные рационы голодной зимы, когда досыта не ели даже те, кто сражался. Товарищ Шуляк и в тылу был тем же командиром бригады, каким был на фронте, пока не потерял руку. У него и здесь бывали страшные минуты, когда тыл был прорван, как и фронт, когда даже для самых жидких похлебок не хватало припасов и число больных различными тифами грозно увеличивалось.

Тифы были разнообразны, и один из них, возвратный, в некоторых случаях возвращался до четырех раз, словно неотвязный кредитор. Очень часто вместе с четвертым разом приходила смерть.

Тогда товарищ Шуляк, начальник Шуляк, командир Шуляк разворачивал свои резервы: бомбардировал город тяжелыми ядрами капусты, осыпал его картофельной картечью, слал на врага соленые синие лезвия сельдей, спрессованные для боя, и часто побеждал.

При всем том товарищ Шуляк всегда был очень спокоен и внимателен ко всем. Он потерял спокойствие только раз, когда узнал, что, по недосмотру заведующего складом, крысы съели два пуда мороженого сала и мешок кукурузной муки. Заведующий складом был вызван товарищем Шуляком в отдельную комнату. Их беседа была тиха, ни единого звука не доносилось из-за закрытой двери. И все же всем стало смутно и грозно, как будто рядом судил военный трибунал.

В длинной желтой комнате на мою долю выпал крытый клеенкой письменный стол. На мне лежала обязанность регистрировать наименования и количество про-

дуктов, отпускаемых общественным столовым. Мой день начинался так: мне приносили требования и расписки, нанизанные на железный прут. Я снимала их осторожно, я погружалась в зыбучие пески ячневой крупы, я вписывала все это в узкие книги. Бумага была дорога, каждая страница драгоценна; каждая описка была преступлением.

Я старалась быть безошибочной и точной, но ошибки возникали снова и снова. Бумага была дорога, каждая страница драгоценна; я была преступницей.

Моим начальством был товарищ Шуляк, но он был далеко: нас разделяло несколько столов и одна дверь. Рядом же со мной, моим прямым руководителем и соседом был бывший бухгалтер. Он видел все мои промахи, которые были велики; мои ничтожные достижения ускользали от него. Он не понимал, как можно иметь почерк такой, как мой,— я тоже не понимала этого.

В один особенно злосчастный день бывший бухгалтер, поглядев на мою страницу, испещренную помарками, ничего не сказал, но тихонько замурлыкал в свои бурные усы: «Сердце мое, моя плутовка», что служило у него признаком сосредоточенной и хорошо отстоявшейся ярости. Товарищ Шуляк был далеко и, казалось, ничего не видел. Но, проходя, он попросил меня остаться после работы на два слова.

Двух слов товарища Шуляка я стала ждать с тревогой в сердце. Кроме того, как раз в тот день я спешила. В одном из ящичков моего стола лежал сверток, чья судьба волновала меня. По поводу этого свертка у меня было назначено деловое свидание: час свиданья был уже близок, а товарищ Шуляк велел мне остаться.

У меня дома, среди моих вещей, был будильник, как бы созданный для того, чтобы отмечать одни только приятные минуты жизни. Фарфоровые незабудки заплели его со всех сторон, и циферблат выглядывал из вороха цветов. Своими незабудками будильник как бы просил «не забывать». В семнадцать лет эта нехитрая символика восхищала меня; теперь она казалась мне трогательной.

Мне не хотелось продавать эту игрушку, которая жила у меня так долго. Но мистер Герст, любитель и

коллекционер будильников, давал за него килограмм сала и банку какао. Будильник лежал у меня в ящике, я спешила к мистеру Герсту, но товарищ Шуляк вклинился и помешал.

Когда все ушли и табачный дым рабочего дня начал постепенно рассеиваться и оседать, товарищ Шуляк приступил к разговору. Комната была пуста, скудное электричество, питаемое неполным током, горело слабо и желто. За окном раскачивались деревья, и невеселая морская оттепель растекалась грязными слезами.

— Товарищ,— сказал мне товарищ Шуляк что называется в лоб,— вы, стало быть, не годитесь для вашей работы. Вы видите это сами.

— Вижу,— отвечала я.

— Вы не на месте, ясно. Но что же дальше?

— Дальше — ничего,— ответила я.

— Врете,— сказал товарищ Шуляк.— Такого, чтобы ничего, не бывает. Всегда должно быть что-нибудь. Не может этого быть. Вы учились, я так полагаю. Мозги у вас есть. Вы не имеете права,— повысил он внезапно голос и ударил карандашом о крышку чернильницы.— Вы что же, разве из тех, что продают вещи, чтобы не умереть с голоду, и потихоньку ждут возврата старого? Я вас не так понимал, простите. Вы учились. Где ваши знания? В какой области? Подавайте их сюда. Мы учили, стало быть, все возможности страны, склады исследовали, а сюда (он коснулся карандашом моего лба), сюда не влезли. Что у вас там жужжит? Может, нужное нам. Что же вы молчите? Думаете о чем?

Наступила пауза.

Я молчала. Я думала совсем о другом. Меня гвоздила мысль о будильнике. Она пришла незаметно. Слушая товарища Шуляка, я думала:

«А вдруг будильник зазвонит? Что же это будет? А вдруг он зазвонит? А вдруг он заведен? Крутили мы его с Киской».

И эта мысль о заведенном будильнике, мелькнувшая сначала легко и сжато, расширилась, раздулась, заполнила всю голову.

«Если он зазвонит,— думала я,— я должна буду объяснить, в чем тут дело. А я не хочу, чтобы он знал,

что я продаю будильники. А я не хочу думать о том, что он подумает, когда узнает, что я продаю будильники».

Эта мысль сидела во мне и мучила, а в это самое время товарищ Шуляк говорил нечто важное для меня. Я должна была ответить, а была занята вздором.

— На что вы годны? — настойчиво допрашивал он.

Я должна была ответить ему, а может быть, и самой себе, на что я годна, но вместо этого думала о будильнике: «А что, если он позвонит?»

И он позвонил. Раздался твердый, резкий, уверенный звон. Он шел из ящика моего стола. Пустота сумерек наполнилась этим звоном.

— Что это? — спросил товарищ Шуляк и встал.

Я вынула из ящика сверток и развернула бумагу. Фарфоровые незабудки зашевелились, как живые. Товарищ Шуляк молчал. Быть может, он окончательно убедился, что я годна только на то, чтобы делать ошибки в записях и продавать будильники, заведенные неизвестно зачем.

— Дождь, — внезапно сказал товарищ Шуляк, глядя в окно. — Так и льет. А ведь зима.

— Один раз в Швейцарии, — ответила я, — был такой град, что...

Мы вышли из комнаты.

В передней, на скамье под вешалкой, понуро сидел мой давнишний друг Абель Евсеевич с большим черным зонтиком.

— Я принес вам зонтик и калоши, — сказал он. — Не то насморк, например...

Увидя выражение моего лица, которое он так хорошо изучил, увидя товарища Шуляка с пустым рукавом вместо руки, Абель Евсеевич дрогнул и сказал, прижимая калоши к сердцу:

— Не следует относиться к насморку легкомысленно. Им страдали все народы во все века. Древние арабы звали его «ветер в ноздрях» и лечили бирюзой, истолченной в новолуние. В данное время японские врачи готовят...

— Прощайте, — сказал товарищ Шуляк. — Я тороплюсь. — И он вышел первым, не дослушав о японских врачах.

Глава третья

У Авеля Евсеевича в лаборатории при университете царили чистота и тишина, не смущаемые никакими бурями. Сильнейшие раскаты грома отдавались здесь легким дрожанием реторт. Синие язычки спиртового пламени покорно лизали медные и никелевые сосудики. На отдельном неподвижном столе расцветала главная достопримечательность этого места: розовое, как лепесток, заячье ухо. Отрезанное от живого зайца, оно питалось физиологическим раствором. Раствор вводился в него особой иглой, проходил по ушным капиллярам, пульсировал тончайшим серебром, трепетал и дрожал, после чего вытекал через стеклянную трубочку в стаканчик. Если же вместо раствора солей попытаться ввести какую-либо ядовитую жидкость, то ушные сосуды сжимались и не пропускали ее. Заячье ухо и в отрезанном виде желало жить.

Здесь, в тишине и точности, существовал Абель Евсеевич. Его медленные руки с необычайной осторожностью двигались среди всего этого стеклянного хозяйства. Здесь были маленькие весы такой чуткости, что они отмечали легчайшую щепотку соли и, вероятно, могли определить удельный вес любой слезы.

Моя неудача со службой, мой прощальный разговор с товарищем Шуляком всей своей тяжестью обрушились на весы Авеля Евсеевича. Все затуманилось и заколебалось в его лаборатории.

И хотя я хорошо знала, что калоши и зонтик были только дополнением к основному несчастью, это не спасало положения. Виноват всегда тот, кто сильно любит, и в данном случае Абель Евсеевич был несомненно преступник.

Абель Евсеевич был вдвойне незащищен: с женщиной он обращался, как с молекулой,— математически нежно.

Любя и понимая самые различные дисциплины, их солнечную незыблемость и звездную стройность, Абель Евсеевич не любил и даже боялся музыки. Теплое гудящее чрево виолончели и прохладное, лебединое горло флейты были равно враждебны ему. Музыкальная фра-

за распадалась для него, как щетка, на ряд отдельных шумов: лучше всего была пауза. Авель Евсеевич считал музыку одним из наименее удачных опытов человечества, и все же мы познакомились на симфоническом концерте, единственном в его жизни. Во время Гайдна Авель Евсеевич развлекался тем, что разглядывал в бинокль мою ладонь. Впоследствии он не раз говорил:

— Гайдн — это множество линий, как на спектральном анализе.

Грустнее всего терять то, чего не имеешь. Будучи взята на испытание, службы по-настоящему я не имела. И службу я потеряла. Видя мою грусть, Киска делала попытки меня развлечь.

— Мам,— говорила она,— вот я нарисовала портрет тех дядей, которые приходили ночью и хотели забрать Джерри.

— Один общий портрет, Киска? Этого не бывает.

— Бывает, мам, потому что у меня мало бумаги. Вот как вышло: ну-ка посмотри.

Я посмотрела. Был нарисован неправильный круг с зубчиками по краю. В кругу сидели мохнатые точки, в середине помещался отгороженный крестик.

— Что же это, Киска?

— Это их голова, мам. Это их глазки во все стороны. И много ушей.

— А крестик посередине, Киска?

— А это, мам, их могилка. Одна для всех.

— Ну, Киска,— отвечала я,— это у тебя очень удачно получилось. Хорошо бы послать этот портрет их родственникам в письме, но, к сожалению, мы не знаем их адреса.

— Письмо, мам?

Оказывается, Киска не знает, что такое письмо. Это явление выпало уже из нашей жизни.

Я говорю:

— Письмо — это вот что. Например, ты уехала в другой город и там живешь. Я беру бумагу и пишу на ней печатными буквами: «Милая Киска, нехорошо ковырять в носу. Я очень люблю тебя. Твоя мама». Потом

я беру эту бумажку, кладу ее в плоский бумажный мешочек и опускаю в ящик на углу. Мешочек вынимают оттуда, везут на поезде и привозят к тебе в другой город. Ты читаешь его и уж никогда, честное слово, не трогаешь носа.

— Никогда, честное слово,— повторяет Киска и спрашивает задумчиво: — А когда это было... письма?
— Давно. Уж я не помню.

Почты не было, но книги остались. Сначала я внутренне бушевала, сопротивлялась и вела с отсутствующим товарищем Шуляком принципиальные споры.

Но постепенно я утихла. Моя горячность прошла и сменилась сонливым спокойствием, нездоровой тишиной оранжереи, где в январе вызревают бледные, пухлые и лицемерные плоды. Я начала много читать, что было странно и противоестественно в дни, когда ради тепла сжигали Шекспира и когда в муку подмешивали молотый горох.

Выбор авторов был нездоровый выбор. Из всего, что было написано на земле, я читала только Диккенса и Франса. Каждый из них был умен и добр, но каждый, если следовать за ним неотступно, мог завести в бездну.

Один приходил с радостными слезами, другой — с грустной улыбкой. Один утверждал, что главное в мире — это сердце, другой утверждал — ум. Человеческая мысль, холодноватая, как хрустальная грань, улыбка над жизнью, улыбка над смертью, над женщиной, этим «пленительным сочетанием атомов», — вот что было важно.

Убогие и больные, косноязычные уроды, сироты, отданные на выучку ворами, бывшие каторжники, старые невесты, безумные от любви, застенчивые клерки, скромные предметы — поющие чайники и сверчки на печи — это был мир Диккенса. Это был уют старого рваного плаща, под которым преступник, голодный пес и бродячее дитя равно находят спасение от зимней ночи.

Диккенс знал теплоту счастья. Он писал:

«Ребятишки собираются один за другим у пылающего камина. Мать подбрасывает свежих поленьев, а отец только что обменялся дружеским кивком с кучером дилижанса за добрую милю от своей фермы и теперь

стоит, обернувшись назад, и смотрит вслед удаляющимся путникам».

Франс утверждал:

«Время и пространство не существуют. Материи тоже не существует. То, что мы называем этими словами, есть именно то, чего мы не знаем, то препятствие, о которое разбиваются наши чувства. Мы знаем одну лишь реальность: нашу мысль. Она творит мир. И если бы наша мысль не взвесила и не назвала Сириуса, то Сириуса не существовало бы».

И у Диккенса и у Франса была убедительность, перед которой я была беззащитна. Холод одного и тепло другого протекали сквозь меня, как физиологический раствор сквозь заячье ухо в лаборатории Авеля Евсеевича. Но мне было этого мало. Я была живым зайцем, которому нужна была живая, невыголощенная правда жизни, а не стерильная книжная мудрость. Правда жизни, живая, реальная правда, та, что проходила перед моими глазами, не мирилась ни с Диккенсом, ни с Франсом.

А в это время дни шли, и зима все углублялась.

Новый год приближался. Было не вполне понятно, каким образом встречать его и встречать ли вообще. И главное — когда. Все было сдвинуто со своих мест, старый календарь вырван с корнем, а новый еще не врос как следует, не привился. Тринадцать промежуточных дней висели в воздухе, как выдернутые из земли корешки. Кроме того, часы были передвинуты на два часа назад. Утро наступало неестественно рано, и солнце по вечерам не заходило, когда следовало. В городе кое-кто говорил: «Приходите в десять часов *по-ихнему*».

Мистер Пирибингль разработал проект встречи Нового года по старому стилю. Предполагалось провести эту знаменательную ночь на одной адвокатской квартире, почти единственной в городе, где каким-то таинственным образом сохранились пять сравнительно теплых комнат, ковры, посуда и интимность, связанная с диванными подушками.

Встреча организовывалась на паевых началах. Было ясно, что ничьих индивидуальных достатков не могло хватить на прокормление и опьянение тридцати человек:

необходимо было коллективное усилие. Размеры каждого пая были точно установлены. Принимая во внимание финансовый кризис, пай допускались не только денежные, но и продуктовые.

Я к тому времени уже порядком обнищала и потому внесла лишь малую толику мерзлого картофеля; остальное довнес за меня спиртом Авель Евсеевич. Благодаря университетским связям у него были какие-то спиртные возможности, которые он и использовал. Мистер Пирибингль сделал исключительно ценный взнос: десяток яиц. Впрочем, в самую последнюю минуту, уже на самом вечере, выяснилось, что собранных средств не хватает. Был констатирован перерасход, который пришлось покрыть.

Приглашенных было около тридцати человек, последняя горсточка бывших хозяев говорливого и горячего города. Те, у кого были кирпичные заводы, заводы красок, суконные фабрики. У кого на той стороне залива были версты и версты широкого и пустынного пляжа, где со временем полагалось быть курорту. Пока же этот далекий оранжевый берег был населен одними чайками. Над ним спускалось соленое синее небо, и странно было думать, что столько воды, птиц и драгоценного одиночества не так давно принадлежало людям, подобным тем, что собрались в этот вечер на тахте адвокатской жены.

В соседней комнате звенели рюмки, белела скатерть. Пронесли гвоздь вечера — большого костистого гуся, родоначальника многих племен. У него торчали локти и колени, но он был пышно зажарен, как драгоценная дичь, и украшен бумажными плюмажами. Вокруг него, как родственники у гроба, толпились рюмки.

Университетский спирт, добытый Авелем Евсеевичем, был отвратительной очистки, — от него так и разлило сивушным маслом. Но, разбавленный кипяченой водой и сдобренный небольшим количеством сахара, он, при желании, мог сойти за водку. Этот же спирт, настоящий на ягодах, косточках и корках, получал повышение в чине и именовался ликером.

На большом блюде в накрахмаленных салфетках пронесли и поставили на стол нечто неслыханно велико-

лепное, почти забытое в шуме дней, нечто золотисто-белое, пахучее и мягкое,— другими словами, белый хлеб, испеченный специально для этого вечера.

Без пяти минут двенадцать нас пригласили к столу. Там на бумажке каждый нашел свое имя, все соседства были строго обдуманы. Гусь был разбит на участки, телятина тоже: каждый гость имел право только на один кусок. Все было шикарно: встречали старый Новый год, «настоящий», «неподдельный». Ура!..

Мистер Пирибингль встал с бокалом в руке. Он был великолепен в этот вечер. Его пробор был проведен с европейской элегантностью, лакированные туфли сверкали, и в петлице кудрявилась белая хризантема. Мистер Пирибингль поднял бокал, и подкрашенный спирт запылал огнем, как отличное вино.

— Господа! — воскликнул мистер Пирибингль. — Старому году осталось жить пять минут. Поговорим о нем, об этом без пяти минут покойнике, который думает, что смерть спасет его от нареканий. Нет, мы не последуем примеру древних, мы скажем о мертвом все дурное, которое он заслуживает.

Мистер Пирибингль говорил дальше. По его словам, умирающий год отнял у нас, здесь собравшихся, красоту и изящество жизни, все ее прекраснейшие качества, оставив нам только некоторое количество сумрачных дней. Он отнял у нас свет и уют. Литературу и письменность. Орфографию.

— Однажды,— продолжал оратор, ускоряя темп своих слов и глядя на часы,— довелось мне встретиться с офицером одного из старинных шотландских полков. У него на спине, на мундире, была нашита черная атласная ленточка, назначение которой мне было неясно. На мой вопрос офицер ответил: «В то время, когда наши стрелки носили пудренные косы, эта лента предохраняла воротники от пудры. Теперь мы не носим кос, но мы сохранили ленту. Мы сохранили ее на память о первых стрелках, которые одержали первую победу с косами на затылке».

Наша буква «ять» подобна шотландской ленте. В данное время она не нужна нам, но она — наше славное прошлое, наша юность, наши победы, одержанные

Державиным и Пушкиным. Мы не отдадим ее!.. Я пью за традиции, я предлагаю тост за букву «ять». За то, чтобы эта ночь была осенена забвением всего, что было в последние месяцы. Друзья мои, не правда ли, ничего не было? С Новым годом! Со старым счастьем!

Бой часов слился с возгласами. Бокалы столкнулись над столом. Соседка мистера Пирибингля, Вишенка, пила, закинув голову. Вишенка не имела другого имени, как Вишенка. В то время много было женщин, носящих имена цветов, плодов и птиц. Они появлялись из ниоткуда, как бы вызванные духом тревоги, и неизвестно куда исчезали.

Вишенка была в черных кружевах, черные волосы гладко закрывали ей уши, и подведенные ресницы вздрагивали. Она тоже произнесла тост, тоже подтвердила, что ничего не было, и все бокалы потянулись к ней.

— Как! — произнес гневный голос, полный недоумения и ужаса. — Как ничего не было! Было, и еще как было, а главное — что еще будет! — Но этот голос утонул в море восклицаний.

После ужина нагруженная до предела нарядным и теплым грузом гостей, вся в подушках и полупритушенных огнях, тахта всплыла в новогоднюю ночь. Ковры в этот вечер были цветущи. Рояль, покрытый испанской шалью, блестя зубами, как тореадор, был готов к бою.

Один из гостей, нервический и бледный пианист, сел на круглый табурет перед роялем и предложил сыграть «историю мира». Все закричали:

— Просим!

Авель Евсеевич, увидев, что надвигается музыка, попытался было скрыться, но пианист сказал:

— Не бойтесь, это будет недолго: скорее, чем выкурить папиросу.

Авель Евсеевич, отроду не куривший, опять было возмутился, но я удержала его за рукав, и он сел на ковер, составляющий продолжение тахты.

Пианист положил руки на клавиши, все притихли, и над тахтой поплыла простая свирельная мелодия: жалоба первой птицы на земле. Потом понеслись угловатые пестрые аккорды архаических культур, зажужжало

веретено, заскрежетали машины. Вперемежку с псалмами загрохотали войны. Затем сумбур, мрак, закат человечества. И, наконец, простая свирельная мелодия: жалоба последней птицы на земле.

Может быть, все это было не так. Может быть, птицы не пели и веретена не жужжали. Может быть, это были гусь и спирт, сытость и опьянение, преобразившие бречание клавиш в столь причудливые звучания. Я склонна думать, что так оно и было. Но это не важно. Важно то, что под эти звуки впервые за весь вечер мне стало легко. После долгих и тихих часов в нашей детской, при свете коптилки, в шерстяных чулках, чтобы не мерзли ноги, вдруг щедрый свет и шелковая гладкость во всем.

Сидя на тахте вместе с другими и плывя неизвестно куда, я думала так:

«А может быть, правда, что ничего не было. Да и что может быть? Музыка права: все равно все кончится. Земля опустеет, обезлюдует. Жизнь предельно коротка: клочок снежного облака в синем тумане. Не все ли равно, как прожить ее, эту кратчайшую из жизней. В этой краткости и есть разрешение задачи и утешение. Нельзя быть слишком несчастной на протяжении мига. Ничего не было».

Я сплела пальцы и положила их под затылок. Держа в руках свою голову, так удобно было думать, как бы замыкая свои мысли. Думать, улыбаться, качаться, плыть. Ничего не было. Ничего... Ничего...

Я переменяла позу и почесала локоть: очевидно, шитая золотом подушка защекотала меня, золото вдавило в локоть узор, и теперь кожа горела... Вокруг говорили о любви. Тахта была полна нежными словами.

— Любовь скрыть легко, ненависть — трудно, равнодушие — невозможно, — говорили в одном углу.

— Любовь не стоит на месте: она увеличивается или уменьшается, — утверждали в другом.

— Не будем говорить о любви, — шептали в третьем углу. И все же говорили о ней.

«Ничего не было», — продолжала я думать дальше.

Но локоть чесался все сильнее, так, что я отбросила в сторону подушку. Вывернув руку, я взглянула на нее

внимательно: у самого локтя, там, где образуется впадина, на дне ее сидела вошь.

Вши были тогда всюду. Они переползали с людей на события, они принимали участие во всем, они стали государственной проблемой. Нужно ли удивляться, что одна из них или, может, даже несколько решили встретиться с нами Новый год.

— Ничего не было,— повторяла я, лежа в шелковых подушках.

— *Было*,— сказала вошь.

На девятый день после встречи Нового года я проснулась от запаха уксуса. От него нельзя было отделаться, но это был не уксус, а тиф, который шутил со мной злые шутки. При содействии тифа вышли из повиновения все мои пять чувств и вели себя мстительно и злобно, как будто ненавидели меня всю жизнь и только теперь нашли исход своей ненависти. Особенно донимало меня обоняние, это тихое, кроткое чувство, никогда не замеченное мною ни в чем худом. Только теперь оно явилось во всем блеске подлинную свою натуру.

Начав с уксуса, оно повело меня через запахи гнилого дерева и пробки к зловонию погреба, где разлагаются бочки и плесневеет тряпье. Оно измучило меня зеленой и горькой окисью меди. И лишь однажды обрадовало ароматом свежеструганого дерева: это было предвестником выздоровления.

Я болела в маленькой комнате при кухне, где раньше жила прислуга. Киска каждый день приходила к дверям, прикладывала губы к скважине и спрашивала:

— Мам, чем сегодня пахнет?

Порой мелькала Юлия Мартыновна с огромным градусником, вроде тех, которые висят на стенах домов. Она наклонялась ко мне, и, удивительное дело, градусник умещался у меня под мышкой. Я была так слаба, что не могла слышать громкого голоса, я уставала даже от чужого напряжения. Однажды Киска, войдя ко мне в комнату, уронила мяч. Очевидно, повторив невольно вслед за ней движение мышц, я потеряла сознание от слабости.

Бывали дни, когда я как бы тонула в тоске и болезни. Я тогда хорошо поняла смерть. Смерть, казалось

мне, не есть нечто резко отличное от жизни, наподобие того, как день отделяется от ночи: скорее это сумерки, когда темнеет незаметно и неотвратно. Это не есть другая категория, как думают иные. Не срыв, а постепенное сползание. Вот сейчас чувствуешь себя плохо, еще немного хуже — это и будет смерть. Это очень жизненно, повседневно, буднично, близко от каждого, словно почтовый ящик или остановка трамвая. Выздоровление — вот в чем необычность и праздничность.

Однажды ночью так умучил меня запах плесени, так я жаловалась и стонала, что Юлия Мартыновна, укутав меня шубой, открыла форточку. Мне было тошно и липко, простыни пахли плесенью. Комната, мутно качаясь, валилась ко мне на подушки. Юлия Мартыновна, бледная от недосыпания, спала в кресле.

«Я закрою глаза, — подумала я, — и буду считать до ста».

Для этого нужно было усилие воли, почти невыносимое для меня. Но через это усилие, как через узкую калитку, я должна была вернуться к жизни.

Я закрыла глаза, и тотчас же, вся в багровых и желтых спиралях, тьма ринулась на меня, словно курьерский поезд. Но я держалась крепко. Я начала считать с таким расчетом, чтобы на каждую паузу падало два дыхания. Заметив, что я дышу прерывисто, я призвала себя к порядку, как на уроке плавания. И постепенно тьма улеглась, сердце начало стучать ровнее, лоб высох и посвежел.

Когда я открыла глаза, предчувствие рассвета было уже разлито в воздухе и комната уже не качалась. В открытой форточке отчетливо и кругло висела звезда. За то время, что я дышала в темноте, она выросла и округлилась, точно капля. Внизу, на улице, загрохотал первый воз.

— Н-но, сволочь, н-но! — закричал кто-то на лошадь.

И внезапно шум колес в прозрачном воздухе, укол звезды и ругательство соединились с рассветным дуновением в одно целое, пахнущее свежим древесным соком: это было утро, и это было выздоровление.

Теперь меня ждали блаженные и ясные дни, когда я училась распознавать вкусы и запахи: весь мир — как

в детстве. Вкус чая поразил меня, мыло пахло незнакомо и приятно. Кроме того, я училась ходить. В мягких туфлях, на шатких и валких ногах, я совершила свой первый рейс от кровати до печки и обратно. Моим главным учителем в этом деле была Киска. Она держалась с достоинством, даже с гордостью, и делала чрезвычайно дельные замечания.

— Ты, мам, сгибай колени, а то ходишь, как на спичках,— говорила она.

Или еще:

— Ты не сразу двумя ногами ходи: поставь одну ногу, а другую потихоньку придвинь.

Когда я от слабости хваталась за стенку, Киска снисходительно говорила:

— Чего ты боишься, трусишка? Я же тебя держу.

Моя бритая после тифа голова смущала ее. Она говорила о ней, понизив голос, как о несчастном и стыдноватом происшествии. Мой вид казался ей несовместимым со званием матери.

— Бывают ли еще на свете бритые мамы, или ты одна только такая? — спрашивала она и прибавляла:— Ну, ничего. Я все-таки люблю тебя.

Когда кто-либо приходил навестить меня, то она, стараясь отвлечь внимание от моей злополучной головы, заводила светские разговоры.

— Скажите,— спрашивала она,— а ваши дети тоже раскутываются ночью? Вы сами их укрываете или сердитесь на них?

Однажды она села поодаль в кресло и ни за что не хотела сойти с него.

— Это нехорошо, Киска,— сказала я ей, когда мы остались одни.— Люди, которые тебя мало знают, могут подумать, что ты просто упрямая глупышка.

— Ты никогда ни о чем не думаешь,— возразила Киска, почти рыдая.— Ведь на этом кресле дырка и даже пружина видна. Я закрывала все это, когда сидела: не могла же я встать, на самом деле.

Киска была консервативнее, чем я. Я, например, вовсе не боялась вылезавших пружин. Наоборот, я была довольна тем, что многие тайные пружины, управлявшие раньше мной, сделались теперь явными; что можно

было видеть их недостатки, лечить их, а если нужно, то и заменить новыми.

Говорят, что после тяжелой болезни обновляются ткани человеческого организма. Возможно, что после тифа у меня обновились клетки, заведующие ощущением жизни. Мне хотелось теперь работать, делать что-нибудь самое простое, устраивать свою судьбу. Видя, как Юлия Мартыновна колет щепы или трет кастрюлю, я думала:

«Как ловко, славно как! Вот и мне бы!»

Как всегда после тифа, мне очень хотелось есть запрещенные вещи: картошку с салом, например, которую ели при мне здоровые люди. Однажды я попросила себе тоже.

— Нельзя, — ответила Юлия Мартыновна и добавила, улыбаясь: — Нельзя. Кто не работает, тот не ест.

— Юля, — сказала Киска, — она будет работать, когда выздоровеет, дай ей кусочек. Ведь ты будешь, мам?

— Ну, Киска, — ответила я, — честное слово, я постараюсь.

Глава четвертая

Весна наступала медленно и робко. Оттого, что почти все деревья были срублены на дрова, в городе не осталось почек, не осталось тени, всего того, что час за часом отмечает движение весны. Весна сохранилась только в воздухе, в бурно несущихся теплых облаках, в дожде и солнце, когда небо смеется и плачет одновременно. Да еще трава лезла из каждой скважины, из каждой трещины тротуара, как будто все неиспользованные силы земли устремились именно туда. На главной улице, на мостовой, почти не тревожимой колесами, выросли одуванчики.

Постепенно наш дом начал оттаивать. Промерзший, оледенелый, угрюмый, он начал светлеть. Его мрачные, сухие глаза затуманились влагой и горели на закате золотом и пурпуром. Но долго еще здание не могло отогреться как следует. И даже когда снаружи было уже тепло и светло и легкий воздух ходил над домом, внутри

стояла синеватая стынь: это камень отдавал холод, впитанный им за долгую зиму.

Я выучилась плести веревочные туфли: их носили тогда все. Самое трудное было прикрепить веревочный верх к деревянной подошве. Это была работа сложная и ответственная. Я занималась ею на балконе, на солнце. Внизу, подо мной, качалась четырехэтажная глубина, полная тепла и света. Вевочные петли располагали к размышлениям: я размышляла о судьбе рук.

Вот вырастают у нас две руки, талантливые и умницы: самые талантливые изо всего нашего тела.

Они всё умеют, особенно правая. Левая немного обделена судьбой, но и она, если поучить ее, может хорошо работать. А правая — та просто молодец. Она пишет, здороваается, угрожает, приветствует, шьет веревочные туфли. Ее жизнь разнообразна, ее утрата незаменима. Но почему мы так плохо учим ее, почему она так мало знает?

Моя клиентура росла, мои туфли имели успех. Особенно хорошо у меня выходил носок, ответственнойшее место, где петли должны быть особенно крепки, чтобы дать опору большому пальцу. За пару туфель я получала фунт муки и немного масла.

У меня появился новый клиент, раненый красноармеец из соседнего госпиталя. Он пришел вечером. Я видела его, как он шел по двору, потом стал подыматься по лестнице и делал это очень медленно и тяжело. Потом раздался стук в дверь, и в комнату вошел громоздкий человек на костылях; одной ноги у него не было вовсе. Очевидно, он не привык еще к тому, что изувечен, — он долго прилаживал костыли, и тело тяжело висело на них.

— Сестрица, — сказал он, — наслышаны мы, что туфли больно ловко изготавляешь. А у меня... ранен я, видишь ты. И нога эта здоровая — до чего ж она жгет и крутит. Вот туфлю изготавь мне. А сколько возьмешь? За одну-то дешевле небось. Да ты говори свою цену, не задумывайся.

После его ухода Киска, молча, с жадностью глядевшая на него все время, сказала:

— Мам, если у него одна нога, она должна быть по середине. Нет разве, мам?

Я изготовила ему невиданно большую туфлю без каблука, которой он остался очень доволен. Ногу он потерял, когда белые, уходя из города, наввертели колючей проволоки на окраине, между двумя домишками. Смысл этого поступка был малопонятен: положение было вполне определенное и безвыходное. Никакая проволока не могла ни спасти, ни даже отсрочить приход красных отрядов. Бессмысленность этой раны, полученной где-то на задворках, без славы, без пользы, в попытках, явно огорчала моего заказчика.

— Коряво получилось, — повторял он мне не раз. — Шли, шли — и, глянь-ка, напоролись. Как вошел в меня шип железный, как зачало мясо гнить, ну, думаю, это тебе не пуля, эта подлость не выйдет, покада свое не возьмет, *жравчина* этакая. Эх, ну и подлая же!

Вторая нога была искривлена окопным ревматизмом; большой палец был тверд и узловат, как дубовый сук. При малейшей сырости воздуха в ноге начинались боли, от которых раненый не знал куда деваться. Иногда он даже сомневался, ту ли ногу ему отрезали, и высказывал предположение, что, может быть, к «жравчине» можно было приобвыкнуть и притерпеться, а вот «эту нудную» отрезать бы. Но было уже поздно об этом думать.

Он привел мне своего товарища, у которого обе ноги были целы, но зато выбита ключица. Это был невысокий человек. Ход его мыслей удивлял меня: у него была мания переустройства всего, что было уже создано. Увидев мои туфли, он сказал:

— Приделать бы к ним большой палец — хорошая бы рукавица вышла. А подметка деревянная на растопку пошла бы.

Про Красную Армию он говорил, что «наша Красная Армия, если бы ее по-настоящему оборудовать, первая была бы по рудокопному делу. Врылась бы в землю. А там уголь, алмазы, драгоценные соли. Все бы забрали». Звали этого человека Сигизмунд Горбин.

Придя ко мне в одно из воскресений в новых туфлях, причесанный он спросил, умею ли я играть на рояле. Узнав, что умею, он попросил, если возможно,

сыграть что-нибудь «грустное, доходящее до сердца». Я подумала и заиграла «Песню без слов».

Рояль уже оттаял к тому времени совершенно. Картофеля под ним не было, и только под педалью лежала заваливавшаяся луковка, темная, вялая, пустая, как мешочек, из которого тянулась тоненькая изумрудная стрелка: рождался молодой лук.

День был воскресный. Золотые пылинки плясали над роялем. Где-то далеко, на берегу, чинили лодку, и удары топора по дереву были отчетливы. Сигизмунд Горбин стал за моей спиной; тень его упала на клавиши, он попросил играть «медленно и внятно». Замедленные звуки стали падать в воскресную тишину: удары топора на берегу отбивали такт.

— А не можете ли вы на словах объяснить, что такое вы играете? — спросил Горбин. — Чувствую, что грустное, но в точности не могу определить.

Я взглянула на его гладко причесанную голову, на искривленное плечо.

— Представьте себе поле сражения, — сказала я, — которое всеми покинуто. Все живые ушли, остались только мертвые. Остались брошенные пушки, пулеметы...

— Хочу заметить, — перебил Сигизмунд Горбин, — что пулемет бросить никак нельзя: вещь первой необходимости.

— Да? Ну, значит, не было пулеметов: одни пушки. Все спутано, все в беспорядке. А с неба не переставая падает снег, падает, падает, заносит трупы. Тогда поднимается раненый, который не умер, но умирает. Он зовет людей, товарищей, он хочет услышать человеческий голос. Но вокруг тишина, молчание. Он забыт. И только снег падает, падает.

Я смолкла, ожидая хотя бы слова от Сигизмунда Горбина, но он молчал. Он был очень взволнован, хотел говорить, но не мог. Тогда мне стало стыдно, что несколько мелодичных звуков, приправленных солнцем и патетикой, произвели такое действие. Я попыталась улыбнуться, но Сигизмунд Горбин глядел на меня строго, и я не посмела. Он сказал:

— Если бы многие люди получили образование в музыке, то война не могла бы иметь места. Аэроплан

тоже может играть, если к нему приузорить струны, — как вы полагаете? Целый уезд сразу может слушать одну песню...

— Вы что же, здесь останетесь или на родину думаете ехать? — спросила я.

Горбин выпрямился:

— Да вот жениться задумал, не знаю, как вы скажете.

— Вот уж не знаю. Трудно так сразу. Кто она, ваша невеста: городская, деревенская?

Он помолчал и ответил:

— Да это вы. Я на вас хочу жениться. Вы не думайте, я тоже обучался. Я даже в университете был.

— На каком факультете? — спросила я от смущения, только чтобы что-нибудь сказать.

Он ответил без запинки:

— На третьем.

Мы еще поговорили с ним о женитьбе. Я объяснила, что у меня Киска, дочь.

Он возразил, что это не имеет значения, что работу он всегда найдет. И если в хозяйстве что трудное попадется, например, стирка, то он поможет... Расстались мы с ним друзьями.

Веребочные туфли шли своим чередом. Однажды это производственное спокойствие было прервано появлением человека в ушастой шапке. Человек принес мне краткую повестку из Политпросвета с предложением явиться. Не могу объяснить, как мне это показалось странно. Меня зовут в Политпросвет... для чего?

Политпросвет помещался на площади против памятника Карлу Марксу. Дом был велик. Он был наполнен людьми, желающими учить и учиться, организовывать зрелища в клубах и на площадях.

Меня приняла стриженная девушка, похожая на зырянского паренька, скуластая и раскосая. Она сидела на стуле, как на льдине, заливаемая волнами посетителей. Отведя меня в укромную бухточку между шкафом и печкой, она предложила мне прочесть на учительских курсах небольшой цикл лекций по истории костюма.

Услыхав про историю костюма, я спросила:

— А откуда, собственно говоря, вам это известно?

— Нам все известно, товарищ, — ответила девушка. — Нам известно, что вы, живя в Париже, интересовались этим вопросом, писали о нем и так далее. Мы хотели бы использовать вас в этом смысле. Будьте добры к завтрашнему дню разработать план программы.

План программы был представлен, одобрен, и я приступила к лекциям.

Каменные коридоры бывшего епархиального училища были полны воспоминаний. Сравнительно недавно здесь проходили парами гладко причесанные и перлеринчатые епархиалки, мечтая о красавце дьяконе. У дьякона были серые глаза с поволокой и великолепные, сильные, белые руки. Весной в епархиальном саду расцветала голубая и темно-красная персидская сирень.

В актовом зале училища, взойдя на ту самую кафедру, с которой в свое время распределялись похвальные листы и золотые и серебряные медали, я вдохнула воздух, чтобы начать.

Передо мной сидели рядами учительницы в стоптаных башмаках, в облезлых горжетках и шляпах образца 1910 года. Шляпы эти были так сплюснуты, как будто Министерство народного просвещения холодной тяжестью своих циркуляров давило именно на них. В задних рядах чернели учителя.

Новая советская школа тогда еще только нарождалась. Случайные дети приходили в школу, для того чтобы поесть и согреться. Каждый ребенок приносил с собой полено и ложку.

Учительские курсы были устроены с расчетом на то, что старые, еще досоветские педагоги, подучившись сами, будут лучше учить других, пока не подрастет новое, молодое советское племя учащихся. Педагогам читали лекции по литературе, психологии, гигиене, политграмоте, истории искусства. Мне думается, что физкультура не была включена только потому, что ее еще не было.

Каким-то образом попала туда и история костюма.

Жадность и внимание моей аудитории смутили меня. Все сидели с карандашами и тетрадками. Все стреми-

лись расширить свой умственный кругозор, пополнить запас знаний. Они верили, что история костюма поможет им уяснить поступь и осанку сегодняшнего дня.

Готовясь к выступлению, я добросовестно возобновила в памяти все, что знала, и пересмотрела несколько альбомов и книг. Первую свою лекцию я посвятила древнему Востоку, главным образом финикиянам, предприимчивым и энергичным людям, которые, руководствуясь одними только звездами, плавали по морям, экспортируя цивилизацию в тех формах, в каких она была в то время возможна.

Финикийские купцы, очевидно, удались мне. Я заключила это из того, что мои слушатели, забыв тетрадки и карандаши, смотрели мне прямо в лицо, мало двигались и почти не кашляли.

Покончив с Востоком, я перешла к Риму. Мне хотелось подробнее остановиться на римлянах, на этих, по словам одного историка, «маленьких смуглых людях, владеющих лучше киркой, нежели мечом». Но в самую неожиданную минуту, когда я описывала одежду римского легионера, раздался звонок, возвещающий конец часа.

Уходя, я унесла с собой круглый пахучий ржаной хлеб, прекрасно выпеченный. В общей сложности я получила пять таких хлебов — по одному за две лекции.

Возвращаясь со мной из бывшего епархиального училища, идя со мной рядом по неосвещенным улицам и неся под мышкой мой хлеб, Авель Евсеевич, присутствовавший на лекции, высказывал мне по этому поводу свои соображения.

— Вы говорили неплохо, — сказал он, — но не обольщайте себя тем, что были безупречны. Так, например, по моему глубокому убеждению, вы приписали хитону то, что относилось к пеплуму. Вы не согласны со мной?

Услышав в ответ мое молчание, Авель Евсеевич смутился, наткнулся в темноте на столб, сказал: «Извините», и уж до самого дома не произнес ни слова. Я же в это время мысленно беседовала с товарищем Шуляком.

«Ну, как, товарищ,— спрашивала я его,— похоже это на настоящее? То ли это, что должно, по-вашему, «жужжать» во мне, или не то?»

Товарищ Шуляк, поигрывая карандашом, молчал, но мне чудилось в его полуулыбке нечто одобряющее. Хотя и не окончательно.

Самой удачной из всего цикла оказалась лекция о модах французской революции. Я не собиралась задерживаться на этой эпохе особенно долго. Кроме того, не соразмерив время в самом начале и уделив чрезвычайно много внимания древним, я должна была спешить. Но одна из моих слушательниц, большая мужественная женщина с седыми усами, бывшая преподавательница рукоделия, попросила меня, если можно, остановиться более подробно на этом периоде, сказав, что ей, как заведующей костюмной частью одной клубной постановки, это интересно. Ее поддержали ее коллеги, и тогда я, отодвинув на время наступающий XIX век, подробно рассказала о том, как во Франции периода Реставрации был вотирован декрет, по которому наследникам казненных и осужденных Конвентом возвращались обратно конфискованные имения и имущество. Наследники, большей частью молодые люди, превращенные таким образом из бедняков в богачей и опьяненные этим внезапным богатством, предались самым эксцентричным удовольствиям. Ими устраивались «балы жертв», на которых кавалер, отводя даму на место, отвешивал быстрый и резкий поклон, напоминавший судорогу казненного. Для усиления этого мрачного эффекта щеголи и щеголихи брили себе волосы на затылке, как это делал палач перед казнью. Дочери казненных ввели в моду красные шали, в память того красного платка, который был наброшен перед смертью на плечи Шарлотты Корде. И, наконец, они носили красные ожерелья, настолько плотно прилегающие к шее, что это напоминало кровавый след от гильотинного ножа.

К последнему из хлебов, полученному мною в последний день, было прибавлено несколько рукопожатий различной крепости. Было сказано, что я оправдала надежды Политпросвета и что умственный кругозор моих слушателей заметно расширился.

Глава пятая

С наступлением тепла наш дом наполнился жизнью. Все его зимние недостатки, его удаленность от центра, близость моря, северные комнаты — все превратилось в достоинства. Кроме всего прочего, ясно обозначалась близость Чека.

На широкой улице, самой тихой в городе, там, где раньше жили богатые греки, отдохавшие от жизни, в жемчужно-сером выхоленном доме с атлетическими юношами у входа, с цветами в нишах и маленьким бассейном, помещалось грозное учреждение. Вокруг дома, на асфальте, стояли машины, и пыльный, усталый конь, привязанный к ноге каменного юноши, отдыхал от длительного бега.

Две девушки в сандалиях, в синих косоворотках, простоволосые, тронутые первым загаром, осмотрели наши большие прохладные комнаты. Не обращая на меня внимания, они измерили шагами пол и открыли все окна; я хотела предупредить, что одно из окон хворое и что трогать его нельзя, но не успела; окно распахнулось под решительной рукой, рама рухнула вниз, стекла зазвенели, и ненатертый паркет покрылся брильянтовой пылью.

Одна из девушек, переступив через битое стекло, как, вероятно, переступала через все препятствия на свете, сказала:

— Здесь станут кровати.

Вторая сказала:

— А здесь станет стол.

Первая сказала:

— Если нет воды, мы будем поднимать ее на блоке снизу. Обливаться можно на кухне и в ванной.

Вторая сказала:

— Рояль здесь ни к чему: мы перенесем его в клуб.

Первая сказала:

— Не в клуб, а в автобазу. Там ребята устраивают концерты.

Вторая сказала:

— Да.

Первая и вторая ушли, с тем чтобы вернуться завтра. Наша квартира, за исключением двух комнат, превращалась отныне в общежитие сотрудниц Чека.

Товарищ Клавдия, та, которая разбила окно, была первая и главная среди остальных. Товарищ Клавдия была очень красива. Никогда еще мне не доводилось видеть таких совершенных черт лица, такого точеного носа и таких трепещущих ноздрей. Черные брови расходились аккуратными высокими дугами, темные с бронзоватиной волосы были коротко острижены. Это не была хитрая и сложная стрижка более позднего времени. Товарищ Клавдия была острижена, как мальчик, на пробор; на затылке у нее торчал ежик.

По утрам в одних трусах она шла в ванную обливаться холодной водой, которую подымали снизу на блоке. Она шла из далекой гостиной, проходила коридоры и комнаты. Пучок солнца шел за ней по ее плечам и груди. Потом она входила в тень, тело остывало, потухало, синие трусы становились почти черными. По дороге из гостиной в ванную она свистела: «Яблочко, куда ты котишься?» Свистя, она дирижировала мохнатым полотенцем.

После нее в ванной комнате оставались потоки и реки. Тщательно сберегаемое мыло плавало в воде, мокрая мочалка свисала с края ванны. Юлия Мартыновна, мрачная и ненавидящая, сжав губы, вытирала пол и выкручивала мочалку.

От всей этой непривычно грубой работы и от неумолимой латышской чистоплотности руки Юлии Мартыновны потрескались, огрубели. Из бараньего жира, глицерина и еще чего-то она приготовила себе снадобье для смягчения кожи и держала его на полочке в ванной.

Однажды утром, после ванны, стройная, как амазонка, стриженная, бронзоволосая, насвистывая прекрасными губами «Яблочко», совершенно голая, сидя на подоконнике в позе мальчика, достающего из ноги занозу, товарищ Клавдия смазала этой мазью составные части своего браунинга.

Мне казалось, что товарищу Клавдии недоступны никакие нежности, что она не замечает природы, не чувствует весны. Но лунными ночами, которые в ту весну

были великолепны, возвращаясь поздно вечером на клокочущей машине, усталая, замученная, товарищ Клавдия принимала лунную ванну. Опять-таки в одних трусах, как будто дышать всем телом было ей необходимо, она бросалась на кровать, ложилась прямо под лунный душ.

— Этакая стерва, черт бы ее подрал! — повторяла она с восхищением и глубочайшей нежностью. Все это относилось к луне.

Ей были подвластны автомобили: рено, фورد и полугрузовик, один из тех, которые в первые дни революции выносили на своей спине солдатские тела, тяжелые от ненависти:

Рено — замученный синий мотор — был похож на призового скакуна, переведенного на полевые работы: он был слаб и жалок. Маленький проворный фورد беспечально прыгал по кочкам.

Кроме автомобилей, у товарища Клавдии находились в распоряжении две лошади. Они жили где-то в другом месте, не у нас во дворе; я их сначала не видела, но слышала о них очень много. Товарищ Клавдия и товарищ Ольга, ее соседка по комнате, говорили о них в часы лунных ванн. Дверь в переднюю была открыта, голоса свободно разносились по комнатам. Как далеки были эти беседы от женских шепотов в лунные ночи!

Клавдия говорила:

— У Ворончика грудь широкая, он просто глотает воздух. Просто горит земля у него под ногами. А помнишь, как он взял канаву перед кирпичным заводом? Перелетел — и сам не заметил. Уж потом только уши наставил: сам удивился.

Ольга возражала:

— У Сокола морда лучше. И глаза. Он крепче, поет меньше. Он, когда пьет, на воду смотрит, а не на человека: значит, характером добрее. И умен очень.

— А у Ворончика... — говорила снова Клавдия.

— А Сокол... — возражала опять Ольга.

Двигаясь стремительно и быстро, Клавдия часто сокрушала на своем пути мелкие предметы и рвала одежду. «Бах! Бум! Дзинь!» — раздавался звук, что-нибудь фарфоровое или стеклянное летело на землю, после

чего слышался треск: это рвалась материя. Одежда рвалась все чаще, прорехи становились все шире, булавки были бессильны. Загнанная в угол автомобилями, лошадьми и прорехами, товарищ Клавдия теряла спокойствие. Уж близок был миг, когда она, вынужденная просить о помощи, должна была нас заметить — меня и Юлию Мартыновну. И миг этот наступил.

Товарищ Клавдия появилась на пороге нашей комнаты, куда она ни разу до того не заглядывала.

Мы с Юлией Мартыновной как раз исследовали дырявое дно ведра. Ведро устало, оно больше не желало служить, оно не хотело жить. Обычно я не задумывалась над вопросом, сколько времени живет ведро. Ведра были во всех магазинах в неограниченных количествах. Они были прекрасного качества и не зависели от событий. Так казалось. Но сейчас было ясно, что голодовки, тифы, международное положение — все это влияло на судьбы ведра.

— Жестяничек сказал — больше починять он не может: надо новое дно, — сказала Юлия Мартыновна, держа ведро перед собой и говоря в него, как в рупор, глухо и громко.

— А если новое дно, например?

— Дно мы не можем себе позволить: он за дно такое возьмет, что...

— Послушайте, нет ли у вас иголки? — прозвучал с порога чужой голос. — Ну, и нитки.

Я обернулась. Юлия Мартыновна вынула голову из ведра. Обе мы смотрели на товарища Клавдию. Обеими руками она закрывала громадную прореху на плече: очевидно, ей уже стало невмоготу.

— Иголку? — Интонация Юлии Мартыновны сделалась непередаваемой. — Ах, иголочку вам! — Сколько ядовитого меду было в голосе! — Очень, очень сожалею. Но, к сожалению, к великому сожалению, иголки у нас нет.

В эту минуту Юлия Мартыновна мстила за все: за трусики, возмущавшие ее целомудренность, за ванную комнату, за револьвер. Весь этот разговор был столкновением иглы и револьвера.

— Я дам вам иглу, товарищ Клавдия, — сказала

я.— Только она толстая и ржавая: не знаю, как вы будете шить. Другой у меня нет: все остальное у Юлии Мартыновны. Не знаю, зашьете ли.

— Ну, и я не знаю,— мрачно ответила товарищ Клавдия.

Толстой и ржавой иглой с вдернутой в нее лохматой ниткой она зашила свое платье большими косыми стежками, похожими на осенний дождь. Юлия Мартыновна, глядя на это неудачное рукоделие, вздыхала от счастья.

Ворончик, тот самый, который перелетел канаву и сам не заметил,— Ворончик захворал, и его перевели болеть к нам во двор, в сарай, где раньше лежали дрова. Ворончик ничего не ел и стоял понуро, как будто размышлял о бессмысленно прожитой и никчемной жизни.

Мне же, наоборот, казалось, что жизнь его была удачна и богата. Несомненно, он побывал на фронте, на разных фронтах. Он знал удачу, запах опасности щекотал его ноздри. Ветер преследований и погонь гудел в его ушах, дни его были полны, ночи озарялись кострами. Теперь он все это забыл. Проходя мимо сарая, можно было видеть темный круп, заслонявший небольшое окно: круп все худел и опадал, занимал все меньше места, и в сарае становилось все светлее.

Испробовав домашние средства, к Ворончику решили позвать ветеринара. Сделать это было нелегко. Город не был приспособлен для болезней не только лошадей, но и людей.

В ближайшей больнице главный врач был совершенно умучен: он лечил внутри больницы и вне ее. В пасхальную ночь, когда больница была сравнительно тиха, в эту ночь главврача спешно вызвали на окраину города к корове, ободравшей себе вымя о плетень.

Тщетно уверял доктор, что коров он не лечит, что его этому не учили. Посланный за врачом человек смотрел на него в упор, вертел веревочку в руках, и видно было, что он не уйдет: корова была необходима, так как обслуживала ясли.

Главврач со страхом взирал на свою пациентку. Надев пенсне, он подлез ей под брюхо и исследовал рану: рана была устрашающая.

Главврач, забирая голову в плечи, чтобы не видеть склоненных над собою рогов и безумного коровьего глаза, влажной и дрожащей рукой зашил рану. Вокруг стояли люди с фонарями. Желтый круг света освещал прошлогоднюю солому на земляном полу, корыто с поюми и коровий хвост, перепачканный кровью. Корова перетерпела все без наркоза. Кроме того, она была так крепко привязана и схвачена руками, что не могла шевельнуться. Но, перетерпев все, она отплатила главврачу, как могла.

Вымыв руки над корытом с поюми и уже собираясь уходить, главврач пожелал еще раз взглянуть на свою пациентку. Он подошел к ней вплотную, поправил пенсне, склонил голову набок и, отведя в сторону качающийся хвост, с гордостью взглянул на зашитое вымя. Тогда корова, вырвав из рук хвост, повернулась, молниеносным ударом рогов сбила пенсне, выбила зуб — одним словом, доктор получил все то, что в официальных бумагах именуется «ранением, полученным при исполнении служебных обязанностей».

Главврач поклялся, что никогда в своей жизни не прикоснется ни к одному четвероногому. Но через некоторое время к нему в больницу легкой походкой вошла товарищ Клавдия и пригласила его следовать за ней к больному Ворончику, который хуеет.

— Я слышала,— сказала Клавдия,— что вы здорово понимаете это дело. А конь должен быть здоров, вы понимаете?

Главврач, брызгая слюной сквозь выбитый зуб, попробовал отказаться, но очень скоро очутился у нас в сарае.

Товарищ Клавдия не была оратором,— это не входило в число ее умений,— но тут она сказала все, что хотела.

— Конь должен быть здоров,— сказала она.— Вы скажите, что ему нужно, доктор: мы все достанем.

Главврач был очень взволнован. Красота Клавдии пронзила его сердце, к этому прибавлялся еще самый обыкновенный страх. Но нужно было сказать правду.

— Не примите это за саботаж,— выговорил он,— насколько я понимаю, у больного сап. Медицина в таких случаях бессильна.

В тот же вечер у нас во дворе раздался одинокий выстрел. Это Клавдия пристрелила Ворончика, который не мог больше жить...

Ворончик исчез с лица земли, как будто его копыта никогда не топтали легких седых трав у дороги. Его следы сохранились только на этих страницах. Хорошо, что я видела этого коня и рассказала о его недолгой жизни и мгновенной смерти.

События в жизни проходят не даром. Встреча с Клавдией была мне полезна: она показала мне женщину не такую, каких я знала до сих пор. Клавдия была резка в обращении, и самый горячий ее почитатель не назвал бы ее приятной собеседницей. Но я видела выражение ее лица, когда умирал Ворончик. Еще я наблюдала за ней в минуты ее разговоров по телефону. Если там, вдали, на том конце телефонной проволоки, говорили о хорошо выполненном задании, об удаче в деле, тогда ее суровые глаза светлели до самой своей глубины. Она была стремительная в жизни: бух, бум, дзюнь,— расшвыривала она препятствия. Она не знала усталости, эта женщина трудной эпохи. У нее не было ни книги, ни иголки. У нее был конь и револьвер. И революция, которая ее породила.

С весной участились в городе случаи воровства и холеры. Воровство было и раньше, но теперь оно перешло в отчаянность. Беспризорные шныряли по городу: у них не было прошлого, и с настоящим они обращались безжалостно.

Однажды Юлия Мартыновна пришла с базара бледная, что с ней не часто случалось. Она хотела говорить и не могла. Наконец она рассказала, что обменяла мое черное шелковое платье на курицу. Курица была худая и старая, под перьями у нее было пупыристое жилистое тело. Но глядела она бодро, и Юлия Мартыновна предполагала, что она сможет нести яйца.

Держа в руках курицу, Юлия Мартыновна шла между возов и корзин. Внезапно вынырнул беспризорный. «Пусти, тетка!» — закричал он. Она прижала добычу к сердцу. «Не отдам», — сказала она. Беспризорный

озверел, он кинулся на Юлию Мартыновну и здесь же, у нее на груди, вонзил зубы в трепещущую птицу. У живой он выгрыз у нее крыло. Давясь и спеша, он глотал синее куриное мясо. Когда его оторвали и повели, лицо у него было в крови, перья облепили его брови и ресницы.

В другой раз мы шли с Авелем Евсеевичем по улице. Заплеванный, заваленный шелухой и мусором, со снятыми вывесками, город был очень страшен. Пыльные смерчи шли по мостовой, как в пустыне... Внезапно перед нами побежали люди. Возле одного из домов стояла толпа, головы были подняты вверх, и пыль засыпала глаза.

— На чердаке, — говорил один. — Вон пожарную лестницу понесли.

— Белье красть, это что же такое? И так все раздетые ходят.

— Теперь он свое получит.

— Шаромыжник, — сказала одна старая почтенная женщина. — Что себе думает его мать, так это один ужас.

Все посмотрели на нее с удивлением. Никто не подумал о матери вора, а она подумала.

Люди внизу медленно и страшно накалялись: каждый приготовил бранное слово и удар. Но вор обманул всех. Увидев себя окруженным со всех сторон, он бросился вниз из чердачного окна. Он не рассказал никому, на что надеялся. Хотел ли он спастись или предпочел умереть от падения, чем от побоев, — все это было неизвестно. Только он прыгнул и упал на тротуар. Он был уже мертв, он лежал страшно неудобно: руки были вывернуты назад, и в одной из них были зажаты полотенце и пара кальсон. В это время женщина из толпы, не та, которая сказала про шаромыжника, другая, вздохнула глубоко и развела руками.

— Мамочка, — закричала она, — ой, боженьки мои! — И она забилась в судорогах.

— Холера! — крикнули все в один голос, и улица опустела. Бегство было мгновенно. Холерная упала рядом с трупом.

— Что же это будет? — спросила я наконец. — Еще немного, и в нашей стране не останется людей. Все

умрут, кто же останется? Как жить? — В этот миг мне уже не казалось, что жизнь пустячно коротка («клочок снежного облака в синем тумане»). Наоборот, она казалась мне бесконечной, уходящей вдаль, без конца, без конца.

Но Абель Евсеевич, который, видимо, все знал и все умел ставить на свое место, ответил мне:

— Не бойтесь. Были времена гораздо более тяжелые. В четырнадцатом веке в Англии во время чумы вымерла треть населения. Дороги были пустынные, города одичали. Казалось, что цивилизация кончается. И имейте в виду, что это была чума, страшная болезнь средневековья, с которой не умели бороться и которая шла гибелью на человечество. Теперь совсем не то.

— Тогда была чума, теперь холера: разница не так велика.

Абель Евсеевич, не слушая меня, продолжал:

— Теперь совсем не то. Мы страдаем во имя будущего. Я не сторонник переворотов: они мешают работать. Известно, что Эммануил Кант потерял рабочий день из-за французской революции. Но если отрешиться от эгоизма ученого, нельзя не признать, что революции приносят пользу обществу.

Разговаривая, мы неспешно проходили одну улицу за другой. Спешить нам было некуда, особенно мне. Мой дом был не настолько очарователен, чтобы служить для меня магнитом. В то время Юлия Мартыновна разводила у нас кроликов, этих плодовых, вкусных и питательных зверьков, которые, по ее мнению, должны были обогатить нас.

Наша комната превратилась в кроличий родильный дом. Белая самка с детьми лежала у меня на диване, и я не могла достать из-под него своих башмаков, чтобы не волновать ее. Кролик-самец, рыжий красавец, хворал несвареньем желудка.

Так и на этот раз: вспоминая кроликов, я не очень спешила домой. Мы шли все дальше. На пустынной улице, стоя у ворот, двое, юноша и девушка, говорили о любви. Вечерняя тишина донесла до нас их слова. Юноша говорил о том, как он любит ее, что ее глаза самые прелестные на свете.

И случилось так, что все ощущения этого вечера — смерть вора, холерные корчи, разговоры о чуме в Англии в четырнадцатом веке и вот эти последние слова о любви, — все слилось в ощущение жизни, которая идет, не останавливаясь ни на минуту.

Близилась весна.

Глава шестая

Черное море не слишком богато рыбой. Эта глубокая впадина, синяя от глауберовой соли, с бездонными пустотами, мало приспособлена для рыбьих жизней. Рыба здесь бурой окраски и мрачного характера. И только скумбрия, эта ласточка Черного моря, узкая, серебристая, весела и проворна. Волны расписали ее спинку синими полосками, и брюшко у нее перламутрово-голубое.

Трое студентов, приятели Авеля Евсеевича, организовали рыбачью артель. Они раздобыли лодку и сети. Они внесли в дело свои паи: молодость, зоркие глаза, упругие мышцы. В наставниках у них был дядя Юра, рыбак-грек, который по запаху волны мог определить все, что должно случиться.

Артель поселилась на глинистом склоне в маленькой хибарке. Три стены у нее были вполне нормальные, четвертая же, задняя, вросла в глыбу красной глины. На утопанной площадке перед домом лежала лодка, которой делали новое дно. Она была вся сквозная, как грудная клетка кита: все ее ребра торчали наружу. Воздух и солнце обтекали ее черные ребра: она дышала, старая лодка, и никак не могла надышаться.

Внизу, на берегу, стояла вторая лодка, здоровая. Под ней крупная галька переходила в мелкий сухой песок. Он влажнел, светлел; чем ближе к воде, тем драгоценнее становились осколки раковин. Уральские богатства, индийские россыпи сыпались там промеж пальцев. Все это постепенно уходило в воду и под водой продолжало жить еще пышней, еще драгоценнее.

Рыболовная артель начала работать. Трое мальчиков здорово наголодались за зиму, насиделись в нетоп-

ленных комнатах, отморозили все пальцы. Теперь они накиннулись на весну. Солнце вставало для них недостаточно рано, и они ругали его за лень.

На закате молодая скумбрия, чирус, играла над водой. Она выпрыгивала наполовину и, сверкнув на солнце, как перочинный нож, снова исчезала. В те дни горизонт был чист, никакие дымки не туманили даль. Никакие суда не приходили и не уходили: была блокада. Море принадлежало нам.

Вверху, над морем, цвели фруктовые сады, потом на них показалась завязь: все это происходило в тишине. Бывали ночи такого звездного могущества, что от Юпитера шла по морю полоса, как от небольшой луны.

Первый мой визит к рыбакам был короток и официален. Пришли: Авель Евсеевич, Киска и я. Мы шли гуськом по узкой тропинке. Киска шла позади, разговаривая с большим булыжником, который она завернула в платок и считала грудным ребенком. Авель Евсеевич, спотыкаясь, говорил мне:

— Славные мальчики, вы увидите. Им всем трудно: это все первый курс. Они родились на пороге революции. Но когда-нибудь они будут очень довольны, что жили именно в это время.

Рыбаки были одеты больше чем легко: главной их одеждой были волдыри от неумеренного обращения с солнцем. Мы посидели недолго, и все же за это время Киска успела слегка загореть и крепко подружиться со всеми. Она заявила, что не уйдет отсюда никогда в жизни и что зимой можно будет спать под лодкой, где должно быть тепло и уютно.

Мы стали приходиться все чаще и чаще, а иногда оставались даже ночевать в старом гамаке, повешенном между двумя кольями. Гамак был так стар и дыряв, что Киска едва не проваливалась сквозь плетенья.

С непривычки артель очень уставала: она выходила в море под вечер ставить сети и на утренней заре возвращалась за рыбой. Потом эту рыбу носили в город на базар, обменивали и продавали. Но, несмотря на усталость, на неудачи, связанные с неопытностью, невзирая на придиричивость дяди Юры, который жил

неподалеку и приходил в самые неурочные часы, артель находила время для задушевных бесед.

Я не могла и не хотела оставаться паразитом в столь трудовом коллективе: я варила уху, мыла корзины из-под рыбы и подметала площадку перед домом. Я хотела шить; женщина, я хотела помогать мужчинам всем, что было в моих силах. Но шить было нечего: артель носила трусы, как товарищ Клавдия, и ничего больше.

Рыбаков было трое, но это было три различных ума, все принимавших по-разному. Первый, Лева Симцис, сын портного, осенью собирался в Москву. От энтузиазма он заикался, на губе у него вскипал маленький пенный пузырек. На юридическом факультете он был по ошибке, по воле отца, который мечтал о дне, когда в городе будут говорить: «Сегодня в суде очень интересное дело: обвинение в убийстве. Защищает известный Симцис». — «Какой это Симцис?» — спросит собеседник. «Как, вы не знаете? Сын старого Симциса, портного».

Но Лева не имел никакого отношения к отцовским мечтам. Сам он мечтал о живописи. Он не сомневался, что революция широко распахнула двери карандашу и кисти и что в самом скором времени города превратятся в груды сокровищ, где каждый дом будет расписан снаружи и внутри. Когда никто еще не помышлял об этом, он грезил о трамваях, украшенных портретами героев и эмблемами труда.

В свободные минуты Лева представлял себе свою встречу с Луначарским. «Товарищ Луначарский, — должен был сказать Лева, прямо с вокзала очутившись в приемной наркома, — вот я приехал. Вот мои руки: распоряжайтесь ими». — «Товарищ Симцис, — должен был ответить Анатолий Васильевич, — вот вам ордер на Москву: сделайте из нее чудо искусства».

Второй член артели, Викентий Ковалевский, происходил из военной семьи и имел на своем попечении полусумасшедшую бабушку и сестру Галину. В один несчастный день, когда сделалось известно, что большие хищные рыбы, паламиды, вошли в залив и распугали скумбрию, бабушка и Галина нанесли визит Викентию Ковалевскому и его товарищам.

— Мой милый,— сказала бабушка Леве Симцису, поднося к глазам лорнет без стекол,— что слышно у вас в лице и, главное, как здоровье наследника-цесаревича?

— Он просто цветет,— ответил Лева, беспокожно блуждая глазами по сторонам.— Я еще в жизни не видел такого здорового мальчика.

— Я рада слышать это, мой милый. Хотя здесь говорили, что Бадмаев, этот тибетский знахарь...

— Бабушка,— перебила ее пятнадцатилетняя Галина,— посмотрите, какая красивая лодка.

— ...что Бадмаев, этот тибетский знахарь,— продолжала с упорством бабушка,— совершенно уморил этого ангела.

А лодка действительно выглядела необычайно. Воспользовавшись днем, когда рыба шла плохо, Лева раскрасил лодку черным узором на красном фоне. Внутри она была зеленая и в таком виде напоминала арбузную корку, вывернутую наизнанку.

Третий артельщик, Костя Крошкин, любил понятные вещи,— это была его особенность. Он многого не понимал и часто начинал фразу именно этими словами: «Я не понимаю...»

В теплые темные ночи, когда вода внизу издавала только легкое шипенье и светляки слетали сверху, из сада, в такие ночи раскрывались сердца. В котелке над огнем варилась уха. Лева Симцис говорил об искусстве.

— Я — культурная единица,— говорил он,— я приезжаю в Москву, я говорю — так и так. Разве не правда?

— Я не понимаю,— возражал Костя,— почему культурная единица должна непременно быть в Москве: и здесь, в провинции, можно работать.

— Страна больна,— думал вслух Авель Евсеевич.— Москва — это сердце: у сердца всегда теплее.

— Страна не больна,— возражал Лева.— Это не болезнь, а родовой процесс: больно, но полезно.

Авель Евсеевич не оспаривал родового процесса. Уха закипала, падающая звезда перечеркивала небо. Ковалевский молчал, как обычно. Появлялся дядя Юра. Он высыпался быстро: в час ночи он был сыт по горло

сном. Он сообщал нам, что море теперь полно мин. Громадные мины плавают в морской воде, и рыбы боятся их. Первой начинает бояться камбала, умнейшая из рыб. Она учит остальных, и море пустеет на многие мили. «Мины везде, много-много мин», — заканчивал дядя Юра и показывал рукой в сторону Константинополя.

Мы следили глазами за его рукой и не верили ему: море было спокойно — легкое летнее море.

Потом мы глядели на небо, Авель Евсеевич обводил пальцем черные пространства, где не было звезд.

— Это пустоты вселенной, — говорил он, — так называемые «угольные мешки». — Он рассказал нам о звезде Канопус в Южном полушарии. — Она так велика, — сказал Авель Евсеевич, — что если в одну точку вселенной каждый час будет падать капля величиной с наше солнце, то понадобится два с половиной года, чтобы образовать Канопус.

— Пожалуйста, не надо, — растерянно выговорил Лева Симцис. После чего эта «культурная единица» закрыла глаза руками, будучи не в силах выдержать блеска страшной звезды.

— Цк-цк-цк, — сказал дядя Юра.

— Я не понимаю, — в последнюю очередь высказался Костя, и это был редкий случай, когда он был прав.

Ковалевский молчал.

Ковалевский всегда молчал: он был самый странный из всех. Иногда мне казалось, что в нем заключена частица безумия его сумасшедшей бабушки, а может быть, и нечто совсем другое. Днем, сидя на скале, он удил рыбу не для продажи, а для себя. Это было смехотворное занятие, потому что вода в том месте была тепловата и до смешного мелка: не вода, водица. Даже городские мальчишки презирали ее. Улов там был соответственный: маленькие бычки, почти прозрачные. Они распускали плавники, как настоящие взрослые рыбы, но видно было, что это дети.

Ковалевский не смущался ничтожностью добычи и бережно складывал ее в жестяное ведро. Но какой-то одной рыбешке он яростно обрывал голову. Безголовая,

она летела в море, за ней остальные, после чего ловля кончалась: рыбак сматывался и уходил. Не один раз я следила за ним, и всегда это было одно и то же: спокойствие до одной какой-то точки, потом внезапная ярость и — конец. Однажды я спросила его, в чем тут дело.

Он посмотрел на меня и ответил нехотя:

— Это семнадцатый: семнадцатому я обрываю голову.

— Я вижу. Но почему семнадцатый?

— Потому что в семнадцатом году началась революция.

Больше я ни о чем не спрашивала его.

Лева Симцис, на которого была возложена обязанность товарообмена, каждое утро отправлялся с корзиной рыбы на базар. Чтобы не распугивать покупателей, он надевал штаны, закатанные до колен, — верхняя часть тела оставалась голой. Он нес на плече корзину, полную серебра и соленой свежести, — это была скумбрия. Лева уносил в город рыбу и приносил нам слухи. Слухов было так много, что они вскипали пенными пузырьками на его румяных губах.

Однажды Лева Симцис, помимо слухов, принес домой шишку на лбу, подбитый глаз и порванную штанину.

— Меня побили рыбаки, — с гордостью сообщил он, — рыбаки-профессионалы — за то, что мы взялись за их дело. Но я объяснил им, что революция уничтожила все эти подразделения.

В другой раз он пришел по-настоящему смущенный.

— Говорят, — сказал он, — о каком-то заговоре. В городе беспокойно, много арестов, были облавы, обыски.

— Какого же рода заговор? Кого подозревают? Кто заговорщики?

— Бывшие офицеры как будто. И даже студенты. Нашли концы и теперь ищут главный узел. Говорят, что все они связаны с Врангелем. Идут разговоры о какой-то подводной лодке здесь поблизости. Скверная история.

В тот же вечер заглянул к нам прохожий человек. Он сошел сверху, с горы, в руках у него был прутик, которым он подхлестывал воздух.

Человек попросил у нас пить, потом — спичку, потом сказал, что ссадил себе ногу и ему необходимо переобуться. Наконец, он уселся плотно, заявив, что устал как собака и что ему приятен здешний воздух. С этой минуты он окончательно перестал нам нравиться, хотя мы и раньше были от него не в восторге.

Время шло, а прохожий сидел и разглагольствовал, словно он давно не находил собеседников по душе и теперь хотел вознаградить себя. В ответ на все его речи мы молчали как убитые. Молчание наше становилось все тягостнее, необходимо было прервать его, и Лева Симцис сделал это не вполне удачно, заметив, что лето в этом году пыльное. Мы все смутились. Только не прохожий человек. Он даже как бы обрадовался и начал нас расспрашивать о нашей жизни здесь, на берегу.

— Живем,— сказал Лева.— Ловим рыбу. Надо немножко подготовиться к осени. Рыбаки-профессионалы против нас, но на это не нужно обращать внимания, потому что революция уничтожила все эти подразделения. Осенью надо ехать в Москву.

— Вот здорово! — воскликнул человек.— А кто же именно здесь живет?

— Я,— ответил простодушный Лева,— моя фамилия Симцис. И два моих товарища: Крошкин, вот этот... с расцарапанной щекой, и Ковалевский, тоже студент. Вот он чинит корзину.

— Где? — спросил человек с удивительной живостью.

Лева обернулся: Ковалевского не было, и недочиненная корзина была брошена в песок.

— Вот здо-ро-во! — протянул человек необычайно разочарованно.

Он ушел через несколько минут, как будто с исчезновением Ковалевского здешний воздух потерял для него всякую прелесть. Мы больше не видали Викентия Ковалевского. От него остался только рваный ремень и носовой платок, которым он повязывал себе голову от солнца. Но и эти невинные предметы были в наших

глазах полны недобрых тайн. С ними были связаны слухи о заговоре, воспоминание о незнакомце с хлыстиком, о какой-то неведомой опасности, которая была близка и которую мы, по своему легкомыслию, не заметили.

Последующие наши дни были беспокойны. Человека с хлыстиком не было видно, но он присутствовал незримо, он мелькал где-то на горизонте. Мы не понимали, мы не знали, кто он и с какой точки зрения был ему интересен Ковалевский. Был он ему друг или враг, и если враг, то почему не трогал нас, живших с ним бок о бок?

Все это было непонятно, но тревога была так явственна, что можно было ее ощупать руками.

Тревога была не только в нас, — она была и в природе. Наступили безрадостные знойные дни. Желтое море бросало на берег слишком теплые и пенистые волны, — рыба не ловилась вовсе.

В один из таких дней на закате появилась большая туча. Она шла со стороны Крыма и была тревожна. Нам с Киской были знакомы веселые ночные дожди, которые чаще всего приходят на рассвете, умывают листья, вытаскивают из земли ленивые травы и, наведя порядок, уходят. В таких случаях мы укрывались брезентовым чехлом и, лежа под ним, слушали щебетание дождевых капель. Если же дождь становился слишком силен, то мы уходили в так называемый «дом» и укладывались там в углу, на сеннике, подальше от Левы Симциса, который во сне бывал буен и продолжал сражения, начатые наяву с профессиональными рыбаками.

Но на этот раз туча имела нешуточный вид. Она шла и набухала, холодная синяя тень мчалась впереди нее, захватывая все новые пространства. Туча дохнула холодом и влагой, и листья яблонь на горе и особенно листья тополей прилегли на серебристое брюшко, трепеща и вздрагивая. А над ними неслись клубы пыли. Покуда мы с Киской советовались, не уйти ли нам подобру-поздорову в город, уходить сделалось уже поздно. Туча стояла как раз над нашим обрывом: спастись от нее нельзя было.

Настала гроза: воздух закипел от ливня и ветра, море издало рев. Оно ревело нутром, всей глубиной своей, которая обычно безмолвствует. Гром начинался в одной точке неба, потом обрушивался на вселенную. Раздавался удар, проходило мгновение, когда мы не дышали, и фиолетовая молния вонзалась в наши крепко стиснутые веки. Так называемый «дом» хотел оторваться от земли и не мог: он вздрагивал, и мы вздрагивали вместе с ним.

— Я не понимаю,— сказал Костя Крошкин в минуту сравнительной тишины,— как он выдерживает это.

И правда, это было удивительно: мы этого не ожидали.

— Стихает,— сказал Лева, глядя в окно.— Стиха...

В это мгновение что-то случилось с воздухом. Раздался грохот: он шел не с неба, а с воды, он затопил весь мир. Наше окно вылетело вместе с рамой, мы повалились друг на друга; грохот все шел и шел, хотя ушные раковины уже не вмещали его. И дождь барабанил теперь прямо по нашим головам. Это взорвалась одна из мин, о которых нам рассказывал дядя Юра. Буря сорвала ее с места, тащила по морю, пока не швырнула о скалы неподалеку от нас. Наутро весь берег был покрыт камнями, у скалы вырван бок, и вода покрыта оглушеющей рыбой: среди рыб плавала и камбала, умнейшая из рыб. Даже прославленный ум не спас ее от катастрофы.

Этой бурей и этой взорвавшейся миной как бы завершилось лето. Море похолодало, попрозрачнело, и горизонт приобрел ту стеклянную хрупкость, которая является предвестницей осени. Сейчас, в эту минуту, увлекаемая ходом книги, принужденная идти дальше, я ловлю себя на том, что в воспоминаниях мне не хочется уходить от того лета. Тревога, безденежье, непрочность настоящего и туманность будущего, исчезновение Ковалевского, разговоры о Москве и звездах, наконец, взрыв мины — все это было крепко сварено в морском котелке: этой ухой мы были сыты долгие дни.

Глава седьмая

Мина взорвалась вовремя. Вообще в то время действительность поступала с людьми чрезвычайно умно. Если кто-либо начинал чересчур уж благодушно поглядывать вокруг, начинал затягиваться жирком, действительность ударяла его по лбу и спрашивала: «О чем ты, собственно, думаешь, человек? Торопись, думай, принимай решение, не то плохо тебе будет». И человек спохватывался, начинал торопиться, думать, принимать решения.

Очень скоро после мины нас, вместе с нашими кроликами, выселили из городской квартиры. Общежитие, разрастаясь, захватило весь дом. Во второй этаж какие-то мужественные люди потащили столы и стулья, у нас в столовой сердито застучал ремингтон. Прощай, серый высокий дом!

Выселение произошло без всяких нежностей: таких вещей, как предоставление выселяемым жилплощади, тогда не знали. Самое слово «жилплощадь» тоже было неизвестно: оно появилось много позднее, когда начали спрессовывать слова и жилища.

Комнату мы нашли себе сами в одной квартире, которая желала самоуплотниться. Наш новый дом был полной противоположностью старому: это было хилое строение на окраине города. Оно выглядело теплым и уютным, но из-под пола дуло так, будто в подвале были запрятаны ветры и сквозняки всей улицы.

Наступила зима отмороженных рук и ног и фурункулезов. Мы с Юлией Мартыновной решили печь пироги и продавать их через форточку. Одно из наших окон мы украсили соблазнительной надписью: «Здесь продаются пирожки и пончики». Подоконник мы покрыли белейшей салфеткой и поставили вазочку с нашими изделиями, чтобы прохожему захотелось есть. Кролики были отставлены за неимением места.

Первое наше тесто всходило медленно и тяжело. Оно вздыхало, томилось, пускало пузыри, пыталось встать и снова падало. Мы тепло укутали его ватным одеялом, ходили вокруг него на цыпочках и говорили шепотом. Мы вложили в это дело столько почти белой

муки, дрожжей и надежд, что страшно было подумать о неудаче. Мука и дрожжи были куплены на деньги Авеля Евсеевича, — таким образом, и он являлся пайщиком этого предприятия.

Все мы сидели вокруг теста и думали о нем. Киска бродила вокруг да около, нюхала воздух и говорила:

— Это очень вкусно пахнет. Дайте попробовать. Пожалуйста.

Но мы гнали ее прочь.

— Тсс, тише, — шипели мы на нее. — Не говори громко, не стучи. От твоего голоса тесто может сесть.

— Дрожжи плохие, вот в чем дело, — прошептала Юлия Мартыновна. — Все дело в дрожжах.

— В Египте, — возразил Абель Евсеевич, — да и вообще на Востоке не знают употребления дрожжей. Там пекут пресные плоские лепешки. Хлеб там пресен и скуден, потому что земля богата. Человек, избалованный роскошными урожаями, привык обращаться с хлебным зерном небрежно. Дрожжи — это измышление скудного севера, искусственно повышающее количество муки. Пышные северные хлеба...

— Авлисей, говори тише, — прошептала Киска. — Ст твоего голоса тесто может сесть.

В первый день мы продали шесть штук пирогов. На второй день у нас подгорела мясная начинка, и мы понесли убытки. Через неделю сделалось так холодно, что продавать через форточку стало невыгодно: тепла у нас при этом уходило больше, чем притекало денег. Продавать пироги на улицах или на базаре мы не решались: это было запрещено и строго преследовалось.

Обдумав создавшееся положение, мы решили шить детские чепчики и выменивать их на продукты. Выменивать было удобнее, чем продавать и потом покупать. Так, вероятно, рассуждали люди, когда впервые появились деньги.

Наш стол покрылся веселыми лоскутками, которые мы доставали всюду, где только можно было: из них мы шили чепчики и капоры. Мы украшали их обрывками кружев и цветочками из гаруса. Киска бродила вокруг да около, глядя на прекрасные кукольные платья, которые, по ее мнению, погибали так бессмысленно. Мы

очень остерегались Киски, после того как она из лучшего нашего модельного капора сделала салазки для Джерри и прокатила их по двору, ухватив за шелковые ленты.

Чепчики наши пошли хорошо, но скоро у Юлии Мартыновны начались нарывы на правой руке: они шли от локтя вверх. Лечить их надо было хорошим питанием, которое было невозможно. Кроме того, надо было пить дрожжи, те самые, без которых прекрасно обходились в Египте и вообще на Востоке, — у нас без них обойтись было трудно. После Юлии Мартыновны у меня началось то же самое, только не в таких размерах. Один за другим нарывали пальцы, и это мешало работать.

Наши хозяева — старый газетный очеркист, оставшийся теперь не у дел, и его жена — переселились на кухню и топили там плиту. Это было неслыханным мотовством, о котором соседи говорили шепотом. У хозяина были подагрические ноги, которые никак не могли согреться, и плиту топили исключительно для хозяйских ног. Как только плита начинала остывать, хозяин становился на нее ногами, обутыми в валенки, и читал газету. Он говорил, что только в эти минуты по-настоящему живет.

Но сплошь да рядом, увлеченный бытом провинции, бывшим некогда его специальностью, наш хозяин становился на плиту слишком рано. И тогда едкий дым от тлеющего войлока полз по коридору и проникал к нам в комнату. Мы спасали от огня валенки и их обладателя, который при этом ворчал, что, как только он начинает ощущать приятную теплоту в ногах, приходим мы и отравляем ему жизнь. Хозяйская плита, входящая одним боком к нам, была для нас настоящим счастьем... Чем сильнее были приступы подагры, тем щедрее клали дрова...

Так называемой «высшей справедливости» не существует: она выдумана неудачниками, теми, которые сами не могут справиться с тяжестью существования. Но иногда обстоятельства складываются так, как будто справедливость эта есть на самом деле. В данном случае я подразумеваю подвалы. В то время как один из

них, находящийся под нашей квартирой, едва не умучил нас простудами, второй подвал, «центросоюзный», скрасил нашу жизнь.

Одно из немногих учреждений — Центросоюз — отапливался центрально. Там сотрудники не сидели в шубах и не дули на покрасневшие пальцы. Но теплее, чем наверху, у машинисток, у бухгалтера и даже в кабинете уполномоченного, теплее, чем всюду, было внизу, в подвале. Отопление было рядом, трубы, наполненные горячей водой, шли вдоль потолка. Это было длинное помещение с узкими окнами, куда скудно проникал дневной свет: комната, напоминающая монастырскую трапезную, блаженное место, сыроватое, жаркое, с легким запахом бани.

В этом подвале была столовая Центросоюза. Здесь подавали на первое суп из ячневой крупы, на второе — ячневую кашу и на третье — ячневый кофе. Против двери было возвышение, нечто вроде ступеньки, куда ставили котел с супом. Это возвышение и было зародышем сцены.

Мало-помалу сцена выкристаллизовалась окончательно: она получила рампу, занавес, заднюю кулису, где был изображен юноша с ястребом. По воскресеньям сотрудницы пели там злободневные частушки про заместителя уполномоченного, те самые частушки, из которых впоследствии развились «живые стенгазеты» и сложные клубные постановки с безбожниками, кооператорами и комсомольцами, втягивающими родителей в общественную работу.

Лева Симцис не поехал в Москву. Тщетно московские полотна ждали прикосновения его магической кисти, Анатолий Васильевич Луначарский тщетно спрашивал у своих секретарей: «А где же Лев Симцис, талантливый товарищ из провинции, которого я жду уже так давно?» Талантливый товарищ сидел без копейки денег: рыбацья артель не дала ему ничего, кроме крепкого загара и запаха рыбы. И то и другое изгладилось только к рождеству. Лева Симцис, побуждаемый к этому необходимостью, поступил в Центросоюз регистратором.

«Эх, зачем, почему наша жизнь проходит и тает?..» — напевала я песню, слышанную мной давным-давно. «Эх, зачем, почему...» — все снова и снова повторяла я, отделявая мехом шерстяной капор.

«Трр-трр-трр!» — затряслась дверь под чьими-то ударами.

«Не стоит вставать, — подумала я. — Постучит и отстанет. Кто может прийти и что может сказать? Все равно наша жизнь проходит и тает. «Эх, зачем, почему...»

«Тррр!» — угрожающе произнесла дверь, и петли заскрипели. Пришлось подняться и открыть ее.

Лева Симцис влетел, издавая восклицания. Слово «театр» мелькало отчетливее других. Когда все это прекратилось, я заметила, что Лева не один. С ним был Аркадий Грам, хитрый и веселый человек. Грам не любил, чтобы люди грустили: ему самому нельзя было отказать в умении создавать своеобразное и не вполне благополучное веселье, когда жизнь начинает казаться сборником неизданных анекдотов. У него было и остроумие, но какое-то отраженное: оно должно было оттолкнуться от чужой выдумки. Зацепив чужое словцо, Грам начинал нажимать на него, как пресс на виноградные выжимки. Получалось не вино — вино было выпито раньше, — но и это питье имело свою приятность. Аркадию Граму предназначалась роль режиссера в центросоюзном начинании.

Лунатики и дети чрезвычайно смелы, но смелость их проистекает от неведения. Лунатик смело идет по карнизу, потому что спит; ребенок играет разрывной гранатой, думая, что это мяч. Лев Симцис был смел, как лунатик и ребенок вместе взятые. Только этой двойной смелостью можно объяснить то, что он не побоялся взяться за театр.

Репертуар интересовал его меньше, чем постановка. Он мысленно видел себя с кистью в руке и в измазанном халате ползущим по лестнице куда-то вверх. Я даже подозреваю, что мысль о театре зародилась в нем от ненависти к юноше с ястребом, которого какой-то реалистически настроенный профан изобразил на задней кулисе. Сам Лева мечтал о левых постановках в трапециях и кубах.

Театр был зачат, и он родился. Как истое дитя переходного времени, он был полон противоречий и крайностей. Он вмещал в себя такие противоположности, как Анелю Костырько и товарища Покорного.

На Анелю Костырько приятно было смотреть, когда она молчала. У нее были волосы серебристые до седины, пышнее и легче инея, под которыми нежное лицо ее всегда казалось прохладным.

В прошлом товарища Покорного было тяжелое детство, девятьсот пятый год, арест, тюрьма, побег, эмиграция.

Группа в количестве семи человек впервые собралась в подвале после обеда, когда запах ячневой крупы еще носился в воздухе. Все были серьезны. Казалось, все ощущают некий родильный трепет, неизбежный при рождении.

Для меня все это было особенно важно. Сравнительно недавно выяснилось, что, регистрируя продовольствие для общественных столовых, я не могла быть полезна родной стране. Затем я читала учителям и учительницам о финикийских купцах — это было уже лучше, но и это кончилось очень скоро. А между тем мой бывший начальник, продовольственный комбриг Шуляк, недаром ведь постукивал карандашом меня по лбу, говоря: «Что у вас тут жужжит? Может, что нужное нам». Теперь снова представлялся случай выяснить, что там «жужжало» и «жужжало» ли вообще.

Полудетские воспоминания, связанные с театром, хранили в себе нечто вполне трогательное. Это были воспоминания о пьесе «Во дворе, во флигеле» Чирикова, разыгранной гимназистами и гимназистками на дачной сцене, освещенной свечами и керосиновой лампой. Комары тучами летели на свет и липли к загримированным щекам. Занавес из простынь на кольцах задергивался нехотя. Во время спектакля рядом в цветнике распускались ночные цветы и квакали лягушки. Тогда мы знали, *как* играть и, главное, *что* играть. Теперь мы не знали ни того, ни другого.

— Госп... товарищи, прошу внимания,— начал Аркадий Грам.

Все умолкли, и даже Анеля закрыла свой маленький свежий рот, которым она произносила тысячу глупостей в минуту.

Грамм произнес небольшую, но ловко придуманную речь. Он упомянул о том, что в стране война, что в то время, когда бряцает оружие, музы молчат (так говорили римляне). Но что в данное время война идет на убыль, уже настает время заговорить музам и что Талия имеет такое же право голоса, как и остальные.

— Простите, я перебыю вас, — сказал товарищ Покорный, напряженно слушавший Грама. — Кто, вы говорите, имеет право голоса?

— Талия, муза театра.

— Ага, — снова сказал товарищ Покорный и, опустив голову, стал смахивать остатки пищи с центрального стола.

Грамм продолжал. Он указал на то, что в центре, в Москве, революционные зрелища стоят уже на должной высоте, но что мы вследствие своей оторванности должны начать всю работу сначала и прежде всего найти собственный репертуар.

— Я все время повторяю, — взорвался Лева, — что необходимо ехать в Москву. Но так как обстоятельства против, то надо попытаться наладить все это здесь. Нет пьес? В чем дело? Мы сами напишем их.

Все посмотрели друг на друга, и никто не произнес ни слова.

Потом говорил товарищ Покорный:

— Товарищи, я здесь, так сказать, со стороны чело-
век. Но театр я всегда любил, и если бы не то, что время революционное, я был бы теперь, я так полагаю, известен на сцене. Я, когда еще мальчишкой был, все думал об этом, но опять-таки времени не было: то завод, то кружок, то прокламации распространять.

— А вы бы, — сказала Анеля, — их не распространяли. Их можно было бы по почте посылать, а вы в это время могли бы заниматься любимым делом.

— Надо вам сказать, — продолжал, воодушевляясь, товарищ Покорный, — как это у меня первый раз получилось с театром. Было мне дано поручение от наших

бросить с галерки прокламации. Пришел я в театр в первый раз в жизни, а было мне шестнадцать лет. Пришел, билет у меня, все как следует. А на сцене, в театре, «Кармен» идет, опера. Как запела она, эта женщина, эта Кармен... Соблазняет офицера, во рту цветок, желтый платок на ней. Простая работница, на фабрике работала, — это меня и расположило к ней. И так я заслушался, загляделся, залюбовался на нее, что забыл о своем деле. В первый раз в жизни забыл. Один товарищ в партере сидел и должен был мне знак подать. Так он потом рассказывал, что едва ума не лишился. Вынул платок носовой, как было условлено, махнул им до неосторожности ясно, а я — ничего. Потом только спохватился. В тот раз меня и арестовали. Был я потом еще два раза в театре, — продолжал товарищ Покорный. — Как только из тюрьмы вышел, в театр пошел. «Аиду» видел, это хорошо. А вот «Онегин Евгений» слабовато. Совсем слабо.

— Почему? — спросили мы удивленно.

Но товарищ Покорный не понял нашего удивления и, наоборот, сам удивился:

— Как почему?

И он пояснил нам, что Аида — угнетенная рабыня и что на ее примере ясно видно, к чему приводит эксплуатация правящих классов. Что же касается «Онегина», то эта дворянская любовная история мало интересна.

Это был, видимо, настоящий классовый подход к искусству, который до сих пор был нам не известен.

Товарищ Покорный выразил желание, чтобы пьесы у нас ставились, «созвучные эпохе и вполне революционные». И еще была одна робко высказанная просьба: чтобы нашлась для него ролька с пением на басах, потому что «верхи у него не выходят».

В этот день новый театр оформился окончательно. У него обозначилось лицо, он получил имя: звали его «Созэп», что означало «Созвучный эпохе». Он начал дышать, молодой «Созэп», сын четырех отцов и трех матерей, потому что труппа состояла из семи человек.

Глава восьмая

Одного человека спросили:

— Почему вы живете так сложно и хлопотливо? Зачем в вашей жизни столько поступков и встреч? За чем?

Он ответил:

— Я консервирую воспоминания. Впоследствии вся сложность и хлопотливость испарятся, как посторонняя примесь. И останется крепкий и чистый жизненный экстракт, которым я буду питать свою старость.

Я не принадлежу к поклонницам этого человека. Его скептическая мудрость и расценивание юных дней, как продукта для консервов, мне чужды. Кроме того, сама эпоха заботится теперь о том, чтобы снабдить нашу старость целым ворохом трогательных и грозных воспоминаний.

Но с «Созэпом» случилось именно то, что предсказал неизвестный: все плохое отлетело от него. Забыты все подготовительные муки, остались в памяти только достижения.

Мучительность репетиций, которые не шли, а стояли на месте, когда все не ладилось, когда исполнитель никак не мог войти в свою роль, а суетился где-то сбоку, когда товарищ Покорный хотел спеть тоном выше и не мог, а Анеля Костырько могла бы разговаривать тоном ниже, но не хотела. Все это забыто теперь, остались в памяти только достижения, удачи, славные минуты, когда спектакль шел как по маслу и переполненный театр (двести пятьдесят зрителей: такова была его вместимость) аплодировал нам изо всех сил своих пятисот ладоней.

На первом собрании в своей вступительной речи Аркадий Грам доложил, что в центре, в Москве, революционные зрелища стоят на должной высоте, но что мы вследствие своей оторванности... и так далее. Мы были рады узнать, что Москва так хорошо устроена, но нам было от этого не легче.

На том же заседании Лева Симцис, не знающий сомнений, бросил крылатое слово о том, что — в чем дело, если нет пьес, мы напишем их. И мы написали.

Говоря по совести, далеко не все написанное нами было вполне созвучно эпохе. Положительно, были отклонения от правильной линии, но это объяснялось тем, что мы каждую неделю давали новую программу: ведь публика у нас всегда была одна и та же. Каждую неделю!.. За это многое простится.

У нас, особенно вначале, был смутный репертуар, похожий на испорченный негатив. Пьесы писали мы с Грамом, и тут-то я сделала открытие, что Шуляк, мой бывший начальник, был до известной степени прав: во мне «жужжали» ненаписанные вещи, и как только я коснулась пером бумаги, мне как будто легче стало жить. Почему же я не делала этого раньше, гораздо раньше, когда еще не было в помине веревочных туфель и шерстяных чепчиков, когда у меня было столько ничем не омраченного досуга и лампа из-под абажура бросала ровный свет, не задуваемый ветрами? Я думаю, оттого, что мне слишком хорошо жилось и без писаний.

Счастье утомительно, оно неэкономно тратит свет и тепло души, ему все равно, что будет потом: после него хоть потоп. Расходы на творчество и на счастье нам не всегда по силам, потому что источник средств один и тот же, и мы выбираем что-нибудь одно.

В детстве я писала стихи. Я писала их, отбивая ритм мячом, вечером, в полутьме. Точнее говоря, я не писала их, а придумывала. Я хорошо помню большую комнату — отцовский кабинет, где темнеет. Рядом столовая: там свет, там голоса, там на подносе чайник с чашками, как утка с утятами, плывет, уплывает в чайное море.

Но что сказать о кабинете, где вспыхивают тайны? Я кружусь на небольшом пространстве пола, мяч трепещет у меня в руках. Месяц плывет за окном, тучки висят на нем. Мяч у меня такой, что нельзя рассказать какой. Та-та-та-там, и вот — мяч по ковру идет. Та-та-та-там-та-тит — мяч над столом летит. Летит и разбивает нечто стеклянное на письменном столе моего отца.

Из столовой приходят и говорят, что разбита чернильница, что стыдно мне, что мяч у меня отберут и в кабинет вечером не пустят. Поздно, поздно: мне не

стыдно, яд проник в меня, стихотворение уже написано. И как только за мной перестанут следить, я снова удеру вечером в комнату, полную тайн, буду играть в мяч, напишу второе стихотворение и, быть может, разобью вторую чернильницу.

Я писала стихи не только в детстве, — я писала их в юности, в тревожной юности, когда рифмы слетаются, как пчелы, на ученическую тетрадь. То было время расцвета декадентов, когда вокруг зеркал обвивались фигуры девушек фисташкового цвета, состоящие из рук и волос. На уроке физики я писала стихотворение о водяной лилии:

Больной, тяжелой головой
Она склонялась над водой.
Больной, тяжелой головой...

— Мадемуазель, — вкрадчиво говорит наш физик, наша гроза, — что вы мне скажете о рычаге второго рода?

Молчание. Вздох. Единица... Потом писание стихов прекратилось на долгие годы.

Аркадий Грам, простите меня. Я пустилась в экскурс, в туманную область прошлого, в то время как вы сидите один над чистой страницей и обдумываете первую программу для «Созэпа». А ведь мы должны сделать это вместе.

Для первого раза мы написали вещицу, которая нам казалась острой сатирой. Дело происходило в Ноевом ковчеге, приплывшем в наше столетие. Там фигурировали звери, буржуи и пролетарии.

Мы с Грамом писали торопясь, ночью. Чтобы окончательно не изнемочь в муках творчества, мы приготовили себе чай на всю ночь. Чайник с чаем мы нежно завернули в одеяло, накрыли двумя подушками, чтобы дольше хранить драгоценное тепло.

Но в конце первого акта настала минута такого изнеможения, что Грам кинулся на кровать и, перевернув подушки, сунул их под свою усталую голову. И тепловатый чай охладил пылающие виски драматурга.

Открытие «Созэпа» произошло в одну из суббот. Отпечатанные программы были нам не по средствам:

написанная от руки афиша, как меню дешевых столовых, висела у входа в театр. Занавес отдернулся, и первые два ряда зрителей выступили из мрака. Легкий ропот прошел по рядам при виде елки на сцене, необходимой по ходу действия.

Никто из присутствующих, конечно, не предполагал, что он увидит настоящую елку: это было бы чересчур наивно. На сцене зеленело картонное дерево, взвихренное бурей возмущения...

Спектакль начался. Рыжий музыкант, член нашего коллектива, встретил появление елочных огней бичующей музыкой, мало приятной для слуха, — но ведь это была сатира.

За правой кулисой, незанятый в пьесе и вследствие этого обремененный обязанностями помощника режиссера, волнуясь, стоял товарищ Покорный с тетрадкой в руках.

Пьеса не понравилась. Сочетание текста и оформления дало редкий по неприятности эффект, очевидно вполне оцененный публикой. Конец был встречен недоброжелательным гулом.

В маленькой задней комнате, где все мы одевались и гримировались, товарищ Покорный среди общего гнетущего молчания высказал мысль, что «спектакль, так сказать, провалился».

Совместное творчество мое и Грама было признано мало удачным. Отныне стихия сатиры и стихия лирики были отделены друг от друга, и каждая получила своего изобразителя; нужно ли добавлять, что на мою долю пришлось лирика.

Вторая наша программа была удачнее: она состояла не из одной вещи (опыт показал нам, что это слишком рискованно), а из нескольких. Она была построена по принципу непроницаемых отсеков судна. Возможная неудача всей программы локализовалась отдельными самостоятельными номерами.

Но сначала о Граме: Грам внезапно развернулся пышным цветом, и я почти не узнавала его. Этот холодноватый и насмешливый человек, выбиравший себе «любимых девушек» с точки зрения продовольствия, которое они могли ему предложить, этот умелый рас-

сказчик анекдотов и любитель поспать, с каждым днем утрачивал свою насмешливость и свою сонливость.

Первая же неудача уколола его: сначала медленно, потом все быстрее и быстрее с него сползло его безразличие, его ленивенькая, холодноватая шкурка. Под ней открылся подлинный жар и умение работать. Он превзошел самого себя, он следил за всем и за всеми. Он ослепил нас разносторонностью своих талантов: он дерзал даже на хореографические постановки. На одной из репетиций совершенно неожиданно он встал на носок правой ноги, а левую отвел назад, в воздух. Руки его были простерты вперед, а клетчатая куртка, сшитая из пледа, приобрела упругость паруса. Он был в коротких брюках и суконных обмотках.

— Раз, два, три, — сказал он. — Потом вы поворачиваетесь вправо, и снова — раз, два, три — уже в эту сторону. Поняли? Когда я скажу «и», начинайте.

Танцующая пара выполнила его требование, и все увидели, что он прав.

Используя пребывание товарища Покорного на французских и английских заводах, Грам придумал ему прекрасный выход с пением на басовых нотах: песню старого матроса, пересыпанную иностранными словами. На женщин Грам начал смотреть с точки зрения их полезности «Созэпу», и даже Анеле, прекрасной Анеле, он сказал:

— Вы здесь для того, чтобы играть, а не разводить улыбки.

И Анеля заиграла, потому что была далеко не бес-таланна.

Вся наша труппа, вся семерка заболела любовью к «Созэпу». Это была настоящая любовь, с нежностью, с порывами страсти, с ревностью к другим театрам, с бессонными ночами и самозабвением. Достаточно было взглянуть на жену Грама, нашу костюмершу, когда она, бледная от вдохновения, непричесанная и неумытая, вдувала жизнь в старые отцветшие тряпки.

Она одевала нас необычайно, но костюмы ее обладали только одним недостатком: сшитые всегда наспех и в крайней экзальтации, они были непрочны. Они жили один вечер, даже меньше. Иногда здесь же, на сцене,

они распадались на две половинки, и актер выпадал из своей одежды.

Бывало и другое: так как запасы ткани были до смешного незначительны, то жена Грама придумала делать костюмы только наполовину, на «фасад», которым актер обращен к зрителю. Были такие счастливые роли, когда не нужно было поворачиваться.

— Вы поворачиваетесь? — Это был кардинальный вопрос, интересовавший нашу костюмершу.

— Нет, не поворачиваюсь,— отвечивал вопрошаемый.

Но по ходу действия, увлеченный огнями рампы и волной сочувствия, плывущей из зрительного зала, исполнитель все же поворачивался. И тогда зрители бывали потрясены разительным контрастом: роскошно одетая грудь — и спина, на которой перекрещивались бечевки.

Глава девятая

На главной улице города, в доме без вывесок, в большом, пустом и холодном окне затеплилась жизнь. Окно это пустовало два года. Трещина от метко пущенного камня или пули паутиной расползлась по стеклу. За стеклом, внутри магазина, были пустота и разорение, на прилавке лежала бочка.

Теперь бочка была убрана, окно промыто. Там были разложены два куска мыла, мужские подвязки, копченая колбаса и альбом для открыток. Это было начало нэпа. По вечерам все эти предметы освещались кухонной лампочкой.

Облик города постепенно менялся: проступали если не прежние, то, во всяком случае, знакомые черты. Сначала робко, а потом все увереннее начали появляться вывески: на лицо города были наведены брови. Первый трамвай, неумело и нечетко останавливаясь на остановках, пошел по самой важной линии. На два часа в день начали давать воду во все этажи. И наконец — о радость! — в квартирах зажегся свет, хотя и не везде сразу. Город был разбит на районы, каждый район получал свет по очереди, и люди ходили вечером в гости

туда, где было светло. Позже всего и труднее всего начинали работать лифты.

Менялся не только самый город, но и его обитатели. На смену сапогам шли хотя еще грубые, но уже башмаки, на смену платкам — шляпы. И, наконец, первая котиковая шубка поплыла по бульвару в светлый морозный день.

У профессоров завелись рукавицы, и их пальцы, защищенные от холода, увереннее держали кульки с академическим пайком. В переулке позади театра открылся первый ресторан.

«Созэп» приобрел новую публику. Она просачивалась неизвестно откуда. Это были родственники и друзья сотрудников и друзья их друзей. Раньше все было определено у нас в театре: аплодисменты, если они были, долетали к нам спаянные в один крепкий шум, словно град. Теперь все распалось на отдельные градины. «Очень мило», — произносили то тут, то там снисходительные голоса. Неторопливые руки укладывались: левая вниз неподвижно, а правая наносила на нее легкие мазки одобрения. Это были аплодисменты.

Видя все это, товарищ Покорный томился.

— Ох и публика, ну и публика же пошла! — вздыхал он. — Вон один сидит в третьем ряду, вон платок вынул. Такой что хочешь сделает. Такой тебе и цветочки на сцену послать может в случае чего. Фиалочку в петлицу.

Сказал товарищ Покорный — и сбилось. Неизвестные руки подали нам на сцену корзину — правда, не фиалок, но гортензий. пышные, словно накрахмаленные, цветы были перевиты шелковой лентой, рыхлая земля прикрыта мхом. В цветах лежала записка: «Молодым женским дарованиям «Созэпа» от постоянного посетителя».

После спектакля вся труппа столпилась вокруг гортензий.

— Бездарные венки, — первым высказался Лева Симцис. — Не сомневаюсь, что скоро будут придуманы новые цветы, основанные на понимании фактуры, а не на анархии природы.

— Недурная корзина,— одобрительно заметила жена Грама.— Мы выкрасим ее и сделаем каску для обозрения.

— Можно попытаться выменять ее на сметану,— сказал практический Грам, очевидно имея в виду наступающую масленицу.

— Это настоящая сказка,— воскликнула Анеля,— тем более прекрасная, что она посвящена женщинам! Товарищ Покорный молчал.

В тот же вечер, выходя из театра, мы с Анелей наткнулись на толстого, розового человека в инженерской фуражке. Его добротное суконное пальто было распахнуто, из-под него выглядывал прекрасный костюм. Он стоял у фонарного столба и, очевидно, ждал нас.

— Э-э... простите, пожалуйста,— сказал он, и голос его был такой же выпуклый, как и глаза.— Я хотел бы... я чрезвычайно счастлив приветствовать молодые женские дарования «Созэпа». — Он расшаркался перед Анелей и мной.— Разрешите представиться: инженер Альберт. Может быть, слышали: Альберт, фабрика сельскохозяйственных орудий. Бывшая, конечно.

Анеля просияла, как роза, опрысканная дождем. Увидя эту улыбку, Альберт в свою очередь улыбнулся. Уверенно и спокойно он взял Анелю и меня под руки.

— Ну, я очень рад, что вы такие простые и милые,— сказал он.— По этому случаю мы немедленно, сейчас же, сию же минуту, отправляемся в кафе «Куб», здесь же, рядом, и заказываем блины. Мы заказываем блины,— перебил он меня, видя, что я собираюсь возражать,— и три маленькие рюмочки рябиновой, которые мы пьем за нашу дружбу.

Потом все пошло очень быстро: черная холодная улица мелькнула поворотом, одним и другим. Сплошные темные здания как бы раздвинулись, давая место маленькому, очень теплому, ярко освещенному окну. К этому окну полагалась дверь, и все это вместе представляло собой кафе «Куб» — первый ресторан периода нэпа.

У двери, на мостовой, сидела женщина с ребенком.

— Я голодная, я голодная, я голодная,— повторяла она глухо и монотонно.

В кафе «Куб» было тепло, в кафе «Куб» было светло, в кафе «Куб» играла музыка. «Миллион арлекина» играла музыка — сладкий вальс-бостон. И этот миллион этого арлекина растекался золотом по тарелкам и по стаканам. Хозяин кафе, подергиваясь легким тиком, расхаживал посреди столиков и бережно склонялся к посетителям. Подойдя к нам, он дохнул нежным шепотом в ухо Альберта.

— Есть икра, — прошелестел он, — зернистая икра.

В углу на столе стояли поразительные вещи: красивые раки, посыпанные зеленью, серебристые кильки, свернутые на половинке яйца, окорок и апельсины в вазе.

В двенадцать часов дверь прикрыли наглухо, занавесили окна, скрипач вынул из кармана сурдинку, пианист прижал левую педаль, и виолончель притаила голос. С этого часа надо было стараться не производить шума.

Мы выпили три маленькие рюмочки рябиновой и принялись за блины. Я знала, что мне необходимо встать и уйти. Я вообще не понимала, почему я здесь, но я не могла перестать есть. Первый раз за много месяцев я ела такую необычайную и благоуханную пищу.

Сквозь туман блинов и музыки ко мне доносились слова инженера Альберта. Он говорил:

— У меня была фабрика сельскохозяйственных орудий, моя специальность — плуги, но по существу я поэт. Я люблю театр, музыку, искусство. Театр близок мне. Я прежде всего эстет. Да здравствуют молодые женские дарования! (Он выпил рюмку вина.) Что я имею против Советской власти? Ничего. Что можно иметь против идеи равенства, которая безусловно прекрасна? Рабочий тоже человек. (Он проглотил блин.) Ти-ри-ра! — запел он вместе с арлекином. — Но все это в будущем, мы еще не доросли до этого. Наша страна дика. Не думайте, что во мне говорит жестокость предпринимателя: я очень добр. В детстве я был до смешного добрый мальчик. Когда мучили кошку, я плакал. Мой отец говорил про меня: «Что вырастет из нашего мальчика? Наверное, меценат». Как видите, он оказался прав, мой старик. Кушайте, не стесняйтесь. Человек, еще

сметаны! — Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза, покачиваясь в такт вальсу. — Но, между прочим, я хотел сказать вот что: я хотел бы субсидировать ваш театр. Вы все очень талантливы, очень молоды, в вас столько огня. Но ведь вы, простите меня, просто дети. Вы сидите в подвале, в то время как вам надо быть на поверхности. Дайте мне вмешаться — и получится вместо забавы коммерческое дело. С вашей помощью, — обратился он к Анеле и ко мне, — мы сделаем такие, ого-го, дела! Однако позвольте... разрешите...

Он положил салфетку и прислушался. Какое-то движение прошло по всему «Кубу». Музыка сразу прервалась. Цветные бутылки на полке исчезли неизвестно куда, прямо под пол. Сквозь занавешенное окно стали доноситься какие-то голоса и шорохи. Стало совершенно ясно, что несколько человек окружили «Куб» и что они сейчас постучат.

— Облава! — простонал хозяин.

Нас втиснули в темный проход, холодный, пахнувший мышами и котами. Там мы стояли, прижавшись друг к другу, покуда в помещении кафе хозяйничали спокойные, властные люди.

— В чем дело? — спросила Анеля недостаточно тихо. — Что такого мы сделали? Мы ели, пили, говорили о театре. Неужели нельзя говорить о театре? Вы же не против Советской власти, вы сами сказали...

— Тише, черт вас возьми! — зашипел на нее в темноте инженер Альберт. — Неужели нельзя говорить тихо! Я не против Советской власти, но Советская власть против меня, понимаете вы это...

Я шла ночью домой, одна, через весь город. Путь этот был так долог, что я успела обдумать всю свою жизнь. Первые несколько улиц я потратила на детство, следующие — на юность. В начале Канатной улицы я уже думала о своем недавнем прошлом.

«Чепчики, отделанные мехом... — думала я. — На Востоке обходятся без дрожжей...»

На улице Белинского я занялась настоящим.

«Если инженер Альберт находит, что наш театр хорош, — думала я, — то, значит, нужно как можно скорее закрыть его».

В Обсерваторном переулке я перешла к будущему. У каких-то ворот я села на скамью; глубочайшая ночь, еле окропленная звездами, лежала вокруг. Я села на скамью, и тотчас же из-под ворот вылезла собака. Из-за темноты она не имела цвета, почти не имела формы, и только мерное колебание на одном ее конце доказывало, что здесь — хвост. Она села рядом со мной и зевнула... Таким образом у меня оказался собеседник.

— Так вот, — начала я, — как же теперь быть? Что бы ты мне посоветовала? — Собака молчала. — Я верю теперь, — продолжала я, взяв ее за большое теплое ухо, — что я могу писать. Я написала несколько вещей, которые... одним словом, это не так уж плохо. Я написала их для театра. Но самый-то театр — игрушка. Очень надоели игрушечные вещи, ты знаешь. Хорошо бы делать что-нибудь настоящее. Многие едут в Москву, — продолжала я после паузы. — Там много журналов, газет. Что ты скажешь?

Собака, положив морду ко мне на колени, молчала.

С той минуты я начала думать о Москве.

Бывает так, что одна какая-нибудь мысль овладевает одновременно многими умами и многими сердцами. В таких случаях говорят, что мысль эта «носится в воздухе». В то время повсюду говорили и думали о Москве. Москва — это была работа, счастье жизни, полнота жизни.

Едущих в Москву можно было распознать по особому блеску глаз и по безграничному упорству надбровных дуг. А Москва? Она наполнялась приезжими, расширялась, она вмещала, вмещала. Уже селились в сараях и гаражах — но это было только начало. Говорили: Москва переполнена, — но это были одни слова: никто еще не имел представления о емкости человеческого жилья.

Наш хозяин, газетный очеркист, был стар и немощен, но с тем большей жадностью он читал газеты. Он умел их читать как никто, извлекая из них все сведения, все соки. Цвет и качество бумаги, типографская краска, система верстки говорили ему больше, чем самые буквы.

Газета выходила по-разному. Иногда это была тонкая розовая бумажка, в которую раньше заворачивали цветы. Иногда, наоборот, толстая бурая бумажища для больших свертков. Иногда буквы еле касались чрезмерно гладкой поверхности, и тогда газетные сведения как бы реяли над газетой. Иногда шрифт глубоко впивался в бумажную рыхлость, и тогда газету можно было читать на ощупь, как это делают слепые.

Вскоре после блинов в кафе «Куб» я возвращалась домой с репетиции. В этот день товарищ Покорный жестоко рассорился с Аркадием Грамом из-за репертуара. Положительно, миленький маленький «Созэп» начинал чувствовать себя гусеницей, из которой должно было вылупиться неизвестно что: в таком виде он не мог больше существовать.

Я шла. Луна всходила над домами, большая, пылающе-красная; облака стали дымными и золотыми. Пламя луны становилось все больше, оно все разрасталось, как пожар, а самой луны не было видно. И внезапно я поняла, что это и есть пожар.

— Пожар, пожар! — кричали мальчишки, несясь во весь опор к месту происшествия.

Горел наш маленький хилый дом на краю города. «Беда, беда!» — кричали дымные галки над крышей. Ветер завивал пламя то в одну, то в другую сторону; у дома выросли рыжие космы, которые метались от ветра.

Все произошло от хозяйских валенок на плите. Слишком интересна была в тот день газета, слишком далека жена, слишком горяча плита. Результатом всего явился пожар. У нас сгорело почти все. Чужие люди выхватили Киску из горящих подушек, пока Юлия Мартыновна, полузадушенная дымом, медленно приходила в себя в соседнем доме.

От страха Киска потеряла голос. Она пахла горелым, лицо было в саже, невытекающие две слезы стояли в ее глазах.

— Джерри сгорел, — наконец сказала она. — И Юля, кажется, тоже.

Теперь у меня ничего не осталось: разрозненные и неузнаваемые вещи были разбросаны по двору.

Страшнее всех были подушки, полураздавленные и мокрые. Из их цветных оболочек, вместе с пухом птиц, уходило сонное тепло многих ночей, тепло гнезда, которое было теперь окончательно разрушено.

Нужно было начинать жить сначала, и лучше было сделать это в Москве, чем здесь. Пожар сыграл здесь как бы роль помощника. Можно сказать, что это он усадил меня в вагон и махнул на прощанье красным платком.

Глава десятая

Вагон был суров: бока его потемнели от тысячеверстных путей. Если бы такой вагон был человек, то я бы сказала о нем, что это жилистый и упорный старик, могущий служить примером более слабым и молодым товарищам. Это был жесткий, кряжистый старик третьего класса, недавно побывавший в бане. Он был тщательно очищен от насекомых и смазан, полит и опрыскан смесью карболки, формалина и йодоформа — страшной жидкостью, от которой задыхались не только насекомые, но и люди.

Самый поезд был несколько необычен: он был мал, короток и состоял из трех наглухо закрытых товарных вагонов и вот этого, четвертого, о котором я уже сказала. Поезд вез в Харьков, в столицу Украины, украинские деньги, карбованцы, напечатанные у нас в городе. Три вагона были набиты денежными тюками, а четвертый отдан охране.

Товарищ Покорный надоумил меня обратиться к начальнику охраны и попроситься к нему в вагон. Я отыскала начальника охраны на вокзале, где он крупно препирался с начальником станции о дне и часе отправки поезда. Оба начальника были замучены: у первого фуражка была надвинута на самые глаза, у второго сдвинута на затылок. И местоположение этих двух фуражек как нельзя лучше характеризовало позиции спорящих: один наступал, закрыв глаза на все препятствия, другой был приперт к стенке, но сопротивлялся.

Наконец, путем взаимных уступок, соглашение было достигнуто. И тогда выступила я и сообщила, что мне

необходимо в Москву. Начальник станции, видя, что это его не касается, исчез. Начальник охраны поговорил со мной подробно.

— Это совершенно невозможно,— сказал он сначала.— Там должна помещаться только охрана, а если там будут посторонние, то какая же польза от охраны? Согласитесь, что, помещаясь в вагоне, можно произвести нападение изнутри.— Потом, поглядев на меня внимательно, он прибавил: — Да и вообще... не могу... неизвестные лица... ценности... мои ребята... В пути мы не застрахованы от неприятностей...— Он упомянул еще о шайках и бандах и заключил твердо:— Не просите, потому что это невозможно.— Он сдвинул фуражку со лба на затылок и обратно на лоб и прибавил: — Никак невозможно. Я Покорного знаю, вместе работали, но сделать никак не могу. По инструкции, данной мне, никак не могу. Да мы едем ведь только до Харькова.

— Ну, хоть до Харькова, а там уж как-нибудь.

— Как-нибудь... как-нибудь,— повторил он с неудовольствием.— Нет, не могу.

И тогда я пала духом. Начальник охраны стал лучистым и туманным, от него пошли колючие лучи: я моргнула и прихлопнула слезы ресницами, но они сейчас же вытекли обратно.

— Эх! — с досадой выговорил начальник.— Ну, уж это просто не знаю, как назвать. Я ведь вам по-русски говорю, что инструкция не предусматривает... Э-эх!— еще с большей досадой повторил он, видя, что слезы, не предусмотренные инструкцией, текут все сильнее.— Ну, тащите свои манатки,— заключил он, отвернувшись.— Сегодня вечером едем. Только чтоб я вас не видел и не слышал в пути. Ну, и конечно, ну, и довольно. Точка.

И вот он настал, час отъезда. Стараясь быть по возможности невидимой и неслышимой, я просила не провожать меня, но кое-кто все же пришел. Вот Юлия Мартыновна, вся в слезах, вот Лева Симцис, умирающий от зависти, что не он едет в Москву. Вот товарищ Покорный.

— Только не дрейфьте, только не дрейфьте, — повторяет он.— Устройтесь, чего там.

И, наконец, Авель Евсеевич, смутный и неясный, как смутен и неясен мой отъезд. В руках у него свертки, кульки, новый жестяной чайник. И отдельно от всего — пузырек с притертой пробкой, несомненно лабораторного происхождения.

Подозревая с его стороны желание сказать мне несколько слов наедине, я отвела его в сторону, в конец поезда. Там возле буфера я увидела, как грустны глаза Авеля Евсеевича. Там он вручил мне все сверточки и кулечки, повесил на руку чайник и передал пузырек. О пузырьке он сказал особо несколько слов.

— Лорд Байрон, путешествуя, — сказал он, — возил с собой серебряную ванну. В некоторых странах, в частности в Италии, это вызвало открытое возмущение. Добродушные и нечистоплотные венецианцы были потрясены развращенностью британского аристократа. К сожалению, я не могу вам предложить даже подобия ванны, хотя в настоящих условиях это было бы как нельзя более кстати. Поэтому я позволил себе принести вам жидкость, которая на девяносто процентов избавит вас от паразитов. Я изготовил ее в своей лаборатории, и мне кажется... я могу поручиться... — В этом месте голос его прервался. Он взял меня за руку и умолк.

Юлия Мартыновна прижимала Киску к сердцу.

— И каждый день ты будешь вспоминать Юлю, утром и вечером, — повторяла она, вытирая слезы. — И каждый день ты будешь аккуратно сама чистить зубы щеткой, утром и вечером. И каждый день...

Лева Симцис со смущенной улыбкой передал мне объемистый пакет, адресованный Наркомпросу. В нем заключался проект дешевой и быстрой раскраски общественных зданий в радостные цвета.

Я не смею утверждать, что это относилось ко мне, но родное небо плакало в минуту расставания. Крупные капли упали на крышу перрона. В запахе влаги и пыли как бы заключался аромат не родившихся еще трав. Снова наставала весна. И внезапно облака разошлись, и высокая нежная радуга, предвестница удачи, приподняла и раздвинула небо: один конец ее упирался в море, другой уходил в степи, далеко на северо-восток, туда, где была Москва.

Не по-теперешнему, не по-мирному, а слишком уж бездомно и раздольно загудел паровоз. Из руки моей, которой я махала на прощание, выпал зажатый меж пальцев чудодейственный пузырек Авеля Евсеевича, моего милого друга. Выпал и разбился о вокзальный асфальт, распространяя невыносимое зловоние. Секунду еще этот запах следовал за нами, а потом отстал. Дождевая ширь незасеянных полей как-то сразу наполнила вагон. И Киска прижалась ко мне бархатистой щекой, которую слезы разлуки и капли дождя овеяли влажной свежестью.

Путешествие обещало быть долгим. Нам предстояли станции, полустанки и разъезды, все это сравнительно тихое и безлюдное. Еще так недавно здесь перекатывались тяжелые валы шинелей, идущие с фронта. Здесь брали штурмом вагоны, наступали, отступали, падали, как в бою.

Нам достался конец вагона с двумя длинными скамьями и двумя короткими. Все остальное было отделено от нас: между нами и охраной была возведена стена из ящиков, мешков и кульков. Мы были одни. Одно из окон было забито фанерой, другое открывалось с трудом. Мы открыли его и долго смотрели, как, постепенно темнея, проходили перед нами степные пространства, потому что сторона наша степная, просторная сторона. Земля уже была подернута зеленью, она слегка кудрявилась: нетронутые лежали степи и ждали руки человека.

На первом же полустанке, где мы остановились, нам показалось, что нашего города не было, что нет нигде никаких городов. Возле полустаночного дома в неглубоком овраге протекала «криничка» — горсточка светлой воды, отражающая золотое закатное небо. В светлой глубине плыли облака и уходили под камыши. А камыш рос задумчивый, певучий. Пока мы стояли и начальник охраны, он же комендант поезда, снова имел какие-то объяснения с начальником полустанка, из травы вышел гусь с гусыней, и оба начали спускаться на дно овражка, к прозрачной воде. Гусь прошел первый, но пить не стал, а поджидал гусыню. Она шла медленно, оступаясь и выбирая дорогу, а он подбадривал ее

снизу успокоительным голосом. Наконец гусыня сошла, они одновременно опустили клювы в воду, потом поплыли вместе прямо по облакам и золотому небу. И круги пошли по воде, как морщины у глаз, когда смеется старый и добрый человек.

Мы стояли так долго, что успело совершенно стемнеть, гусиное семейство отправилось спать, закат кончился и большие украинские звезды нырнули в камыши. У наших спутников зажгли огонь, сквозь щели к нам проник свет. Тогда и мы зажгли свечку, покапав стеарином на скамью, потому что вагон наш не освещался никак.

— Мам, — сказала Киска, — это наш дом. Тут наше все. Больше у нас ничего нет.

И правда, вагон был нашим домом, тут было наше все, и больше у нас ничего не было.

Мы были в пути уже несколько дней, у нас уже отстоялся быт: чтобы не жечь даром огня, мы рано ложились спать, мы умывались на станциях под краном и покупали у баб еду, которая подешевле. Светлый чайник — прощальный подарок Авеля Евсеевича — перезнакомился со всеми котлами и баками на станциях и, быть может, даже отметил мысленно кипяточные и бескипяточные пункты, потому что были такие и этикие. Москва словно утонула, растаяла словно в этом раздолье страны. По вечерам охрана пела за ящиками, мы с Киской подпевали им. И хотя у нас с нашими соседями не было ни дружбы, ни вражды и даже голосов наших не было слышно в общем хоре, но нам было приятно, что мы поем. И так, через песни, мы всех узнали по голосам и даже определили характеры.

Будучи сжигаема жаждой деятельности и открытий, Киска, несмотря на мое запрещение, провертела пошире щель между охранными ящиками, с наслаждением глядела туда по вечерам и сообщала о всех поочередно: «Курит... Сапог снял... Достал хлеб... Снял второй сапог...» — пока я окончательно не запретила ей подглядывать и собственными руками не уничтожила щель.

Все шло хорошо, но на середине пути нас подстерегала беда.

— Вставай, Киска,— сказала я в одно утро.— На этой станции, по-моему, должен быть кипяток. Ну-ка, подымайся.

Но Киска не подымалась. Она припала щекой к чемодану, заменявшему ей подушку. Одна из ее толстых маленьких косичек тяжело, как мокрая, лежала вдоль лица, другая была закинута куда-то назад. Она ответила медленно и как бы сквозь сон:

— Я каждый день чищу зубы, Юля, но сегодня... не могу... я их потеряла.

Я тронула ее лоб, попыталась поднять ее: она была тяжела и горяча. Она не желала взглянуть на станцию и не интересовалась кипятком. Она была больна,—и что же мне было теперь с ней делать?

Я подозреваю, что щель между ящиками была мною уничтожена не окончательно или, быть может, впоследствии возобновлена и что не только моя дочь заглядывала в нее. В тот же день моим спутникам сделалось известно положение дел. И в тот же вечер, когда я, сидя в темноте возле тяжелой и горячей Киски, слушала равнодушный говор колес, охранная преграда без всякого предупреждения распалась от толчка с *той* стороны. Образовалась брешь, в которую неровно вплыл махорочный дым и теплый воздух, пахнувший кожей и шинелями, и начальник охраны переступил через мешки...

— У вас девочка больна,— сказал он,— так вот, не тиф ли?

— Буржуйские детлаки, они завсегда квелые. Ты на его дунь — он и скапутится,— произнес из глубины язвительный, нехороший голос.

— Ну и дурак,— возразил кто-то другой, тоже невидимый, но, несомненно, большой, медлительный и справедливый.— Сам-то ты от каких буржуев происшедши, а сколько в тебе тифов перебивало? Каково тебя корежило, забыл небось? Только бы языком трепать.

— Ну-ка, помолчите там,— опять заговорил начальник.— Гусятников, дай фонарь, есть у нас в углу, где винтовки.

Зажгли фонарь. Гусятников вышел из полутьмы, неся свет перед собой: это был тот самый человек, кото-

рый вступился за Киску. Гусятников, как я и предполагала по голосу, был чрезвычайно велик, медлителен, сапоги его гремели, словно каменные. Он поднял фонарь над Киской и осветил болезненно слипшиеся ресницы и рот, подпухший и надтреснутый, как вишня. Начальник, придерживая тяжелую кобуру, стал рассматривать Кискину шею, нет ли сыпи.

— По инструкции, — сказал он, — если кто подозрительно заболевает в пути, того оставляют на ближайшей станции.

— Я так предполагаю, не сыпняк это, — решительно поставил диагноз Гусятников. — Простыла дивчина — и все тут. Рюмку водки если с перцем дать — как рукой снимет.

— Ну, как знаете, — сказал начальник, уходя. — До утра подождем, а утром, если что не так, ссадим.

— Товарищ Гусятников, — обратилась я к нему потихоньку, чтобы другие не слышали. — Вы ей водки с перцем внутрь не давайте, не надо. А вот если у вас найдется что-нибудь спиртное, хоть немного, я вам большое спасибо скажу. Я разотру ее: мне тоже почему-то кажется, что это не тиф, а простуда.

Он молча, при неопределенном молчании остальных, принес мне какой-то жидкости в кружке и к этому еще небольшую твердую подушку в наволочке из алого бархата.

— Неловко ей лежать, — сказал Гусятников про Киску. — Вы что же это, даже подушки с собой не захватили: здесь вам не ресторан-салон, удобств никаких.

Я объяснила, что подушки сторели во время пожара.

— Никакого разумения нет, — проворчал он. — Чем бы остричь девчонку, чтобы в дороге вошь не завелась, вы ей волосья отпустили. Обязательно постричь надо.

— Гусятников нянькой заделался, — зло засмеялся прежний голос, но никто не поддержал его. Гусятников не взглянул в ту сторону.

Я крепко натерла Киску принесенным спиртом и тепло укрыла ее. Испарина пришла наконец обильная, как дождь. Она смочила косы, ресницы, щеки и даже

подушку кардинальского пурпура. И, ослабев от счастья, от почти невыносимого чувства облегчения, что это не сыпняк, что нас с Киской не оставят на захудалой станции в приемном покое, а не то просто на перроне переживать все фазы сыпного тифа,— я уснула так крепко, что утром, когда Киска сказала мне: «Вставай, мам. По-моему, на этой станции есть кипяток»,— я едва приподняла голову и снова уснула.

В этот же день Гусятников коротко постриг Киску, сказав, что у него в деревне три девчонки и что он это умеет. Я была так благодарна ему за все, что не посмела протестовать. И Киска въехала в Харьков если не вполне безволосой, какой была некогда я после тифа, то коротко остриженной, с косым пробором и чубом на лбу, как самый лихой запорожец.

Из Харькова в Москву шли уже пассажирские поезда. Движение было еще не регулярно, оно только еще начиналось. Первые два поезда пошли совсем недавно, и о них говорили с удивлением и восторгом. Мы попали в третий. Он был набит; на полках для вещей спали люди, на каждой скамье сидело по трое человек. Посадка была мучительна, пассажиры лезли в окна, контроль в пути требовал не билетов, которых не было вовсе, а удостоверений и командировок. В вагонах не было ни огня, ни воды. И все же порядок уже реял над всем этим.

Глава одиннадцатая

Леса, леса бежали вдоль поезда. Острые черные ели врезались в медовое северное небо. Солнце только еще всходило, весна только еще начиналась. Мы подъезжали к Москве.

Брянский вокзал, недавно законченный, встретил нас величаво и строго. На его каменных плитах шаги отдавались, как в музее. Была чистота. И хотя урн еще не было, но светильники под потолком лили свет на каждый окурок, за который полагался уже штраф. Два худеньких наших чемодана, да и мы сами растворились в этих холодных просторах... Мы здесь не знали никого, и нас не знал никто. Все было озабоченно и полно

в этом городе, и все же нужно было отвоевать себе здесь место. Мы сели в трамвай номер четвертый. Выносливость московских трамваев велика, выносливость приезжих — тоже.

Мы претерпели все, что нам полагалось, получили свою долю испытаний. Мы ночевали в неведомых квартирах, у людей, желавших нам добра, но бессильных помочь. Первая неделя прошла в странных ночевках: ни одна ночь не походила на предыдущую. Мы ночевали в чужой спальне из дерева «птичий глаз», в одной кровати с пышной хозяйкой, чей муж уехал в глубь страны спекулировать мануфактурой. Атласное одеяло с монограммой баюкало нас лебяжьим теплом, но это было чужое одеяло, чужая монограмма и чужое тепло. Ночевали в комнате, разделенной шкапами и занавесками на четыре комнатки. Ситцевые стены колебались от чужих дыханий. На диване спали мы.

Ночевали у зубного врача в его кабинете: я — на узкой клеенчатой кушетке с твердым валиком, Киска — на зубоврачебном кресле, откинута навзничь, как во время операции. Бормашина сторожила ее сон.

После этого мы провели два дня в подвальной квартире, откуда видны были только ноги и колеса, торопливые московские ноги и колеса, бегущие по своим делам. Бездомные псы, которые в голодные годы почти все были уничтожены и теперь только начали возрождаться, заглядывали в открытую форточку: собаки очень любопытны.

После подвала мы попали на седьмой этаж. Толпы крыш подступали к нашим окнам, вся Москва лежала под нами. Воробьевы горы розовели за рекой. Здесь, на седьмом этаже, мы обосновались...

Трудно сказать, чем руководствовался строитель этого здания, за что покарал его так жестоко, лишив лифта и даже надежды на лифт. Но дело обстояло именно так: никаких подъемных средств в этом доме не было и не предвиделось, и сто девяносто шесть ступеней, отделяющие тротуар от нашего звонка, были утомительны для ног и тяжелы для сердца. Здесь были коты: они пели и плакали на крышах, потому что была весна.

Мы поселились у фельдшерицы, которая нуждалась. Пиявки, банки и прививки не могли прокормить ее, и те небольшие деньги, которые мы платили ей за половину комнаты, отгороженную портьерой, облегчали ей жизнь. Уже потом, почти через год, мы получили самостоятельную комнату в этой же квартире. Комната была мала и ничем не обставлена. Она освещалась двумя большими окнами — ее единственной роскошью: так иногда худенькое личико невзрачного ребенка бывает освещено и украшено огромными прозрачными глазами.

Наша фельдшерица была невелика ростом, очень плотна, говорила баритоном, курила крепкий табак; от ее поступи сотрясалась мебель. По вечерам она рассказывала Киске истории из жизни пиявок, которых она изучила в совершенстве. Оказалось, что пиявки не любят холодной воды, не любят запаха эфира и пахучего мыла, — у них была своя жизнь. Кот, по имени Терентий, присутствовал при этих беседах.

Остальное население квартиры было велико и разнообразно. Все сходились по утрам в кухне, у раковины, с полотенцами через плечо. В ванной комнате было две ванны: одна простая и одна газовая, но пользоваться нельзя было ни одной.

В соседней с нами комнате жил эстрадный актер. Он выступал в ночном кабаре от часу ночи до четырех часов утра; днем он спал. Иногда на рассвете он возвращался не один, и тогда рядом с его шагами шелестели вторые, легкие шаги. Стена была тонка, и сквозь нее доносились слова любви.

— Что вы будете делать завтра? — спрашивала она.

— Благоговей, ждать вас, — отвечал он.

Разговор о любви неукоснительно кончался сожалением по поводу того, что обе ванны бездействуют.

Дальше по коридору жил человек совсем другого склада. Он раньше всех приходил на кухню умываться, для него по утрам призывно трубил автомобиль, в его комнате висели диаграммы (кривые падали и возносились), он служил в Комиссариате путей сообщения.

Северная весна наполняла квартиру бледной солнечной пылью, вместо ночи были закатные сумерки, неизвестные у нас на юге. Рассвет наступал в два часа

и долго тлел, не разгораясь. Москва внизу была бледна и пуста, кот Терентий пел на крыше, могуче дышала фельдшерлица.

— Что вы будете делать завтра? — спрашивали за стеной.

— Благоговей, ждать вас.

Из всего этого я написала свой первый рассказ. В нем была пустая Москва, кот Терентий на крыше, фельдшерлица, актер, подруга актера, человек из НКПС — пучок разнообразных жизней, связанных северной ночью, которая не хочет темнеть.

Рассказ был еще тепел и влажен, как птенец, и таким я отнесла его в редакцию. Я долго думала над тем, в какую именно; я внимательно пересмотрела московские журналы, их обложку, их содержание и выбрала небольшой еженедельник, в котором помещались рассказы, похожие на мой, только похуже: пишущему часто кажется, что остальные делают то же, что и он, только не так хорошо. В приемный день (четверг, от четырех до шести) я отправилась в редакцию.

Редактора не было, он был в отпуске. Меня принял секретарь, и я была подавлена величию секретаря, который всегда тем величавее, чем незначительнее журнал. Слоистый зной наполнял комнату, в углу стояло гоночное весло, вентилятор над письменным столом издавал стонущий звук, словно оплакивая голову секретаря.

— Видите ли, — сказал секретарь, свернув мою рукопись трубкой и приставив ее к левому глазу, — мы, собственно, обеспечены материалом уже до октября. Но все-таки приходите через неделю.

Через неделю мне вернули рассказ: первый вылет птенца оказался неудачным. Я разгладила его помятые крылышки, стерла пометку о возврате и отнесла во вторую редакцию. В длинном коридоре юная курьерша в маково-красной повязке, взглянув на меня со всей строгостью своих семнадцати лет, указала мне нужную дверь.

В этой второй редакции не было ни весны, ни зноя, окна выходили в тень, и сам редактор принял меня. Он намекнул мне, что журнал загружен рассказами

о северных ночах, но, впрочем, просил прийти через неделю.

— Я прочел ваш рассказ два раза,— сказал он мне через неделю. Услышав это, я искренне обрадовалась: мне все казалось, что секретарь первой редакции не прочел его ни разу. — Я прочел его дважды, — продолжал редактор, — один раз здесь, в редакции, и второй раз у себя дома, когда мне никто не мешал. Мне кажется, что вы действительно можете писать. У вас недурной глаз, вы многое видите, но многое вы видите не так, как надо. И потом — почему все ваши герои идут вразброд, почему ничем не объединены?

— Я именно и хотела показать человеческое одиночество в переходную эпоху, когда старые формы жизни уже разрушены, а новые еще не налажены.

— Допустим. Но даже если и так, то все же конец вашего рассказа для нас неприемлем, слишком печален.

— Я переделаю конец,— ответила я покорно. — То есть я постараюсь.

— А начало... особенно это место: «И луна взошла над человеческой печалью...» Повторяю, нам нужна бодрость.

— Но ведь есть печаль, которую необходимо испытать, чтобы прийти к бодрости. Впрочем, я переделаю... Я постараюсь.

Редактор взглянул мне в глаза совсем просто, по-человечески, по-дружески.

— Бросьте вы эту волюнку,— сказал он.— Старайтесь не старайтесь — рассказ ваш не подходит, и дело с концом. Попробуйте написать что-нибудь еще и тащите мне. Да чего вы огорчаетесь? Говорю: попробуйте еще.

Еще одна минута — и я бы сказала ему, что этот рассказ для меня очень важен, во-первых, сам по себе, а во-вторых, потому, что я надеялась получить за него немного денег, которые мне давно уже нужны. Еще бы одна минута... Но как раз в эту минуту вошла строгая юная курьерша, подала редактору бумагу, редактор склонился над ней, и уже он был далеко от меня. Куда!.. не догнать.

Возвращаясь из театра домой, эстрадный актер был то грустен, то весел. Иногда он с легкостью одолевал все семь этажей, прыгая через три ступеньки и едва касаясь перил. У себя в комнате, сняв башмаки, он босиком исполнял небольшую веселую чечетку. Но иногда актер поднимался медленно и трудно, и однажды на рассвете я видела его в передней на стуле: голова опущена, чемоданчик с гримом у ног, длинные руки повисли вдоль клетчатых брюк. Бедный, бедный человек!

Я решила переговорить с ним ночью, потому что днем он спал, а вечером уходил обедать. И вот, выбрав благоприятную ночь, я обратилась к нему с просьбой помочь мне устроиться там, где он работал. Для меня это был настоящий удар, для этого не стоило приезжать в Москву, но другого выхода не было: фельдшерница, которой я задолжала уже за две недели, определенно намекала, что ей очень нужны деньги, что жизнь тяжела и что пиявки нестерпимо подорожали.

У актера помимо звучного англо-итальянского псевдонима (звали его Джек Паулини) было еще незлое сердце. Он обещал и выполнил свое обещание. В один из ближайших дней он повел меня в кабаре, где он работал, чтобы познакомить с директором, режиссером и владельцем. Все это соединялось в одном лице, в одном очень широком, красном, плотном и бритом лице. Седоватые волосы были зачесаны с таким расчетом, чтобы скрыть лысину, но она не скрывалась.

Мы с Джеком Паулини пришли во время репетиции. Меня опажули запахи и звуки, знакомые мне по «Созэпу»: запах сырых опилок, словно открыли ящик старого винограда, и звуки вступления, где забывали брать дизель. Я вспомнила наш «Созэп», и у меня заняло сердце.

Театр назывался «Каравай». Он был в стиле русской избы, такой, какой ее представляет себе наивный иностранец, в стиле трактирного чайника, одеяла из лоскутков, полушалка, гитары с лентой... Самая дорогая и почетная ложа имела вид русской печи, и головы сидевших в ней выглядывали оттуда, как горшки.

«Каравай» был не просто театром: он был кабаре. И не просто кабаре, а ночным кабаре, соединенным

с рестораном. Это был театр, где искусство соединялось с гастрономией. Во время исполнения номеров хождение официантов с блюдами было строго запрещено. Исключение делалось только для «судака по-монастырски» (с шампиньонами), который настолько нежен, что, будучи изготовлен, не может ждать ни минуты.

Директор «Каравая» Алексей Алексеевич Рындин, несмотря на седые волосы, был настоящий юноша по пылкости воображения и по искренности. Он твердо верил, что «Каравай» — несказанное достижение революционного искусства и «сильные мира сего» только потому не коротают там своих вечеров, что дела государственной важности лишают их досуга.

Мы договорились с Алексеем Алексеевичем.

— Ты вот что, — сказал он мне, — ты не робей. Подадим тебя публике, как конфетку. Конферирую я сам, я тебя не обижу. Напиши нам что-нибудь такое современное, но изящное, женственное, понимаешь ли, благоуханное.

Алексей Алексеевич в качестве старого актера говорил всем без исключения «ты» и обожал благоухания. Мы сошлись на жалованье в пятьсот тысяч рублей в месяц, за эти деньги я должна была писать и играть.

Пятьсот тысяч!.. Киска, Киска, наши дела положительно налаживаются!

Началась ночная жизнь, ночное бытие. В двенадцать часов ночи я уходила в театр и возвращалась в пять утра. Я ложилась в шесть и просыпалась в три, когда Киска давным-давно уже вернулась из своей «Опытно-показательной школы», куда я ее отдала, и готовила «задание». Я уходила на репетицию, а она оставалась одна. Летом все это было не страшно, но когда началась осень, я забыла, как выглядит день.

Алексей Алексеевич не обманул меня. В первый же вечер моего выступления он представил меня публике, сказав, что сейчас выступит новая актриса, она же и автор, актриса «очень хорошая, потому что плохих мы не держим». В заключение он просил не слишком стучать ножами и вилками ввиду моего слабого голоса. Стремление увидеть «новую актрису» на несколько минут пересилило аппетит, многие оторвали глаза от та-

релок и взглянули на сцену, и даже из «русской печи» выглянули две головы. Впрочем, это волнение, вызванное новизной, вскоре улеглось, заговорили вилки, и два «судака по-монастырски» поплыли над головами. Публика «Каравая» была не такова, чтобы долго утр уждать себя сценическими эффектами.

Публика «Каравая», махровейшие цветы нэпа, пышные розаны, перед которыми инженер Альберт из кафе «Куб» казался подснежником, — ваш букет, ваш аромат, ваше благоухание... их невозможно забыть. Невозможно забыть соперничество с кулебякой и шницелями, которые всегда побеждали. Я не говорю о судаке, я остерегаюсь говорить о нем. Эта рыба, особенно когда она с шампиньонами, — непобедима. Ее не перепоешь, не переиграешь, не перетанцуешь...

За время моей службы у Алексея Алексеевича, который, впрочем, всегда был добр ко мне, я познакомилась с ночной Москвой. Я узнала ночных извозчиков, — поджидая у театральных дверей конца программы, они толковали о том, что неизвестно, каков будет урожай, а «овес так дорог, что не подступиться».

Иногда, если наше время совпадало, мы возвращались домой вместе с Джеком Паулини. Ночь, тишина, предрассветная грусть, от которой не избавлен ни один город, действовали неодолимо на бедного эксцентрика. Наплыв больших и печальных мыслей заставлял Джека Паулини совершенно неподготовленным.

— Ах, боже мой, боже мой! — тоскливо говорил он. — Опять у меня изжога от дежурного блюда. Дают всякую дрянь на маргарине.

Но он был не прав: это был не сытый желудок, а голодное сердце, которое давало себя чувствовать.

— Ничего я в Москве толком не знаю, никогда ее не вижу: я ведь тоже приезжий, — сказал он мне однажды.

— Давайте завтра встанем пораньше и пройдемся по городу. Я тоже мало что видела. Что вы будете делать завтра?

— Благоговей, ждать... — начал он, явно по привычке.

— Неправда, Джек. Не надо этого. Мы и так понимаем друг друга.

И он согласился, что не надо.

...Был вечер, как всегда, вернее — была ночь, субботная ночь, когда «Каравай» был особенно полон. Глазастые цветы по стенам, красные и синие, были залиты светом, посуда особенно блестяща, белые рубашки официантов особенно белы. Алексей Алексеевич, вытирая платком лысину, вместе со своим помощником смотрел в отверстие занавеса и чуть ли не заметил в публике кого-то из «сильных мира сего». По крайней мере, директорский затылок побагровел еще сильнее, а по спине помощника пробежало восторженное содрогание, словно его окатила теплая волна.

Я стояла на выходе, одетая французской куклой. Кукольный румянец лежал аккуратными кружочками на каждой щеке, вокруг глаз были нарисованы длинные лучеобразные ресницы. На мне был кисейный чепец и бархатный корсаж. Как всегда перед началом, было зябко, и жидкие белила неприятно сохли на голой спине. Моя партнерша, тоже кукла, но русская, деревенская, с кирпичным загаром, подвязывала лапти. Третий партнер, тоже кукла, солдат, стоял рядом, выпрямляя грудь.

Мы встали на наши подставки и окаменели в кукольных позах. Скрипка и рояль заиграли вступление, и пестрый занавес раздвинулся в обе стороны. В лицо пахнуло теплом, жужжание голосов стало глуше. Мне надо было начинать. Я открыла рот, чтобы произнести под музыку свою первую фразу: «Я Мариэтта, родом из Прованса», — так начиналась эта кукольная комедия, — открыла рот, но ничего не сказала.

Наш скрипач, проворный и молодой, делая вид, что ничего не произошло, вторично заиграл вступление, качая головой и скрипкой и грозя мне глазами. Он снова доиграл до рокового такта, но «Мариэтта родом из Прованса» безмолвствовала. Тогда, не теряя самообладания, он встал со своего места, вылез на сцену, поднес скрипку к моему лицу и, смеясь и напевая, как бы желая растормошить неподвижных кукол, в третий раз заиграл вступление, но глаза его, приближенные к моим, были страшны. Тогда я разжала пересохшие губы и доложила, наконец, ужинающим все, что полагалось.

Я молчала не потому, что роль вылетела у меня из головы: это было невозможно, я ведь сама писала все это. Я молчала потому, что, как только дали занавес, справа от сцены, в «русской печи», я увидела: подперев подбородок левой рукой, а правый пустой рукав заложив в карман, сидел мой бывший начальник товарищ Шуляк и терпеливо ждал, когда начнут.

За кулисы, в закоулок между нашей уборной и кухней, где реяли запахи жареного масла, вазелина и потных париков, куда «вход посторонним строго воспрещен», товарищ Шуляк проник совершенно свободно.

— Что вы здесь делаете? Как вы сюда попали? — спросила я его.

— Я здесь по роду своей службы. Меня давно уже интересовало это учреждение. Но скажите мне, что вы здесь делаете? Как вы сюда попали?

— Я не хотела этого, я пробовала другое, но у меня не вышло.

— Что же другое?

— Я написала рассказ, но он получился печальный. Мои герои шли вразброд, они не были объединены, они были одиноки.

— Ну-ну-ну,— сказал товарищ Шуляк.— Надо попытаться еще раз.

— А если и во второй раз не выйдет?

— Стало быть, еще раз.

— А если и в третий раз, товарищ Шуляк, и в четвертый, и в пятый,— что тогда?

— Ну что ж,— ответил товарищ Шуляк после минутного раздумья,— стало быть, надо и в третий, и в четвертый, и в пятый.

Глава двенадцатая

Понедельник — это актерское воскресенье. В понедельник нет спектаклей, нет репетиций, и хотя весь остальной город уже отпраздновал и начинает трудовую неделю, актеры отдыхают.

Мое и Кискино горе было в том, что наши отдыхи не совпадали. Для нее понедельник был скопищем трудностей, он был омрачен таблицей умножения.

— Семь раз восемь,— говорила она с глубоким вздохом.— Нет, ты только подумай!

И все же, несмотря на то что наши праздники не совпадали, я заставила их совпасть, произведя искусственный сдвиг. Я разрешила Киске не пойти один раз в школу, и таким образом мы с ней встретились. Мы получили в свое распоряжение целый огромный день, мы так разбогатели, что даже растерялись. Хорошо еще, что мы догадались накануне распределить наши богатства. Утренние часы решено было посвятить душевной беседе, вечерние — кинематографу, а дневные, после долгих колебаний между «Музеем сороковых годов» на Собачьей площадке, Останкином и Зоологическим садом, который не был еще в то время парком, — дневные часы решено было отдать Зоосаду.

Сначала победа осталась было за «сороковыми годами». От ребят в школе Киска слыхала, что там комнаты — «как живые», особенно комната «бабушки», что там наверху есть детские, где жили старинные дети, спали там, читали старинные книжки, повторяли семь раз восемь и шалили старинными шалостями, которые не устарели до сегодняшнего дня. С вечера решено было идти в музей, но когда в воскресенье на заре я пришла из «Каравая», Киска, от волнения лежавшая без сна, объявила мне, что она выбрала Зоосад.

Судьба актеров и школьников была милостива к нам. Она подарила нам столько синевы и тишины, столько осеннего золота, что ими становилось богато любое сердце. Обо всем этом хорошо сказано у кого-то, что в такой день хочется устраивать свою жизнь.

В Зоологическом саду дорожки были посыпаны светлым песком; отсутствие следов было поразительно. В этот ранний час песок был гладок, свеж и нов, как будто ничья стопа — ни нога человека, ни лапа зверя — никогда не касалась его. Синие тени клеток и оград лежали на песке с такой нежной отчетливостью, что жалко было ступать по ним. Трава по бокам была молода второй и последней молодостью, которая наступает осенью; трава была зелена, как весной, и солнечные пятна слагались в счастливые сочетания, как весной. Но над всем этим была опрокинута свежесть, свой-

ственная только осени. Кленовые и березовые листья падали на аллеи.

Перед клеткой с лисицами Киска задрожала от восторга. В клетке был пушистохвостый лис, глава семьи, лисица-мать и пятеро детей: двое спали, а двое других охотились за пятым, который, в свою очередь, ловил собственный хвост.

При виде этих веселых рыжих детенышей у Киски возникло страстное желание взять, схватить, унести с собой хотя бы одного из них. В ней, несмотря на то что она была маленькой культурной женщиной, ученицей «Опытно-показательной школы», знакомой, хотя и недостаточно, с таблицей умножения, в ней проснулись древние-древние инстинкты первого человека на земле, охотника и следопыта, повелевающие взять, схватить, унести к себе в пещеру пушистого зверя, который красив и слаб.

— Возьмем хотя бы одного,— повторяла Киска умоляющим голосом.— Попроси кого-нибудь, чтобы нам позволили. Зачем им целых пять? А он будет жить у нас в ванной: все равно там нельзя мыться. Попросим.

— Они никак не могут, Киска,— отвечала я.— Если они каждой девочке начнут дарить что-нибудь на память, им самим ничего не останется. А вдруг, как на грех, кому-нибудь понравится слон?

— Ты все шутишь, мам,— возразила Киска, не отрывая глаз от самого маленького и прелестного.— А я тебе серьезно говорю.

Она была так взволнована, что готова была даже на преступление.

— Я думаю, его можно взять потихоньку,— повторяла она задумчиво и тревожно.— Надо попробовать. Ты видишь, в одном месте сетка отстала от рамы: вот там можно попробовать.

— А как же ты пронесешь лисенка? Ведь при выходе стоит сторож.

— Спрячу под пальто.

— Нет, Киска, так нельзя. Один мальчик (это было очень давно) поступил так, как ты хочешь, и у него вышли большие неприятности.

— Какой мальчик и какие неприятности? — немедленно спросила Киска.

И тогда, сев на скамью под большим тихим деревом, я рассказала ей историю юного спартанца, который украл лисицу и спрятал ее под хламиду, где она стала грызть ему внутренности.

Выслушав назидательное повествование и, по-видимому, отказавшись от мысли совершить кражу, Киска ушла одна осматривать животные чудеса. Она мелькала то тут, то там, то у лебяжьего полуострова, то у клеток с медведями, а я, сидя под деревом, обдумывала свою жизнь.

Сидя у пруда, греясь на солнце, от которого почти отвыкла, я впала в диковинное, какое-то призрачное и прозрачное состояние, когда явь наполовину поглощена сном.

Вероятно, это длилось недолго, это было кратко по времени, но перенасыщено содержанием, как те доли секунды, в которые вода не успела вылиться из кувшина Магомета; сам же пророк обзрел в это время седьмое небо и все его чудеса.

Глядя на солнце, отраженное в струях пруда, я на миг утратила внутреннюю сопротивляемость, и тотчас же события, слова, человеческие лица, голоса, голоса, голоса обрушились на незащитное сердце. Все мое недавнее прошлое несло на меня, мучая и убеждая.

«Вильяма Шекспира не жечь,— сказал матрос с «Алмаза». — Уважайте, гражданка, культурные ценности земли».

«Земля наша — капля капли перед Канопусом,— прозвучал отдаленный голос Авеля Евсеевича.— Шекспир — молекула. Кто знает, жил ли он на самом деле».

«Пусть умирает кто хочет,— твердо сказала товарищ Клавдия.— Но Ворончик должен жить. Спешите, доктор, время дорого».

«Часы продаете,— отчеканил товарищ Шуляк,— упускаете время, которое дорого. Обратите на это внимание, товарищи».

— Товарищи,— произнес надо мной подлинный, не призрачный, звучный и хороший человеческий голос с

приятной хрипотцой, — теперь обратите внимание на обезьян.

Я открыла глаза: по дорожке вдоль пруда шли люди, живые существа, родственные мне по плоти и крови. Их было человек десять, и самому старшему из них не было двадцати лет. Трое из них — три девушки — все вместе ели одно большое румяное яблоко, надкусывая его по очереди.

Они прошли толпой мимо меня. И я встала и пошла вслед за ними. Я почувствовала непреодолимое желание обратить внимание на обезьян, хотя за минуту до этого совершенно о них не думала.

В то время Зоосад не был богат, как сейчас, редкостными обезьянами. В застекленном вивариуме не жили заморские шимпанзе и орангутанги, привезенные из теплых стран в меховых одеялах и вскормленные бананами и мандаринами, специально доставляемыми для них на самолетах. В то время простые и веселые мартышки прыгали и скакали в просторных мелко плетенных клетках на открытом воздухе. Они цеплялись хвостами за перекладыны, свисали оттуда, словно гирлянды лука, торопливо и озабоченно, мелкими человеческими движениями грызли морковь, моргая глазами и хмурия лоб.

Наша группа подошла к обезьянам и остановилась. Говорю: «наша», потому что хоть я и пришла не с ними, но шла за ними. И то, что объяснял идущий впереди, относилось в равной мере ко всем, в том числе и ко мне.

Мартышки читали в это время газету. Как она попала к ним — осталось тайной, но они наслаждались ею. То, разостлав, они садились на нее, смеясь и болтая. То, укрывшись ею, как плащом, они блаженно замирали, шевеля хвостами и жмуря глаза. В конце концов газетой овладел проворный самец. Он рассмотрел добычу со всех сторон, понюхал ее с такой силой, что даже чихнул, потом затих, ковыряя пальцем строки. И наконец, разостлав бумагу у себя на коленях, оторвал от нее лакомый кусок с объявлениями и жадно съел, на горе и зависть остальным.

— Товарищи, — сказал экскурсовод своим прият-

вым волжским выговором, — вот обезьяны. Они потому особо интересны из всего зверья, что ближе всего подходят к нам, к людям то есть.

Среди экскурсантов был один паренек в веснушках. Его внимание ко всему виденному и восторг были таковы, что он забывал дышать. Я утверждаю, что у него были секунды, когда он не дышал, чтобы не мешать себе. Услыхав, что обезьяны ближе всего к нам, людям, он произнес глубоким горловым голосом, идущим из самой глубины внимания:

— До чего похожи! Просто ест и смотрит, как человек. Только хвост мешает.

— Дело в том, — говорил дальше экскурсовод, — была в науке такая аксиома (очевидно, он хотел сказать: «гипотеза»), что мы, люди то есть, произошли от этих самых обезьян. Теперь это установлено досконально.

В беседу робко вступила одна из девушек, сказав, что, по имеющимся у нее сведениям, человек произошел от амебы, похожей на кисель, она-то и есть зародыш всему. Экскурсовод взглянул на девушку зорко.

— Амеба сама собой. И собака, может, от нее произошла, но нам важно знать, что она идет от волка. И вот в науке стали поговаривать, что мы идем от обезьяньего племени. Дарвин, — продолжал он, ударяя на последнем слове иностранного имени, отчего далекий англичанин Чарльз Дарвин сразу превратился в земляка-волжанина из Нижнего или Саратова, — Дарвин первый утвердил подобное мнение, и теперь почти достоверно, что мы произошли от первобытного человека, который произошел то же самое от обезьяны.

Маргышки прыгали в клетке, осеннее солнце медленно передвигалось в небе, мы слушали рассказ об обезьянах.

Неизмеримо долог и труден был путь от зверя к человеку. Теперь он давно уже пройден. Завершен. Но новые задачи встали перед человеком — вытравить в себе хищника-одиночку. Завоевать себе право объединиться в общем труде.

— Настал день, — сказал экскурсовод, — когда в на-

шей стране слова «я» и «мое» заменились словами «мы» и «наше».

Он закончил так:

— Вы должны понять, товарищи, что этот день был особенный день. Очень важный, потому что «мы» — это совсем не то, что «я». «Мы» — это... одно слово, «мы»... много нас, значит.

— Ясное дело, — подтвердил паренек в веснушках. — Ясное дело. «Мы» — это значит не то, что «я». — Он выступил вперед, как бы собираясь сказать большую и важную вещь. — «Мы»... — Он вдохнул полной грудью солнце и воздух сада. Он сделал широкий жест, куда включил вселенную. — «Мы»... одно слово. Много нас, значит.

— Ты здесь? — спросила прибежавшая Киска. — А я ищу тебя. Правда, что мы произошли от обезьяны?

— Может быть, — ответила я. — Но важно не это. «Мы». Нас много, и жизнь велика.

Мы провели в саду весь день. Возвращались под вечер, когда уже зажигали огонь.

В одном из окон две девушки починяли стул. Плетеное сиденье было продрано, одна девушка держала стул за ноги, другая затягивала веревочкой пораженное место. Но в ту минуту, когда почти все уже было кончено, веревка лопнула, и пришлось начать сначала.

— Ну и начнем, ну и что ж, — очевидно, сказала та, что покудрявее.

И обе девушки снова нагнулись над стулом, который, по всей вероятности, был им очень нужен.

В другом окне купали ребенка. Там завесили окно платком, но платок упал, и я увидела комнату. В ней было много народу, стоял даже человек без пиджака, в кожаном фартуке. Очевидно, он работал, и вот его позвали смотреть, как будут купать парнишку. А парнишка сидел в корыте и все порывался хлебнуть мыльной водицы.

И тогда, на тихой вечерней улице, меня охватило ощущение жизни с не изведанной до того силой. Я ощутила ее строй, ее ход, ее смысл, как никогда раньше.

«Эти девушки починят стул, — думала я, — и он будет служить им еще долго. А из малыша, который в корыте, вырастет человек и займет свое место под солнцем. Таких, как он, много. Они вырастут и скажут о себе: «Мы».

Глава тринадцатая

Если верить Библии, этой почтенной старой книге, все мы произошли от Адама. Но, независимо от того, произошли мы или нет, независимо от того даже, существовал ли Адам на свете, его облик чрезвычайно любопытен. Его история — это первая история любви на земле, отмеченная литературой.

Возникновение Адама, чудесное превращение его ребра в юную золотоволосую Еву, их любовь, яблоня райского сада — вся эта история известна всем. Но далеко не все поставлены в известность, что Ева была вторая жена Адама, что Адам был женат дважды. Что, кроме Евы, у него была еще одна жена, первая по счету, которая именовалась Лилит.

В противоположность Еве, созданной из мужниного ребра и тем самым лишенной индивидуальности, Лилит была сотворена из горсти земного праха и ночного воздуха. Хотя и по-иному, чем Ева, она была прекрасна. Ее походка была исполнена лунного скольжения, черные волосы окутывали ее всю. Она была умна и склонна к ведовству. Она варила тайные зелья и собирала травы. Адам не мог с ней ужиться.

Она вела себя так плохо, что была лишена звания жены первого человека. Ее постигла печальная участь, самая печальная из всех: ее замолчали, и даже в Библии о ней не говорится ни слова. Имя ее встречается лишь в страшных книгах Каббалы и Большой британской энциклопедии. В последней отмечено, что, изгнанная из рая, она долго еще продолжала жить вне его. Она являлась юношам во сне. Кроме того, в той же энциклопедии сказано, что она «любила расчесывать волосы у чужих очагов».

Впрочем, все это не существенно. Достойно упоминания только то, что, истощив все свои темы для «Кара-

вая», использовав свое небольшое знание современности, я отпрянула назад, в библейские времена. Таким образом, благодаря мне Лилит приобрела широкую и, как вскоре выяснилось, довольно печальную популярность в нэпманских кругах, посещавших «Каравай».

Созданные мною персонажи получили окончательное воплощение в нашей костюмерной. Лилит, как демоническое начало, была окутана в черный шелк. На лбу ее ночным блеском горел лунный камень, и ее рукава были широки и перепончаты, как крылья летучей мыши. Ева была кудрява, стрижена. От райского солнца она покрылась легким золотом веснушек. Адам был русый юноша, несколько ленивый, в шелковой косоворотке; отмечено было, что он не любит бриться. Змей — янтарный брюнет в сумрачной пижаме. Кроме перечисленных лиц, был «Ангел для услуг», с крыльями и в переднике. Он носил ключи у пояса и заведовал кухней.

Первый акт уяснял «Караваю» взаимоотношения Адама и Лилит. Их семейная жизнь не ладилась; она протекала в причудливо обставленном полутемном покое. Хозяйство шло кривь и вкось. Ангел был растерян. Змей наблюдал издали. Все кончилось бурным уходом Лилит.

Обстановка второго акта радовала зрителя обилием света, плетеной дачной мебелью, атмосферой дома отдыха, где отдыхал Адам после операции извлечения из него ребра. Ева кормила его манной кашей и целовала плохо выбритую щеку. Она порывалась испечь ему яблоко, зная, что это полезно выздоравливающим, но Адам просил ее воздержаться: он боялся яблок.

Все шло бы хорошо в этом счастливом доме, если бы не Змей. Это он внушил Еве мысль, что слушаться мужа необязательно. Это он поднес ей яблоко, надкусив которое, она ощутила свою женскую прелесть. Это он смутил ее янтарной гладкостью идеально выбритых щек. Это он, наконец, раздвинув листья винограда, показал ей далекий мир, полный соблазнов. Это он, это он, это он.

Ева уходит со Змеем из светлого дома, Ангел потрясен, Адам снова одинок. Он сиротливо сидит под фиговым деревом, спелая фига падает к его ногам: это все.

Алексей Алексеевич остался чрезвычайно доволен результатами моего творчества. В его пылком юношеском воображении невинная шутка на двадцать минут превратилась в антирелигиозную сатиру, под красотой формы скрывающую огненные мечи сарказма, способные пронзить сердца ночных посетителей «Каравая» и обратить их в неверие. С его точки зрения, это была настоящая «благоуханная и современная вещь», в которой нуждался его театр.

У меня были сомнения на этот счет, но я молчала.

Я молчала, а между тем общество Адама и Евы начинало тяготить меня. Образ светловолосых прародителей, выдуманный древними поэтами и подновленный мной для сцены, их легендарно легкая походка заглушались в моем сознании грузной поступью первобытного существа с челюстью обезьяны и мозгом человека. Мне хотелось думать о нем, о первобытном существе, потому что с ним было соединено воспоминание о воскресной прогулке в саду, где дышали люди и звери.

Мне хотелось писать о другом, передать словами, закрепить на бумаге воздух того дня, жест, которым всснушчатый парень обнял вселенную, и всю силу убеждения, вложенную в короткое слово «мы». Для этого требовались слова настоящие, свежие и точные, которые приходят не сразу. Я искала их все время.

Но наряду с этим жизнь шла своим чередом. Скetch об Адаме и Еве увидел наконец свет рампы. В качестве «гвоздя» он был оставлен на второе отделение программы, и это обстоятельство погубило его.

Второе отделение обычно протекало в атмосфере, значительно подогретой рислингом и портвейном, любимыми марками «Каравая». Гроза разразилась на первом же представлении. Перебивая реплику Адама, поднялась за одним из столиков мощная фигура, налитая алкоголем, и громовым голосом пьяного человека потребовала прекращения «богомерзкой пьесы», оскверняющей религиозную легенду.

— Долой!.. — заключила фигура, грузно садясь на место и стаскивая по дороге скатерть с тарелками, бутылками и бокалами.

Звон скандала смешался с плачем испуганной Ли-

лит. Ева прыгнула в оркестр, Ангел скрылся за кулисы, ломая перья. Что касается Адама, то он, самоотверженно рискуя вторым ребром, ринулся в зрительный зал на помощь милиции. Алексей Алексеевич был совершенно убит косностью своей публики, не способной проникнуться антирелигиозным пафосом.

Я снова пришла к редактору, который однажды отказал мне, пояснив, что мои герои одиноки, что каждый живет для себя, что идея «общности» чужда им. Я пришла к нему в дождливые сумерки, после репетиции. Фонари горели сквозь туман и дождь. Туман и дождь были расцвечены радужным сиянием. Возле каждого фонаря, в воздухе, на дожде, плыла фонарная тень.

У редактора был ларингит, он издавал гусиное шипенье, горло было многократно обмотано теплым кашне, но, несмотря на все это, он тотчас узнал меня.

— Это вы,— шипло сказал он и снял с шеи одно из колец кашне.— Я знал, что вы еще придете. Притащили что-нибудь?

— Притащила.

Очерк или рассказ (не знаю, как назвать его) был невелик. Редактор прочел его тут же: редкая удача, редкость которой я вполне оценила только впоследствии. Я наблюдала за ним в то время, как он читал. Тусклая электролампа освещала его белесые ресницы, глаза переходили от строки к строке. В одном месте редактор сморщился: я никогда не узнала, к чему это относилось — к моей рукописи или к его больному горлу. В другой раз он одобрительно почесал нос: я, не сомневаясь, приняла это на свой счет. Его глаза светлели, он не улыбался губами, но улыбка была разлита по всему его лицу. Зазвонил телефон на столе — он снял трубку, не глядя, и продолжал читать. Он читал, держа трубку в руке, и слышно было, как другой какой-то ларингит задыхался и хрипел в телефоне, как бы поселившись там навсегда.

Редактор кончил читать и взглянул на меня.

— Вещь пойдет,— сказал он шепотом и снял с шеи еще один оборот кашне.— Я вам говорил, что вы можете

писать. Это вы хорошо про паренька с веснушками... Алло! — внезапно спохватившись, просипел он в телефонную трубку, но там уже царило молчание. Он повесил трубку. — Напишите еще. Знаете про что?

— Про что?

— Про вашего паренька. Покажите его яснее, опишите весь его день, от утреннего гудка на фабрике до вечерних огней на рабфаке. Опишите рабочий день. Должно получиться.

— Не могу, — ответила я, болея душой. — *Еще* не могу. Я еще ничего этого не знаю. Это надо увидеть, и для этого нужно вдохновение.

Редактор поставил локти на стол, крепко утвердил в ладонях подбородок. Устроившись таким образом, он сощурил глаза.

— Вдохновение! — сказал он шепотом и с натугой. — Гм... вдохновение. Вдохновение — есть умение приводить себя в состояние, наиболее пригодное для работы. (Он приоткрыл глаза. Там, в глубине, среди белесых ресниц, ярко сверкал зрачок, маленький, как просяное зерно, но чрезвычайно острый.) Да, наиболее пригодное для работы. Запомните это. И если бы машина, например, обладала способностью рассуждать, то, работая полным ходом, она полагала бы, что на нее снизошло вдохновение. Запомните это.

И он окончательно размотал кашне.

На рассвете пал на землю иней. Город посветлел, помолодел, стал совсем юным. Автомобильный рожок у нашего дома воззвал высоким, чистым голосом: он тоже был молод, был нов, в его светлом зове таилось нерастраченное серебро. След автомобильной шины отчетливой елочкой лежал на белой мостовой. Это был первый след этого дня; было раннее утро, все еще спали.

Автомобиль позвал меня, я вышла, и мы пустились в путь. Ничто не задерживало нас, улицы были пусты. Опрокинутый месяц стоял еще в небе, на западе по-ночному синело, но восток был уже залит светом: оттуда наступал день.

Ворота аэродрома раскрылись перед нами. Аэродром был огромен, здесь было видно солнце, оно быстро всходило пламенным шаром, и постепенно иней таял. Но и растаяв, он оставил после себя в воздухе хрусталь и ледок.

На аэродроме, отгороженные веревкой, стояли люди. Невзирая на ранний час, многим хотелось взглянуть, как будет отлетать самолет, идущий в агитоблет далеко на юг. Люди, стоя на земле, разглядывали небо, говорили о крыльях, о ветре, дивились собственным теням, которые по утрам всегда непомерно велики. Шагни раз — и ты перешагнешь аэродром, шагни два — и ты коснешься горизонта.

Двери ангара раскрылись, и оттуда вывели небольшого воздушного конька. Его желобчатые крылья сверкнули на солнце: он как будто окупнулся в утро и вынырнул оттуда весь в серебре.

К тому времени «Каравай» был оставлен мною навсегда. Я не питала к нему злобы, мысленно я рассматривала его отвлеченно и беззлобно. Взамен его мне открылся доступ в несколько редакций. Особенно я полюбила одну из них, чья стеклянная стена, поднятая высоко над городом, всегда вызывала во мне ощущение полета. Теперь мне предстояло лететь на самом деле. Этот полет был для меня первым серьезным испытанием: до того я не подымалась выше Зоосада, выше московских улиц, построек, школ и пионерских лагерей. Теперь мне предстояло лететь высоко над линией рек, далеко на юг, увидеть сверху родные степи у моря, где я родилась, и еще дальше увидеть земли нашей страны, где я не была никогда.

Летчик Ротов был потрясен тем, что корреспондент от газеты, данный ему для агитоблета, оказался женщиной. Женщина приносит несчастье машине, будь то бритва или паровая турбина: в это верят под всеми широтами земли. Японские водолазы, после посещения женщиной места их работы, сыплют соль на палубу и трап, чтобы древней очистительной силой перебороть недоброе влияние.

Летчик Ротов был советский летчик, он был выше всяких таких предрассудков. Каждое утро, невзирая на

погоду, он обливался ледяной водой на открытом воздухе. Но все это вместе взятое не могло окончательно смыть с него предубеждения против женщины-журналиста.

— Вы женщина,— сказал он, увидав меня перед полетом.

Я не посмела отрицать этого, и наши отношения были временно испорчены.

Итак, мне предстояло лететь. Мне предстояло узнать упругость воздуха, беспыльные просторы, где жизнь течет иначе, чем на земле. Предстояло узнать множество людей, задавать вопросы, получать ответы, запоминать их надолго. Летчик Ротов, с которым мы скоро подружились, запомнился мне одним своим ответом. Как-то раз в пути (не в воздухе, а на земле, конечно) я спросила, каковы профессиональные болезни летчиков и их механиков. И летчик Ротов ответил мне, подумав:

— Профессиональные болезни? Кроме смерти, как будто никаких.

Но об этом потом. А сейчас через слюдяные окна кабинки видна такая пока еще близкая земля и срезанный кусок неба. Мой спутник, Ефим Семенович Кромаров, инструктор от Авиахима, опытный воздушный волк, весь оплетенный ремнями, как на фронте, плотно усаживается в кресло. На груди у него восьмикратный бинокль, в руках план местности. В пути Ефим Семенович будет произносить речи с крыла самолета, объясняя в деревнях значение «несущих плоскостей, стабилизатора, хвоста» и прочего. «Задавайте вопросы, товарищи,— скажет Ефим Семенович.— Кто чего не понял, тот выходи и говори».

И выйдет старый сивый дед, которому девяносто лет, протрет тряпочкой старые глаза и задаст «технический вопрос», почему козы пугаются машины больше, чем овцы, а уж на что овца пуглива. А еще прибавит, что он, крестьянин Емельян Мочало, не прочь сделаться членом «Общества друзей», потому что он, крестьянин Емельян Мочало, прекрасно все понял про воздушную флотилию и готов внести членский взнос.

А потом выступит его правнук, комсомолец Гриша, и, с благоговением глядя на Ротова, громогласно заявит,

что все они, комсомольцы Украинской Социалистической Республики, будут по мере сил своих поддерживать наш славный авиафлот и наших летчиков, которые лучшие в мире. И бабы и мужики, собравшиеся по случаю самолета и базарного дня, зашумят и прихлынут к самолету поближе, поближе к самолету, так что Ротов закричит в сердцах: «Эй, мальчишки, не лазать под крылья, не то вздую!» Но все это будет потом. А пока самолет идет по земле все шибче; сзади него ветер, впереди — гул. И вот он уже не на земле, а в воздухе. Непривычное тело теряет свой вес, и — ух! — падает непривычное сердце.

Москва отходит от нас, как пристань от корабля. Внизу плоская зелень и маленький синий камень: это круглый пруд Зоосада, над которым мы летим. Того самого Зоосада... Кто это сказал, что осенью хочется устраивать свою жизнь? Жизнь устроена, дорога найдена. Мы забираем все выше и выше. Летчик Ротов, обратив ко мне свое лицо в шлеме, улыбается. Он улыбается и головой показывает вниз на Москву.

— Москва, — говорит он, и мы угадываем это слово по движению губ: о-а.

А внизу лежит Москва, лежит земля, освещенная солнцем. Рокочет пропеллер голосом высот, мотор великолепно дышит. И весь самолет, его светлые сильные крылья, грудная клетка, все вместе, летя навстречу заре, с каждым разворотом воздуха все больше и больше вникает в пространство, поглощается движением, приводит себя в состояние, наиболее пригодное для полета. И если бы самолет обладал способностью думать, он подумал бы, что на него снизошло вдохновение.

Послесловие

Лучшие книги — это те, которые не нуждаются в предисловиях и послесловиях. Литературное произведение говорит само за себя, и еще Флобер утверждал, что вещь должна быть написана так, чтобы читающие сомневались в наличии автора. Он хотел творить безошибочно и безлико.

Наше время не есть время холодных объективностей. Все, что мы пишем, хорошо это или дурно, мало или велико, окрашено участием автора в описываемых событиях, овеяно его дыханием. Автор есть, его нельзя скрыть, он участвует во всем, он добавляет и поясняет, если это нужно. Нечто подобное происходит и здесь.

Если данная книга не дышит полной грудью, если она недостаточно передает веяние эпохи, то это послесловие приходит ей на помощь и предлагает рассматривать ее как простой перечень нескольких жизней трудного времени. Они жили, эти люди. Многие из них прошли и скрылись, как будто их ноги никогда не топтали легкие седые травы у дороги. Их следы остались только на этих страницах. Я видела этих людей и сказала о них.

1928

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Квартира № 32	7
Соловей и Роза	12
Тосик, Мура и «ответственный коммунист»	20
«Беспомощный учитель»	26
Эта песня	32
Ежовы рукавицы	37
Лялины интересы	42
Время абрикосов	48
Яблоко раздора	54
Бывают исключения	59
Свет осенью	63
Добрый уголь	67
Корни и плоды	71
Ловец комет	78
Чеснок в чемодане	91
Суп из курицы	102
Домашняя работница Иванова	107
Печень Хаима Егудовича	113
Майя	119
Уравнение с одним неизвестным	132
Улица Восстания	147

Текстильмечта	152
Легендарь	156
Не плачь, Нинель!	160
Славка	165
Человек умен	171
Сады в цвету	177
Смерть Луны	184
Параллельное и основное	199
Трубка мира	206
Похищение Европы	213
«Шведские гардины»	226
Выпиливание по сердцу	236
Чувство локтя	242
Интересно жить	247
Романтика	252
Мой друг Давид	259
Преступление Нор-биби	263
Молодые люди	286
О моем отце	293
О моей дочери	312
О ленинградских детях	324

ПОВЕСТИ

Как я была маленькая	341
Место под солнцем	425

**Вера Михайловна
Инбер**

**Рассказы и повести
том 2**

**Редактор А. Ноткина
Художественный редактор Ю. Васильев
Технический редактор Э. Евдокимова
Корректор Е. Патина**

**Сдано в набор 10/X 1964 г.
Подписано в печать 7/1 1965 г. А05101
Бумага 84×108^{1/32} 16,75 печ. л.
27,47 усл. печ. л. 24,77 уч.-изд. л.
Тираж 35 тыс. Заказ 1985. Цена 95 коп.**

**Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19**

**Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома
Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати
Москва, Ж-54, Валовая, 28.**

8500.